Мастера художественного перевода



Вылазка в действительность

Антология англоязычной прозы в переводе

Владимира МУРАВЬЕВА

Вылазка в действительность

Джозеф Шеридан Ле Фаню, Гилберт Кийт Честертон, Джойс Кэри, Джон Коллиер, Ивлин Во, Мюриэл Спарк, Джон Роберт Фаулз, Вашингтон Ирвинг, Вашингтон Ирвинг, О. Генри, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Уильям Фолкнер, Уильям Сароян, Фланнери О'Коннор

Аннотация
ВЫЛАЗКА В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ . Антология англоязычной прозы. в переводе Владимира Муравьева
ИЗ АНГЛИЙСКОЙ, ШОТЛАНДСКОЙ И ИРЛАНДСКОЙ ПРОЗЫ
Кармилла. Джозеф Шеридан Ле Фаню
Введение
Глава 1. Детский испуг
Глава II. Гостья
Глава III. Мы обмениваемся воспоминаниями
Глава IV. Ее облик и нрав. Прогулка
Глава V. Удивительное сходство

Глава VI. Таинственная истома
Глава VII. Нисхождение
Глава VIII. Поиски
Глава IX. Доктор
Глава X. Утрата
Глава XI. Рассказ генерала
Глава XII. Просьба
Глава XIII. Дровосек
Глава XIV. Встреча
Глава XV. Розыск и казнь
Глава XVI. Заключение
Молот Господень. Джильберт Кийт Честертон
Весенняя песня. Джойс Кэри
Вкус мечты. Джойс Кэри
Бешеные деньги. Джон Коллиер
Перестраховка. Джон Коллиер
Другая американская трагедия. Джон Коллиер
Зеленые мысли. Джон Коллиер
Толкование сновидения. Джон Коллиер
Карты правду говорят. Джон Коллиер
Ловец человеков. Джон Коллиер
Мадемуазель Кики. Джон Коллиер
Отпрыск Кики. Джон Коллиер
Вылазка в действительность. Ивлин Во
На страже. Ивлин Во
Для зимы печальные подходят сказки. Мюри-

эль Спарк
Портобелло-Роуд. Мюриэль Спарк
Загадка. Джон Фаулз
ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПРОЗЫ
Легенда о Розе Альгамбры. Вашингтон Ирвинг
Гипотетический казус. О. Генри
Последний из трубадуров. О. Генри
Алмазная гора. Фрэнсис Скотт Фицджеральд
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Дядя Вилли. Уильям Фолкнер
I
II
III
IV
V
VI

VII
Вот будет здорово. Уильям Фолкнер
I
II
III
IV
VI
Три купальщика и йельский выпускник. Уильям Сароян
Локомотив 38 из племени оджибуэев. Уильям Сароян
Соль земли Фланнери О'Коннор
СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация

«Всякая настоящая литература — это вызов, приглашение к игре. Если вы что-то поняли в литературе, то стали соучастником игры — отчасти восторженным, отчасти изумленным... Хочется, чтобы шедевры английской литературы стали шедеврами русской литературы на уровне Чехова или Бунина», — писал Владимир Сергеевич Муравьев, отдавший свои душевные силы, знания и талант тому, чтобы его переводы из Дж.Р.Р.Толкиена, В.Ирвинга, Гилберта Кийта Честертона, Мюриэл Спарк, Джона Фаулза и других ирландских и американских писателей максимально приближались к уровню прозы русских классиков. Составители надеются, что антология «Вылазка в действительность», которая выходит в серии «Мастера художественного перевода», поможет читателю узнать секреты мастерства этого замечательного переводчика

ВЫЛАЗКА В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

.

Антология англоязычной прозы в переводе Владимира Муравьева

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ, ШОТЛАНДСКОЙ И ИРЛАНДСКОЙ ПРОЗЫ

Кармилла
Джозеф Шеридан Ле Фаню
Введение

Доктор оккультных наук Гесселиус снабдил нижеследующую повесть пространными примечаниями, где отсылает любознательных читателей к своему трактату, в котором все, о чем повествуется, разъяснено как нельзя лучше.

И в самом деле, трактат его вполне разъясняет загадочное повествование — не только по науке, это само собой, но и впрямую, вдумчиво и толково. Трактат составит, вероятно, целый том собрания сочинений ученого мужа.

Но я-то публикую эту повесть, что называется, «для профанов» и потому уж вовсе не буду чем бы то ни было предвосхищать рассказ, исполненный женского обаяния. Я решил также не пересказывать многомудрый трактат и даже не приводить выдержки насчет, как в нем сказано, «по-видимому, самых таинственных явлений нашего двойного существования и его посредников».

Когда мне довелось прочесть эту рукопись, я сразу же обратился с письмом к давнишней

знакомой доктора Гесселиуса, столь рассудительной и столь добросовестной. Однако, к моему глубокому сожалению, оказалось, что ее уже нет в живых.

Впрочем, вряд ли она смогла бы что-нибудь прибавить к своей обстоятельной, чистосердечной повести.

Глава 1
Детский испуг

Люди мы вовсе не знатные, но в Штирии жили во дворце, а вернее сказать, в замке. Жизнь тут недорогая, восьмисот-девятисот фунтов в год хватает с избытком. У себя в Англии мы были бы едва ли не бедняками, а богатые на нас и не глядели бы. Отец мой англичанин, фамилия моя английская, но в Англии я никогда не бывала. И здесь, в заброшенных, пустынных краях, где все так сказочно дешево, я даже и не понимаю, зачем бы нам были еще деньги и что бы мы на них купили.

Отец мой выслужил пенсион в австрийской армии, получил наследство и купил старинный замок с поместьем. Живописный и уединенный замок стоял на лесистом холме. Древняя узкая

дорога проходила у подъемного моста, который на моей памяти никогда не поднимали, мимо крепостного рва за жердевой оградой и серебристых россыпей кувшинок; там всегда было полно лебедей.

А за рвом и стеною виднелся многооконный замок с башнями и готической часовней. Лес расступался у наших ворот, и неровною, чудной прогалиной дорога уводила направо, к горбатому мостику через речку, извилины которой терялись в сумрачной чащобе.

Я назвала наш замок уединенным. Судите сами: вправо от нашего крыльца пятнадцать миль густолесья, влево — двенадцать. До ближнего селения, опять-таки влево, не меньше семи ваших английских миль. И до старого замка генерала Шпильсдорфа — теперь уж направо — почти двадцать. Я сказала «ближнее селенье». Правда, за три мили к западу, по дороге к замку генерала Шпильсдорфа, была заброшенная деревня, и в причудливой церквушке без крыши, в обомшелых гробницах покоились останки горделивых Карнштейнов, былых владетелей роскошного замка, утонувшего в лесной глуши среди безмолвных руин. Легенду о том, как опустели эти устрашающе унылые места, я расскажу своим

чередом.

Покамест надо представить вам немногочисленных обитателей замка, за исключением, разумеется, прислуги и дворни из пристроек. То-то вы удивитесь! Отец мой, добряк из добряков, был уже в преклонных годах. Мне же едва исполнилось девятнадцать (с тех пор прошло восемь лет). Моя мать, здешняя дворянка, умерла в моем раннем детстве, и я осталась на попечении нянюшки, чье щекастое добродушное лицо памятно мне едва ли не с колыбели. Мадам Перродон, уроженка Берна, добрая и заботливая, сумела, сколько могла, заменить мне мать, которой я совсем не помню: она умерла, когда мне и года не исполнилось. Мадам Перродон была третьей за нашим обеденным столом. Четвертой была мадемуазель де Лафонтен — как говорят у вас в Англии, «последняя гувернантка». Она говорила по-французски и по-немецки, мадам Перродон, помимо французского, изъяснялась на ломаном английском; но большей частью по-английски говорили мы с отцом — отчасти затем, чтоб язык не забылся, а отчасти из любви к родной и дальней стране.

Получалось сущее смешение языков, на потеху нашим редким гостям — но я, пожалуй, не стану

изображать, как мы разговаривали. От случая к случаю у нас гостили, но не загащивались две-три мои сверстницы, а я иногда ездила к ним. Бывало, иной раз наезжали за двадцать-тридцать миль и дальние «соседи». Словом, жилось нам довольно одиноко.

Нянюшка и гувернантка прекрасно понимали, что им не совладать с избалованной девочкой при почти что полном попустительстве отца.

Первое происшествие моей беспечной жизни поразило меня незабываемо: это мое самое раннее воспоминание. Покажется, может быть, что об этом и рассказывать незачем — вздор, да и все тут. Думаю, однако, что стоит рассказать.

Моя детская, где я безраздельно владычествовала, располагалась под сводами замка: просторный покой с косым потолком в дубовых брусьях. Лет, наверно, в шесть я проснулась ночью, повела глазами и не увидела горничной. Няни тоже не было, и я решила, что все меня бросили. Я ничуть не испугалась — по счастью, мне никогда не рассказывали о привидениях, не пугали страшными сказками, и я не пряталась с головой под одеяло от внезапного дверного скрипа или от вспышки догорающей свечи, когда по стене пляшет черная тень кроватной спинки. Я просто обиделась, что

обо мне забыли, и начала хныкать, готовясь заголосить. Но вдруг я увидела возле своей кроватки строгое и чарующее женское лицо. Женщина — совсем молодая — стояла на коленях, руки ее вползли под одеяльце. Я взглянула на нее с радостным изумлением и замолкла. Она легла рядом, погладила меня и с улыбкой притянула к себе: я тут же успокоилась и погрузилась в сон. А проснулась оттого, что две длинные иглы вонзились мне в грудь, и я громко закричала от боли. Та женщина подалась назад, не спуская с меня глаз, соскользнула на пол и, как мне показалось, спряталась под кроватью.

Тут я впервые в жизни испугалась и завопила во всю мочь. Няня, горничная, экономка — все прибежали, выслушивали мой рассказ, разуверяли и успокаивали меня. Я, конечно, была еще маленькая, но все же заметила, как странно бледны их лица, как они встревожились, я глядела, как ищут они под кроватью, ищут по всей комнате, раскрывают шкафы и комоды, заглядывают под столы; а экономка прошептала нянюшке:

— Вот попробуйте рукой рядом с нею: тут и правда кто-то лежал — вмятина, и нагрето.

Я помню, горничная приласкала меня, и они осмотрели мою грудь, куда будто бы воткнулись

иглы — нет, сказали все три, никаких следов. Однако же экономка и еще две служанки остались со мной на всю ночь, и с тех пор до моих четырнадцати лет в детской всегда дежурила ночью служанка.

Много дней я была сама не своя. Конечно, вызвали доктора: он был, как сейчас помню, пожилой и очень бледный, с унылым длинным лицом, тронутым оспой, в каштановом парике. Он приходил и приходил — через день, кажется, — и пичкал меня какими-то противными лекарствами.

А сперва, наутро, я все еще дрожала с перепугу и поднимала рев, если меня хоть на миг оставляли одну. Помню, отец стоял у постели, говорил веселым голосом, расспрашивал няню и от души смеялся ее ответам, потом гладил меня по плечу, целовал и уговаривал не бояться — мало ли что приснится, страшен сон, да милостив Бог.

Но я-то знала, что незнакомка мне вовсе не приснилась, и ужас не отпускал меня. Вот только немного утешила горничная: это будто бы она и была, посмотрела, как я сплю, и полежала рядом, а я спросонья ее не признала. Няня подтвердила, но я не очень-то им поверила.

Помню еще, как в тот же день вместе с няней и

экономкой в детскую вошел почтенный старец в черной рясе. Лицо его лучилось добротой; он поговорил с ними и обласкал меня, потом соединил мои ладони и сказал, что они сейчас будут молиться, а я в это время чтобы тихо повторяла: «Господи, услыши наши благие молитвы, ради Иисуса Христа». Слова были именно такие, потому что я потом часто твердила их про себя, а няня велела прибавлять их к молитвам.

Навсегда мне памятно вдумчивое, ласковое лицо седовласого старца в черной рясе — как он стоял тогда посреди угрюмого старинного покоя, обставленного громоздкой мебелью трехвековой давности, и скудный свет сочился сквозь узкую оконную решетку. Он опустился на колени, три женщины вместе с ним; дрожащим голосом возносил он долгую, истовую молитву. Что было прежде, все забылось; что было сразу после — тоже кануло во тьму, и лишь эти картины видятся живо, словно высвеченные волшебным фонарем.

Глава II

Гостья

Рассказ мой будет столь невероятен, что я могу лишь заверить читателя в своей правдивости — ведь все это, как ни странно, случилось со мной или же на моих глазах.

Был тихий летний вечер, и отец предложил мне, как обычно, прогуляться по лесу, углубиться в те дивные дали, которыми мы любовались из окон.

— Так что генерал Шпильсдорф, увы, покамест к нам не приедет, — вдруг обронил мой отец, когда мы шли по лесной тропке.

А генерал Шпильсдорф собирался прогостить у нас неделю-другую, и мы ожидали его назавтра. Он обещал привезти с собой свою юную племянницу фрейлейн Райнфельдт (он был ее опекуном); я ее никогда не видела, но все отзывались о ней с восторгом, и я заранее изнывала от радости. Разве поймет меня городская жительница, у которой соседи под боком? Долгие недели напролет мечтала я о новой подруге.

— А когда он теперь приедет? — спросила я.

— Разве что осенью. Месяца через два, не раньше, — ответил отец. — И славу Богу, дорогая моя, что ты не подружилась с фрейлейн Райнфельдт.

— Почему же? — спросила я с горечью и недоумением.

— Потому что бедняжка умерла, — отозвался он. — Забыл тебе сказать, да тебя и не было в комнате, когда вчера вечером принесли письмо от генерала.

Я была потрясена. Генерал Шпильсдорф оповещал в своем первом письме, шестью или семью неделями раньше, что ей слегка неможется, но и речи не было о том, что она опасно больна.

— Вот прочти сама, — сказал он, отдавая мне письмо генерала. — Должно быть, он в страшном горе: у него будто мысли мешаются.

Мы присели на лавочке под сенью развесистых лип. За лесом печально и пышно пламенела заря; река, огибавшая замок, исчезала под старинным горбатым мостиком — я уж о нем писала, — потом устремлялась вниз, виясь средь высоких деревьев у наших ног, и волны ее окрасил тускнеющий закатный багрянец.

Письмо генерала Шпильсдорфа было, и то сказать, странное; сбивчивые отрывистые фразы-возгласы не вязались между собой. Я прочла его дважды, второй раз вслух — и все-таки ничего не поняла. Может быть, он и правда с горя повредился в уме?

«Я потерял, — писал он, — свою ненаглядную дочь, ибо как дочь я любил ее. Когда моя дорогая Берта угасала, я писать был не в силах, а до этого и не помышлял, что ее жизнь в опасности. Да, я ее потерял — и теперь понимаю все, увы, слишком поздно. Чистая и безгрешная, она умерла, уповая на посмертное блаженство. Всему виною чудовище, которое надругалось над нашим сумасбродным гостеприимством. А я-то думал, что у моей Берты появилась простодушная, веселая, прелестная подруга! Господи! Какой же я был глупец! Но благодарю Бога: девочка моя умерла, вовсе не ведая, что сводит ее в могилу. Она даже не знала, чем она больна, не знала о злодейской, гибельной для нее страсти. Я посвящу остаток дней розыскам и уничтожению изверга. Мне сказали, что есть надежда, и свершится праведное и милосердное дело. Но пока что я в потемках: нигде ни проблеска. Будь прокляты моя самонадеянная недоверчивость, мое пустое, напускное высокомерие, мое ослепление, мое упрямство — ах, поздно, поздно

проклинать себя! Я знаю, пишу я бессвязно, разговариваю тоже. Ум и чувства в смятении. Немного приду в себя и начну розыски: может статься, поеду в Вену. Осенью, месяца через два — или раньше, если буду жив, — свидимся, с вашего позволения: тогда я расскажу все, что еще не смею предать бумаге. Прощайте.

Молитесь обо мне, друг мой».

Так заканчивалось это несуразное письмо. И хотя Берта Райнфельдт теперь уже навсегда осталась мне чужой, глаза мои переполнились слезами: я была поражена и огорчена до глубины души. Солнце село и уже смеркалось, когда я отдала отцу письмо генерала. Мы еще посидели в ясных сумерках, раздумывая, что бы мог значить этот набор бессвязных, бредовых фраз. До замка была добрая миля, и над дорогой в небесах сияла полная луна. Возле подъемного моста нас встречали мадам Перродон и мадемуазель де Лафонтен, которые вышли даже без шляпок порадоваться дивному лунному свету.

Мы издалека услышали их оживленные голоса, сошлись вчетвером у моста и залюбовались изумительным видом. Снова явилась перед глазами

прогалина, оставленная позади. Узкая извилистая дорога уходила влево под купы деревьев, теряясь в лесной чаще. Справа дорога эта взбегала на мостик, к разрушенной башне, некогда сторожевой, а за мостом был крутой лесистый косогор, и в сумерках серели скалы сквозь густые завесы плюща. От зеленых низин подкрадывался и легкой дымкой стелился туман, заволакивая окрестность; в лунных лучах поблескивала река.

Царила волшебная и ласковая тишь, немного печальная (мне было грустно), но безмятежная, как бы осветленная.

Отец умел смотреть, и я молча стояла рядом с ним, озирая широкий простор внизу. За спиной у нас милые гувернантки хвалили пейзаж и толковали о луне.

Мадам Перродон, пожилая и добродушная толстуха, вздыхала и восторгалась попросту. Зато мадам де Лафонтен, по отцу немка, питала пристрастие к психологии, метафизике и некоторой мистике. Она заявила, что такая яркая луна возбуждает особую духовную активность. Она внушает сны, влияет на лунатиков и на чувствительных людей, излучает тончайшие жизненные флюиды. Мадемуазель рассказала, как ее кузен, помощник капитана торгового судна, вздремнул

в такую ночь на палубе под луной, и ему приснилось, что омерзительная старуха когтит его щеку: он в ужасе проснулся с перекошенным лицом — и лицо до сих пор перекошено.

— Эта луна, эта ночь, — сказала она, — таинственно магнетичны — оглянитесь на замок, посмотрите, как серебристым светом мерцают и вспыхивают окна, будто невидимка засветил колдовские огни, приглашая нездешних гостей.

Бывает, что ум дремлет, самому говорить не хочется, но чужие речи безразлично-приятны; и я, задумчиво глядя перед собой, вполуха слушала тихую болтовню гувернанток. Потом они замолчали, а отец мой сказал:

— Что-то меня нынче одолевает хандра.

И процитировал Шекспира, которого каждый вечер читал мне вслух из почтения к английскому языку:

Не знаю, почему тоскливо мне
И тяжко; и со мной, я вижу, тяжко.
Но как это напали на меня
Тоска и грусть — откуда ни возьмись?

— Дальше не помню. Но чувство у меня такое, будто над нами нависла страшная беда. И кажется, безумное письмо несчастного генерала

предвещает недоброе.

В этот миг из-за косогора перед мостом послышались непривычные в нашей глуши топот копыт и скрежет колес: появились два всадника, запряженная четвериком карета и позади еще двое верховых.

Должно быть, ехали знатные особы; мы, как зачарованные, глядели на великолепный выезд и в один голос вскрикнули, когда посреди моста один коренник вдруг шарахнулся, перепугал другого и пристяжных, и лошади рванулись вскачь. Карета промчалась между передовыми всадниками и с грохотом понеслась по дороге. Пронзительный, несмолкаемый женский вопль доносился из окна кареты.

Все кинулись вперед в тревоге и ужасе; отец — молча, мы — с отчаянными возгласами.

Дальнейшее случилось во мгновение ока. У дороги близ подъемного моста растет громадная липа; напротив нее воздвигнут старинный каменный крест. Завидев его, лошади на всем бешеном скаку метнулись в сторону, и карета с налету наскочила на могучие корни липы.

Я знала, что спасенья нет, зажала глаза ладонями и отвернулась; послышались крики опередивших меня гувернанток. Потом я все же

отважилась поглядеть: Боже мой! Лошади бились на земле; карета опрокинулась, и вертелись два колеса; лакеи с кучером распутывали постромки и помогали выбраться статной и величавой даме. Она заломила руки и поднесла к глазам платок. Из дверцы кареты бережно извлекали, казалось, безжизненное тело молодой женщины. Мой дорогой отец уже стоял подле пожилой дамы со шляпой в руке: по-видимому, он предлагал ей всяческую помощь и приглашал в замок. Та будто и не слышала: она не отрывала глаз от стройной девушки, простертой на траве у обочины.

Девушка была в обмороке, но, очевидно, жива. Отец мой, гордившийся кое-какими лекарскими познаниями, склонился над нею, пощупал пульс и заверил даму, назвавшуюся ее матерью, что пульс, пока еще слабый и неровный, уже восстанавливается. Дама вновь заломила руки, воздела глаза к небу как бы в знак немой благодарности и разразилась речью несколько театральной, но в иных устах вполне естественной.

Она, что называется, хорошо сохранилась, а прежде, верно, была красавицей: высокая, полнотелая, в черном бархатном платье, бледная от потрясения, однако сохранившая горделивую и повелительную осанку.

— Несчастье за несчастьем! — услышала я, приблизившись. Она судорожно сжимала руки. — Меня влечет в дальний путь дело жизни и смерти; промедли я час — и может статься, все потеряно. А дитя мое, боюсь, нескоро будет в силах ехать дальше. Придется мне покинуть ее: я не могу, не смею мешкать. Скажите, сударь, далеко ли до ближайшей деревни? Там я ее оставлю и не увижусь с моей ненаглядной, даже не узнаю о ней ничего целых три месяца, до моего возвращения.

Я потянула отца за рукав и горячо зашептала ему на ухо:

— Ой, папа, я тебя умоляю, попроси, пусть она останется здесь, с нами — это будет так чудесно! Пожалуйста, попроси!

— Если бы сударыня удостоила воспользоваться нашим гостеприимством и решилась доверить бедняжку на это время попечению моей дочери и ее опытной гувернантки мадам Перродон, а также моему присмотру, мы были бы польщены и одолжены и окружили бы ее неусыпными заботами, дабы оправдать столь высокое доверие.

— Нет, сударь, я не хочу злоупотреблять вашей любезностью и радушием, — отвечала дама несколько рассеянно.

— Напротив, сударыня, это вы окажете нам

величайшую любезность, в которой мы весьма нуждаемся. Дочь мою постигла жестокая утрата: она лишена судьбою дружбы, на которую давно уповала. Каким утешением стала бы для нее забота о больной ровеснице! К тому же до ближайшей попутной деревни вам ехать и ехать, а разве это можно в ее состоянии! Да там и нет подходящей гостиницы. Если вам и вправду никак невозможно задержаться, поезжайте, и честью заверяю вас, что здесь, как нигде, будут ей обеспечены уход и сердечная ласка.

Во всем облике незнакомки было столько властного достоинства и держалась она так непринужденно, что и не видя ее экипажа, нельзя было не признать в ней высокопоставленную особу.

Тем временем карету поставили на колеса, и лошади, теперь на удивление послушные, были запряжены.

Дама взглянула на свою дочь — вовсе не так любовно, как можно было ожидать; затем легким мановением руки отозвала моего отца на два-три шага в сторону и объяснила ему что-то сурово и строго, с выражением лица, вовсе не похожим на прежнее.

Я изумилась, что отец словно бы и не заметил

этой перемены, и мне было несказанно любопытно, что же она ему говорила почти на ухо так настойчиво и торопливо.

Это длилось минуты три, не более; затем она повернулась к дочери, лежавшей за несколько шагов от нее на руках мадам Перродон. Она опустилась перед нею на колени и прошептала, по мнению мадам, хранительное благословение ей на ухо; потом поспешно ее поцеловала и уселась в карету; дверцу затворили, лакеи в роскошных ливреях вскочили на запятки, передовые пришпорили коней, форейторы щелкнули бичами, лошади вздрогнули и тронулись крупной рысью, переходя в галоп; карета умчалась, и следом, не отставая, ускакали верховые.

Глава III
Мы обмениваемся воспоминаниями

Мы проводили глазами кортеж, быстро скрывшийся из виду в отуманенном лесу; тихий ночной воздух поглотил стук копыт и скрежет колес.

Можно было бы подумать, что все это нам пригрезилось, если бы не девушка на траве, которая в этот миг открыла глаза. Лица ее я не видела, она лежала спиною ко мне, но потом подняла

голову, должно быть, озираясь, и я услышала, как нежный голос жалобно спросил:

— А где мама?

Отозвалась наша добрая мадам Перродон: она объясняла и утешала. А та будто и не слышала, спросивши в ответ:

— Где же я? Что это за место? — и потом: — Карета, где карета? И где матушка?

Мадам Перродон терпеливо отвечала на ее вопросы, и девушка наконец вспомнила, как опрокинулась карета; она была рада, что все каким-то чудом обошлось благополучно, однако узнав, что мама оставила ее здесь на три месяца, горько заплакала.

Я готова была стать утешительницей вослед мадам Перродон, но мадемуазель де Лафонтен тронула меня за плечо.

— Не надо, — тихо сказала она, — два собеседника — это для нее сейчас слишком много. И всякое волнение ей вредно.

И верно, подумала я, вот уложат ее в постель, тогда сбегаю, посмотрю на нее.

Между тем отец послал за доктором, который жил в десяти милях от нас, и велел поскорее приготовить спальню.

Незнакомка поднялась и, опираясь на руку

мадам, медленно вошла по подъемному мосту в ворота замка. Служанки встретили ее на крыльце и повели наверх.

Обычно гостиной служила нам длинная зала с четырьмя окнами, глядевшими на ров и подъемный мост, на ту лесную прогалину, о которой я говорила.

Зала была обставлена старинной дубовой мебелью: огромные резные шкафы, кресла, обитые темно-красным утрехтским бархатом. По стенам гобелены в золоченых рамах — сцены псовой и соколиной охоты, празднества: фигуры в человеческий рост, забытые одежды былых времен. Это великолепие, однако же, нас вовсе не стесняло и ничуть не мешало нашим чаепитиям: ибо отец мой, всегдашний и упорный патриот, требовал, чтобы английский национальный напиток соседствовал на столе с кофе и шоколадом.

Мы сидели в озаренье свеч и обсуждали вечернее происшествие. За столом были и мадам Перродон, и мадемуазель де Лафонтен; юную незнакомку уложили в постель, и та сразу же уснула глубоким сном. При ней оставили служанку.

— Как вам нравится наша гостья? — спросила я мадам Перродон, едва та вошла. — Расскажите

мне о ней!

— Она мне очень нравится, — отвечала мадам, — хороша неописуемо; примерно ваших лет и такая милая, такая ласковая.

— Поистине спящая красавица, — подтвердила мадемуазель, которая успела одним глазком заглянуть в запретный покой.

— И какой нежный голос! — добавила мадам Перродон.

— А вы заметили женщину в карете, когда ее поставили на колеса: она и не выходила, только смотрела из окошка? — спросила мадемуазель.

Нет, мы ее не заметили.

Там, оказывается, сидела жуткая черная старуха в цветном тюрбане; она выглядывала в окошко, кивала, ухмылялась и злобно таращилась; глаза ее сверкали, а зубы были оскалены, точно в бешенстве.

— А заметили, каковы слуги? — спросила мадам.

— Да, — сказал отец, входя, — ни дать ни взять шайка висельников. Спасибо еще, если они не ограбят свою госпожу где-нибудь посреди леса. Но молодцы сноровистые, нечего сказать: как они мигом выправили карету!

— Да они устали, наверно, измучились в долгом

пути, — заметила мадам. — У них, пожалуй что, вовсе и не злодейские, а просто очень исхудалые, сумрачные и хмурые лица. Но, признаться, меня-таки разбирает любопытство. Ну, ничего — милая наша гостья завтра сама все расскажет, лишь бы пришла в себя.

— Вряд ли она вам что-нибудь расскажет, — проронил мой отец с загадочной улыбкой и слегка кивнув, будто ему было известно побольше нашего.

Я решила непременно допытаться, о чем же они говорили с дамой в черном бархате перед самым ее отъездом, и едва мы остались одни, принялась расспрашивать его. Он отмалчиваться не стал.

— Да уж ладно, скажу. Она огорчилась, что покидает дочь и обременяет нас заботами о ней; у дочери, прибавила она, хрупкое здоровье и нервы расшатаны, однако припадков у нее не бывает, галлюцинациям не подвержена — словом, вполне нормальна.

— Странно, честное слово! — вмешалась я. — Зачем было это говорить?

— Это ты у нее спроси, — рассмеялся отец. — И коли ты такая любопытная, дослушай, немного осталось. Она сказала: «Жизнь и смерть — слово „смерть“ она подчеркнула — зависят от моей

поездки, дальней, спешной и, главное, тайной. Я вернусь за дочерью через три месяца, и пока не вернусь, она ни словом не обмолвится о том, кто мы такие, куда и зачем едем». Вот тебе и все. Видно, это для нее очень важно: видела же, как быстро она умчалась! Боюсь, не сглупил ли я, принявши в дом ее дочь?

Я-то была в восторге. Я думала — ах, скорее бы с ней повидаться и поговорить! Приедет доктор — он, может статься, позволит. Вы живете в городе, вам и невдомек, что за счастье в нашей глуши новая, нежданная подруга!

Доктор приехал около часу ночи, но я не думала спать, какое там! Я так же не могла уснуть, как не смогла бы догнать карету, которая умчала герцогиню в черном бархатном платье.

Доктор спустился в гостиную с добрыми вестями. Она уже не лежала, а сидела, пульс выровнялся, чувствует себя хорошо. Ничуть не ушиблась, а легкий нервический шок прошел бесследно. Так что увидеться нам было позволено, если она согласна, — и я послала служанку узнать, нельзя ли наведаться к ней хоть на несколько минут.

Служанка тотчас вернулась и передала, что она только об этом и мечтает. Мечтать ей пришлось недолго, будьте уверены.

Гостью нашу поместили в одном из лучших покоев замка — пожалуй, чересчур пышном. За изножием кровати висел сумрачный гобелен — Клеопатра с аспидом у груди; другие стены также являли взору строгие и блеклые античные изображения. Впрочем, и мебель в золоченой резьбе, и пышное, затейливое, многоцветное убранство покоя скрашивали угрюмый вид старинных гобеленов.

Возле постели горели свечи. Она сидела, откинувшись на подушки, стройная и прелестная, в расшитом цветами шелковом стеганом капоте, которым ее мать укрыла ей ноги, когда она лежала без чувств.

Но едва я подошла к ней и вымолвила первое слово, которое было у меня на устах, как вдруг онемела и невольно отпрянула. Почему? Сейчас скажу.

Я увидела то самое лицо, которое возникло передо мною ночью в раннем детстве; я запомнила его до ужаса отчетливо и все эти годы с ужасом вспоминала, втайне от всех. Красивое, даже очаровательное лицо; и такое же печальное, как было тогда. Внезапно его озарила странная, тихая улыбка узнавания.

Мы промолчали с минуту, и наконец она заго-

ворила: я бы не смогла.

— Как удивительно! — воскликнула она. — Двенадцать лет назад я видела вас во сне, и с тех пор не могу забыть ваше лицо.

— Да, как удивительно! — эхом отозвалась я, одолевая ужас, оцепеневший язык. — Двенадцать лет назад, не знаю, во сне или наяву, я видела ваше лицо, и оно застыло у меня перед глазами.

Улыбка ее смягчилась, стала вовсе не странной, на щеках показались ямочки и ласковым пониманием просияли глаза.

У меня на душе полегчало, и я сказала все те радушные слова, которые приготовила: что она здесь желанная гостья, что ее случайное пребывание у нас — подарок судьбы, а для меня это просто счастье.

Я робко взяла ее руку — у меня ведь никогда еще не было подруги, — но, разговорившись, осмелела. А она отвечала крепким пожатием, жаркая ладонь легла на мое запястье, и взор ее вспыхнул; она взглянула мне в глаза, улыбнулась и покраснела.

По части любезностей она тоже не осталась в долгу. Я уселась возле нее на постели, все еще сама не своя, а она молвила:

— Я расскажу вам, как я вас увидела; это ведь,

право, так странно, что мы с вами в детстве приснились друг другу такими, каковы мы сейчас. Мне тогда было шесть лет, я очнулась от смутного тяжкого сна и оказалась в комнате, обшитой темными панелями, совсем не похожей на мою детскую. Кругом стояли шкафы, кресла и скамейки, кровати все пусты; в покое одна я. Оглядевшись, я приметила красивый двойной чугунный подсвечник — узнала бы его и сейчас — и полезла под кровать к окну, где он стоял; а выбравшись из-под кровати, вдруг услышала чей-то плач. Не вставая с колен, я подняла голову — и увидела вас, доподлинно вас, такую же, как вижу сегодня: юную красавицу, золотоволосую, с большими голубыми глазами, и губы — ваши губы — словом, тогда, как теперь. Я была очарована, я взобралась на постель, обняла вас, и мы, кажется, уснули вместе. Вскрик разбудил меня: это вскрикнули вы, почему-то сидя. Я испугалась, соскользнула на пол и, кажется, потеряла сознание, а когда пришла в себя, была снова в своей детской. Но ваше лицо мне осталось памятно: тут не сходство, нет. Вас-то я тогда и видела.

Настал мой черед рассказывать, и она ужасно изумилась.

— Вот уж теперь не знаю, кому кого бояться, —

сказала она, опять улыбаясь. — Были б вы не такая красивая, я бы очень вас испугалась, но вы самая красивая на свете, и обе мы еще так молоды… а я чувствую, что знакома с вами уже двенадцать лет, что это недаром; наверняка это значит, что нам с вами с раннего детства суждено стать подругами. Вы скажите — вы чувствуете, что вас так влечет ко мне, как меня к вам? У меня никогда не было подруги — неужели нашлась?

Она вздохнула, и ее дивные темные глаза нежно глядели на меня.

По правде говоря, я испытывала непонятное чувство. Да, меня к ней «влекло», это она верно сказала; и что-то меня в ней отталкивало. Однако же влечение было гораздо сильнее. Она очаровала и покорила меня: такая прекрасная, такая пленительная.

Я заметила, что силы покидают ее, и поспешила пожелать ей доброй ночи.

— Доктор велел, — сказала я, — чтобы горничная находилась при вас неотлучно. Есть у нас ночная служанка, вот вы увидите, она и расторопная, и вас не обеспокоит.

— Спасибо, какие вы заботливые! Только я не усну, если кто-нибудь будет в спальне. Нет, пожалуйста, не надо. Признаться, я боюсь грабителей.

Наш дом дважды ограбили и двух слуг убили, так что я теперь всегда запираюсь. Что делать, привыкла; умоляю, простите мой странный обычай. Вон и ключ, я вижу, в замке.

Ее нежные руки обвили меня, и она прошептала:

— Доброй ночи, дорогая, как мне не хочется расставаться, и все же доброй ночи. Завтра, только не слишком рано, увидимся.

Она откинулась на подушки, дивные глаза ее проводили меня печальным и ласковым взглядом, и она тихо повторила:

— Доброй ночи, милая моя подруга.

В юности сближаются и влюбляются нечаянно. Меня обворожила ее нежданная и горячая нежность. Я была польщена ее мгновенным доверием и почувствовала себя избранницей.

Настало утро, и мы увиделись. Моя новая подруга все больше восхищала меня. При дневном свете она была еще краше, глаз не оторвешь; а что я накануне испугалась ее лица, виденного в детском сне, так испугалась от неожиданности, и всякий испуг прошел. Она призналась мне, что и сама была поражена, когда увидела и узнала меня — потом-то с радостью, а сперва, как и я, с безотчетной неприязнью.

И мы обе посмеялись над нашими глупыми страхами.

Глава IV
Ее облик и нрав. Прогулка

Я сказала, что меня почти все в ней пленяло; однако же кое-что и смущало.

Для начала опишу ее. Она была выше среднего роста, стройная и удивительно грациозная. Только уж очень томная — чересчур томная, подчас даже вялая, хоть с виду вовсе не больная. Румяным и свежим было ее точеное личико, большие темные глаза сверкали; а когда она распускала по плечам свои длинные густые волосы, мягкие и шелковистые, темно-каштановые с золотистым отливом, я, бывало, взвешивала их на руке и смеялась от изумления. Я любила смотреть, как они ниспадают тяжелой волной, когда подруга моя полулежала в кресле; я слушала ее тихий нежный голос, заплетая и расплетая пышные пряди. Господи! Если б я знала!

Так что же меня все-таки смущало? Доверчивость ее покорила меня в первый же вечер, но потом я заметила, что о себе, о своей матери, о своем детстве — словом, обо всем, что связано

с ее жизнью, надеждами, родней, она не проговаривалась ни словом. Конечно, не надо было допытываться, нехорошо это было, раз моему отцу это столь сурово запретила дама в черном бархатном платье. Но ведь любопытство неотвязно, как страсть, и ни с чем не считается: легко ли девушке стерпеть неутоленное любопытство? Я так жаждала узнать о ней побольше — кому какой вред был бы от этого? Что она, считала меня безрассудной или бесчестной? Я же клятвенно обещаю: ни единой живой душе ни слова — почему она мне не верит?

Не по летам ей, казалось, такое спокойствие и грустное упорство, с каким она отказывалась приоткрыть мне хоть краешек своей жизни.

Споров об этом у нас с нею не было: она ни о чем никогда не спорила. Зря я к ней приставала, бессовестно и невежливо, а главное — попусту; но совладать с собой не могла. И я удрученно подумала, что не знаю о ней ничего. Всего-то я и выведала: во-первых, что ее зовут Кармиллой; во-вторых, что род ее древний и знатный; в-третьих, что живут они где-то на западе. Она скрыла их родовое имя, отказалась описать родовой герб; я не знала, как зовутся их владения, не знала даже, где они, в какой стране.

Не думайте, однако, что я к ней с этим без конца приставала: лишь при случае, и то скорее намекала. Раз-другой спросила напрямик и наткнулась на ту же стену. Тщетны были упреки и уговоры. Но она избегала ответов с такой грустной укоризной, так нежно ласкалась ко мне, обещая, что со временем я все-все узнаю — ну разве можно было на нее долго обижаться!

Она обвивала мою шею нежными руками, притягивала меня к себе и, щека к щеке, горячо шептала мне на ухо:

— Милая, твое сердечко ранено; не думай, что я жестокая оттого, что повинуюсь непреложным законам силы моей и слабости; вместе с твоим раненым сердцем кровоточит и мое. Изнемогая от страстного самоунижения, я погружаюсь в твою теплую жизнь, и ты умрешь, так сладостно умрешь, слившись со мною. Что будет, то будет: сейчас тебя влечет ко мне, а ты будешь, в свой черед, привлекать других и узнаешь жестокую негу, с которой любовь нераздельна. Потерпи немного, не допытывайся; доверься мне, слушайся своей влюбленной души.

Так она увещевала меня и трепетно прижимала к себе, и нежные поцелуи обжигали мою щеку.

Не понимала я ни ее речей, ни волненья. Эти

жаркие ласки — впрочем, нечастые — меня ужасно смущали, мне хотелось высвободиться, однако сил не хватало. Ее вкрадчивый голос убаюкивал, я забывалась и приходила в себя, лишь когда она разжимала объятья.

Да, все это мне не нравилось. Меня томило непонятное волненье, мне было и сладко, и страшно, и немного противно. Я словно бы забывалась — и любовь моя к ней доходила до обожания, чем-то отвратительного. Несуразица, конечно: но разъяснять не стану.

Пишу я через десять с лишним лет, дрожащей рукой записываю сбивчивые, жуткие воспоминания о пережитом. Многое забылось — я ведь не понимала, как испытывает меня судьба, — но главное я помню ярко и отчетливо. Впрочем, это, наверно, у всех так: когда чувства заглушают и замутняют рассудок, потом едва догадываешься, что было на самом деле.

Иногда, пролежав час-другой без движенья, моя скрытная красавица-подруга брала меня за руку и сжимала ее все нежнее и крепче; лицо ее розовело, она впивалась в мои глаза томным горящим взором и дышала так часто, что оборки на ее груди трепетали. Это было похоже на любовный пыл; я стыдилась, но противиться не могла;

жадные глаза притягивали меня, я поникала в ее объятиях, жаркие влажные губы скользили по моим щекам, и она прерывисто шептала:

— Ой, ты моя, ты будешь моей, мы будем с тобой вместе навечно.

Потом она снова откидывалась в кресле, закрыв глаза маленькими ладонями, а я не могла унять дрожь.

— Разве мы с тобой кровная родня? — спрашивала я. — О чем ты говоришь? Верно, я напоминаю тебе о возлюбленном — и все же не надо, не надо так говорить и так ласкаться ко мне: я тебя не понимаю и сама себе становлюсь непонятна.

У меня был такой голос, что она горько вздыхала, отворачивалась и выпускала мою руку.

Напрасно я силилась как-то объяснить эти ее порывы — добро бы она притворялась! Нет, ни малейшего притворства: брала свое неподдельная, подавленная страсть. Но может, хоть мать ее и утверждала обратное, она все-таки подвержена галлюцинациям? Или она переодетая, как в одном старом романе? Что если влюбленный юноша ищет моей любви в женском обличьи по совету и с помощью ловкой старой сводни? Но уж очень все не сходилось, хоть и льстило моему тщеславию.

Поминутными знаками внимания, какими одаряет мужская любовь, она меня не баловала. Минуты страстной нежности проходили, и она была то спокойная, то веселая, то опечаленная, и тогда мне казалось, что я ей совсем безразлична: правда, порой я ловила взгляд, скорбный и огненный, провожавший меня. Девушка как девушка: лишь приливы таинственного волнения ее меняли. И всегда медлительно томная, мужчины такими не бывают.

Странные у нее были привычки. Вам, городским, может, и покажется, что ничего особенного, но мы-то деревенские. Она спускалась в гостиную очень поздно, обычно далеко за полдень, выпивала чашку шоколада, а есть не ела. Потом мы с ней шли гулять, но она быстро уставала, и мы либо возвращались в замок, либо отдыхали в ближнем лесу на скамейке, благо их там хватало. Ум ее как бы противился телесной немощи: говорила она живо и очень умно.

Иногда она мельком упоминала о родном доме, рассказывала какую-нибудь историю, описывала памятное с детства происшествие — и вырисовывались люди не здешние, живущие иными обычаями, вовсе нам незнакомыми. Должно быть, она приехала издалека; поначалу это было

непонятно.

Однажды мы так сидели в лесу, и мимо нас потянулась похоронная процессия. Хоронили дочку нашего лесника, очень милую девушку, я ее часто видела. Согбенный безутешным горем отец понуро брел за гробом единственного своего ребенка. Крестьяне шли следом по двое и пели погребальную песнь.

Я почтительно встала и присоединилась к тихому песнопению.

Моя подруга вдруг дернула меня за рукав, и я изумленно обернулась к ней. Она сказала сухо и резко:

— Ты что, не слышишь, как они фальшивят?

— Да нет, по-моему, очень стройно поют, — возразила я, озадаченная и огорченная: не хватало, чтобы заметили наши неуместны перекоры!

И снова запела вместе с ними, но Кармилла оборвала меня еще резче.

— Не терзай мне слух! — сердито сказала она и заткнула уши пальчиками. — Да почем ты знаешь, что мы с тобой одной веры? Мне ваши обряды противны, и похороны я ненавижу. Какая дурацкая суета! Зачем она? Ты тоже умрешь, и все умрут, и чем скорее, тем лучше. Пойдем домой.

— Отец со священником на кладбище. Я думала,

ты знаешь, что ее сегодня хоронят.

— Ее? Кого это — ее? Какое мне дело до крестьян! Не знаю, кто она такая.

— Бедненькая, ей тому с полмесяца привиделся призрак; она захворала и вчера умерла.

— Не говори мне о призраках, я спать не буду.

— Минуй нас мор и погибель, но похоже, что не минуют, — продолжала я. — Молодая жена свинопаса умерла неделю назад: ей померещилось, будто кто-то во сне впился ей в горло, и она чуть не задохнулась. Папа говорит, что в гнилой горячке чудятся всякие ужасы. Накануне она была совсем здорова — и вот, исчахла за неделю.

— Ну, ее-то, надеюсь, уже похоронили, напелись над нею и не будут изводить нас заунывным воем и мужицким наречием. Ох, как я переволновалась. Сядь со мною рядом, поближе, возьми мою руку, сожми ее — крепче — еще крепче.

Мы пошли к замку, и она едва добрела до следующей скамейки, опустилась на нее — и я в страхе оцепенела. Лицо ее стало иссиня-черным; она стиснула зубы и кулаки, насупилась, сжала губы, уставилась в землю и затряслась, как в лихорадке. Изо всех сил старалась она, задыхаясь, подавить этот приступ; наконец у нее вырвался сдавленный мучительный вопль, и она понемно-

гу успокоилась.

— Ну вот! — проговорила она. — Погребальные песнопения до добра не доводят! Держи, держи мою руку. Прошло, почти прошло.

Потом и совсем прошло; и, наверно, чтоб сгладить тяжелое впечатление, она необыкновенно оживилась и разговорилась.

Впервые я вспомнила слова ее матери о ее хрупком здоровье, и впервые она почти рассердилась. Но через полчаса нездоровья и гнева как не бывало: точно растаяло летнее облачко. Лишь однажды случилось ей вновь прогневаться. Об этом стоит рассказать.

Мы сидели с нею у одного из высоких окон гостиной, когда во двор замка вошел через подъемный мост бродяга, мне хорошо знакомый. Он к нам обычно наведывался раза два в год.

У него было длинное угловатое лицо горбуна с острой черной бородкой и ухмылкой от уха до уха, обнажающей белые клыки. Желтое, черное, красное тряпье облекало его; на перевязях, ремнях и подпоясках болтались всевозможные побрякушки. За спиной у него висел волшебный фонарь и два короба: в одном, я знала, была саламандра, в другом — мандрагора. Отец очень смеялся над этими чудищами, искусно сшитыми из резаных

чучел обезьян, попугаев, белок, рыб и ежей. Была при нем скрипка, колдовской ящик, две рапиры и маски у пояса, еще какие-то мешочки и сумки; в руке он держал черный посох с медными ободьями. За ним бежал по пятам приблудный пес; у моста он вдруг замер и жалобно завыл.

Между тем бродяга остановился посреди двора, приподнял свою невиданную шляпу и отвесил нам церемоннейший поклон, рассыпавшись в комплиментах на смехотворном французском и таком же немецком наречиях. Потом он извлек свою скрипку и запиликал на ней, весело припевая вовсе не в такт и отплясывая с такими дурацкими ужимками, что я не могла не рассмеяться, несмотря на заунывный песий вой.

Он, ободренный, подскочил к окну, ухмыляясь и паясничая, со шляпой в левой руке и скрипкой под мышкой, тараторя без умолку: обещал позабавить нас чудесами проворства и ловкости рук, предлагал на выбор диковинки, которых, по его словам, у него было видимо-невидимо.

— Да вот не угодно ли купить амулеты против упыря, который, слышал я, волком рыщет по здешним лесам, — сказал он, обронив шляпу на плиты. — Кругом люди мрут, а мой талисман обережет вас как нельзя лучше: приколите его к

подушке и хоть смейтесь упырю в лицо.

Талисманы оказались полосками пергамента с кабалистической цифирью и диаграммами, и мы с Кармиллой тут же ими обзавелись.

Он глядел на нас снизу вверх, а мы улыбались ему; я-то во всяком случае. Его пронзительные черные глаза точно что-то вдруг разглядели, и он раскрыл кожаную сумочку со стальными инструментами.

— Изволите видеть, сударыня, — обратился он ко мне, — я ведь еще и зубы врачую. Да чтоб тебя, псина! — прикрикнул он. — Замолкнешь ты или нет? Ишь, развылся — барышням ничего не слышно! У вашей любезной, прекрасной подруги вырос такой длинный острый клык, сущее шило, игла, ха-ха-ха! Глаз у меня верный и зоркий, я снизу увидел и думаю — барышне-то во рту, небось, неудобно, а я вот он, вот у меня напилочек, бородочка, щипчики, я живенько сточу и скруглю этот зубик, с позволения барышни, и будет он не как у рыбки, а под стать молодой красавице. Э-гей! Неужто барышня обиделась? Я ведь со всем почтением, я — чтобы сделать как лучше!

А барышня и правда, отпрянув от окна, яростно сверкнула глазами.

— Бездельник, негодяй — как он смеет нас

оскорблять? Где твой отец? Я этого так не оставлю! Да мой отец велел бы вздеть его на дыбу, исполосовать кнутом и заклеймить на память!

Она отошла шага на два и опустилась в кресло, но едва обидчик исчез из виду, как внезапный гнев ее улетучился, голос стал прежним, и дерзкий горбун с его ужимками был забыт.

Отец вернулся не в духе. Он рассказал нам, что объявилась третья жертва той же загадочной хвори. Сестра молодого крестьянина из нашего поместья, всего за милю от нас, тяжело занемогла — опять-таки после ночного удушья — и вряд ли поправится, ей хуже и хуже.

— Причины тут наверняка самые естественные, — сказал отец. — Но поверья — они как поветрие, вот бедняги и повторяют соседские россказни об ужасных призраках.

— Да это ведь и вправду ужасно, — возразила Кармилла.

— Как так? — удивился отец.

— Ужасно такое воображать; вообразишь — и сбудется.

— Мы в руках Божиих; без воли Его не падет и волос, и для тех, кто возлюбит Его, все кончится хорошо. Мы — Его творение, и Он не оставит нас своею милостью.

— Творение! Естественные причины! — насмешливо повторила юная девица слова моего доброго отца. — А как же иначе: ведь недуг, поразивший ваши края, входит в состав творенья и, стало быть, имеет естественные причины. И в небесах, и на земле, и под землей все повинуется законам естества — разве нет?

— Сегодня обещал приехать доктор, — сказал отец, помолчав. — Узнаем, что он думает об этом недуге и спросим его совета.

— Я от докторов никогда толку не видела, — сказала Кармилла.

— Ты, значит, была очень больна? — спросила я.

— Была — и ты еще так не болела, — отозвалась она.

— Давно?

— Да, очень давно. Меня поразил этот самый недуг — я помню боль и слабость; но может статься, бывают хвори и пострашнее.

— Это еще совсем в детстве?

— Да, да; не будем говорить об этом. Ты же не хочешь огорчать подругу? — она ласково взглянула мне в глаза, нежно обняла за талию и увела из комнаты. Отец сидел у окна и разбирал какие-то бумаги.

— Зачем твой папа нас пугает? — спросила она со вздохом и легкой дрожью.

— Нет, дорогая Кармилла, он и не думает нас пугать.

— И ты не боишься, милая?

— Конечно, боялась бы, если б думала, что мне грозит участь этих бедняжек.

— Ты боишься смерти?

— Кто же ее не боится?

— Но ведь можно умереть, как влюбленные, — умереть вместе и слиться навеки. В этом мире девушки все равно что гусеницы: потом они станут бабочками или мотыльками, но сперва надо превратиться в куколку или там в личинку — у всех по-разному, но судьба общая. Так пишет мсье Бюффон в той большой книге, что стоит на полке в соседней зале.

К вечеру приехал доктор, и они уединились с папой. Он был опытный врач, лет шестидесяти с лишним, всегда напудренный и выбритый глаже некуда. Когда они вышли из комнаты, я услышала, что папа смеется:

— Ну-ну, — говорил он, — удивили же вы меня, доктор. А как насчет гиппогрифов и драконов?

С улыбкой покачав головой, доктор ответил:

— Не берусь судить; зато жизнь и смерть —

непроницаемые загадки, и мы не знаем, что за ними кроется.

Они прошли мимо, и больше я не слышала ни слова. Тогда я не поняла, что имеет в виду доктор; теперь, кажется, догадываюсь.

Глава V
Удивительное сходство

В тот же вечер из Граца приехала повозка, груженная двумя большими ящиками; строгий и смуглолицый сын живописца-реставратора привез наши картины. До Граца было тридцать миль, он у нас считался хоть и маленькой, но столицей, и если уж оттуда кто приезжал, то все домочадцы толпой собирались вокруг него — послушать новости.

Словом, в нашем захолустье это был настоящий праздник. Ящики внесли в нижнюю залу, и слуги повели дорогого гостя ужинать. Потом мы собрались в зале; он вооружился молотком, стамеской и отверткой и принялся распаковывать ящики.

Кармилла безучастно глядела, как обновленные картины, большей частью портреты, одна за другой озарялись свечами. Моя мать была из древнего венгерского рода, и почти все эти кар-

тины, которые мы хотели развесить, как прежде, достались нам от нее.

Отец читал по списку, а художник извлекал нумерованные картины из ящика. Не знаю, хороши ли они были, но старинные без сомнения, а некоторые приковывали взор тем более, что я впервые могла их разглядеть — раньше они были совсем закопчены и запылены.

— Что-то я не вижу одной картины, — сказал отец. — В ее верхнем углу, помнится, была надпись; насколько я разобрал, «Марция Карнштейн» и дата — 1698-й. Любопытно, как она теперь выглядит.

Художник достал ее и горделиво предъявил. Я ахнула: женщина изумительной прелести, казалось, вот-вот оживет. Это был портрет Кармиллы!

— Кармилла, дорогая, ну и чудеса! Ты же совсем, как живая — улыбаешься, смотришь, сейчас заговоришь. Какая красота, папа! Смотри, даже родинка на горле.

Отец рассмеялся и сказал:

— Да, удивительное сходство, — но вроде бы не очень и дивился: почти тут же отвел глаза и продолжал беседу с реставратором, который, видно, был и живописцем, и знатоком живописи. Они

обсуждали портреты и другие картины, вновь засиявшие красками; а я никак не могла прийти в себя от изумления.

— Папа, можно я повешу этот портрет у себя в спальне? — спросила я.

— Конечно, милая, — с улыбкой сказал он. — Я очень рад, что тебе видится такое дивное сходство. Значит, портрет еще прекраснее, чем я думал.

Кармилла не обратила внимания на эту любезность, будто не расслышала ее. Она откинулась в кресле, и ее чудные глаза, затененные длинными ресницами, были устремлены на меня; она блаженно улыбалась.

— Кстати же, — сказала я, — теперь можно как следует разглядеть надпись золотыми буквами в верхнем углу. Имя вовсе не Марция, а Миркалла, графиня Карнштейн; над титулом маленькая корона, а внизу — Anno Domini 1698. Я ведь и сама из рода Карнштейнов, — это я Кармилле, — ну, с материнской стороны.

— А-а! — протянула она. — И я тоже им отдаленная, очень отдаленная родня. А сейчас Карнштейнов в живых не осталось?

— Род их заглох. Мужчины, кажется, все погибли во время гражданских войн, уже давно,

однако развалины замка сохранились, они мили за три от нас.

— Как интересно! — вяло промолвила она. — Ты посмотри, какая луна! — она глядела в приоткрытую дверь залы. — Может, немного погуляем, полюбуемся на дорогу и на реку?

— В такую же лунную ночь ты приехала, — заметила я. Она с улыбкой вздохнула, поднялась, и мы, обняв друг друга за талию, вышли во дворик, медленно, в молчании, миновали подъемный мост — и перед нами открылся осиянный луной пейзаж.

— А ты вспоминаешь, как я приехала? — полушепотом спросила она. — И радуешься?

— Не нарадуюсь, дорогая Кармилла, — отвечала я.

— И ты попросила повесить у себя в спальне портрет, будто бы на меня похожий, — проговорила она со вздохом, теснее обняв меня, и уронила прелестную головку мне на плечо.

— Какая ты романтичная, Кармилла, — сказал я. — Могу себе представить, что за повесть ты расскажешь мне когда-нибудь.

Она молча поцеловала меня.

— Ой, Кармилла, наверно, ты была влюблена, да и теперь, должно быть, кого-то любишь всем

сердцем.

— Никого я никогда не любила и не полюблю, — прошептала она, — кроме тебя.

Как прекрасна была она в лунном свете! Как робко и жадно она зарылась лицом в мои волосы у затылка; бурные вздохи казались чуть не рыданиями; она трепетно сжимала мою руку. Ее нежная щека пылала.

— Милая, милая, — простонала она. — Я жива тобою; и ты умрешь ради меня, ради моей любви.

Я отпрянула — и встретила ее потухший, невидящий взор; бескровное лицо точно увяло.

— Холодом повеяло, да? — сонно спросила она. — Меня бьет дрожь; я не задремала? Пойдем домой, пойдем скорее.

— Ты уж не больна ли, Кармилла? Тебе, видно, плохо стало. Глоток вина не повредил бы.

— Да, верно. Мне уже лучше. Через несколько минут я совсем-совсем приду в себя. Ты права — дай мне глоток вина, — отвечала мне Кармилла, когда мы подходили к крыльцу. — Только погоди, давай оглянемся и постоим немного: может, это наше с тобой последнее полнолуние.

— Кармилла, дорогая, ты как себя чувствуешь? Тебе взаправду лучше? — спросила я, насмерть

перепугавшись: уж не подхватила ли она здешнюю неведомую хворь?

— Знаешь, как папа огорчится, — прибавила я, — если подумает, что ты пусть даже слегка прихворнула, а от нас скрываешь? Тут неподалеку живет очень хороший доктор — вот который сегодня приезжал к папе.

— Да, да, верно, он хороший доктор. Я знаю, какие вы добрые: но, миленькая моя, ведь я вовсе не заболела, просто слабость напала. Это со мной бывает; сил у меня немного, я быстро утомляюсь. Трехлетний ребенок и тот пройдет больше меня. Но утомляюсь я ненадолго — видишь, я снова такая, как обычно.

В самом деле, она оживилась, и мы болтали без умолку; наваждение — как я называла про себя ее страстные речи и взоры, смущавшие и даже пугавшие меня — исчезло.

А наутро… наутро мне было не до наваждений, да и Кармилла точно встрепенулась.

Глава VI
Таинственная истома

В тот вечер мы отправились в гостиную, где нас ждали кофе и шоколад, и хотя Кармилла ни к

чему не притронулась, но была и правда «такая, как обычно». Мадам Перродон и мадемуазель де Лафонтен предложили сыграть в карты, а во время игры подошел и папа, как он говорил, «почаевничать на ночь».

Когда мы доиграли, он сел на диване рядом с Кармиллой и спросил с легкой тревогой в голосе, не было ли хоть какой-нибудь весточки от ее матери.

— Не было, — отвечала она.

Тогда он спросил, не знает ли она, куда бы ей послать письмо.

— Трудно сказать, — ушла она от ответа, — впрочем, ведь я собираюсь вас покинуть, я и так уже злоупотребила вашим гостеприимством и добротою. Я причинила вам столько хлопот… Хорошо бы завтра же нанять карету и поехать следом за нею: я знаю, где она в конце концов непременно окажется, хоть и не смею вам это открыть.

— Об этом и думать нечего! — воскликнул мой отец к моему великому облегчению. — Нам горько будет с вами расстаться, да я вас никуда и не отпущу до возвращения матери — иначе я обманул бы оказанное мне огромное доверие. Другое дело, если бы она дала о себе знать и я мог бы с

нею посоветоваться: я ведь за вас в ответе, милая вы наша гостья, а нынешние новости насчет этого загадочного недуга очень неутешительны. Я, конечно, приму все меры; и вы ни в коем случае нас не покинете, разве что мать ваша напрямик этого потребует. Только такой ценой мы вас отпустим — и то с превеликой печалью.

— Несказанно благодарна вам, сударь, за ваше гостеприимство, — отвечала она, застенчиво улыбаясь. — Вы все так добры ко мне; за всю мою жизнь я не бывала так счастлива, как в вашем чудном дворце, с вашей милой дочерью, под вашим ласковым попечением.

Тронутый ее словами, он с улыбкой и как-то по-старинному галантно поцеловал ей руку.

Я, как всегда, проводила Кармиллу в ее спальню; она прибиралась ко сну, и мы разговаривали.

— Ты как все-таки думаешь, — спросила я наконец, — ты когда-нибудь доверишь мне свои тайны?

Она обернулась и молча, с нежной улыбкой глядела на меня.

— Не хочешь отвечать? — сказала я. — Ну да, не можешь сказать ничего хорошего, так молчи. Что же я, право, пристаю к тебе с дурацкими вопросами.

— Спрашивай меня, о чем хочешь. Ты еще не знаешь, как ты мне дорога, а то бы не думала, будто я от тебя хоть что-нибудь скрою. Но я словно под заклятьем, обеты мои крепче монашеских, и пока что я не могу довериться даже тебе. Но время близится, скоро ты все узнаешь. И буду я у тебя жестокая, и буду себялюбивая: но ведь любовь всегда себялюбива, и чем она нежнее, тем себялюбивее. Любя меня, ты пойдешь со мною на смерть; или пойдешь со мною, ненавидя меня — перед смертью и за смертным порогом. Все равно — любовь или ненависть, лишь бы не равнодушие.

— Знаешь, Кармилла, ты опять едва ли не бредишь, — поспешно прервала я.

— Да, я глупенькая, я непонятливая, я причудница; хорошо, давай ради тебя я на полчаса поумнею. Ты на балах бывала?

— Нет, что ты. А какие они, балы? Вот уж, наверно…

— Да я и не помню, давно это было. Я рассмеялась.

— Тоже мне, старуха. Свой первый бал не помнит.

— Да нет, я все помню — вернее, с трудом припоминаю. Ну, точно пловец ныряет и смотрит из

глубины сквозь зыбкую прозрачную толщу. Однажды ночью жизнь замутилась, и поблекли все цвета. Убили меня или нет, не знаю, но ранили, ранили сюда, — она показала на грудь, — и с тех пор я стала другая.

— Ты что — умирала?

— Да, умирала: любовь жестока. Любовь требует жертв. Жертвы требуют крови. Что за жертва без крови? Нет, давай лучше спать, я устала. Надо ведь еще встать, запереть за тобою дверь.

Она лежала щекой на подушке, утопив тонкие руки в пышных густых волосах; ее сверкающие глаза следили за мной, и она загадочно улыбалась.

Я медленно вышла из спальни с какой-то тяжестью на сердце.

Я часто задумывалась, молится ли она. Я ее на коленях не видела. Утром мы вчетвером молились задолго до ее появления, и она ни разу не вышла из гостиной на общую вечернюю молитву в нижней зале.

Если бы не случилось мне однажды услышать, что она была крещена, я бы и вообще не знала, христианка она или нет. Никогда ни слова не сказала она о религии. Мне, простушке, было невдомек, что религия нынче не в моде, а то бы

я не удивлялась.

Боязнь заразительна, и у близких людей непременно появляются общие страхи. Я как-то незаметно переняла привычку Кармиллы запираться от ночных лиходеев и обыскивать спальню — не затаились ли где убийцы или грабители.

Оборонившись от страхов, я легла в постель и заснула. В покоях горела свеча, я к этому привыкла с малолетства; с тех самых пор я ни разу не спала в темноте.

Так что можно было спать спокойно. Однако сны легко проникают сквозь толстые каменные стены, освещают темные покои или омрачают светлые, и обитатели снов приходят и уходят, когда хотят, запоры им нипочем.

В ту ночь меня посетил страшный сон: он стал началом таинственной истомы.

Не назову его кошмаром — я твердо знала, что сплю. И во сне лежала в своей постели, как и наяву. Мне грезилась привычная спальня, и все было как всегда, только темно, и у изножья кровати копошилось какое-то существо. Я пригляделась: оно было угольно-черное, вроде громадной кошки, в пять или шесть футов; оно закрывало весь каминный коврик, прохаживаясь по комнате взад-вперед мягко, хищно и неуто-

мимо, как зверь в клетке. Я не могла вскрикнуть, хотя была, конечно, насмерть перепугана. Оно расхаживало все быстрее, и комната погружалась в кромешный мрак; огромные горящие глаза приблизились к моим, и жгучая боль пронизала мне грудь, точно в нее впились две длинные иглы. Я с воплем проснулась. В покое горела свеча, и справа у изножья кровати стояла женщина в темном просторном одеянии; распущенные волосы ниспадали ей на плечи. Стояла она неподвижно, как изваяние, неподвижно и мертвенно. Оцепенев, глядела я на нее, а она отдалилась, потом оказалась у двери; дверь медленно приоткрылась, и она исчезла.

Оцепенение спало. Я подумала, а вдруг это Кармилла зашла ко мне среди ночи в незапертую дверь — напомнить, чтоб я запирала. Я подбежала к двери: она была заперта, как обычно, изнутри. Отпирать ее, выглянуть я не отважилась — очень уж было страшно. Я запрыгнула обратно в постель, укрылась с головой и ни жива ни мертва дожидалась утра.

Глава VII.

Нисхождение

Не стоит описывать ужас, с каким я поныне вспоминаю ту ночь. Страхи, навеянные снами, проходят, а этот становился все мучительнее, и я страшилась комнаты, страшилась даже мебели, среди которой явился призрак.

На другой день я боялась хоть на миг остаться одна. Папе я ничего не сказала: вдруг бы он надо мной посмеялся, а это было бы нестерпимо обидно, или же, напротив, решил бы, что на меня напала здешняя загадочная хворь. Сама я этого ничуть не опасалась, но отец был давно уж не слишком здоров, и волновать его не стоило.

Немного успокоили меня мои милые гувернантки — добрая мадам Перродон и бойкая мадемуазель де Лафонтен. Они заметили, что я сама не своя, растеряна и перепугана. Наконец я им открылась.

Мадемуазель хохотала, но мадам Перродон, похоже, была встревожена.

— Кстати, — смеялась мадемуазель, — знаете ли, что по липовой аллее за окном спальни Кармиллы разгуливает призрак!

— Что за вздор! — воскликнула мадам, которой, видимо, такие байки показались неуместны-

ми, — кто это вам сказал, дорогая?

— Мартин говорит, что он там дважды проходил перед рассветом — чинили садовую калитку — и оба раза видел в аллее женскую фигуру.

— Подумаешь, ужасы! Да просто коровницы под утро ходят доить на приречный луг.

— Конечно, однако же Мартин, олух несчастный, едва не трясся от страха.

— Вы только не обмолвитесь об этом Кармилле, — вмешалась я, — ей же видно эту аллею из окна, а она, пожалуй, трусиха пуще меня.

Кармилла спустилась позже обычного.

— Я так перепугалась ночью, — сказала она, когда мы остались наедине, — еще и не то, наверно, было бы, если б не этот амулет, купленный у бедняжки горбуна, с которым я так грубо обошлась. Мне снилось, будто какая-то черная тварь кружит возле моей кровати, я очнулась в ужасе, и мне померещилась темная фигура у камина, но я нащупала под подушкой амулет, и фигура тотчас исчезла. Я уверена, не будь этого талисмана, появился бы какой-нибудь жуткий призрак и, может статься, задушил бы меня, как всех этих бедных людей.

— А теперь послушай меня, — и я рассказала о своих ночных видениях; она выслушала с явным

испугом.

— А талисман был при тебе? — озабоченно спросила она.

— Нет, я его бросила в китайскую вазу в гостиной, но возьму на ночь с собой, раз уж ты так в него веришь.

Теперь я не могу ни объяснить, ни даже понять, как это я одолела страх и осталась вечером одна у себя в спальне. Ясно помню, что приколола амулет к подушке, уснула почти сразу же и спала крепче обычного.

Так же минула и следующая ночь: сон мой был глубокий и безмятежный. Проснулась я, правда, вялая и чем-то опечаленная, но и в том, и в другом была своя прелесть.

— Ну вот, я же говорила тебе, — заметила Кармилла, когда я рассказала ей, как мне спокойно спалось. — Я тоже прекрасно спала; я приколола амулет к сорочке, а то прошлой ночью он был слишком далеко. Все прочее, кроме снов, конечно, выдумки. Я раньше думала, что сны насылают злые духи, но наш доктор сказал, что ничего подобного: это просто к нам подступают разные хвори, не могут проникнуть внутрь и, отлетая, в отместку тревожат нас сновиденьями.

— Тогда зачем же талисман? — спросила я.

— А он обкурен или пропитан каким-то снадобьем от малярии.

— Он, значит, действует только на тело?

— Разумеется; ты думаешь, злых духов можно отпугнуть клочком пергамента или лекарственным запахом? Нет, это болезни бродят около нас, задевают нервы и добираются до мозга, но снадобье вовремя отгоняет их. Вот и вся тайна талисмана. Даже не тайна, а разгадка, тут нет никакого волшебства.

Я хоть и не вполне, а все-таки соглашалась с Кармиллой, старалась соглашаться, и страшное впечатление немного сгладилось.

Ночь за ночью я крепко засыпала; но каждое утро просыпалась истомленная и весь день изнемогала от слабости. Я чувствовала, что я стала совсем другой. Странная печаль овладевала мною, какая-то отрадная печаль. Появилось смутное предвидение смерти, и оно было похоже на манящее ожидание, пусть грустное, однако же и сладостное. Я угасала, и душа моя не противилась этому.

Я не хотела сознаваться, что больна, не хотела ничего говорить папе, и доктор мне был не нужен.

Кармилла прямо-таки лелеяла меня, и присту-

пы томного обожания повторялись все чаще. Чем больше слабела я душою и телом, тем жарче был ее нежный пыл. Меня он по-прежнему смущал: казалось, ее охватывало безумие.

Неведомая и небывалая болезнь, которой я не желала замечать, зашла очень далеко. Сперва в ней была сокровенная прелесть, даже и в самом изнеможении. Пленительней и пленительней становилась эта прелесть, но постепенно к ней примешалось чувство бездонного ужаса; оно, как вы сейчас узнаете, обесцветило и обессмыслило всю мою жизнь.

Начиналось нисхождение в преисподнюю; но прежде появилось новое ощущение, странное и довольно приятное. Я засыпала, и внезапно по жилам пробегал холодок, словно я плыла против течения. Но потом меня затягивали нескончаемые сны, такие смутные, что в памяти не оставалось ни лиц, ни мест, ни происшествий, лишь томительная жуть; я была так обессилена, точно долго была в опасности и вынесла неимоверное душевное напряжение. Вспоминалось еще, что в сумраке я говорила с невидимками; и ясно слышался как бы издали медленный женский голос, звучный и властный, вселявший в меня неописуемый ужас. Иногда я чувствовала

на щеке и шее чью-то мягкую руку. Иногда чьи-то теплые губы медлительным, нежным поцелуем добирались до горла. Сердце мое колотилось, я прерывисто дышала всей грудью, потом задыхалась от рыданий и в мучительной судороге обмирала.

Так прошли три недели, и по моему лицу стало видно, чего они мне стоили: я сделалась бледна, как мел, черные тени легли под запавшими глазами. Сказалась и постоянная расслабленность: я еле двигалась.

Отец все время спрашивал, не больна ли я, а я упрямо — теперь сама не знаю, почему, — твердила, что я совершенно здорова. И то сказать: ничего у меня не болело — на что мне было жаловаться? На воображение? На нервы? Мучилась я ужасно, но, видно, мученья мне были желанны, и я с болезненным упорством не хотела никому ничего объяснять.

Это была не та гибельная хворь, которую поселяне называли «упырь»: ведь я мучилась уже три недели, а они отмучивались через три-четыре дня.

Кармилла жаловалась мне на дурные сны, на жар и озноб, но ей, наверно, было полегче моего. А мне приходилось дурно. Если бы я знала, что со

мною творится, я бы на коленях просила помощи и совета. Но я была одурманена, и не понимала ничего.

Расскажу теперь про сон, который привел к неожиданным открытиям.

В некую ночь я услышала из густого сумрака не тот привычный, медлительный и властный голос, а совсем другой, нежный и ласковый, но все равно ужасный, и он произнес: «Мать говорит тебе — берегись убийцы». И вдруг стало светло, и я увидела у изножия кровати Кармиллу в белой ночной сорочке, окровавленной сверху донизу.

Я с криком проснулась, я думала, что Кармиллу убили. Помню, я вскочила с постели, очутилась в коридоре и звала на помощь.

Мадам Перродон и мадемуазель де Лафонтен прибежали из своих спален; при свете фонаря, который всегда горел в коридоре, я наскоро объяснила им, в чем дело, и уговорила постучать в дверь Кармиллы. Она не отзывалась. Мы стали ломиться и кричать, звали ее во весь голос — и понапрасну.

Испугались мы не на шутку — дверь-то была заперта! Кинулись обратно ко мне в спальню и подняли отчаянный трезвон. Будь комната отца поблизости, мы бы, конечно, позвали его, но увы!

Звонков он не слышал, а добираться до него через весь ночной замок ни у кого из нас смелости не хватало.

Из коридора донеслись голоса подоспевшей прислуги, и мы — все три в пеньюарах и домашних туфлях — выбежали и снова принялись звать Кармиллу; наконец я велела выломать замок. Выломали: мы замерли на пороге, высоко держа свечи, и заглянули в комнату. Опять позвали ее, и опять напрасно. Мы оглядели спальню: когда я прощалась с ней на ночь, все было точно так же. Но теперь не было Кармиллы.

Глава VIII.
Поиски

Мирное зрелище девичьей спальни, в которую мы вломились, нас немного успокоило, и вскоре мы отпустили мужчин. Мадемуазель подумала, а вдруг Кармиллу напугали крики за дверью, она вскочила с постели и второпях спряталась в шкафу или за занавеской — и, конечно же, не может выйти, пока дворецкий со слугами не уйдут. Мы забегали по просторному темному покою и снова принялись ее звать.

И снова безответно. Мы вконец растерялись и

разволновались. Проверили окна — окна были заперты. Я громко умоляла Кармиллу: если она и вправду прячется, то эта злая шутка зашла слишком далеко, пора и нас пожалеть. Она не откликалась. Я была убеждена, что в спальне ее нет; нет и в смежной гардеробной, запертой на ключ снаружи. Как же это? Может быть, Кармилла нашла потайной ход? Старая экономка говорила, что их в замке немало — только вот где они. Бог весть. Разумеется, все должно было скоро объясниться — но пока что мы не знали, что и думать.

Пробило четыре часа, и я решила скоротать остаток ночи в спальне у мадам. Но рассвет ничего не прояснил.

Утром все домочадцы во главе с моим отцом в несказанной тревоге обыскивали этажи и башни огромного замка. Искали и в саду, но Кармилла пропала бесследно: оставалось обшарить дно реки. Отец был в отчаянии: что он скажет матери бедной девушки? Я тоже чуть с ума не сходила от горя.

Словом, к часу пополудни мы совсем сбились с ног и метались без толку. Зачем-то я взбежала наверх в спальню Кармиллы — и увидела, что она стоит в гардеробной возле туалетного столика. Я

была поражена и не верила глазам, а она молча поманила меня пальцем. В лице ее был ужас.

Я кинулась к ней, радостно обняла ее и принялась целовать. Потом изо всех сил зазвонила, чтобы поскорей успокоить отца.

— Кармилла, дорогая, что произошло? Мы тут все голову потеряли! — воскликнула я. — Где ты была? Когда ты вернулась?

— Невероятная ночь, — сказала она.

— Ради всего святого, расскажи.

— В третьем часу, — сказала она, — я, как обычно, улеглась, заперев двери в гардеробную и в коридор. Спала я крепко, снов не помню, а проснулась сейчас только вот на этом диване; дверь в спальню была настежь, а наружная взломана. Как это могло случиться, что я не проснулась? Шуму было, наверно, много, а сон у меня чуткий. И как меня, сонную, перенесли сюда — ведь я просыпаюсь, только тронь меня пальцем?

Тем временем явились мадам, мадемуазель и мой отец с гурьбой слуг. Кармиллу обступили с радостным гомоном и засыпали вопросами. Она повторяла одно и то же и, казалось, меньше всех могла что-нибудь объяснить.

Отец задумчиво прошелся по комнате. Кармилла искоса хитро взглянула на него. Слуг отослали,

мадемуазель пошла за валериановыми каплями и нюхательной солью, и в спальне остались лишь Кармилла, мадам и мы с отцом. Он подошел к ней, ласково взял ее за руку, повел к дивану и сел рядом.

— Вы позволите мне, милая, высказать догадку и задать вам один вопрос?

— У кого на это больше права? — сказала она. — Спрашивайте, о чем хотите, я ничего не утаю. Да и нечего мне таить — я сама в недоумении и растерянности. Задавайте любой вопрос — я только маминых запретов нарушить не могу.

— Конечно, конечно, милое мое дитя. Я и не собираюсь посягать на ваш зарок молчания. Нам надо всего лишь понять, каким чудом вы, не пробудившись, покинули свою постель и спальню, а окна и двери остались заперты изнутри. Думаю, что чуда здесь никакого нет, и вот мой вопрос.

Кармилла грустно склонилась головкой на руку; мы с мадам слушали, затаив дыхание.

— Никогда не было речи о том, что вы бродите во сне?

— Давным-давно не было.

— Значит, давным-давно речь была?

— Да, в детстве: так мне говорила моя старая няня.

Мой отец улыбнулся и кивнул.

— Никаких чудес. Вы встали во сне, отперли дверь, но ключ в замке не оставили, а заперли ее снаружи и взяли с собой ключ. Где уж вы там бродили, Бог знает: только на этом этаже двадцать пять покоев, а есть еще верхний и нижний. Покои, комнатушки, всюду громоздкая мебель и всевозможная рухлядь; да этот замок за неделю не обыщешь. Ну, понятна вам моя разгадка?

— Не совсем, — отвечала она.

— Папа, а как же она оказалась на диване в гардеробной — мы же обыскали обе комнаты?

— Да пришла сюда, не просыпаясь, уже после того, как вы их обыскали. Наконец проснулась — и удивилась не меньше вашего. Ах, Кармилла, — сказал он, смеясь, — если бы все загадки разрешались так легко и просто, как эта! Порадуемся же, что объяснение тут самое естественное — и никто никого не одурманивал, обошлось без грабителей, отравителей, ведьм и упырей: словом, ни Кармилле, и никому другому опасаться нечего.

Кармилла очаровательно зарумянилась, и я, любуясь, подумала, что грациозная томность ей к лицу. Должно быть, отец мой невольно сравнивал нас; он вздохнул и сказал:

— Что-то моя бедняжка Лаура выглядит плоховато.

Так мне была возвращена моя любимая подруга.

Глава IX.
Доктор

Кармилла и слышать не хотела о том, чтобы кто-нибудь ночевал с нею, и отец велел служанке лечь возле ее дверей, а если ей опять придет охота бродить во сне, перехватить ее на пороге.

Незаметно пролетела ночь; рано утром приехал доктор, за которым отец послал без моего ведома.

Мадам проводила меня в библиотеку; там он дожидался, маленький, строгий, седовласый, в очках (я, впрочем, его уже описывала).

Я рассказала ему все без утайки, и лицо его делалось все строже и строже.

Мы стояли друг против друга в глубокой оконной нише. Когда я закончила рассказ, он откинулся назад, плотно прислонившись к стене, и разглядывал меня очень внимательно, с каким-то ужасом в глазах.

Через минуту он подозвал мадам и попросил

послать за моим отцом: тот вскоре явился и с улыбкой произнес:

— Угадываю, доктор, что я, старый дурень, зря вас потревожил, простите великодушно.

Но улыбка поблекла, когда доктор, жестом отослав меня, хмуро пригласил его в ту же оконную нишу. Разговор у них, видимо, был очень серьезный и трудный; мы с мадам стояли в другом конце просторной залы, сгорая от любопытства. Но не слышно было ни слова: говорили они вполголоса, а глубокая ниша поглощала все звуки и скрывала говорящих, виднелись только нога и плечо отца.

Наконец показалось его лицо — бледное, угрюмое и озабоченное.

— Лаура, милая, иди сюда. Мадам, доктор просит вас немного подождать.

Я приблизилась, немного обеспокоенная, сама не знаю, почему: ведь я наверняка была здорова, а слабость… мы же всегда думаем, что стоит захотеть — и слабость пройдет.

Отец протянул руку мне навстречу, не сводя глаз с доктора, и сказал:

— Да, это действительно странно и как то не очень понятно. Сюда, сюда, Лаура: слушай доктора Шпильсберга и соберись с мыслями.

— Вы сказали, что у вас было такое ощущение, будто во время первого кошмара две иглы впились пониже горла. Сейчас там не болит?

— Ничуть, — сказала я.

— А вы можете точно показать, где они будто бы впились?

— Вот здесь, над ключицей.

Я была в закрытом домашнем платье.

— Что ж, проверим, — сказал доктор. — Позвольте, ваш отец чуть-чуть приоткроет… Необходимо выяснить, нет ли симптомов.

Я позволила; надо было приспустить воротничок дюйма на два.

— Боже мой! В самом деле! — воскликнул отец, побледнев пуще прежнего.

— Убедились своими глазами, — сказал доктор с мрачным удовлетворением.

— Что там такое? — вскрикнула я в испуге.

— Ничего, дорогая фрейлейн, всего-навсего синее пятнышко с кончик вашего мизинца. Итак, — обернулся он к отцу, — сейчас главный вопрос: что во-первых?

— Это опасно? — выспрашивала я, вся дрожа.

— Думаю, что нет, милая фрейлейн, — отвечал доктор. — Полагаю, что вы справитесь с болезнью. Полагаю даже, что вам незамедлительно

станет лучше. А ощущение удушья — тоже в этом месте?

— Да, — отозвалась я.

— И еще, припомните как следует — отсюда вас обдает холодом, будто вы — по вашим словам — плывете против течения?

— Может быть; да, пожалуй.

— Ну, вот видите? — он опять обратился *к* отцу. — Можно переговорить с мадам?

— Разумеется.

Он сказал ей:

— Сударыня, меня весьма беспокоит здоровье этой юной особы. Надеюсь, что все обойдется благополучно, но некоторые меры надо принять, я скажу, какие; пока что, мадам, я попросил бы вас, будьте так добры, не оставляйте фрейлейн Лауру одну ни на минуту. На первый случай этого достаточно; но это совершенно необходимо.

— Не сомневаюсь, мадам, что мы вполне можем на вас положиться, — прибавил мой отец.

Мадам горячо заверила, что да, могут.

— И конечно же, ты, Лаура, будешь во всем слушаться доктора. Сударь, — обратился он к нему, — я хотел бы, чтоб вы взглянули на другую пациентку; она могла бы рассказать вам примерно то же, что моя дочь, хотя чувствует себя

куда лучше. Это наша юная гостья; и раз уж вы вечером поедете мимо замка, не откажитесь поужинать с нами. А то она раньше полудня обычно не просыпается.

— Благодарю за приглашение, — сказал доктор. — Буду к семи вечера.

Доктор повторил, а отец подтвердил предписание мне и мадам ни на миг не разлучаться. Затем они вышли из замка и долю прохаживались по лужайке между рвом и дорогой: видно, у окна было сказано далеко не все.

Доктору подвели лошадь; сидя в седле, он распрощался, поскакал по восточной дороге и исчез в лесу. В это время со стороны Дранфельда подъехал верховой и, спешившись, вручил отцу мешок с почтой.

Между тем мы с мадам ломали головы, гадая, что имел в виду доктор и почему отец так настоятельно поддержал его. Как позже призналась мне мадам, она решила, что доктор опасается внезапного приступа, который, если тут же не оказать помощи, либо убьет меня, либо искалечит.

Я усомнилась. Скорее, думала я (и это успокаивало), доктор просто хочет, чтоб я была под присмотром — не переутомлялась, не объелась незрелыми фруктами… да мало ли что может

вытворить юная девица во вред подорванному здоровью!

Через полчаса отец вернулся с письмом в руке и сказал;

— Это от генерала Шпильсдорфа; письмо задержалось. Он мог приехать уже вчера, вероятно, будет завтра или, чего доброго, сегодня.

Он передал мне распечатанный конверт: приезд генерала, всегда желанного гостя, его ничуть не обрадовал; напротив, он, видимо, предпочел бы, чтоб тот был за тридевять земель. Какая-то тайная тревога камнем лежала у него на сердце.

— Папа, милый, можно я спрошу? — взмолилась я, робко тронув его за плечо.

— Смотря о чем, — и он слегка взъерошил мне волосы.

— Доктор сказал, что я очень больна?

— Нет, моя хорошая: он полагает, что если принять нужные меры, то ты скоро выздоровеешь, во всяком случае, пойдешь на поправку через день-другой, — отвечал он довольно сухо. — Вот хорошо бы наш добрый друг генерал раздумал приезжать: ну, то есть приехал бы, когда ты совсем поправишься.

— Папа, ну скажи хоть, — настаивала я, — чем, он думает, я больна?

— Ничем; не приставай с вопросами, — раздраженно, как никогда прежде, отрезал он и, заметив, что у меня от обиды глаза полны слез, поцеловал меня и прибавил:

— Все узнаешь завтра или послезавтра, я ведь и сам далеко не все знаю. А покамест выкинь ты это из головы.

Он вышел, но, кажется, очень скоро — я и с мыслями толком не успела собраться — вернулся и объявил, что едет в Карнштейн. Коляску подадут к двенадцати, я и мадам поедем вместе с ним. Ему нужно навестить священника, который живет там неподалеку. Кармилла, наверно, захочет поглядеть на живописные руины, приедет попозже с мадемуазель и припасами, и мы устроим пикник в разрушенном замке.

В полдень, как условились, я была готова к отъезду; мы втроем сели в коляску, миновали горбатый мостик и свернули направо, к безлюдной деревне, к развалинам замка Карнштейнов.

Лесная дорога была восхитительна: она вилась по отлогим холмам, вела сквозь ясные перелески, обходила заросшие ложбины, а лес был почти нехоженый и благодатно неухоженный. Дорога то и дело петляла, мы ехали краем оврага, съезжали нестрашными кручами, и я не могла

налюбоваться живой зеленой красотой.

Свернули еще раз — и встретились с генералом Шпильсдорфом, который ехал к нам, а за ним — верховой слуга. Чемоданы тряслись следом в наемном фургоне, как у нас называют простую повозку.

Поравнявшись с нами, генерал спешился, раскланялся и согласился занять место в коляске; лошадь его со слугой отослали в замок.

Глава X.
Утрата

Мы не видели его месяцев десять, но постарел он на много лет. Он исхудал; лицо его, прежде ясное и добродушное, стало страдальчески угрюмым. Его всегда внимательные темно-голубые глаза сурово глядели из-под кустистых седых бровей. Как видно, его переменило не одно лишь горе; его сжигал жестокий и неукротимый гнев.

Вскоре генерал с обычной для него солдатской прямотой сам заговорил о своей утрате — так он выразился, — о смерти любимой племянницы; и сразу же, с яростной горечью, об «адских кознях», сгубивших ее. Пренебрегая благочестием, негодовал он на Небеса, которые попуститель-

ствуют чудовищному и мерзостному адскому произволу.

Отец, понимая, что за словами его кроется нечто необычайное, попросил его превозмочь горе и рассказать, как это все случилось, зачем нужно поминать ад и хулить Небеса.

— Охотно рассказал бы, — отозвался генерал, — но вы все равно не поверите.

— Почему же я не поверю? — спросил отец.

— Да потому, — раздраженно ответствовал генерал, — что вы во власти своих представлений и предрассудков. Таков же был и я, но жизнь меня переучила.

— А вы все-таки попробуйте, — сказал мой отец. — Не так уж я ограничен, как вы полагаете. К тому же я знаю, что вы на веру ничего не берете, и вполне полагаюсь на ваш здравый смысл.

— Вы правы, я действительно ни в какие чудеса не верил, пока чудеса не явились на порог; вот мне и пришлось, волей-неволей, снять шоры с глаз. Но тем временем злокозненные силы ада легко одурачили меня.

Хотя папа и положился на здравый смысл генерала, но искоса поглядел на него с большим сомнением. По счастью, генерал этого не заметил. Он с мрачным любопытством озирал поляны и

перелески.

— А вы куда — к развалинам Карнштейна? — спросил он. — Это очень удачно: я как раз хотел с вами туда съездить, и отнюдь не на прогулку. Там ведь есть, кажется, разрушенная часовня с фамильными гробницами?

— Да, среди прочих достопримечательностей, — подтвердил отец. — А вы, должно быть, претендуете на титул и поместье?

Генерал даже не улыбнулся в ответ на дружескую шутку; напротив, он сверкнул глазами и стиснул зубы. Гнев и ужас исказили его лицо.

— Наоборот, — отрезал он. — Я намерен откопать кое-кого из этих славных мертвецов. Совершить, с вышнего соизволения, богоугодное святотатство — избавить наши края от смертоносной нечисти, чтобы добрые люди могли спокойно спать. Да, странно вам будет слушать меня, дорогой друг; я бы и сам себе не поверил с полгода назад.

Отец опять посмотрел на него, но на этот раз совсем иначе, внимательно и встревоженно.

— Их замок, — сказал он, — пустует больше столетия. Жена моя была с материнской стороны из Карнштейнов, но род их давно исчах, имя и титул в забвении. Замок в развалинах, селенье

заброшено, с полвека не дымит ни одна труба, да и крыш-то нет.

— Знаю, знаю. Я об этом замке и его обитателях наслышан, мог бы и вас удивить. Но давайте уж расскажу все по порядку. Вы помните мою племянницу… мою милую девочку, мое дитя, смею сказать, какая она была прелесть — всего три месяца назад!

— Да, бедняжка! Совершенно очаровательная, — сказал мой отец. — Дорогой друг, я был так потрясен и огорчен — поверьте, я понимаю, что вам пришлось пережить.

Они крепко пожали друг другу руки. Глаза старого солдата были полны слез, и он их не таил.

— Мы с вами давние друзья, — сказал он, — я знаю, что вы поймете горе бездетного вдовца, Я полюбил ее, как дочь, и она отвечала мне нежной приязнью, она оживила мой дом, и я был счастлив. Но это все в прошлом. Жить мне осталось, должно быть, недолго: однако я все же надеюсь принести еще людям пользу напоследок и отомстить исчадиям ада за злодейское убийство моей несчастной девочки.

Отец поторопился прервать его:

— Вы, помнится, обещали рассказать все по порядку. Будьте добры — уверяю вас, что я прошу

об этом не из любопытства.

Мы проехали развилок: Друнштальская дорога от поместья генерала сливалась с дорогою на Карнштейн.

— Далеко еще? — спросил генерал, напряженно глядя вперед.

— Мили полторы, — отвечал отец. — Рассказывайте, прошу вас.

Глава XI.
Рассказ генерала

— Да, да, — как бы очнулся генерал и, собравшись с мыслями, начал свою удивительную, невероятную повесть.

— Дорогая моя девочка считала дни до отъезда, до обещанной встречи с вашей очаровательной дочерью, — он отвесил мне учтивый и грустный поклон. — Между тем мой старинный друг граф Карсфельд — дворец его миль за двадцать к востоку от Карнштейна — пригласил меня к себе на празднества, устроенные, помните, в честь эрцгерцога Карла.

— Роскошные, вероятно, были празднества, — заметил отец.

— Царственные! И гостеприимство — тоже.

Словно он раздобыл лампу Аладдина. В ту роковую для меня ночь был великолепный маскарад. Огромный разубранный сад, деревья в цветных фонариках и фейерверк такой, какого и в Париже не видывали. И музыка, отрада моей жизни, — дивная музыка! Наверно, лучший в мире струнный оркестр и лучшие певцы, цвет европейской оперы. Идешь по сказочному саду, глядя на озаренный луной и сверкающий розовым блеском многооконный дворец, а из рощи или с лодки на озере слышатся волшебные голоса. Я смотрел, слушал и вспоминал мечты и восторги юности. А когда кончился фейерверк и начался бал, мы возвратились в пышные чертоги. Бал-маскарад, сами знаете, очень красивое зрелище, но такого блестящего маскарада я еще не видал. И все высшая знать, один я без роду без племени. Девочка моя, без маски, оживленная, радостная, была еще прелестней обычного. Мне показалось, что нарядная юная особа провожает ее почти неотрывным взглядом сквозь прорези. Еще до фейерверка она медленно прошла мимо нас в зале; потом появилась рядом на террасе под окнами дворца. Ее сопровождала величавая, по-видимому, очень знатная дама в богатом и строгом наряде и тоже в маске. Маски мешали по-

нять, точно ли они наблюдают за нами. Теперь-то я знаю, что наблюдали.

Мы зашли в один из смежных покоев; бедняжка моя натанцевалась и присела отдохнуть в кресло у дверей. Незнакомки последовали за нами: девушка села возле моей племянницы, а спутница ее, остановившись рядом со мной, что-то ей вполголоса сказала.

Потом с маскарадной непринужденностью она обратилась ко мне и тоном старого друга, назвав меня по имени, завязала разговор более чем любопытный. Она сказала, что мы встречались при дворе и в знатных домах, описала мелкие происшествия, о которых я и думать забыл, но они тут же ярко ожили в памяти.

Любопытство мое разгоралось с каждой минутой: кто же она такая? Я пробовал выяснить — она изящно и находчиво уклонялась. Я ума не мог приложить, откуда она столько обо мне знает — а она с понятным удовольствием поддразнивала меня, потешаясь над моими неловкими догадками.

Тем временем ее юная дочь, которую она два-три раза назвала по имени (и странное это было имя — Милларка), столь же непринужденно беседовала с моей племянницей. Она сказала,

что мы с ее матерью давние знакомые и что в маске удобнее это знакомство возобновить; похвалила ее наряд, тонко выразила восхищение ее красотой, потом принялась вышучивать некоторых гостей и весело смеялась вместе с моей милой девочкой. Ее живое, незлобивое остроумие было пленительно. Она опустила полумаску, открыв очаровательное личико, вопреки моим надеждам, совсем незнакомое, зато неотразимо прелестное. Девочка моя сразу поддалась ее обаянию, точно влюбилась с первого взгляда, и чувство это, по-видимому, было взаимное.

Между тем я, в свою очередь пользуясь маскарадной вольностью, расспрашивал великолепную даму.

— Сдаюсь, вы загнали меня в угол, — наконец сказал я со смехом. — Не довольно ли с вас? Сделайте милость, снимите маску и поговорим наравне!

— Вот было бы неразумно! — возразила она. — Вы просите даму поступиться преимуществом! Да вы, может статься, меня и не узнаете? Годы меняют людей.

— Как видите, — подтвердил я с поклоном и с улыбкой, должно быть, печальной.

— Как учат нас философы, — поправила она. —

И все же: почему вы уверены, что узнаете меня.

— Думаю, что узнал бы, — сказал я. — И напрасно вы притворяетесь пожилой: фигура вас выдает.

— Много лет протекло с тех пор, как я вас — вернее, как вы меня впервые увидели. Вот моя дочь Милларка: стало быть, по любому счету я уж не молода. А я хочу остаться у вас в памяти прежней. На вас нет маски: что вы можете предложить мне взамен моей?

— Нижайшую просьбу — снимите ее.

— Отвечу на просьбу просьбой — позвольте не снимать.

— В таком случае хотя бы скажите, француженка вы или немка: вы прекрасно говорите на том и на другом языке.

— Нет, генерал, не скажу вам и этого; вы задумали обходной маневр?

— Хорошо, тогда скажите для удобства беседы, как вас титуловать: положим, госпожа графиня?

Она рассмеялась — и нашла бы, конечно, новую уловку: хотя разговор наш, как я понимаю теперь, был во всем предуказан с дьявольским хитроумием.

— Ну, пожалуй, — начала она, но тут ее прервал одетый в черное господин, горделивый и

элегантный, но бледный, как мертвец. Он, видно, был не из гостей — в простом вечернем костюме. Без улыбки, с учтивым и чересчур глубоким поклоном он сказал:

— Не угодно ли будет госпоже графине выслушать нечто, быть может, небезынтересное для нее?

Дама быстро обернулась и приложила палец к губам, а потом сказала мне:

— Придержите мое кресло, генерал, я сейчас вернусь.

С этими небрежно брошенными словами она отошла в сторону и минуту-другую весьма озабоченно беседовала с господином в черном; они медленно пошли к выходу и затерялись в пестрой толпе, а я ломал голову: кто эта женщина, кто мог сохранить обо мне столько теплых воспоминаний? Я вздумал было вмешаться в разговор моей племянницы с дочерью графини, как бы невзначай выведать ее имя, титул, название поместья и замка — и удивить ее по возвращении. Но тут она внезапно вернулась вместе с мертвенно бледным вестником, который сказал:

— Госпожа графиня, я доложу вам, когда подадут карету.

И удалился с поклоном.

Глава XII.
Просьба

— Итак, госпожа графиня нас покидает, но, надеюсь, лишь на несколько часов, — сказал я с низким поклоном.

— Быть может, и на несколько недель. Очень плохо, что он прямо здесь, в зале, ко мне подошел. Теперь вы меня узнали?

Я развел руками.

— Ничего, вспомните, — сказала она, — пусть и не сразу. Мы с вами связаны гораздо прочнее и дольше, чем вы полагаете. Но пока что я не могу вам назваться. Недели через три, проезжая близ вашего чудесного замка (о нем я немало наслышана), я заверну к вам на час-другой, и мы возобновим нашу дружбу, с которой у меня связано столько отрадных воспоминаний. Но сейчас на меня обрушились ужасные известия. Надо ехать немедля и мчаться за сто миль окольным путем. Однако возникают помехи. И хотя я вынуждена скрывать свое имя, все же рискну обратиться к вам с необычной просьбой. Моя бедная девочка очень слаба: недавно на охоте

ее лошадь упала, и она еще не оправилась от потрясения. Наш врач говорит, что ей ни в коем случае нельзя переутомляться. Сюда мы ехали очень медленно, не больше восемнадцати миль в сутки, а теперь мне мешкать нельзя ни днем, ни ночью: это дело жизни и смерти. Сколь оно важно и что мне грозит, я объясню вам без утайки через две-три недели, когда мы непременно свидимся.

Она продолжала; по тону ее заметно было, что она привыкла не просить, а повелевать. Впрочем, эта привычка сказывалась бессознательно, а в словах ее звучала мольба. Просила она, чтобы я на эти две-три недели принял к себе в дом ее дочь.

Просьба, конечно, была странная, чтоб не сказать навязчивая. Она обезоружила меня, перечислив все возможные доводы против и полагаясь лишь на мое великодушие. В решительный миг, словно по воле злой судьбы, моя девочка подошла ко мне и вполголоса умоляюще попросила пригласить к нам ее новую подругу Милларку. Та сказала, что будет очень рада, если мама позволит.

В другой раз я предложил бы подождать, пока мы хотя бы не узнаем, кто они. Но решать надо было сию минуту: я взглянул на девушку и должен признаться, что ее тонкое, изящное, невыразимо

обаятельное и благородное лицо покорило меня, и я опрометчиво согласился взять на себя заботы о Милларке.

Она подозвала дочь, и та огорченно выслушала известие о внезапной и спешной поездке и о том, что она погостит у меня, давнего и бесценного друга графини.

Я, разумеется, постарался быть как можно любезнее, однако все это мне весьма и весьма не понравилось.

Вестник в черном вернулся и крайне почтительно вывел графиню из зала; мне подумалось, что наверняка она не просто графиня, а очень высокопоставленная особа.

На прощанье она взяла с меня слово, что я не буду пытаться что-либо о ней разузнать: пока с меня хватит догадок. Наш досточтимый хозяин (она здесь по его личному приглашению) обо всем оповещен.

— Однако же, — прибавила она, — и мне, и моей дочери здесь грозит смертельная опасность. Около часу назад я на минуту неосторожно сняла маску и подумала, что вы увидели меня; оттого и решилась с вами заговорить и просить вас поклясться честью, что несколько недель вы обо мне никому не скажете. Верю вам, что не видели

и не узнали; но если вы догадаетесь, кто я такая, — а вы, конечно, догадаетесь — я опять-таки прошу вас хранить молчание. И время от времени остерегайте *мою* дочь, чтобы она невзначай о чем-нибудь не проговорилась.

Она прошептала дочери на ухо несколько слов, дважды торопливо поцеловала ее и удалилась со своим бледным провожатым.

— В той зале, — сказала Милларка, — окна над крыльцом, я хочу хоть издали проводить маму, помахать ей рукой.

Мы прошли с ней к окну, выглянули и увидели красивую старинную карету, форейторов и лакеев. Тощий господин в черном услужливо подал графине тяжелый бархатный плащ, опустил капюшон. Она кивнула ему и коснулась его руки. Он поклонился до земли, дверца захлопнулась, и карета покатилась.

— Уехала, — вздохнула Милларка.

— Уехала, — повторил я про себя, как бы опомнившись и горько сожалея о своем безрассудстве.

— И даже не взглянула на меня, — пожаловалась девушка.

— Наверно, графиня сняла маску и опасалась, что ее случайно увидят, — сказал я, — к тому же

она и не знала, что вы у окна.

Она снова вздохнула и заглянула мне в лицо. Она была так очаровательна, что я смягчился, укорил себя за неучтивые мысли и решил их искупить делом.

Милларка надела маску, и они с племянницей уговорили меня спуститься в сад: концерт начинался сызнова. Мы прогуливались по галерее под окнами замка. Милларка разговорилась и забавляла нас уморительными рассказами о встречных знатных особах. Мне она с каждой минутой нравилась все больше. Она была чужда злоречия, а я совсем уж позабыл, как и чем живет высший свет, и слушал ее с большим интересом. Слушал и радовался, что она скрасит наши подчас тоскливые домашние вечера.

Бал закончился при лучах рассветного солнца: эрцгерцогу угодно было танцевать до утра, так что верноподданные не смели и думать о сне.

Мы прошли через переполненную залу, и моя племянница спросила меня, а где же Милларка. Я думал, что она идет рядом с нею, она — что рядом со мной. Словом, она пропала.

Поиски мои были напрасны. Наверно, она потерялась в толпе, приняла за нас кого-то, вышла за ними в сад, а там уж немудрено было и вконец

потеряться.

И я лишний раз понял, как непростительно глупо было с моей стороны принять на себя попечение о девушке, не зная ее фамилии, и давать зарок молчания неизвестно почему: ведь нельзя было даже разыскивать дочь уехавшей ночью графини.

Время шло к полудню, когда я отчаялся. И лишь около двух пропавшая обнаружилась.

Служанка постучала в дверь комнаты моей племянницы и сказала, что какая-то богато одетая фрейлейн чуть не в слезах разыскивает генерала барона Шпильсдорфа с дочерью.

Положим, не барона и не с дочерью; но сомнений не было, что это она, и вскоре она прибежала. О Господи, если б мы ее потеряли!

Она объяснила моей бедной девочке, почему явилась так поздно. Оказывается, она тоже долго искала нас, а потом, обессилев, заснула в спальне у экономки: она так утомилась после бала!

Мы вернулись домой в тот же день, и я был очень рад, что моей девочке ниспослана такая прелестная подруга.

Глава XIII.
Дровосек

Кое-что, однако, было неладно. Милларка жаловалась на ужасную слабость — недавняя болезнь давала о себе знать — и покидала постель далеко за полдень. Между тем случайно выяснилось (хотя она запиралась на ночь и отпирала дверь, лишь когда служанка приходила по звонку помогать ей одеваться), что на рассвете и в утренние часы в спальне ее не бывает. В предрассветных сумерках ее несколько раз видели из окон замка: она шла, будто плыла между деревьями, куда-то на восток. Что ж, подумал я, значит, бродит во сне. Однако ж непонятно было, как она выходит из спальни, а спальня остается заперта изнутри; как выходит из замка, не открывая ни дверей, ни окон?

Я недоумевал, а тем временем нагрянула беда.

Моя милая девочка занемогла и чахла день ото дня; ее непонятная и неотступная хворь чрезвычайно меня встревожила.

Ее измучили кошмары, и стал являться призрак — то в облике Милларки, то каким-то черным

зверем, шнырявшим в изножии кровати. Порой возникало странное, но чем-то, говорила она, даже приятное ощущение, словно грудь ее омывает ледяная струя. Наконец однажды две длинные острые иглы глубоко впились ей пониже горла. Еще через две-три ночи начались приступы удушья, оставлявшие ее в беспамятстве.

Я слышала каждое слово старого генерала, потому что мы ехали не тряской дорогой, а вдоль обочины, по упругому дерну, и приближались к деревне без кровель, где ни одна печная труба не дымила уже более полувека.

Представьте себе, с каким чувством я, не веря ушам, слушала рассказ о своей болезни, сгубившей бедную девушку, которая иначе гостила бы сейчас в нашем замке. И каково мне было слышать точное описание привычек и странностей нашей красавицы-гостьи Кармиллы!

Просека вдруг распахнулась — и с обеих сторон появились фронтоны и торчащие из развалин трубы; мы подъехали к башням и зубчатым стенам осыпающегося замка, окруженного купами громадных деревьев, зловеще склонявшихся над нами.

Точно в страшном сне я вышла из коляски; мы все молчали, каждый думал о своем. Мы взошли

по широким ступеням; перед нами открылась череда опустелых покоев, виднелись витые лестницы и черные провалы коридоров.

— Да, вот здесь и обитали Карнштейны! — вымолвил наконец генерал, озирая из огромного окна заброшенную деревню и сумрачно подступивший лес. — Здесь и писалась кровавая летопись их злодеяний. Все они давно в могилах, однако и нынче, ненасытные изверги, не дают людям покоя. Вот она, их часовня, она же склеп.

Он показал на серую стену готической часовни, — полускрытую за листвой.

— Я слышу оттуда топор дровосека, — сказал он, — вырубают, наверно, дикую поросль; может статься, он знает, где могила Миркаллы, графини Карнштейн. Ведь поселяне бережно хранят преданья о былых владетелях, это лишь богатая знать все забывает, как только именитый род уходит в небытие.

— А у нас есть изумительный портрет вашей Миркаллы, хотите посмотреть? — спросил отец.

— Успеется, дорогой друг, — отвечал генерал. — Кажется, мне знакома та, с которой писался портрет; я затем и приехал к вам раньше, чем предполагал, — чтоб обыскать часовню.

— Что значит знакома? — удивился отец. — Она

же умерла сто с лишним лет назад!

— Умерла, но боюсь, что не мертва, — отозвался генерал.

— Признаюсь, генерал, вы меня изумляете, — сказал отец, с прежним подозрением покосившись на собеседника; но тот, одержимый таинственным гневом, на помешанного все же был ничуть не похож.

— Немного мне жить осталось, — снова сказал он, когда мы проходили под массивной аркой часовни, по размерам своим скорее домашней церкви, — но я надеюсь, что жизни моей хватит на то, чтобы отомстить ей, с Божьей помощью, своей рукой.

— Кому, за что отомстить? — еще больше удивился мой отец.

— Обезглавить чудовище! — бешено выкрикнул он, топнув ногой, и гробовым эхом отозвалась часовня. А он потряс кулаком, как бы занося невидимый топор.

— Да вы о чем? — отец окончательно растерялся.

— О том, что надо отсечь ей голову.

— Как то есть — голову?

— Обыкновенно — топором, лопатой, чем угодно, лишь бы отыскать кровопийцу. Сейчас

услышите, — прибавил он, дрожа от ярости. И поспешил вперед, говоря:

— Присядем вот на это бревно, чем не скамья; дочка ваша, я вижу, устала, пусть отдохнет, а я доскажу в немногих словах.

Громадный брус на заросших травою плитах мог и правда служить скамьей, и я бессильно опустилась на него. Генерал окликнул дровосека, который обрубал сучья возле древних стен. Кряжистый старик подошел с топором на плече.

Где тут кто похоронен, этого он не знал, а вот здешний лесничий — живет он мили за две в доме священника, — тот с закрытыми глазами укажет вам гробницу любого Карнштейна. За монетку-другую он не прочь и съездить за ним, и ежели дадут лошадь, можно обернуться в полчаса.

— И давно ты здесь дровосеком? — спросил у него отец.

— Я-то сызмальства, — отвечал он на здешнем наречии, — и сколько себя помню, он уж был лесничим. А мы дровосеки — и отец, и дед, и прадед. Могу и дом показать, где жили предки.

— А почему деревня опустела? — спросил генерал.

— Да все эти неупокойники, сударь; их и выслеживали до могил, и раскапывали, проверяли, как

положено, истребляли по заведенному: голову долой, кол в сердце и сжигали; но пока чего, они уйму народу сгубили. Могилу за могилой, все по закону, сколько их извели — а люди мрут и мрут. Проезжал мимо один чешский дворянин из Моравии, прослышал о наших делах — они там насчет этого здорово смыслят — давайте, говорит, помогу. И как сделал: дождался полнолуния и перед закатом поднялся на колокольную башню, откуда видно все кладбище — там вон, за окном. К полуночи вылез упырь из могилы, сбросил саван и пошел на добычу в деревню.

Чех наш малость подождал, спустился, хвать упырский саван — и обратно на колокольню. Упырь насосался крови, вернулся, ищет саван; углядел наверху чеха и завыл по-замогильному, а тот его приглашает: полезай, мол, забери. Упырь всполз по башенной стене, добрался до зубцов, но чех не зевал: рассадил ему саблей башку надвое, сбросил вниз, а сам сошел по винтовой лестнице и башку напрочь отрубил; постерег до утра и собрал деревенских: кол в сердце, труп сожгли, чин чином.

У чеха этого вроде как была бумага от последнего графа, что ему, дескать, позволяется переместить надгробие Миркаллы, графини

Карнштейн; ну, он и переместил, а куда, уж никто не помнит.

— А где раньше оно было, не знаешь? — жадно спросил генерал. Дровосек, усмехнувшись, покачал головой.

— Этого и сам черт не знает, — сказал он. — Тем более, говорят, будто тело перехоронили. Может, и выдумывают, кто теперь разберет.

С этими словами он обронил топор и поспешил за лесничим, а мы приготовились дослушивать повесть генерала.

Глава XIV.
Встреча

— Бедняжке моей становилось хуже и хуже, — продолжал он свой рассказ. — Врач, который ее пользовал, остановить болезнь не мог — мы ведь думали, что это болезнь. Видя мое отчаяние, он предложил консилиум. Я вызвал из Граца самого лучшего доктора, слывшего ученым и набожным; он приехал через несколько дней. Вдвоем они осмотрели несчастную мою девочку и удалились совещаться в библиотеку. Я дожидался в смежных покоях: слышно было, что они уж не беседуют, а чуть не бранятся. Я постучал и вошел.

Старик-доктор из Граца монотонно настаивал на своем, а здешний врач прерывал его насмешками и взрывами хохота. Мое появление положило конец этой недостойной сцене.

— Сударь, — сказал наш доктор, — мой ученый собрат советует вам обратиться к знахарю.

— Простите, — насупился приезжий, — но я предпочел бы сам изъяснить свой взгляд на вещи. Сожалею, мсье генерал, но мой опыт и познания здесь не помогут. Однако же я позволю себе кое-что предложить.

Он задумался, сел к столу и взял перо, Я вне себя от огорчения откланялся; наш доктор показал через плечо на коллегу, пожал плечами и покрутил пальцем у виска.

Так что консилиум никакой пользы не принес. Я ходил по саду, ломая руки. Минут через десять-пятнадцать ко мне подошел доктор из Граца. Он извинился за назойливость, но несколько слов к написанному необходимо прибавить. Ошибки тут, увы, быть не может: болезни нет, но смертельный исход близок. У нас есть день или два, не больше. Если не допустить ни единого нападения, то, может статься, ее и удастся выходить — конечно, великими трудами. Но все висит на волоске. Один еще раз — и последняя искра жиз-

ни угаснет, она едва теплится.

— Да какого нападения, о чем вы говорите? — взмолился я.

— Все подробно сказано в записке: вот она. Прошу вас непременно послать за ближайшим священником, и читайте записку вместе, иначе вы ее попросту порвете. Впрочем, если священника не окажется, читайте сами, медлить нельзя, это дело жизни и смерти.

Перед отъездом он спросил меня, не хочу ли я познакомиться с человеком, необычайно сведущим по нужной части — по какой, я узнаю, когда прочту записку, — и посоветовал мне пригласить его как можно скорее. Оставил его адрес и уехал.

Священника не оказалось, и я прочел записку. В другое время, в другом случае я бы просто расхохотался, но вы же знаете, что невольно хватаешься за соломинку, когда ничего не помогает, а любимое существо на краю гибели.

Вы наверняка скажете, что записка ученого мужа — бред, а ему самое место в сумасшедшем доме. Он писал, что пациентку терзает упырь! В горло ей будто бы впиваются вовсе не иглы, а длинные и острые клыки; синеватое пятнышко — след упырьего поцелуя; вообще имеют место все известные признаки этого многократно опи-

санного явления.

Ни в каких упырей я, конечно, не поверил и лишь подивился, до чего тесно порою соседствуют ученость и безумие. Но сидеть сложа руки было невыносимо, и с горя я решил последовать бредовым советам старого доктора.

Я укрылся в темной гардеробной при спальне, где горела свеча, и вскоре заметил, что бедняжка моя крепко уснула. Я стоял у дверей, глядя в щелку; обнаженная сабля, как было предписано, лежала рядом на столе. И вот, во втором часу ночи в ногах кровати зашевелилась черная бесформенная груда; она всползла на постель, вмиг добралась до горла спящей и, трепеща, вспучилась.

На минуту я оцепенел. Потом кинулся к постели с саблей в руке. Черная тварь отпрянула к изножию, скользнула на пол — и за шаг от постели появилась Милларка с горящими бешеной яростью глазами. Я с размаху ударил ее саблей: она, невредимая, очутилась у дверей. Я в ужасе бросился за нею, нанес еще удар — но она исчезла, а сабля моя разлетелась на куски.

Нет нужды описывать вам, как прошла эта страшная ночь. В замке все пробудились, и никто больше глаз не сомкнул. Милларка пропала, как

призрак. Жертва ее умерла до рассвета, угасла в беспамятстве.

Старый воин дрожал от волнения, и мы смущенно молчали. Отец стал читать надписи на могильных камнях и удалился в придел. Генерал, прислонясь к стене, отер глаза и тяжело вздохнул. А я с облегчением услышала издали голоса Кармиллы и мадемуазельде Лафонтен. Потом разговор их, должно быть, прервался; они примолкли.

В глухой тишине, под впечатлением диковинной повести, почему-то похожей на историю моего таинственного недуга, как-то связанной с пыльными и заплесневелыми, увешанными плющом надгробиями старинной знати, в этой сумрачной часовне, которую со всех сторон обступили густолиственные громады, сердце мое холодело от ужаса, но я бодрилась: вот-вот войдут моя подруга и гувернантка — и зловещее наваждение сгинет.

Старый генерал, скорбно потупив взор, опирался на цоколь обветшалого надгробного памятника.

Над стрельчатой дверной аркой кривлялась бесовская харя, изваянная жестокой прихотью средневекового зодчего; под нею, в узком проеме,

на радость мне появилось очаровательное личико и стройная фигура Кармиллы.

Я увидела ее влекущую улыбку, улыбнулась в ответ, кивнула и приподнялась — и вдруг старик, стоявший подле меня, с криком схватил топор, оставленный дровосеком, и кинулся к двери. При виде его лицо Кармиллы мигом жутко и грубо исказилось; пригнувшись, она подалась вперед с повадкой хищного зверя. Я не успела вскрикнуть, как он изо всех сил ударил ее топором, но она увернулась и поймала его кисть своей маленькой ручкой. Пальцы его бессильно разжались, он выронил топор, а девушка исчезла.

Он отшатнулся к стене; седые волосы стояли дыбом, лицо было в поту — казалось, он умирает. Все это случилось мгновенно, и я опомнилась от ужаса, услышав, как мадам, стоя передо мной, настойчиво повторяет один и тот же вопрос: «Где же мадемуазель Кармилла?»

Наконец я ответила:

— Не знаю… право, не знаю… она вышла туда… с минуту назад. — И показала на дверь, в которую вошла мадам.

— Я пропустила ее вперед и стояла снаружи; она не выходила, — сказала мадам и стала, обходя часовню, громко звать Кармиллу; но никто не

откликался.

— Она назвалась Кармиллой? — спросил генерал дрожащим голосом.

— Кармиллой, да, — подтвердила я.

— Ага, — сказал он, — это она, Милларка. Давным-давно ее звали Миркаллой, графиней Карнштейн. Бедная девочка, скорей уходи отсюда, из этого проклятого склепа. Поезжай к священнику и оставайся у него, мы потом приедем. Ступай! Не дай тебе Бог еще раз увидеть Кармиллу; и не ищи ее здесь.

Глава XV.
Розыск и казнь

Между тем в дверях, откуда вошла и в которых исчезла Кармилла, показался удивительный человек — высокий, узкогрудый, сутулый и косорукий, одетый в черное. Смуглое лицо его избороздили морщины; такой широкополой остроконечной шляпы я никогда не видела. Длинные седоватые космы ниспадали на плечи. Он был в золотых очках; шел он медленно, подволакивая ноги, и то закидывал голову, то низко склонял ее; усмешка была точно приклеена к его лицу; тощие руки в огромных старых черных

перчатках неуклюже болтались, выделывая как бы нечаянные жесты.

— Он самый! — воскликнул генерал, устремившись к нему. — Дорогой барон, как я рад вас видеть, я и надеяться не смел, что это случится так скоро!

Он подозвал моего отца (тот как раз обошел всю часовню) и представил ему диковинного старого барона. Неслышный мне разговор завязался сразу же; пришелец достал из кармана свиток и расстелил его на замшелом могильном камне. Все трое склонились над свитком; барон водил по нему пеналом, они поднимали глаза, и я поняла, что это, должно быть, план часовни. Он словно давал урок; и время от времени что-то зачитывал из замусоленной, плотно исписанной книжонки.

Негромко беседуя, они медленно прошлись по дальнему от меня боковому проходу; стали отмерять шаги, согласились между собой и принялись тщательно рассматривать кусок стены, обрывая плющ и скалывая тростями штукатурку, выстукивая и прислушиваясь. Обнаружилась большая мраморная плита с вырезанной надписью.

С помощью вернувшегося дровосека они обнажили надпись и герб: это было затерянное надгробие Миркаллы, графини Карнштейн.

Старый генерал, обычно, боюсь, не очень-то богомольный, воздел глаза и руки к небесам в безмолвном благодарении.

— Завтра, — услышала я наконец, — прибудет присяжный знаток и, как велит закон, состоится розыск.

Он обернулся к вышеописанному старцу в золотых очках, сжал его руку и воскликнул:

— Барон, я ваш должник по гроб жизни! И все мы у вас в долгу! Вы избавили наш край от полуторавековой напасти, Слава Богу, наконец-то кровопийцу выследили!

Отец отвел барона в сторону; генерал последовал за ними. Я поняла, что речь пойдет обо мне: и правда, они то и дело на меня поглядывали.

Потом отец подошел ко мне, расцеловал и повел из часовни, говоря:

— Пора и домой, но прежде надо бы заехать за священником, он живет неподалеку отсюда; быть может, он не откажется посетить наш замок.

Священник не отказался, и я была рада, что все так быстро уладилось: я еле держалась на ногах. Но дома меня ждало огорчение — Кармилла пропала без вести. Мало ли что приключилось там, в пустынной часовне: я ничего, по правде, не поняла, а отец, видно, решил мне пока ничего

не объяснять.

Но вспоминать об этом было страшновато из-за зловещего отсутствия Кармиллы. На ночь мы устроились совсем уж необычно: две служанки и мадам у меня в спальне, а отец со священником — в гардеробной. Священник всю ночь совершал обряды, и я не могла взять в толк, зачем это нужно, от чего меня так охраняют.

Через несколько дней все стало ясно.

Мои ночные мучения прекратились после того, как исчезла Кармилла.

Вы без сомнения слышали о жутком поверье, бытующем в Верхней и Нижней Штирии, в Моравии, Силезии, Турецкой Сербии, в Польше и даже в России: о поверье, или, лучше сказать, о вере в упырей.

Если свидетельства, добросовестные и многократно проверенные — причем свидетелями были умнейшие и честнейшие люди, описавшие виденное как нельзя более подробно, — если эти свидетельства взять в расчет, то странно отрицать или даже сомневаться в том, что упыри, они же вампиры, существуют.

Могу еще заметить, что лишь эти древние народные поверья, подкрепленные учеными свидетелями, объясняют то, что мне довелось

увидеть и испытать: иных объяснений нет.

Наутро к часовне Карнштейнов двинулась суровая процессия. Гробницу графини Миркаллы вскрыли: генерал и мой отец оба узнали свою прелестную и коварную гостью. Через полтораста лет после погребения она сохраняла приметы жизни. Лицо было румяное, глаза открыты; трупного запаха не было. Два медика, здешний и присланный из Вены, с изумлением засвидетельствовали, что труп дышит, хотя дыхание и сердцебиение ослабленное. Кожа эластична, руки и ноги сгибаются; свинцовый гроб затоплен кровью на семь дюймов, и труп в нее погружен. Словом, налицо все известные признаки вампиризма. И, как велось издавна, трупу, изъятому из гроба, пробили сердце осиновым колом, причем он испустил дикий, как бы предсмертный вопль. Затем отсекли голову, и хлынул поток черной крови. Голова и обезглавленное тело были сожжены на приготовленном костре. Пепел бросили в реку, и с тех пор в наших краях об упырях не слыхали.

Отец снял и заверил копию с отчета Имперской комиссии со всеми подписями; этот отчет о казни я и пересказала.

Глава XVI.
Заключение

Быть может, вы думаете, что я пишу спокойно: это отнюдь не так. Лишь ваши настоятельные уговоры побудили меня оживить воспоминания, которые неминуемо отравят мне многие месяцы жизни и заново лягут черной тенью пережитых ужасов; ведь я несколько лет смертельно боялась оставаться одна.

Надо кое-что сказать о чудаке-бароне Форденбурге, чьи необычные познания помогли обнаружить гробницу графини Миркаллы.

Откуда ни возьмись, он появился и поселился в Граце — и жил на жалкие остатки дохода от некогда богатейших фамильных имений в Верхней Штирии; жизнь свою он целиком посвятил кропотливому изучению огромной литературы о вампиризме. Наперечет знал он все большие и малые трактаты — такие, как «Magia Posthuma», «Phlegon de Mirabilibus», «Augustinus de cura pro mortuis», «Philosophicae et Christianae Cogitationes de Vampiris» Иоганна Христофора Харенберга и тысячи других: я-то помню только те, которые он

давал почитать отцу. Он свел воедино несчетные судебные отчеты, и образовалось нечто вроде описания этого загадочного феномена с его обязательными и необязательными признаками. Замечу кстати, что смертельная бледность вовсе не отличает упырей: это мелодраматическая выдумка. И в гробу, и на людях, они имеют здоровое обличье — такое самое, которое было уликой вампиризма давным-давно мертвой графини Карнштейн.

Как они еженощно покидают могилы и возвращаются в них в определенные часы, не потревожив земли над собою, не взламывая гроба, не замаравши саван — это объяснению не поддается, однако же ежеутренний могильный сон — залог и условие их двойного существования. Его поддерживает жажда живой крови. Упыри бывают одержимы вожделением, сходным с самою страстной любовью. При этом они выказывают поразительное терпение и хитроумие, одолевая сотни всевозможных препятствий, и никогда не отступаются, покуда не умертвят вожделенную жертву. Но умерщвляют ее медленно, вынашивая и лелея хищное сладострастие, распаляя его, стараясь пленить и привлечь. Обычно же просто накидываются, душат и высасывают кровь — по-

рой до капли за один раз.

Бывают особые условия, которые упырь должен соблюдать. Графиня Миркалла, например, могла носить лишь ими пусть не собственное, однако схожее с ним до последней буквы — иначе говоря, анаграмматически. Таковы и были имена Кармилла и Милларка.

Отец рассказал барону Форденбургу, который прожил у нас две или три недели после исчезновения Кармиллы, историю о чешском дворянине и упыре на кладбище Карнштейнов; и спросил у барона, как ему все-таки удалось выяснить местоположение гробницы перезахороненной графини Миркаллы.

Нескладные черты барона как бы скомкала загадочная усмешка; усмехаясь, он поигрывал потертым футляром из-под очков. Затем поднял глаза и сказал:

— У меня хранится множество различных его бумаг; и любопытнее всего — записки о пребывании в Карнштейне. Легенда, как обычно, не вполне верна. Можно называть его чешским дворянином — он и правда приехал из Моравии и был весьма знатного рода, но не чех, а уроженец Верхней Каринтии. В ранней юности он был возлюбленным прекрасной Миркаллы, графини

Карнштейн, и ее безвременная кончина повергла его в неутешное горе. Надо вам знать, что упыри множатся и плодят себе подобных согласно строгим загробным законам.

Положим, край не ведает этой напасти. Откуда она берется, как расползается? Я расскажу. Какой-нибудь нераскаянный злодей кончает с собой и превращается в упыря. Он высасывает кровь у спящих, те умирают и почти всегда становятся в своих могилах упырями. Так и случилось с прекрасной Миркаллой. Мой предок Форденбург — я ношу его имя и титул — вскоре разгадал тайну ее кончины, а затем, углубившись в изыскания, узнал и многое другое.

Он понял, что раньше или позже в мертвой графине признают упыря: а ведь он обожал ее живую и не мог вынести мысли о надругательстве над ее прахом. Он оставил любопытный трактат, где доказывал, что изничтоженного упыря ждет ад кромешный; и решил во что бы то ни стало спасти свою былую любовницу от этой участи.

За тем он и приезжал сюда: распустил слух о перезахоронении тела и замуровал могильный камень. Однако на склоне лет, окидывая прошлое взыскательным взором, он рассудил иначе и ужаснулся тому, что сделал. Он составил чертеж

и указания — с их помощью я наконец и отыскал гробницу; он признался в своем обмане. Может быть, он и сам хотел поправить дело, однако ж не успел; и все же рукой своего далекого потомка указал на логово чудовища.

Помню, еще он сказал вот что:

— У упырей стальная хватка. Пальчики Миркаллы так стиснули руку генерала, что он выронил занесенный топор. Хватка эта мертвит, и онемелость, если и проходит, то очень медленно.

Весной отец повез меня в Италию, и мы путешествовали больше года. Я долго еще была во власти ужаса, да и поныне вижу перед собой то ласковую, томную, прелестную девушку, то яростное чудище с горящими глазами, а очнувшись от воспоминаний, слышу, кажется, за дверями гостиной легкую поступь Кармиллы.

Молот Господень
Джильберт Кийт Честертон

Деревенька Боэн Бикон пристроилась на крутом откосе, и высокий церковный шпиль торчал, как верхушка скалы. У самой церкви стояла кузница, обычно пышущая огнем, вокруг нее свалка всевозможных молотков и обрезков железа, а напротив — один на всю деревню кабак «Синий боров». На этом-то перекрестке в свинцово-серебряный рассветный час встретились два брата: один восстал ото сна, а другой еще не ложился. Преподобный и досточтимый Уилфрид Боэн был человек набожный и шел предаться молитве и созерцанию. Его старшему брату, достопочтенному полковнику Норману Боэну, было не до набожности: он сидел в смокинге на лавочке возле «Синего борова» и выпивал не то напоследок, не то для начала — это уж как на чей философский взгляд. Сам полковник в такие тонкости не вдавался.

Боэны были настоящие, древние аристократы крови, и предки их и вправду воевали в Палестине. Только не нужно думать, что рыцарями рождаются. Рыцарство — удел бедняков. Знати благородные заветы нипочем, их дело — мода. Бо-

эны были элегантными бандитами при королеве Анне и жеманными вертопрахами при королеве Виктории. Словом, они, по примеру других знатных родов, за последние два столетия стали порослью пропойц и щеголеватых ублюдков, а был такой шепоток, что и вовсе посвихивались. И то сказать, полковник был сластолюбив не по-людски, а скорее по-волчьи: он без устали рыскал по ночам, одержимый какой-то гнусной бессонницей. У этого крупного, породистого пожилого животного были светло-желтые волосы, не тронутые сединой. Его бы назвать белокурым, с львиной осанкой; только синие глаза его запали так глубоко, что стали черными щелками. К тому же они были чересчур близко посажены. Его висячие желтые усы были очерчены косыми складками от ноздрей к подбородку: ухмылка словно врезана в лицо. Поверх смокинга он натянул светлое халатообразное пальто, а странную широкополую шляпу ярко-зеленого цвета и какого-то восточного вида сбил на затылок. Он любил красоваться в нелепых нарядах, тем более что они всегда ему шли.

Брат его, как и он, желтоволосый и хранивший аристократическую осанку, был в своем черном облачении, застегнут наглухо и свежевыбрит; в

его тонком лице сквозила нервозность. Он словно бы только и жил что своей религией; но говорили о нем (особенно сектант-кузнец), что не Бог ему нужен, а старинная архитектура, потому-то он, мол, и бродит по церкви призраком, что церковь ему — все равно что брату вино и женщины, та же заразная прелесть, только что изысканная, а в общем, одно и то же. Мало ли что говорили, но набожность его все-таки была неподдельная. Надо думать, что людям попросту невдомек была его тяга к уединению и молитве, странно было вечно видеть его на коленях — и не то что пред алтарем, а где-нибудь на хорах, галереях или вовсе на колокольне. Он как раз и шел в храм задним двором кузницы, но остановился и нахмурился, увидев, куда исподлобья поглядывает брат. Не на церковь, конечно, — это и думать было нечего. Стало быть, на кузницу, и хотя кузнец-пресвитерианин со своей сектантской религией был не из его паствы, все же Уилфрид Боэн слышал про его красавицу жену много разных историй и не мог пройти мимо. Он посмотрел, нет ли кого за сараем, а полковник встал и рассмеялся.

— Доброе утро, Уилфрид, — сказал он. — Народ мой спит, а я, видишь, на ногах, как и подобает помещику. Вот кузнеца хочу навестить.

Уилфрид опустил взгляд и сказал:

— Кузнеца нет. Он ушел в Гринфорд.

— Знаю, — беззвучно хохотнул полковник. — Визит ко времени.

— Норман, — сказал священник, упершись взглядом в дорожный гравий, — а ты грома небесного не боишься?

— Грома? — переспросил тот. — Ты что, у нас теперь погоду предсказываешь?

— Да нет, — сказал Уилфрид, не поднимая глаз, — не погоду, а как бы тебя громом не поразило.

— Ах, прошу прощения, — сказал полковник. — Я и забыл, ты ведь у нас сказочник.

— А ты у нас, конечно, богохульник, — отрезал задетый за живое священнослужитель. — Что ж, Бога не боишься, так хотя человека остерегись.

Старший брат вежливо поднял брови.

— Какого то есть человека? — спросил он.

— На сорок миль в округе, — жестко сказал священник, некому тягаться силой с кузнецом Барнсом. Я знаю, ты не из трусливых и за себя постоять можешь, только смотри, плохо тебе придется.

Это были отнюдь не пустые слова, и складки у рта полковника обозначились резче. Его вечная

ухмылка стала угрюмой. Но он тут же снова обрел свою свирепую веселость и рассмеялся, оскалив из-под желтых усов крепкие песьи клыки.

— Ты прав, любезный Уилфрид, — беспечно сказал он, — так порадуйся же, что последний мужчина в нашем роду надел кое-какой ратный доспех.

Он снял свою нелепую шляпу, и ее круглая тулья оказалась легким стальным шлемом в зеленой обшивке, китайским, не то японским. Уилфрид узнал фамильный трофей со стены гостиной.

— Какая подвернулась, — небрежно пояснил брат. — У меня со шляпами так же, как и с женщинами.

— Сейчас кузнец в Гринфорде, — тихо сказал Уилфрид, — но вернуться может в любую минуту.

Он побрел в церковь, склонив голову и крестясь, словно отгоняя нечистого духа. Скорей бы забыть об этой мерзости в прохладном сумраке, под готическими сводами; но в то утро все шло не по-обычному, всюду что-нибудь подстерегало. В такой час церковь всегда была пуста, а тут вдруг кто-то в глубине вскочил с колен и заспешил из полутьмы на залитую светом паперть.

Священник едва поверил глазам: этот ранний богомолец был деревенский идиот, племянник кузнеца, и ему явно нечего было делать в церкви, как и вообще на белом свете. Жил он без имени, с прозвищем Джо-дурачок; это был дюжий малый, сутулый и чернявый, лицо тестяное, рот вечно разинут. Он прошагал мимо священника, и по его дурацкой физиономии никак нельзя было понять, что он делал, о чем думал в церкви. В жизни его никто здесь не видел. Что у него могли быть за молитвы? Даже представить себе трудно.

Уилфрид Боэн стоял неподвижно и глядел, как идиот вышел на солнце, потом, как его беспутный брат приветствовал дурачка с издевательским дружелюбием, наконец, как полковник принялся швырять медяки в разинутый рот Джо и, кажется, в самом деле примерялся попасть.

От этой яркой уродливой картины земной глупости и грубости он обратился к молитве об очищении своей души и обновлении помыслов. Он углубился в галерею и прошел к любимому цветному витражу с белым ангелом, несущим лилии; этот витраж всегда проливал покой в его душу. Здесь перед его глазами постепенно померкло одутловатое лицо слабоумного с разинутым по-рыбьи ртом. Здесь он постепенно

отвлекся от мыслей о нераскаянном брате, который метался, как зверь за решеткой, снедаемый скотской похотью.

Там его через полчаса и нашел деревенский сапожник Гиббс, наспех посланный за ним. Он быстро поднялся с колен: он знал, что Гиббс не явился бы ни с того ни с сего. Как во многих деревнях, здешний сапожник в Бога не верил и в церкви бывал не чаще дурачка Джо. Дурачок еще мог забрести невзначай, но появление сапожника сбило бы с толку любого богослова.

— В чем дело? — довольно строго спросил Уилфрид Боэн и встревоженно потянулся за шляпой.

Местный безбожник ответил на удивление уважительно, с какой-то даже смутной симпатией.

— Уж не взыщите, сэр, — сказал он хрипловатым полушепотом, — но мы решили вас потревожить, тут, в общем, довольно жуткое дело приключилось. Ваш, в общем, брат…

Уилфрид с хрустом стиснул руки.

— Ну, что он еще натворил? — почти выкрикнул он.

— Да как бы вам сказать, сэр, — кашлянув, сказал сапожник. — Он, в общем-то, ничего такого не сделал… и уж не сделает. Вообще-то, он мертвый. Надо бы вам туда пойти, сэр.

Уилфрид спустился следом за сапожником по короткой винтовой лестнице к боковому выходу на пригорок над улицей. Отсюда все было видно как на ладони. Человек пять-шесть стояли во дворе кузницы, почти все в черном, и среди них полицейский инспектор. Был там доктор, был пресвитер и патер из окрестной католической церкви, куда ходила жена кузнеца. Сама она, статная, золотисто-рыжая женщина, заходилась от плача на лавочке, а патер ей что-то вполголоса быстро втолковывал. Посредине, возле груды молотков, простерся ничком труп в смокинге. Уилфрид с первого взгляда узнал все, вплоть до фамильных перстней на пальцах; но вместо головы был кровавый сгусток, запекшийся черно-алой звездой.

Уилфрид Боэн, не мешкая, кинулся вниз по ступенькам. Доктор был их семейным врачом, но Уилфрид не ответил на его поклон. Он еле выговорил:

— Брата убили. Что здесь было? Как ужасно, как непонятно…

Все неловко молчали, и только сапожник высказался с обычной прямотой:

— Ужасно — это да, сэр, только чего тут непонятного, все понятно.

— Что понятно? — спросил Уилфрид, и лицо его побелело.

— Куда уж яснее, — отвечал Гиббс. — На сорок миль в округе только одному под силу эдак пристукнуть человека. А почему пристукнул — опять же ясно.

— Не будем судить раньше времени, — нервно перебил его высокий, чернобородый доктор. — Впрочем, что касается удара, то мистер Гиббс прав — удар поразительный. Мистер Гиббс говорит, что это только одному под силу. Я бы сказал, что это никому не под силу.

Тщедушный священник вздрогнул от суеверного ужаса.

— Не совсем понимаю, — сказал он.

— Мистер Боэн, — вполголоса сказал доктор, — извините за такое сравнение, но череп попросту раскололся, как яичная скорлупа. И осколки врезались в тело и в землю, словно шрапнель. Это удар исполина.

Он чуть помолчал, выразительно поглядел сквозь очки и добавил:

— Хотя бы лишних подозрений быть не может. Обвинять в этом преступлении меня или вас, вообще любого заурядного человека — все равно что думать, будто ребенок утащил мраморную

колонну.

— А я что говорю? — поддакнул сапожник. — Я и говорю, что кто пристукнул, тот и пристукнул. А где кузнец Симеон Барнс?

— Но он же в Гринфорде, — выдавил священник.

— Если не во Франции, — буркнул сапожник.

— Нет, он и не в Гринфорде, и не во Франции, — раздался нудный голосок, и коротышка патер подошел к ним. — Собственно говоря, вон он идет сюда.

На толстенького патера, на его невзрачную физиономию и темно-русые, дурно обстриженные волосы и так-то особенно глядеть было незачем, но тут уж никто бы на него не поглядел, будь он хоть прекрасней Аполлона. Все как один повернулись и уставились на дорогу, которая вилась через поле по склону и по которой в самом деле вышагивал кузнец Симеон с молотом на плече. Был он широченный, ширококостый, темная борода клином, темный взгляд исподлобья. Он неспешно беседовал с двумя своими спутниками; веселым его вообще не видели, и сейчас он был не мрачнее обычного.

— Господи! — вырвалось у неверующего сапожника. — И с тем же самым молотом!

— Нет, — вдруг промолвил инспектор, рыжеусый человек смышленого вида, — тот самый — вон там, у церковной стены. Лежит как лежал, мы не трогали ни труп, ни молоток.

Все обернулись к церкви, а низенький патер сделал несколько шагов и, склонившись, молча оглядел орудие убийства. Это был совсем неприметный железный молоточек, только на окровавленной насадке желтел налипший клок волос.

Потом он заговорил, и тусклый голосок его словно бы немного оживился:

— Мистер Гиббс, пожалуй, зря думает, что здесь все понятно. Вот, например, как же это такой великан схватился за этакий молоточек?

— Было бы о чем говорить, — нетерпеливо отмахнулся Гиббс. — Чего зря стоим, вон Симеон Барнс!

— Вот и подождем, — ответил коротышка. — Он как раз сюда идет. Спутников его я знаю, они из Гринфорда, люди хорошие, пришли по своим пресвитерианским делам.

В это самое время рослый кузнец обогнул собор и оказался у себя на дворе. Тут он встал как вкопанный и обронил молот. Инспектор, сохраняя должную непроницаемость, сразу шагнул

к нему.

— Не спрашиваю вас, мистер Барнс, — сказал он, — известно ли вам, что здесь произошло. Вы не обязаны отвечать. Надеюсь, что неизвестно и что вы сможете это доказать. А пока что я должен, как положено, арестовать вас именем короля по обвинению в убийстве полковника Нормана Боэна.

— Не обязан ты им ничего отвечать! — в восторге от законности подхватил сапожник. — Это они обязаны доказывать. А как они докажут, что это полковник Боэн, когда у него вместо головы невесть что?

— Ну, это уж слишком, — заметил доктор священнику-коротышке. — Это уж для детективного рассказа. Я лечил полковника и знал его тело вдоль и поперек лучше, чем он сам. У него были очень изящные и весьма странные руки. Указательный и средний пальцы одинаковой длины. Да нет, конечно же, это полковник.

Он посмотрел на труп с размозженным черепом; тяжелый взгляд неподвижного кузнеца обратился туда же.

— Полковник Боэн умер, — спокойно сказал он. — Стало быть, он в аду.

— Ты, главное дело, молчи! Пусть они гово-

рят! — выкрикивал сапожник, приплясывая от восхищения перед английской законностью. Никто так не ценит закон, как завзятый безбожник.

Кузнец бросил ему через плечо с высокомерием фанатика:

— Это вам, нечестивцам, надо юлить по-лисьи, ибо ваш закон в мире сем. Господь сам хранит и сберегает верных своих, да узрите нынче воочию. — И, указав на мертвеца, добавил: — Когда этот пес умер во гресех своих?

— Выбирайте выражения, — сказал доктор.

— Я их выбираю из Библии. Когда он умер?

— Сегодня в шесть утра он был еще жив, — запинаясь, выговорил Уилфрид Боэн.

— Велика благость Господня, — сказал кузнец. — Давайте, инспектор, забирайте меня на свою же голову. Мне-то что, меня по суду наверняка оправдают, а вот вас за такую службу наверняка не похвалят.

Степенный инспектор поглядел на кузнеца слегка озадаченно, как и все прочие, кроме чудака-священника, который все разглядывал смертоносный молоток.

— Вон там стоят двое, — веско продолжал кузнец, — два честных мастеровых из Гринфорда, да вы все их знаете. Они присягнут, что я никуда

не отлучался с полуночи: у нас было собрание общины, и мы радели о спасении души всю ночь напролет. В самом Гринфорде найдется еще человек двадцать свидетелей. Был бы я язычник, мистер инспектор, я бы и глазом не моргнул — пусть вам будет хуже. Но я христианин и обязан вас пожалеть, а потому сами решайте, когда хотите слушать моих свидетелей, — сейчас или на суде.

Инспектор, видимо, озадачился всерьез и сказал:

— Разумеется, лучше бы отвести подозрения с самого начала.

Кузнец пошел со двора тем же ровным, широким шагом и привел своих друзей, и вправду всем хорошо знакомых. Много говорить им не пришлось. Через несколько слов невиновность Симеона была так же очевидна, как и громада храма.

Воцарилось то особое молчание, которое нестерпимей всяких слов. Чтобы сказать хоть что-нибудь, Уилфрид Боэн бессмысленно заметил католическому священнику:

— Вас явно очень занимает этот молоток, отец Браун.

— Да, очень, — сказал отец Браун. — Почему он

такой маленький?

Доктор вдруг дернулся к нему.

— А ведь верно! — воскликнул он. — Кто возьмет такой молоток, когда кругом столько больших?

Он понизил голос и сказал на ухо Уилфриду:

— Тот, кому большой не с руки. Мужчины вовсе не тверже и не отважнее женщин. У них всего-навсего сильнее плечи. Отчаянная женщина запросто пришибет таким молотком десять человек, а тяжелым молотом ей и жука не убить.

Уилфрид Боэн в ужасе уставился на него, а отец Браун внимательно прислушивался, склонив голову набок. Врач продолжал еще тише и еще настойчивее:

— Какой идиот выдумал, что любовника ненавидит именно обманутый муж? В девяти случаях из десяти его ненавидит сама обманщица-жена. Почем знать, как он ее предал, как оскорбил? Взгляните!

Он коротким кивком указал на скамью, где сидела пышноволосая рыжая женщина. Теперь она подняла голову, и слезы высыхали на ее миловидном лице. Она не сводила взгляда с мертвеца, и в ее глазах был какой-то неистовый блеск.

Преподобный Уилфрид Боэн провел рукой

перед глазами, словно заслоняясь, а отец Браун стряхнул с рукава хлопья золы, налетевшей из кузни, и занудил на свой лад.

— Вот ведь как оно выходит, — сказал он, — что у вас, что у других врачей: пока про душу — все очень складно, а как до тела дойдет, то ни в какие ворота. Спору нет, преступница всегда хочет убить сообщника, а потерпевший — не всегда. И нет спору, что женщине больше с руки молоток, чем молот. Все так. Только она никак не могла этого сделать. Ни одной женщине на свете не удастся эдак разнести череп молотком. — Он поразмыслил и продолжал: — Кое-что покамест и вообще в расчет не принято. Мертвец-то был в железном шлеме, и шлем разлетелся как стеклышко. И это, по-вашему, сделала вон та женщина, с ее-то ручками?

Они снова погрузились в молчание. Наконец доктор проворчал:

— Может, я и ошибаюсь: возражения в конце концов на все найдутся. Одно, по-моему, бесспорно: только идиот схватит молоточек, когда рядом валяется молот.

Уилфрид Боэн судорожно вскинул тощие руки ко лбу и взъерошил свои жидкие светлые волосы. Потом отдернул ладони от лица и вскрикнул:

— Слово, вы мне как раз подсказали слово! — Он продолжал, кое-как одолевая волнение: — Вы сказали: «Только идиот схватит молоточек».

— Ну да, — сказал доктор. — А что?

— Это и был идиот, — проговорил настоятель собора. Чувствуя, что к нему прикованы все взгляды, он продолжал чуть ли не истерично: — Я священник, — захлебывался он, — а священнику не пристало проливать кровь… То есть я… мы не вправе отправлять людей на виселицу. Слава Богу, я вот теперь понял, кто преступник, и слава Богу, казнь ему не грозит.

— То есть вы поняли и промолчите? — спросил доктор.

— Я не промолчу, нет; но его не повесят, — отвечал Уилфрид с какой-то блуждающей улыбкой. — Нынче утром я вошел в храм, а там молился наш дурачок, бедный Джо, он слабоумный от рождения. Бог знает, о чем он молился: у сумасшедших, у них ведь все навыворот, и молитвы, наверное, тоже. Помолится — и пойдет убивать. Я видел, как мой брат донимал беднягу Джо, издевался над ним.

— Так-так! — заинтересовался доктор. — Вот это уже разговор. Да, но как же вы объясните…

Уилфрид Боэн прямо трепетал — наконец-то

для него все разъяснилось.

— Понимаете, понимаете, — волновался он, — ведь тогда долой все странности, обе загадки разрешаются! И маленький молоток, и страшный удар. Кузнец мог бы так ударить, но не этим же молотком. Жена взяла бы этот молоток, но где же ей так ударить? А если сумасшедший — то все понятно. Молоток он схватил, какой попался. А насчет силы… известно же, — правда, доктор? — что в припадке безумия силы удесятеряются.

— Ах, будь я проклят! — выдохнул доктор. — Да, ваша правда.

А отец Браун смотрел на Боэна долгим, пристальным взглядом, и стало заметно, как выделяются на его невзрачном лице большие круглые серые глаза. Он сказал вслед за доктором как-то особенно почтительно:

— Мистер Боэн, из всех объяснений только ваше сводит концы с концами. Потому-то я и скажу вам напрямик: оно неверное, и я это твердо знаю.

Затем чудной человечек отошел в сторонку и снова стал рассматривать молоток.

— Всезнайку из себя корчит, — сердито прошептал доктор Уилфриду. — Уж эти мне католические попы: хитрющий народ!

— Нет, нет, — твердил как заведенный Боэн. — Дурачок его убил. Дурачок его убил.

Два священника и доктор стояли в стороне от служителя закона и арестованного, и когда их разговор прервался, стал слышен зычный голос кузнеца:

— Ну, вроде мы с вами договорились, мистер инспектор. Сила у меня есть, это вы верно, только и мне не под силу зашвырнуть сюда молот из Гринфорда. Молот у меня без крыльев, как же он полетит за полмили над полями да околицами?

Инспектор дружелюбно рассмеялся и сказал:

— Нет, ваше дело чистое, хотя сходится все, конечно, на редкость. Попрошу вас только оказывать всяческое содействие в отыскании человека вашего роста и вашей силы. Да чего там! Хоть поможете его задержать. Сами-то вы ни на кого не подумали?

— Подумать подумал, — сурово сказал кузнец, — только виновника-то зря ищете. — Он заметил, что кое-кто испуганно поглядел на его жену, шагнул к скамейке и положил ручищу ей на плечо. — И виновницы не ищите.

— Кого же тогда искать? — ухмыльнулся инспектор. — Не корову же — где ей с молотком управиться?

— Не из плоти была рука с этим молотком, — глухо сказал кузнец, — по-вашему говоря, он сам умертвился.

Уилфрид подался к нему, и глаза его вспыхнули.

— Это как же, Барнс, — съязвил сапожник, — ты что же, думаешь, молот сам его пристукнул?

— Смейтесь и насмехайтесь, — выкрикнул кузнец, — смейтесь, священнослужители, даром что вы же по воскресеньям повествуете, как Господь сокрушил Сеннахирима[1]. Он во всяком дому, и призрел мой дом, и поразил осквернителя на пороге его. Поразил с той самой силою, с какою Он сотрясает землю.

— Я сегодня грозил Норману громом небесным, — сдавленно проговорил Уилфрид.

— Ну, этот подследственный не в моем ведении, — усмехнулся инспектор.

— Зато вы в Его ведении, — отрезал кузнец, — не забывайте об этом, — и пошел в дом, обратив к собравшимся могучую спину.

Потрясенного Уилфрида заботливо взял под руку отец Браун.

— Уйдемте куда-нибудь с этого страшного ме-

---

[1] Примечания: 1

Господь сокрушил Сеннахирима. — 4 Кн. Царств, 19, 35-39.

ста, мистер Боэн, — говорил он. — Покажите мне, пожалуйста, вашу церковь. Я слышал, она чуть ли не самая древняя в Англии. А мы, знаете, — он шутливо подмигнул, — интересуемся древнеангликанскими церквами[2].

Шуток Уилфрид не ценил и шутить не умел, но показать церковь согласился охотно: он рад был поговорить о красотах готики с человеком, понимающим в ней все-таки побольше, чем сектант-кузнец и сапожник-атеист.

— Да-да, — сказал он, — пойдемте, вот здесь.

Он повел отца Брауна к высокому боковому крыльцу, но едва тот поставил ногу на первую ступеньку, как кто-то взял его сзади за плечо. Отец Браун обернулся и оказался лицом к лицу с худым смуглым доктором, который глядел темно и подозрительно.

— Вот что, сэр, — резко сказал врач, — вид у вас такой, будто вы тут кое в чем разобрались. Вы что же, позвольте спросить, решили помалкивать про себя?

— Понимаете, доктор, — дружелюбно улыбнулся отец Браун, — есть ведь такое правило: не все

---

[2] Примечания: 2

...мы... интересуемся древнеангликанскими церквами. — Древнеангликанских церквей быть не может — в Англии до конца 30-х гг. XVI в. существовало только католичество.

знаешь — так и молчи, тем более что в нашем-то деле положено молчать, именно когда знаешь все. Но если вам кажется, что я обидел вас или не только вас своими недомолвками, то я, пожалуй, сделаю вам два очень прозрачных намека.

— Слушаю вас, — мрачно откликнулся врач.

— Во-первых, — сказал отец Браун, — это дело вполне по вашей части. Никакой мистики, сплошная наука. Кузнец не в том ошибся, что преступника настигла кара свыше, — это-то да, только уж никаким чудом здесь и не пахнет. Нет, доктор, никакого особого чуда здесь нет, разве что чудо — сам человек, его непостижимое, грешное, дерзновенное сердце. А череп-то раздробило самым естественным образом, по закону природы, ученые его на каждом шагу поминают.

Доктор пристально и хмуро глядел на него.

— Второй намек? — спросил он.

— Второй намек такой, — сказал отец Браун. — Помните: кузнец, он в чудеса-то верит, а сказок дурацких не любит — как, дескать, его молот полетит, раз он без крыльев?

— Да, — сказал доктор. — Это я помню.

— Так вот, — широко улыбнулся отец Браун, — эта дурацкая сказка ближе всего к правде.

И он засеменил по ступенькам вслед за насто-

ятелем.

Уилфрид Боэн нетерпеливо поджидал его, бледный до синевы, словно эта маленькая задержка его доконала; он сразу повел гостя в свою любимую галерею, под самый свод, в сияющую сень витража с ангелом. Маленький патер осматривал все подряд и всем неумолчно, хоть и негромко восхищался. Он обнаружил боковой выход на винтовую лестницу, по которой Уилфрид спешил вниз к телу брата; отец Браун, однако, с обезьяньей прытью кинулся не вниз, а наверх, и вскоре его голос донесся с верхней наружной площадки.

— Идите сюда, мистер Боэн, — позвал он. — Вам хорошо подышать воздухом!

Боэн поднялся и вышел на каменную галерейку, балкончик, лепившийся у стены храма. Вокруг одинокого холма расстилалась бескрайняя равнина, усеянная деревнями и фермами; лиловый лес густел на горизонте. Далеко-далеко внизу рисовался четкий квадратик двора кузни, где все еще что-то записывал инспектор и, как прибитая муха, валялся неубранный труп.

— Вроде карты мира, правда? — сказал отец Браун.

— Да, — очень серьезно согласился Боэн и кивнул.

Под ними и вокруг них готические стены рушились в пустоту, словно призывали к самоубийству. В средневековых зданиях есть такая исполинская ярость — на них отовсюду смотришь, как на круп бешено мчащейся лошади. Собор составляли древние, суровые камни, поросшие лишайниками и облепленные птичьими гнездами. И все же внизу казалось, что стены фонтаном взмывают к небесам, а оттуда, сверху, — что они водопадом низвергаются в звенящую бездну. Два человека на башне были пленниками неимоверной готической жути: все смещено и сплющено, перспектива сдвинута, большое уменьшено, маленькое увеличено — окаменелый мир наизнанку, повисший в воздухе. Громадные каменные завитки — и мелкий рисунок крохотных ферм и лугов. Изваяния птиц и зверей, словно драконы, парящие или ползущие над полями и селами. Все было страшно и невероятно, будто они стояли между гигантских крыл парящего над землей чудища. Старая соборная церковь надвинулась на солнечную долину, как грозовая туча.

— По-моему, на такой высоте и молиться-то опасно, — сказал отец Браун. — Глядеть надо снизу вверх, а не сверху вниз.

— Вы думаете, здесь так уж опасно? — спросил Уилфрид.

— Я думаю, отсюда опасно падать — упасть ведь может не тело, а душа, — ответил маленький патер.

— Я что-то вас не очень понимаю, — пробормотал Уилфрид.

— Взять хоть того же кузнеца, — невозмутимо сказал отец Браун. — Хороший человек, жаль не христианин. Вера у него шотландская[3] — так веровали те, кто молился на холмах и скалах и смотрел вниз, на землю, чаще, чем на небеса. А величие — дитя смирения. Большое видно с равнины, а с высоты все кажется пустяками.

— Но ведь он, он не убийца, — выговорил Боэн.

— Нет, — странным голосом сказал отец Браун, — мы знаем, что убийца не он.

Он помолчал и продолжил, светло-серые глаза его были устремлены вдаль.

— Я знал человека, — сказал он, — который сперва молился со всеми у алтаря, а потом стал подниматься все выше и молиться в одиночку — в уголках, галереях, на колокольне или у шпиля. Мир вращался, как колесо, а он стоял над

---

[3] Примечания: 3

Вера у него шотландская. — Речь идет о пресвитерианстве.

миром: у него закружилась голова, и он возомнил себя Богом. Хороший он был человек, но впал в большой грех.

Уилфрид глядел в сторону, но его худые руки, вцепившиеся в парапет, стали иссиня-белыми.

— Он решил, что ему дано судить мир и карать грешников. Если б он стоял внизу, на коленях, рядом с другими — ему бы это и в голову не пришло. Но он глядел сверху — и люди казались ему насекомыми. Ползало там одно ярко-зеленое, особенно мерзкое и назойливое, да к тому же и ядовитое.

Стояла тишина, только грачи кричали у колокольни; и снова послышался голос отца Брауна:

— К вящему искушению во власти его оказался самый страшный механизм природы — сила, с бешеной быстротой притягивающая все земное к земному лону. Смотрите, вон прямо под нами расхаживает инспектор. Если я кину отсюда камушек, камушек ударит в него пулей. Если я оброню молоток… или молоточек…

Уилфрид Боэн перекинул ногу через парапет, но отец Браун оттянул его назад за воротник.

— Нет, — сказал он. — Это выход в ад[4].

---

[4] Примечания: 4

Это выход в ад. — Самоубийство считается одним из тягчайших грехов для христианина.

Боэн попятился и припал к стене, в ужасе глядя на него.

— Откуда вы все это знаете? — крикнул он. — Ты дьявол?

— Я человек, — строго ответил отец Браун, — и значит, вместилище всех дьяволов. — Он помолчал. — Я знаю, что вы сделали — вернее догадываюсь почти обо всем. Поговорив с братом, вы разгорелись гневом — не скажу, что неправедным, — и схватили молоток, почти готовые убить его за его гнусные слова. Но вы отпрянули перед убийством, сунули молоток за пазуху и бросились в церковь. Вы отчаянно молились — у окна с ангелом, потом еще выше, еще и потом здесь — и отсюда увидели, как внизу шляпа полковника ползает зеленой тлей. В душе вашей что-то надломилось, и вы обрушили на него гром небесный.

Уилфрид прижал ко лбу дрожащую руку и тихо спросил:

— Откуда вы знаете про зеленую тлю?

По лицу отца Брауна мелькнула тень улыбки.

— Да это как-то само собой понятно, — сказал он. — Слушайте дальше. Мне все известно, но никто другой не узнает ничего, вам самому решать, я отступаюсь и сохраню эту тайну, как тайну

исповеди. Тому много причин, и лишь одна вас касается. Решайте, ибо вы еще не стали настоящим убийцей, не закоснели во зле. Вы боялись, что обвинят кузнеца, боялись, что обвинят его жену. Вы попробовали свалить все на слабоумного, зная, что ему ничто не грозит. Мое дело замечать такие проблески света в душе убийцы. Спускайтесь в деревню и поступайте, как знаете; я сказал вам свое последнее слово.

Они в молчании спустились по винтовой лестнице и вышли на солнце к кузнице. Уилфрид Боэн аккуратно отодвинул засов деревянной калитки, подошел к инспектору и сказал:

— Прошу вас арестовать меня. Брата убил я[5].

[5] Примечания: 5

Брата убил я. — Ср. библейский текст о братоубийстве Каина (Быт., 5, 4, 9), а также слова Исава: «И я убью Иакова, брата моего» (Быт., 27, 41).

Весенняя песня
Джойс Кэри

В парке весна, с востока веет сыростью, и небо как снятое молоко; хочешь не хочешь, а выводи детей на прогулку по первому солнышку. Долговязой очкастой девочке поручены брат и сестренка. Нос у девочки сизый, губы поджаты, лоб нахмурен; она сутулится, покоряясь судьбе — вряд ли смиренно, скорее обреченно. За пять минут она третий раз останавливается: малыши все время отстают. «Да иди же ты, Мег!»

Девчушка в синей шапочке толкает кукольную коляску о трех колесах: одно отвалилось. Коляской этой она с невероятным напряжением сил вертит так и этак, а заодно выпаливает очередями длинную историю.

— И когда он зашел в замок, он три раза крикнул: «Кажедный, кажедный, кажедный», и, конечно, раз он был такой апиркичный…

— Что, что? — в голосе страдальческое терпение.

— Ну апиркичный он был.

— Мегги, это же бессмыслица.

— Нет, смыслица. — Девчушка с нежданной ловкостью выруливает коляску через железную обочину тропки на прибитую траву. Высокие нарциссы, нарциссы из теплиц колышутся на своих огороженных клумбах, а трава пока прошлогодняя. Под ногами у детей валяются пустые сигаретные пачки.

— Апиркичный, и все, — пыхтя, выпевает девчушка. — Ну такой апиркичный, из рыбных костей.

— Хорошо, пусть, рассказывай дальше.

— И тогда кажедный прискочил по колидору…

— По коридору, ты хочешь сказать.

— И не хочу, и вовсе не по коридору. Колидор это был, у него еще круглый потолок, — и апиркичный тогда постелил бородищу на пол и говорит: «Не боюсь я всякого каждого». У него еще был с собой тупель. — И она выводит все звонче, в ней звенит нарастающее вдохновение: — У него еще был с собой тупель, был с черными усищами — на серебряной цепочке. И ему насовсем побрили сзади спину — и так каждую пятницу.

— Ах, пудель. Как у твоего дяди Джона.

— И вовсе нет, а тупель — потому что с таким вот длинным лицом.

— Ну, одним словом, собака.

— И не собака, а это был такой синий штук, потому что его привезли из Биафрики, а там все собаки скисли.

— Пусть себе, дальше что, — и тягостный взрослый вздох из самой глубины души.

Девчушка молчит. Ни слова.

— Дальше-то что было?

— А ты же мне все равно никогда не веришь. — Она вдруг отпускает коляску — та тут же опрокидывается, вываливая большую тряпичную куклу на щетинистую траву, — и перебегает к брату, который идет с другой стороны. Брату пятый год, он идет и напропалую радуется своим синим вельветовым штанишкам. Руки у него в карманах кулаками вперед, и с боков топырятся два бугра. Он смотрит, что у него получается, и вышагивает изо всех сил, вышагивает по-разному, даже расправив руки в карманах. Когда Мег вдруг появляется перед ним, он останавливается и смотрит на нее так озадаченно, будто в жизни не видел ничего подобного.

— Том, Том, я вот рассказывала, ты ведь поверил?

— Поверил.

— Ой, Томми, как тебе не стыдно? — говорит долговязая сестра. — Ты же совсем и не слушал.

— Нет, я слушал, мне было очень интересно.

— Ну о чем она рассказывала?

— Не знаю.

— Вот видишь!

— А мне все равно понравилось, — говорит Том. — Мне даже очень понравилось.

И он снова смотрит на кулаки в карманах, оттопыривает их еще больше и выбрасывает вперед правую ногу, словно разучивая гусиный шаг. Тем временем Маргарет успела два раза боком обтанцевать Тома лицом к нему. Она разглядывает его с величайшим интересом и растущим удовольствием. Вот, остановившись перед ним вплотную, она приникает лицом к лицу и говорит: «Тупель». Вдруг она наскакивает из него и кричит: «Тупель, тупель, синий штук». Она разражается громким ликующим смехом.

Мальчик изумленно глядит на нее. Она начинает объяснять, повизгивая от смеха.

— Глэд говорит: «Какой апиркичный?» — а я говорю: «У него еще был с собой тупель». А Глэд и говорит: «Какой тупель?» — а я говорю: «Тупель — это синий штук» — и говорю: «У него еще был с собой тупель».

Тома разбирает хохот. Долговязая девочка, удивленная и рассерженная этим бессмыс-

ленным взрывом веселья, выкрикивает: «Ну хватит».

— Тупель, тупель, у него с собой был тупель. — Детей бросает из стороны в сторону, как пьяных; они сталкиваются один с другим. Они заходятся от восторга. «Апиркичный человек — у него с собой был тупель».

Неторопливым шагом проходят двое солдат в будничной форме, оборачиваются на детей и ухмыляются. Один сдвигает фуражку на затылок, как бы заметив: «Да, уж почти что тепло — весна, да и только». Но долговязая девочка в бешенстве. Покраснев дотемна, она бросается на малышей:

— Прекратите, слышите. Вы у меня перестаньте! — Голос ее дрожит; она едва ли не перепугана.

Дети увертываются.

— Апиркичный человек — у него с собой, у него с собой, — они захлебываются смехом, — был тупель.

Она прыжком настигает их и растаскивает в разные стороны.

— Шлепки вам хорошей надо, вот именно.

От дерготни и тряски девчушка тоже краснеет. Она звонко и обиженно говорит:

— А я ничего и не сделала.

Малыш уже обо всем позабыл. Он снова запихнул руки в карманы и смотрит, верно ли они оттопырились. Маргарет кривит губы, того и гляди заплачет, но тут же передумывает. Она ставит хромую коляску, нагибается за куклой и одновременно, изловчившись, успевает подпереть падающую коляску левым боком.

— Да иди же ты, Мегги, никаких сил с тобой нет. — Силы у Глэдис и вправду на исходе. Она вся сникла; призыв ее обращен скорее к небесам, и в голосе скорбь о своей непонятости, о каторжной судьбе. Девчушка хмурится. Потом она усаживает куклу в коляску и говорит ей тихо и решительно:

— Лежи смирно, Вера, а то сейчас как тебя вот шлепну по попке.

Вкус мечты
Джойс Кэри

Когда дюжина больших колоколов отзвонила полночь, девятилетний Энтони рывком сел на постели, словно выскочила заводная фигурка. Он уже три часа лежал без сна и ждал. Он мигом натянул рубашку и синие форменные брюки. Потом отворил дверь детской спальни и посмотрел на ступеньки в голубоватом квадрате света из слухового окна. Он затаил дыхание и начал спускаться. Ступенька скрипнула, он, не чуя ног, промчался через гостиную и отпер оконную задвижку. Еще мгновение — и он стоял на краю лужайки.

Деревья и дома выстроились по сторонам широкой улицы, посреди которой стояла церковь с низкой колокольней. Он приглядывался к небесному сиянию, к шевелящимся листьям, к мерцающим звездам, словно не ожидал застать никакой жизни. Церковь тоже с виду и не думала засыпать, а могилы на кладбище, мимо которого он что ни день пробегал в школу или за конфетами, теперь донельзя изумили его. Тронутые лунным светом плиты столпились у колокольни

как прихожане, ожидающие важных вестей: одни склонились перед кафедрой, другие наклонились друг к другу.

Он перебежал улицу на цыпочках, вроде танцующего зверька, у которого играет каждая жилка.

В высоком доме за белыми воротами окно столовой было уже открыто. Стоя под ним, Энтони быстро оглянулся на небо, на деревья, на камни: а вдруг да все они обернулись и уставились ему вслед? Но они тихо, с недреманным терпением размышляли над собственными делами.

Из-за окна послышался шепоток:

— Это ты сстоишь, Тони?

— Привет, Боб.

Он взялся за оконную раму.

В растворе окна показалось длинное бледное лицо и густая шапка темных волос.

— Да не стучи ты так, понял, тут полицейский блисско. — Свистящий шепоток Роберта прерывался от волнения. — Только что просскочил, ис-са ворот поглядел. Да не ссуйся ты, — это был уже безголосый визг, — окно сскрипит.

Энтони молча юркнул в окошко. Его сердило, что Роберт тормошится, как маленький, но сердило так, мимоходом. Он привык к неспокойному поведению друга и давно уже приноровился к

нему.

Соскочив на пол, он шептать не стал, а приглушенно спросил:

— Тебя-то полицейский не видел?

Но Роберт уже забыл про полицейского. У него это и выговорилось единственно от волнения. Теперь он сказал:

— Балда, чего ты копался — я уж думал, ты вообще не придешь.

Энтони ничего не сказал. Он оглядывал комнату в лунном свете.

— Ну как, рад, что пришел? — выдохнул Роберт, яростно почесываясь сквозь пижаму. Он широко улыбался и глядел на Энтони: тот отвечал суровым взглядом. Оба безмолвствовали. Неясно было, что дальше говорить, что делать. Они забыли, как у них намечалось. Взгляд Энтони скользнул по струйке лунного света через весь пол к каминному коврику и набрел на свечку, влепленную в чашке, на бутылку лимонаду, большую жестянку фруктовых консервов, глубокую тарелку и две ложки. Роберт вслед за ним поглядел туда же и снова зашушукал:

— Пирушка, ссмотри, у меня вссе готово, давай, чего дожидаешься?

Он задернул занавески, зажег свечку и уселся

на коврик.

— Некогда нам бездельничать — вон сколько съесть, надо. Два фунта в этой банке.

Энтони молча занял свое место по другую сторону свечки. Роберт не сводил с него темных искристых глаз-щелочек; щеки его разрумянились от возбуждения. Он подавлял смех, но стоило ему помолчать, как губы разъезжались и подергивались. И он быстро заговорил снова, небрежно и отрывисто, как бывалый гуляка-полуночник:

— Разопьем, что ли.

— Спасибо.

— Железная была мысль, понял, сскажешь, нет?

— Какая?

— Та ссамая.

Энтони на это ничего не сказал. Дело было мировое, нешуточное, и нечего болтать.

Роберт еле справился с разъехавшимися губами.

— Ну давай приложимся, гони штопор, понял?

— Какой штопор?

— Да ты што, понял, я же тебе ссказал: возьми штопор.

— А сам говорил — у тебя есть.

— Нету у меня — он в сстоловой, а там пол жут-

ко сскрипит.

— Да ладно, обойдемся ананасами — они как у тебя, целыми ломтями?

— Откуда я тебе их возьму, на рождество ссъели — это перссики, понял — открывалку-то хоть принес?

— Какую открывалку?

Держа банку в обеих руках, Роберт шарил взглядом по полу. Он сердито хмурился, но на губах у него все так же играла улыбка.

— Да ты что, балда, — как же мы теперь бесс открывалки.

Энтони разглядывал медный каминный прибор, который так и блестел, отражал свечное пламя. Он протянул руку и потрогал набалдашник у кочерги, осторожно, как будто гладил незнакомую собаку.

Он вдруг поднял глаза и увидел, что Роберт ухмыльнулся во весь рот. Он хоть и понимал, что забулдыге надо быть мрачным, но чувства одолели рассудок. Он выпалил:

— Ну скажи, не мысль, а мечта — насчет пирушки?

Энтони чуть поднял брови. Слово «мечта» поразило его: оно было до странности точное и правильное. Поэтому-то он и предпочитал дер-

жать язык за зубами. Он задумчиво посмотрел на друга из-за бутылки, банки, чистых тарелок и ложек. «Неплохо придумано».

Заверещал входной звонок. Роберт кинулся в дверь, Энтони метнулся к окну. Через три минуты отец Роберта, в халате и шлепанцах, стоял в передней и беседовал с молодым полисменом, а тот крепко держал Энтони под руку. Мальчик был бледен, как смерть, глаза его округлились, но вид у него был скорее отрешенный, чем испуганный.

— Наскочил прямо на меня, профессор, у самых ворот — я подумал, что лучше с вами на месте разобраться.

Профессор медленно и задумчиво поглаживал лысину от лба к затылку.

— Но, Тони, я что-то не понимаю, что вы с Робертом делали? Зачем ты явился ни свет ни заря?

Энтони сказал отсутствующим голосом:

— Мы хотели устроить пирушку.

— Пирушку. — Профессор вдруг опустил руку и спросил: — Ах, вы, наверно, сидр пили? — Он обернулся к лестнице, где на верхней площадке из-за перил виднелись пижамные штанины Роберта, и позвал: «Бобби». Штанины исчезли. Профессор сказал:

— Роберт чересчур пристрастился к сидру.

— Иной сидр покрепче пива будет, — сказал полисмен с видом знатока.

— Вот и я говорю, сержант. — Оба строго посмотрели на Энтони.

— Сидр мы не пили.

— А что вы пили?

Мальчик слегка приподнял брови. Он не мог припомнить, чем разжился Роберт, а ведь это был их давний замысел, их сбывшаяся мечта.

— Фруктовые консервы, — неуверенно пробормотал он наконец.

Профессор улыбнулся, и его пухлая ручка снова поднялась к лысине. Он изумленно помассировал ее вкруговую.

— Господи, что это у вашего брата за обычай пошел — вламываться за полночь в чужие дома и есть фруктовые консервы?

Энтони не отрываясь глядел в окошко. Он погрузился в неописуемое переживание единства с полуночным миром, где даже небо и даже такие знакомые звезды смотрели по-особому. Это был мир, обновленный безмолвием и переполненный чем-то совсем неизведанным; на ум ему пришло слово «мировой». Но даже и самое слово это было какое-то новое.

— Фруктовые консервы, — сказал профессор.

— Ну да, фруктовые — ананасные.

Профессор засмеялся; и даже полисмен улыбнулся.

— Ананасные, — сказал он. — Мечта, да и только.

Энтони, вдруг пробужденный к обычной жизни, поглядел на них, раскрыл было рот, чтобы сказать, что ананасы здесь ни при чем. Но сомкнул губы и так ничего и не сказал. Он понял, что ничего, ничего им не скажешь так, чтобы они поняли. Они ведь уже решили, что на ребят не иначе как дурь нашла.

Бешеные деньги
Джон Коллиер

Гуараль отвез телегу пробковой коры на шоссе, к перпиньянскому грузовику. Он возвращался домой, тихо-мирно шел рядом со своим мулом, ни о чем особенно не думал, и вдруг мимо него прошагал полуголый умалишенный, каких в здешней части Восточных Пиренеев никогда не видывали.

У них в деревне водились два-три головастых идиота, но этот был не такой. И не был он изможденный и буйный, как старик Барильеса после пожара. И не было у него крохотной усохшей головенки с языком-болтушкой, как у Любеса-младшего. Совсем какой-то небывалый полудурок.

Фуараль про себя окрестил его оголтелым: слепит и прыщет, будто солнце, в самые глаза. Красное тело так и прет из цветных лохмотьев-красные плечи, красные колени, красная шея, и широкое круглое красное лицо так и прыщет улыбками, словечками, смешками.

Фуараль догнал его на гребне горы. Тот уста-

вился вниз, в долину, точно остолбенел.

— Боже мой! — сказал он Фуаралю. — Нет, вы только посмотрите!

Фуараль посмотрел: все было как всегда.

— Это я, дурак, — сказал полоумный, — шастаю, значит, туда-сюда по чертовым Пиренеям неделю за неделей и вижу все одно и то же: луга, березняк; сосняк, водопады, зеленым-зелено, словно тебе поднесли миску haricots verts![6]. А вот же чего я все время искал! Почему никто не сказал мне об этом?

Как было отвечать на такой дурацкий вопрос? Ну, да умалишенные сами спрашивают, сами отвечают. Фуараль наподдал мулу и стал спускаться по дорожке, но полоумный шел с ним вровень.

— Что же это такое, господи? — говорил он. — Кусок Испании перетащили через границу, что ли? А может, это лунный кратер. Воды, наверное, никакой? Боже мой, ну и красногорье кругом! Смотрите-ка, а земля желто-розовая! Это деревни там виднеются? Или кости вымерших чудищ? Мне здесь нравится, — говорил он. — Мне нравится, как смоковницы разверзают скалы. И как косточки разверзают смоквы.

---

[6] Примечания: 6
Переговоры (фр.).

О сюрреализме слышали? Вот он, сюрреализм жизни. А это что за роща? Пробковый дубняк? Похоже на окаменелых циклопов. О, дивные циклопы, вас обдирают донага разбойники-смертные, но я своей малой кистью на малом куске холста воскрешу вас к жизни в вашем пробчатом облачении!

Фуараль, уж на что человек не набожный, все-таки счел за благо перекреститься. Дурень нес околесицу всю дорогу, два или три километра. Фуараль отвечал ему "да" или "нет" либо хмыкал.

— Это моя земля! — голосил помешанный. — Ее сотворили для меня! Какое счастье, что я не поехал в Марокко! Это ваша деревня? Изумительно! А дома-то, поглядите — в три, в четыре этажа. Почему они — выглядят так, точно их нагромоздили пещерные жители — да-да, пещерные жители, не нашедши в скалах никаких пещер? А может, тут и скалы были да осыпались — вот оголенные пещеры и сгрудились на солнцепеке? Почему у вас нет окон? Нравится мне эта желтая колокольня. В испанском духе. А здорово, что колокол висит в железной клетке! Черный, как ваша шляпа. Мертвый. Может, потому здесь и тихо? Мертвый звук-висельник в лазури! Ха-ха! Разве не забавно? Или вам не по нутру сюрреализм?

Тем хуже, друг мой, ибо вы, кстати, как раз и есть сырье для сновидений. Мне нравится, что вы все в черном. Тоже небось на испанский манер? Вы как прорехи в белом свете.

— До свидания, — сказал Фуараль.

— Погодите минутку, — попросил чужак. — Где бы мне тут приютиться? Гостиница у вас есть?

— Нету, — сказал Фуараль, заворачивая во двор.

— Вот черт! — сказал чужак. — Ну у кого-нибудь хоть можно переночевать?

— Нет, — сказал Фуараль. Дуралей был малость озадачен.

— Ладно, — сказал он наконец. — Пойду, по крайней мере, осмотрюсь.

И пошел по улице. Фуараль видел, как он заговорил с мадам Араго, и та покачала головой. Потом он сунулся к пекарю, пекарь тоже дал ему от ворот поворот. Он, однако же, купил у него каравай хлеба, а у Барильеса сыра и вина, сел на скамеечку, подзакусил и давай шляться по косогорам.

Фуараль решил за ним приглядеть и отправился на деревенскую верховину, откуда виден был весь склон. Дурень шатался без всякого толку: ничего не трогал, ничего не делал. Потом он вроде

как стал пробираться к усадебке с колодцем, за несколько сот ярдов от деревни.

А усадебка-то принадлежала Фуаралю, через жену досталась: хорошее местечко, был бы сын, там бы и жил. Завидев, что чужака понесло в ту сторону, Фуараль пошел за ним без лишней, сами понимаете, спешки, но не так чтобы медленно. И точно, на месте оказалось, что дурень тут как тут, заглядывает в щели ставен, даже дверь подергал. Мало ли что было у него на уме.

Фуараль подходит, тот оборачивается.

— Здесь никто не живет? — спрашивает.

— Нет, — сказал Фуараль.

— А кто хозяин? — полюбопытствовал чужак. Фуараль не знал, что и ответить. Потом все-таки признался, что он и есть хозяин.

— А мне вы дом не сдадите? — спросил чужак.

— Для чего? — спросил Фуараль.

— Как то есть! — сказал чужак. — Чтобы жить.

— Зачем? — спросил Фуараль. Чужак тогда выставил руку, загнул большой палец и говорит, нарочито медленно.

— Я, — говорит, — художник, живописец.

— Ага, — говорит Фуараль.

Чужак загибает указательный палец.

— Я, — говорит, — смогу здесь работать. Мне

здесь нравится. Нравится обзор. Нравятся те два ясеня.

— Ну и хорошо, — говорит Фуараль. Тогда чужак загибает средний палец.

— Я, — говорит, — хочу прожить здесь шесть месяцев.

— Ага, — говорит Фуараль.

Чужак загибает безымянный.

— Прожить, — говорит, — в этом доме. Который, с вашего позволения, выглядит на желтой земле точно игральная кость посреди пустыни. Или он больше похож на череп?

— Ого! — говорит Фуараль.

А чужак загибает мизинец и говорит: — За сколько франков — вы разрешите мне — жить и работать в этом доме шесть месяцев?

— Зачем? — говорит Фуараль.

Тут чужак аж затопотал. Вышел целый спор; наконец Фуараль взял верх, сказав, что в здешних краях никто домов не снимает: у всякого свой есть.

— Но мне-то надо снять этот дом, — сказал чужак, скрежеща зубами, — чтобы картины здесь рисовать.

— Тем хуже для вас, — сказал Фуараль. Чужак разразился воплями на каком-то неведомом на-

речии, едва ли не сатанинском.

— Ваша душа, — сказал он, — видится мне крохотным и омерзительно кругленьким черным мраморным шариком на выжженном белом солончаке.

Фуараль сложил в щепоть большой, средний и безымянный пальцы, а указательным и мизинцем ткнул в сторону чужака: пусть его обижается.

— Сколько вы возьмете за эту лачугу? — спросил чужак. — Может, я ее у вас куплю.

И Фуараль с большим облегчением понял, что это, оказывается, простой, обычный, жалкий идиот. У него и штанов-то нет, чтоб как следует прикрыть задницу, а он зарится на этот прекрасный крепкий дом, за который Фуараль просил бы двадцать тысяч франков, было бы у кого просить.

— Ну! — сказал чужак. — Так сколько же? Фуаралю надоело зря время терять, и он былне прочь напоследок слегка позабавиться, вот они сказал: — Сорок тысяч.

— Дам тридцать пять, — отозвался чужак. Фуараль от души расхохотался.

— Хорошо смеетесь, — заметил чужак. — Я бы такой смех, пожалуй, нарисовал. Изобразил бы,

как сыплются свежевырванные с корнями зубы. Ну и как? Не отдадите за тридцать пять? Задаток могу прямо сейчас.

И, вытащив бумажник, этот полоумный богатей зашуршал одним, двумя, тремя, четырьмя, пятью тысячефранковыми билетами перед носом Фуараля.

— Останусь буквально без гроша, — сказал он. — Но на худой-то конец я ведь могу его перепродать?

— С божией помощью, — сказал Фуараль.

— А что, стану-ка я сюда ездить, — сказал тот. — Боже ты мой! Да за шесть месяцев я здесь столько понарисую — на целую выставку. В Нью-Йорке все с ума свихнутся. А я снова сюда и наработаю еще на одну выставку.

Фуараль, ошалев от радости, даже и не пытался что-нибудь понять. Он стал неистово нахваливать свой дом: затащил покупателя внутрь, показал ему печку, выстукал стены, заставил заглянуть в трубу, в сарай, в колодец…

— Ладно, ладно, — сказал чужак. — Отлично. Все отлично. Побелите стены. Подыщите мне какую-нибудь женщину — прибираться и стряпать. Я поеду обратно в Париж и вернусь с вещами через неделю. Слушайте: занесите в дом тот вон

стол, два-три стула и кровать. Остальное я сам привезу. Вот ваш задаток.

— Нет, нет, — сказал Фуараль. — Все надо сделать честь по чести, при свидетелях. Потом вот приедет законник, он выправит какие надо бумаги. Пошли со мной в деревню. Я позову Араго, он человек надежный. Еще Гиза, он очень надежный. И Винье, он надежный, как могила. Разопьем бутылку старого вина, у меня есть, я поставлю.

— Прекрасно! — сказал ниспосланный богом юродивый.

В деревню и пошли. Явились Араго, Гиз, Винье, надежные, как каменная стена. Задаток был уплачен, вино откупорено, чужак заказал еще, в дом набилась куча народу. Кого не пустили, те стояли снаружи, слушали доносившийся хохот. Можно было подумать, будто в доме свадьба или какое-нибудь безобразие. Фуаралева старуха и та выходила постоять в дверях, показать себя людям.

Спору нет, было в этом сумасшедшем что-то умопомрачительное. Вечером, после его ухода, они основательно потолковали о нем между собой.

— Слушаешь его, — сказал коротышка Гиз, — и

точно пьян, ни гроша не потратив. Вроде и понятно, и непонятно — как по воздуху летишь; и смех берет.

— А мне как маслом по сердцу смазали: вдруг показалось, будто я богач богачом, — сказал Араго. — И не то что вот у меня, скажем, схоронено свое в дымоходе, а как если бы… ну, как если хоть сори деньгами — не переведутся.

— Мне он нравится, — сказал коротышка Гиз. — Мы с ним друзья.

— Это ты чепуху мелешь, — сказал Фуараль. — Он же полоумный. А дела с ним у меня.

— Я подумал, пожалуй, он и не такой уж полоумный, когда он сказал, что твой дом глядит из земли как старый череп, — сказал Гиз, неспроста небось отводя глаза.

— Может, даже и не обманщик? — спросил Фуараль. — Если хочешь знать, он еще сказал, будто дом похож на игральную костяшку посреди пустыни. Так как же, череп или костяшка?

— Я, говорит, из Парижа, — сказал Араго. — И прямо тут же: я, мол, американец.

— Да, да. Что и говорить, самый настоящий обманщик, — подтвердил Кес. — Может статься, мошенник из мошенников-недаром разъезжает по всему свету. Но, к счастью, вдобавок поло-

умный.

— Вот и покупает дом, — сказал Лафаго. — Были б мозги при нем, он бы — этакий-то обманщик — забрал его себе, и все тут. А так покупает. За тридцать пять тысяч франков!

— Человек полоумный, будь он семи пядей во лбу, все равно что вывернутый мешок, — сказал Араго. — А если он вдобавок набит деньгами, то…

— … то деньги так и сыплются, — продолжил Гиз.

Чего же лучше-то. Все с нетерпением поджидали чужака. Фуараль побелил дом, прочистил дымоходы, повсюду прибрал. И уж будьте уверены, хорошенько все обыскал на случай, если покойный тесть три года назад где-нибудь что-нибудь схоронил, а тот дурень об этом как-нибудь прослышал. С парижанами, с ними держи ухо востро.

Чужак возвратился, и его пожитки целый день перевозили на мулах от шоссе, где они были сгружены с машины. К вечеру все собрались в доме — свидетели, помощники и прочие. Оставались сущие пустяки — получить денежки.

Фуараль намекнул на это деликатней деликатного. Чужак заулыбался, без всяких проволочек

сходил в комнату, куда свалили его скарб, и живо принес какую-то книжечку, всю из маленьких billets, вроде тех лотерейных, какие пробуют вам всучить в Перпиньяне. Он оторвал верхний билетик.

— Пожалуйста, — сказал, он, протягивая билетик Фуаралю. — Тридцать тысяч франков.

— Не пойдет, — сказал Фуараль.

— Что еще за новости? — удивился чужак.

— Таких бумажечек я навидался, — сказал Фуараль. — И написано на них, друг мой, было не тридцать, а триста тысяч. Только потом тебе говорят, что они не выиграли. Нет, мне бы лучше деньгами.

— Это и есть деньги, — сказал чужак. — Все равно что деньги. Предъявите это, и вам выдадут тридцать тысячефранковых кредиток, таких самых, какие я вам дал в тот раз.

Фуараль слегка опешил. В здешних краях принято рассчитываться под конец месяца. Опасаясь сорвать сделку, он положил бумажонку в карман, распрощался и пошел в деревню следом за остальными.

Чужак освоился и вскоре со всеми перезнакомился. Фуараль, у которого на душе кошки скребли, исподволь выспрашивал его. Оказалось,

что он и правда из Парижа — там он жил; и в самом деле американец — оттуда родом.

— А во Франции, значит, родственников нет? — спросил Фуараль.

— Никаких родственников.

Так-так-так! Ну, Фуараль надеялся, что с деньгами все обойдется. Однако дело-то было не только в деньгах. Никаких родственников! Тут не мешало поразмыслить. Фуараль отложил это дело на потом, чтобы толком обмозговать как-нибудь ночью, когда сон на глаза не пойдет.

В конце месяца он взял свою бумажонку и отправился за деньгами. Дуралей сидел под ясенем почти нагишом и знай себе разрисовывал кусок холста. И что бы, вы думали, он взялся рисовать? Да паршивые оливы Рустана, с которых на людской памяти ни оливки не сняли!

— В чем дело? — сказал полоумный. — Я занят.

— Вот, — сказал Фуараль, протягивая бумажку. — Мне деньги нужны.

— Ну и какого же дьявола, — спросил тот, — вы пристаете ко мне, а не получаете свои деньги?

Фуараль еще ни разу не видел его таким сердитым. Хотя вообще-то известно: тронь весельчака за мошну — и куда все веселье делось?

— Послушайте-ка, — сказал Фуараль, — это

дело очень серьезное.

— Нет, уж лучше вы послушайте, — сказал, чужак. — Вот эта штука называется чек. Я дал его вам, а вы с ним ступайте в банк. В банке вам дадут деньги.

— В каком банке? — спросил Фуараль.

— В вашем банке. В любом банке. В перпиньянском банке, — сказал чужак. — Поезжайте в Перпиньян, и дело с концом.

Фуаралю все же очень хотелось получить наличными, и он объяснил, что он человек бедный, а в Перпиньян целый день проездишь, и слишком это накладно выходит для такого, как он, самого что ни на есть бедного человека.

— Ну вот что, — сказал чужак. — Сами знаете, что барыш вы отхватили преизрядный. Не мешайте мне работать. Езжайте с чеком в Перпиньян, оно того стоит. Я вам свое заплатил с лихвой.

Фуараль смекнул: верно, Гиз наболтал, что, мол, дом не по цене продан. "Ладно же, недомерочек, мы об этом поразмыслим на досуге, долгим дождливым вечерком". Однако делать было нечего. Пришлось надеть черный праздничный костюм, доехать на муле до Эстажеля, пересесть на автобус, и автобус привез его в Перпиньян.

А в Перпиньяне хуже, чем в обезьяннике. Тебя толкают, на тебя пялятся, хихикают тебе в лицо. Если у человека дело — ну, скажем, в банке — и он стоит на тротуаре перед входом, чтобы к этому банку присмотреться, так его за пять минут с полдюжины раз отпихнут на мостовую; спасибо, коль жив останешься.

Ну, все же Фуараль попал наконец в банк. Там, как зайдешь, глаза разбегаются. Медные перила, полированное дерево, часы не меньше церковных, и чучела в халатиках сидят-копошатся в деньгах, точно мыши в сыре.

Он встал в сторонку и прождал с полчаса, но никто его словно не замечал. Наконец какое-то чучелко подозвало его к медным перилам. Фуараль порылся в кармане и вытащил чек. Чучелко поглядело на него, как на простую бумажку. "Пресвятая дева!" — подумал Фуараль.

— Хочу обменять на деньги, — сказал он.

— Состоите вкладчиком нашего банка?

— Нет.

— Угодно открыть счет?

— Деньги мне выдадут?

— А как же. Распишитесь здесь. И здесь распишитесь. Распишитесь на обороте чека. Вот, возьмите. Распишитесь здесь. Благодарю вас.

Всего хорошего.

— А тридцать тысяч франков? — воскликнул Фуараль.

— С этим, дорогой мосье, придется подождать — чек надо учесть в расчетной палате. Зайдите через неделю.

Фуараль отправился домой, порядком ошеломленный. Неделя прошла тревожно. Еще днем он более или менее рассчитывал получить свои деньги, а ночью только закрывал глаза, как ему казалось: вот он входит в банк, и все чучела в халатиках дружно клянутся, что первый раз его видят. Однако он кое-как перетерпел и точно в назначенный срок снова появился в банке.

— Угодно чековую книжку?

— Нет. Мне просто деньги. Деньги мне.

— Всю сумму? Хотите закрыть счет? Так-так. Распишитесь здесь. И здесь распишитесь. Фуараль расписался.

— Пожалуйста. Двадцать девять тысяч восемьсот девяносто.

— Но, мосье, ведь было тридцать тысяч!

— Но, дорогой мосье, сборы.

Фуараль понял, что тут ничего не поделаешь. Он ушел с деньгами в кармане. Неплохо, конечно. Но остальные сто десять франков! Это же хуже

гвоздя в сапоге.

Дома Фуараль сразу пошел разговаривать с чужаком.

— Я человек бедный, — сказал он.

— Я тоже, — сказал чужак. — У меня гроша лишнего нет, чтобы приплачивать вам за то, что вы не умеете получать деньги по чеку.

Такой гнусной лжи свет еще не видывал. На глазах ведь у Фуараля чужак оторвал один чудной верхний billet в тридцать тысяч франков из маленькой книжечки, а там их оставалась еще целая пачка! И опять же тут ничего нельзя было поделать: простого честного человека всегда водят за нос и топчут ногами. Фуараль отправился домой и спрятал свои несчастные двадцать девять с чем-то тысяч в коробочку за камнем дымохода. Другое дело, были бы это круглые тридцать тысяч. Какая дикая несправедливость!

Да, тут было о чем подумать вечерами, и Фуараль крепко поразмыслил. Он решил, что одному, пожалуй, не справиться, и позвал Араго, Кеса, Лафаго, Винье, Барильеса. Только Гиза не позвал. Это ведь Гиз, а не кто другой наболтал чужаку, будто он переплатил за дом, и вообще его растревожил. Так что пусть Гйз идет гуляет.

Прочим он все объяснил очень доходчиво.

— Родственников нигде в наших местах нет. А в книжечке, дорогие друзья, сами видели-десять, двенадцать, пятнадцать, а может быть, и двадцать этих чудных маленьких billets.

— А если кто-нибудь за ним явится? Кто-нибудь из Америки?

— Да ушел куда-то, ушел пешком, по-дурацки, как пришел, так и ушел. Что угодно может случиться с полоумным, который болтается без дела и сорит деньгами.

— Это верно. Все может случиться.

— Но надо, чтоб случилось, пока законник не приехал.

— И это верно. Пока что даже кюре его не видел.

— Дорогие друзья, на свете должна быть справедливость. Без нее ни туда ни сюда. У человека, у честного человека, нельзя вынимать из кармана сто десять франков.

— Нет, такое недопустимо.

Ночью эти честнейшие люди покинули свои дома, высокие известково-белые строения, продырявленные черными тенями и в лунном свете еще больше, чем в солнечном, похожие на груды выцветших костей среди пустыни. Без лишних разговоров взошли они по склону и постучались

в дверь к чужаку.

Через недолгое время они возвратились и один за другим, опять-таки без лишних слов, скользнули в свои черным-черные двери, вот и все.

Целую неделю деревня на первый взгляд жила по-прежнему. Разве что глухие темные провалы, эти прорехи в беспощадном свете, стали глубже. И в каждой черной глуби затаился человек с двумя замечательными billets по тридцать тысяч франков. Хорошо: тут и глаза ярче, и одиночество приятнее, и человек, как сказал бы тот художник, подобен фабровскому тарантулу, неподвижно поджидающему в глубине своей норы пеструю муху.

Но того художника теперь уже трудновато было припомнить. Его болтовня, его смешочки и даже его предсмертный всхлип никакого эха не оставили. Все это минуло, словно раскаты и вспышки вчерашней грозы. Так что, исключая заботы утренние и вечерние, которые привычно заслоняли жизнь, никто из дому не вылезал. Жены их почти не решались с ними заговаривать, а сами они были слишком богаты, чтобы разговаривать между собой. Гиз узнал, в чем дело— дело-то было не тайное, кроме как для посторонних, — и Гиз прямо-таки взбесился. Но

жена пилила его с утра до вечера, и ему некогда было разбираться с соседями.

Под конец недели Барильес вдруг возник в дверях своего дома. Большие пальцы он заложил за пояс, лицо его потеряло свинцовый оттенок и приобрело сливовый, осанка выражала сердитую решимость. Он перешел улицу к дому Араго, постучался и прислонился к дверному косяку. Араго вышел и прислонился напротив. Они поговорили кое о чем, так, вообще, потом Барильес, отбросив окурок сигареты, вскользь и между прочим упомянул один участочек на земле Араго, где имелись сарай, виноградник и оливковая роща.

— Черт, ей-богу, знает, — сказал Барильес. — От червяка прямо нынче спасенья нет. А так, в былые времена, рощица-то не пустяки стоила.

— Именно что черт, — сказал Араго. — Вот хочешь верь, хочешь не верь, друг дорогой, а я, бывало, имел с этой рощицы, что ни год, добрые три тысячи франков.

Барильес издал те звуки, которые в здешних местах сходят за хохот.

— Ты меня прости! — сказал он. — Мне послышалось, ты сказал — три тысячи. Три сотни-это конечно. Если, скажем, случится хорошая погода, то три сотни можно шутя выручить.

Поговорили сначала вежливо, потом насмешливо, злобно, яростно и отчаянно; закончили сердечным рукопожатием, и участочек был продан Барильесу за двадцать пять тысяч франков. Позвали свидетелей: Барильес отдал один billet и получил пять тысяч сдачи от Араго из коробочки, хранившейся в дымоходе. Сделка всех порадовала: видать, дело пошло.

Оно и правда пошло. Тут же на месте начались pour parlers [6] на предмет продажи мулов Винье Кесу за восемь тысяч; потом Любес продал Фуаралю свой подряд на пробку за пятнадцать; дочь Рустана была сосватана за брата Винье с приданым в двадцать тысяч; и медная рухлядь мадам Араго пошла общим счетом за шестьдесят пять франков, после ожесточенной торговли.

Один лиш Гиз остался ни при чем; впрочем, Любес по пути домой, изрядно накачавшись, сунулся за порог к изгою и внимательно оглядел его жену Филомену сверху донизу, с головы до ног, раза три. Интерес его был вялый и неуверенный; но все же с лица Гиза сошло горькое и угрюмое выражение.

Но это было только начало. Вскоре торговля

---

[6] Примечания: 6
Переговоры (фр.).

оживилась и торговать стали по-крупному. Бум, он бум и есть. Сдачу что ни день выкапывали из-под плитняка, извлекали из соломенной матрасной трухи, доставали из дырок в балках и тайников в стенах. Когда эти замороженные суммы оттаяли, деревня расцвела, будто орхидея, прянувшая из сухого стебля. Вино лилось рекой и орошало каждую сделку. Давние недруги шли на мировую. Увядшие девицы обнимали юных женихов. Богатые вдовцы женились на молоденьких. Иные из людишек поплоше носили не снимая праздничные костюмы: к примеру, тот же Любес, коротавший вечера в доме Гиза. А Гиз вечерами гулял по деревне, угрюмости его как не бывало, и приценивался к упряжи у Лафаго и к отличному Ружью у Рустана. Поговаривали о празднестве, особом и небывалом, после сбора винограда — но поговаривали шепотом, чтобы кюре не прослышал.

Фуараль, признанный главарь, не пожелал ударить в грязь лицом и сделал потрясающее предложение. Он предложил ни больше ни меньше чем проложить дорогу для грузовиков от шоссе на гребне горы до самой Деревни. Ему возражали: придется, мол, бог знает сколько заплатить работникам.

— Это да, — сказал Фуараль, — только мы потом и сами внакладе не останемся. Столько и полстолько возьмем за свой продукт.

Предложение прошло. Деревенские мальчишки и те приобщились к выгодам. Барильес переименовал свою лавочку в "Кафе-мороженое, вселенское и пиренейское". Вдова Луайо предложила помещение, стол и даже одежду одиноким женщинам; по вечерам она принимала избранных гостей. Барильес съездил в Перпиньян и вернулся с распрыскивателем, который должен был удвоить урожай с его нового оливкового участка. Любес тоже съездил и вернулся с ворохом дамского белья, и белье это измышлял разве что дьявол. Съездили туда два-три отпетых картежника — и вернулись с новенькими сверкающими колодами — как ни сдай, а на руке словно одни короли да тузы. Съездил и Винье — и вернулся с вытянутой физиономией.

Торговали все размашистее, и все больше требовалось наличных. Фуараль выступил с предложением: — Съездим-ка мы все в Перпиньян, все, как один, зайдем в банк, шлепнем на конторки наши billets и покажем чучелкам, кто настоящие-то богачи. Да у них и денег на нас вряд ли хватит!

— Свои сто десять они возьмут, — сказал Кес.

— Плевать на сто десять! — заявил Фуараль. — А уж потом, друзья мои дорогие, потом — ха-ха! — грешим один раз! Говорят, эти-то, которые там, у них одного запаху на пятьдесят франков! С ума сойти! Ковры на лестницах, все рыжие, любую гадость захочешь — пожалуйста! Завтра!

— Завтра! — подхватили они хором; и назавтра все отправились в Перпиньян с сияющими лицами, разодевшись будто на праздник. Всякий дымил, как паровоз, и все помыли ноги.

Путешествие выдалось на славу. Они останавливались у каждого кафе и все, что там ни есть, спрашивали почем. А в Перпиньяне они шли сомкнутым строем; и если на них пялились, то наши друзья не оставались в долгу. Переходя дорогу к банку, Фуараль спросил: — А где же Гиз? — и притворился, будто ищет его взглядом. — Разве ему ничего не причитается?

Тут они все расхохотались. И хоть ты что, не могли принять серьезный вид. Так, давясь от хохота, они один за другим прошествовали в дверь-вертушку, и наконец она крутнулась за последним из них.

Перестраховка
Джон Коллиер

Алиса и Эрвин были безмятежно счастливы, ни дать ни взять юная чета в семейной кино-идиллии. Они были даже счастливее любых киносупругов, потому что миловались не на глазах у публики и без оглядки на цензуру. Пером не описать, с каким упоением Алиса бросалась на шею Эрвину, когда тот возвращался со службы, и с каким восторгом Эрвин расточал ей ответные ласки.

По крайней мере часа два они даже и не думали обедать. Да и через два часа дело шло еле-еле, вперемежку с нежностями и шалостями, укусами в шейку и шепотками на ушко, и прежде чем подать блюдо на стол, надо было вдоволь нацеловаться, поприжиматься и подурачиться.

Когда же наконец они садились за еду, то ели, уверяю вас, с отменным аппетитом. Но и тут он не упускал случая перебросить что попригляднее ей на тарелку, а она то и дело отбирала самые лакомые кусочки и всовывала их ему в раскрытые и слегка выпяченные губы.

После обеда они устраивались вдвоем в одном кресле, совершенно как попугайчики в клеточке, и он вдавался в подробное перечисление ее прелестей, а она воздавала должное его вкусу и наблюдательности. Впрочем, эти утехи длились недолго, потому что оба торопились лечь пораньше, чтобы наутро встать бодрыми и свежими.

Редкая ночь у них пропадала впустую: он обязательно просыпался раз-другой и зажигал свет — убедиться, что она ему не просто приснилась. Она сонно мигала в розовом сиянии ночника и ничуть не сердилась, что ее будят; происходил восхитительный разговорчик, и вскоре оба блаженно засыпали.

Мужу, которому по вечерам так хорошо дома, незачем застревать после работы в кабаках и забегаловках. Редко-редко Эрвин, так уж и быть, соглашался поддержать компанию, но и то вдруг вспоминал свою милочку — такую полненькую, мягонькую, сладенькую, кругленькую — и подскакивал на месте или подпрыгивал на полметра.

— Чего ты скачешь? — спрашивали друзья. — На гвоздь, что ли, сел?

— Нет-нет, — уклончиво отвечал он. — Это у меня просто душа играет. Это жизнь во мне кипит.

Затем он, как дурак, улыбался во весь рот, поспешно прощался с друзьями и сломя голову бежал домой, чтобы срочно увериться в подлинности своего чудесного достояния — нежных, милых и несравненных округлостей, составлявших его очаровательную женушку.

И вот однажды, мчась домой со всех ног, он опрометью ринулся через улицу, а из-за угла выскочило такси. По счастью, водитель успел резко затормозить, а то бы Эрвина сшибло, как кеглю, и не видать бы ему больше своей лапушки. Эта мысль привела его в ужас, и он никак не мог от нее отделаться.

В тот вечер они по обыкновению сидели вдвоем в кресле, и она нежно оглаживала его бледноватые щеки, а он вытягивал губы, как голодная горилла при виде бутылки с молоком, пытаясь перехватить и чмокнуть ее руку. В такой позиции у них было заведено выслушивать его отчет обо всех событиях долгого дня, в особенности о том, как он погибал от тоски по ней.

— Да вот, кстати, — сказал он, — я ведь чуть было и вправду не погиб при переходе через улицу, и если бы водитель такси не успел затормозить, то меня бы сшибло, как кеглю. И может, не видать бы мне больше моей лапушки.

При этих словах ее губы задрожали, а глаза переполнились слезами.

— Если бы ты меня больше не увидел, — сказала она, — то и я бы тоже тебя больше не увидела.

— Я как раз так и подумал, — сказал Эрвин.

— У нас с тобой всегда одинаковые мысли, — сказала она.

Но это не утешало: в тот вечер их мысли были беспросветно печальны.

— А завтра целый день, — сказала, всхлипывая, Алиса, — целый день ты мне будешь видеться раздавленным на мостовой. Нет, это мне не по силам! Я просто лягу и умру.

— Ну зачем ты так говоришь, — простонал Эрвин. — Теперь я буду думать, как ты, скорчившись, лежишь на коврике. Я сойду с ума или умру. Час от часу не легче, — пожаловался он, — Если ты умрешь оттого, что подумаешь, что я умер оттого, что… Нет, это слишком! Я этого не вынесу!

— И я не вынесу, — сказала она.

Они крепко-крепко обнялись, и поцелуи их стали очень солеными от слез. Есть мнение, что это придает им особую прелесть, как подсоленному арахису, который оттого делается еще слаще. Но Эрвин с Алисой слишком горевали, чтобы оценить такие тонкости: каждый из них

думал только о том, каково ему будет, если другой внезапно умрет. Поэтому они всю ночь глаз не сомкнули, и Эрвин лишен был удовольствия грезить о своей Алисе, зажигать свет и видеть ее наяву. А ей не выпало радости сонно мигать в розовом сиянье ночника и смотреть, как он склоняется над нею, восторженно выпучив глаза. Они возместили свою утрату страстными и пылкими объятиями. Потому-то, когда холодный, серый и трезвый рассвет заглянул в их окошко, огорченные супруги и сами были такие спокойные, бледные и трезвые, какими ни разу не бывали со дня первой встречи.

— Алиса, — сказал Эрвин, — мы должны проявить мужество. Надо подготовиться к любым ударам судьбы и сделать все возможное, чтобы найти утешение в невзгодах.

— У меня останется одно утешение — слезы, — сказала она.

— Да и у меня тоже, — подтвердил он. — Но где тебе лучше будет плакать — в нетопленой мансарде, прерываясь, чтобы подмести пол и приготовить еду, или в роскошном особняке, с норковой шубкой на плечах и с кучей прислуги, которая подаст и приберет?

— Лучше пусть уж мне подают, — сказала

она. — Я тогда смогу спокойно плакать взахлеб. А в норковой шубке я не простужусь и не буду чихать во время рыданий.

— А я лучше буду плакать на яхте, — сказал он, — где мои слезы покажутся солеными морскими брызгами и никто не подумает, что у меня глаза на мокром месте. Давай застрахуем свою жизнь, дорогая, чтобы на худой конец плакать без помех. Давай пожертвуем на это девять десятых наших денег.

— На жизнь у нас останется совсем немножко, — сказала она. — Но тем лучше, любимый мой, зато можно будет утешиться по-настоящему.

— То же самое и я подумал, — сказал он. — У нас с тобой всегда одинаковые мысли. Я сегодня же принесу наши страховые полисы.

— И еще давай, — воскликнула она, — давай застрахуем нашу дорогую птичку! — и указала на пернатую пленницу, которую они никогда не укрывали наночь, чтобы ее страстные трели сливались с их нежными восторгами.

— Ты права, — сказал он. — Положим на нее десять долларов. Щебет ее будет утешать меня жемчужным переливом, если я овдовею.

В этот день Эрвин пошел и застраховался на девять десятых своего заработка.

— Мы бедны, — сказал он, возвратившись домой, — но навеки неразлучны. Если судьба отнимет у нас блаженство, то нам, по крайней мере, достанется много тысяч долларов.

— Да ну их совсем, — сказала она. — Гадкие доллары!

— Вот именно, — сказал он. — Давай-ка обедать. Я сегодня сэкономил на ленче и голоден как никогда.

— Сейчас накормлю, — сказала она. — Я сэкономила на рынке и купила новый концентрат, дешевый-дешевый, и в нем витамины на все буквы, хватит, чтобы неделю поддерживать на высшем уровне жизненные силы целой семьи. Так на пакете написано.

— Превосходно! — сказал он. — Уж наши организмы не подведут: твой обменчик милых, сладких и нежных веществ и мой обменище грубых, жестких и низменных веществ на пару составят из этих витаминных букв все на свете ласкательные-целовательные-прикасательные словечки.

Перспектива была заманчивая, но дни шли за днями, и выяснилось, что если бы их обоюдный обмен веществ и правда стал составлять любовный словарь, то очень бы тощая полу-

чилась книжонка. Должно быть, изготовителя концентрата ввел в заблуждение какой-нибудь ученый-иностранец и на пакете не все было правильно написано. Эрвин так ослабел, что уже не мог подпрыгивать на полметра при мысли о своей дорогой, нежной, упоительно кругленькой женушке. Правда, Алиса так отощала, что не с чего стало и подпрыгивать.

Сморщенные чулки обвисали на ее костлявых ногах.

"Что-то она, — думал Эрвин, — теперь не кидается мне на шею с таким восторгом, как бывало. Да оно, может, и слава Богу. Зато я — с каким бы восторгом я кинулся на бифштекс из вырезки!" И эта новая неотвязная мысль, и кашица из опилок, и бесчисленные денежные заботы, все пуще осаждавшие любящих супругов с уменьшением их доходов на девять десятых, — словом, все это вместе часто не давало Эрвину спать ночами, но теперь ему уже не хотелось включать свет и любоваться своей ненаглядной. В последний раз, когда он склонился над нею, она приняла его физиономию за омлет.

— Ах, это ты! — проворчала она и сердито отвернулась.

Они испробовали концентрат на канарейке,

которая не долго думая шлепнулась на спинку, задрала ножки и околела.

— Хорошо хоть мы за нее получим пятьдесят долларов, — заметил Эрвин. — А ведь это всего лишь птица!

— Надеюсь, у нас с тобой не было одинаковой мысли? — спросила Алиса.

— Конечно нет, — сказал он. — Как ты могла такое вообразить?

— Я ничего такого не воображаю, — сказала она. — А на что мы истратим эти деньги? Купим другую канарейку?

— Нет, — сказал он. — Что нам канарейка! Давай лучше купим большую, жирную курицу и зажарим ее.

— Так и сделаем, — сказала она. — А к ней — картошки, грибов, фасоли, шоколадный торт, сливки и кофе.

— Да, — сказал он. — Кофе обязательно. Свари душистый, крепкий, горький кофе, чтоб в голову ударял, ну, сама знаешь какой.

— Знаю, — сказала она, — и сварю самый душистый, самый крепкий, самый горький.

В тот вечер тарелки очень быстро оказывались на столе и еще быстрее пустели.

— Да уж, душистый и крепкий кофе, — сказал

Эр-вин. — И горький.

— Правда, какой горький? — сказала она. — А ты случайно не переставил чашки, пока я ходила на кухню?

— Нет, милая, — сказал Эрвин. — Я было подумал, что ты их переставила. Действительно, и в голову ударяет.

— Ой, Эрвин! — воскликнула Алиса. — Неужели у нас с тобой все-таки была одинаковая мысль?

— Похоже на то! — воскликнул Эрвин, кидаясь к дверям быстрее, чем во дни былые, когда он во всю прыть мчался домой из кабаков и забегаловок. — Мне надо к врачу!

— И мне тоже, — сказала она, пытаясь первой открыть дверь.

Но яд мгновенно одолел их ослабшие организмы. Отпихивая друг друга от дверей, они одновременно рухнули на коврик, и через почтовую щель их засыпало неоплаченными счетами.

Другая американская трагедия
Джон Коллиер

Молодой человек пришел к знаменитому зубному врачу и уселся в кресло. Он брезгливо отмахнулся от зонда, зеркальца и профессиональной улыбки.

— Драть все до одного, — сказал он.

— Позвольте, — возразил врач, — но у вас же очень хорошие зубы.

— А я вам предлагаю, — отозвался молодой человек, — очень хорошие деньги. Врач все же медлил.

— Врачебная этика не позволяет, — сказал он, — удалять здоровые зубы без самых веских на то оснований.

Молодой человек, начав улыбаться при слове "этика", в конце концов осклабился так широко, что явил взору ядреные зубы мудрости. Одновременно он вытянул из жилетного кармашка скатанные трубочкой кредитки и напоказ поигрывал ими.

Врач не обратил на кредитки ни малейшего внимания.

— Если вы хотите избавиться от своих превосходных зубов, — рассуждал он, — то вы наверняка душевнобольной. А я, со своей стороны, убежден, что душевная болезнь — зубное заболевание. Она служит симптомом порчи корней зубов, в особенности верхних. С этой точки зрения...

— Меньше трепа, больше дела, — прервал его молодой человек, утомленный зубоврачебными тонкостями.

Врач пожал плечами и принялся за дело. Как бы опасаясь, что операция некстати вернет молодому человеку здравый смысл, он тридцать третьим рывком щипцов шутливо выдернул из руки пациента денежный сверточек.

Молодой человек не обмолвился ни словом; по его знаку было подано зеркало, и он с явственным удовлетворением оглядел свои онемелые и вваливщиеся челюсти. Он спросил, когда будет готов протез, записался на прием и удалился восвояси.

"Вот тебе и на! — подумал врач. — Похоже, что дело тут не в зубах. Он как пришел, так и ушел с мозгами набекрень".

Врач сильно ошибался. Мозги у молодого человека были на месте, и он прекрасно знал, что делает. За несколько лет омерзительного разгула он дочиста поиздержался, но у него оставался в

запасе очень хитрый и ловкий способ разжиться деньгами. А к наличию зубов он относился совершенно так же, как обычно относятся к страхованию жизни, только наоборот. Он полагал, что лучше их не иметь, но в них нуждаться, нежели иметь и не находить им применения.

Вот он и явился к врачу в назначенный день за своими вставными зубешниками, поцыкал ими, поскрежетал самым натуральным образом, отдал за них предпоследний доллар, вышел на улицу, сел в свой фасонистый автомобильчик и припустил так, будто за ним по пятам гнались все члены ссудной кассы, — они бы и погнались, если б его успели заметить.

Он ехал, пока не стемнело, а наутро продолжил путь. Под вечер он прикатил в тот медвежий угол, где в обветшалых усадебках доживают свой век старые и скупые дядюшки. Нашему молодому человеку более или менее — как посмотреть — повезло: его дядюшка был из самых старых и самых богатых, а усадьба его, сущая развалюха, стояла поодаль от прочих.

Подъехав к этому уединенному жилищу, герой наш остановился у крыльца, на починку которого, за много лет не было истрачено ни доллара. "Тем больше их скопилось в чулке", — рассудил

племянник и постучался.

Он был слегка озадачен, услышав за дверью цоканье каблучков вместо шарканья туфель угрюмого и тугоухого слуги, и распахнул рот, когда ему отворила пышная приземистая блондинка, этакая шестидесятикилограммовая деточка тридцати с лишним годиков. У нее был алый ротик до ушей, вроде арбузного ломтя, черные, как тушь, ресницы и брови — и крашеная копна золотистых волос, по-девически небрежно ниспадавших на плечи. Наш друг немного приободрился, заметив, что она одета наподобие сиделки, но чрезвычайно короткая юбка и ярко-красные подвязки с огромными бантами вынудили его задуматься, обеспечен ли дорогому дяде подлинно профессиональный уход.

Однако же всякую сиделку нужно суметь как-то обойти, тем более если она плотно загораживает дверь. Крой наш сдернул шляпу и улыбнулся так умильно, что его вставная челюсть чуть не выскочила.

— Я проделал долгий путь из дальнего города, — сказал он, — чтобы повидать моего бедного, дорогого, хворого дядю — Боже его благослови! И никак не ожидал увидеть такую очаровательную сиделку.

Сиделка не шелохнулась и разглядывала его мрачно и подозрительно.

— Боюсь, что он угасает, — продолжал племянник. — Ах, у меня даже было предчувствие-такой телепатический сигнал бедствия позвал меня скорее в дорогу, пока еще не поздно. Допустите же меня к его одру!

Сиделка пребывала в сомнении, но в этот миг из тусклой глубины жилища донесся странный звук, похожий на кваканье громадной жабы. Его издавал сам добрый старый дядюшка: беззубо шамкая, он во всеуслышание требовал немедля провести к нему племянника, чьи нежные и заботливые возгласы разносились по всему дому. Старикан отлично знал, что юному родственнику невтерпеж стать его наследником, и хотел поскорее натянуть ему нос.

Сиделка нехотя посторонилась. Герой наш восторженно и артистично заржал и ринулся в спальню.

Нет ничего трогательней свидания близких родственников после долгой разлуки, особенно если они так любят друг друга, как любили эти двое.

— Дорогой мой дядя! — восклицал племянник. — Как я рад, что мы снова свиделись! Но

отчего у тебя такой глухой голос? Отчего такие запавшие глаза? Отчего ты так худ и бледен?

— Ну, если на то пошло, — отозвался дядя, — то и сам ты не больно толст и румян. Нет, мой мальчик, ты осунулся, ты изможден. Волосы у тебя поредели и поседели; мешки под глазами, лицо дряблое, морщинистое. Чудесные белые зубы тебя выручают, а то вполне бы ты сошел за моего ровесника.

— Что поделаешь, — сказал племянник, — тружусь денно и нощно. Нелегко дается успех в наши дни, милый дядя, особенно без гроша за душой.

— А тебе дается успех? — поинтересовался старец. — Неужели больше не пьешь?

— Нет, дядя, в рот не беру, — ответствовал племянник.

— Ну и дела, — сказал дядя, доставая из-под подушки здоровенную бутыль. — Значит, нечего тебя и угощать. — С этими словами он хорошенько отхлебнул, утер губы и продолжал: — А у меня, слава Богу, правильный доктор. Такой, знаешь, грубый, простой, чистосердечный, прямодушный деревенский лекарь старого закала. Мы его называем "коновал на двуколке". Он мне присоветовал лечиться выпивкой.

— То-то у тебя и руки трясутся, — предположил

племянник.

— А у тебя нет, что ли? — возразил дядя. — Нельзя, нельзя столько работать. А скажи-ка, племянничек, в картишки-то иной раз грешишь?

— Какие там картишки! — воскликнул племянник. — Давно излечился от этого порока.

— Жалко, жалко, — заметил дядя. — А то бы перекинулись разок-другой. Наш-то старик, коновал на двуколке, он говорит, что мне волноваться живительно. Мы с ним частенько играем за полночь.

— То-то и глаза у тебя так глубоко запали, — вздохнул племянник.

— А у тебя и вообще провалились, — посочувствовал старец. — Ты бы все-таки хоть иногда отдыхал. Ну а с девушками, дорогой мой племянник, с девушками случается пошалить?

— С девушками! — воскликнул племянник, воздевая руки. — Да мне и думать о них противно! Сколько лет я уж даже не гляжу на девушек!

— Ну это ты зря, — сказал дядя. — Наш старик, коновал-то на двуколке, он в курсе медицины. Он мне мою цыпочку и спроворил.

И, повернувшись к сиделке, поправлявшей ему подушки, он ущипнул ее за такое место, которое в фармакологии ни разу не упоминается.

— Понятно! — воскликнул племянник, когда сиделка, негодующе вильнув задом, с ухмылкой удалилась из спальни. — Теперь понятно, бедный мой дядя, отчего ты просто до ужаса худ и бледен!

— В точности как ты, — отозвался дядя, — а ведь ты вполовину меня моложе.

— Что ж, — сказал племянник, пробуя иной подход, — может быть, твой доктор и прав. Может, мне бы не мешало полечиться по вашей методе.

— От всей души тебе это советую, — поддержал его старик.

— Тут одна загвоздка, — заметил племянник, — работать станет некогда. Ты ведь вряд ли ссудишь мне малую толику, чтобы я испробовал твое благотворное лечение?

— Ну нет, — сказал дядя. — Это нет. Ни гроша.

— Так я и думал, — кивнул племянник. — Боюсь, придется мне и дальше трудиться без продыху. Вот ведь огорчится твой добрый старичок, коновал на двуколке! Ты мне все-таки одно скажи, пустяк один, спрашиваю из чистого любопытства. Есть ли надежда, что твои деньги достанутся мне? Ты их мне отказал по завещанию?

— Да ну тебя! — запротестовал дядя. — Нашел о чем беспокоиться!

— Нет, ты скажи, — настаивал племянник. — Ты даже не представляешь, как это мне интересно.

— Ладно уж, раз ты такой дотошный, — сказал дядя. — Я все завещал нашему старику, простому, прямодушному и безотказному, сварливому, твердолобому и мягкосердечному деревенскому ворчуну лекарю старого закала, знал бы ты, как он мне помог своимлечением.

— В самом деле? — сказал племянник. — Признаться, я и ожидал чего-нибудь подобного. Как раз на этот случай у меня все предусмотрено. Позволь-ка, любезный дядюшка.

С такими словами он выдернул подушку из-под головы у старца и прижал ее к его лицу. Престарелый дядя чуть-чуть побрыкался, но жил он не по возрасту, расходовал силы почем зря, осталось их мало, а какие остались, тех ненадолго хватило.

Племянничек, покосившись на дверь, скоренько совлек с себя все одежды и запихнул их под кровать. Затем, может статься слегка продрогнув, он без спросу одолжил дядину ночную рубашку. Потом, затолкав хилый труп дяди под ту же кровать, сам он залез под простыни, сплюнул вставную челюсть в чистый носовой платок, для этой цели припасенный, и откинулся на подушки-живой портрет опочившего старика. Вскоре

он заблеял: — Цыпочка! А, цыпочка!

Сиделка поспешно явилась на его зов.

— Сладушка моя, — удивилась она, — а куда же девался твой паршивец племянник?

— Пошел прогуляться тут поблизости, — проквакал наш герой. — И кстати, миленькая, не такой уж он паршивец. Нет, я этого юношу недооценил, и пошли-ка ты за стряпчим. Хочу воздать ему должное в завещании.

— Что с тобой, папуленька? — воскликнула сиделка. — С чего это ты так к нему переменился?

— Я переменился? — обеспокоился племянник. — Нет, деточка, ничуть я не переменился, только вот чувствую, что конец мой близок. А в остальном я тот же самый.

В подтверждение он ее дружески приласкал на дядин манер. Она радостно взвизгнула и, хихикая, отправилась исполнять поручение.

А племянник полеживал себе, ожидаючи стряпчего.

"Продиктую новое завещание, — думал он, — подпишу его каракулями на глазах у стряпчего своей дрожащей стариковской рукой. Потом попрошу всех удалиться-дремота, мол, одолевает, — уложу на постель моего бедного дядю, переоденусь в свое, вставлю зубы, выпрыгну из

окна и подойду к двери, будто бы нагулялся. Какие реки слез я пролью, когда мы обнаружим, что несчастный старец отошел в лучший мир!" Довольно скоро на крыльце послышались тяжелые шаги, и дюжий мужичина с объемистым черным портфелем ввалился в спальню.

— А, вот и вы, очень рад, — сказал наш герой. — Я хочу немедля составить новое завещание. Все наследует мой племянник.

— Друг ты мой дорогой, — отозвался новоприбывший, — да тебе, видать, болезнь в голову бросилась. Скажи кому, что мой старый приятель принял меня за стряпчего, а? Нет, давай-ка я тебя осмотрю.

Он откинул простыню и стал тыкать племянника жестким, мозолистым пальцем. Племянник слишком поздно понял, что это не стряпчий, а коновал на двуколке собственной персоной, и испустил тяжкий стон.

— Ну вот то-то и есть, — сказал доктор. — Чего-то такое где-то у нас не так. Надо тебя тут же оперировать, чтобы вернуть рассудок.

При этом он перевернул племянника и вытащил из черного портфеля чудовищный шприц.

— По счастью, — сказал он, — у меня всегда все наготове.

Герой наш хотел было протестовать, но не находил нужных слов опасаясь вдобавок, что под кроватью обнаружится дядя и это будет свидетельствовать не в его пользу. Доктор мигом вкатил ему ниже пояса добрую пинту ледяной жидкости, и середина его туловища оцепенела, а прочие способности утратились: он мог только вращать глазами, что и проделывал изо всех сил.

— Я всего лишь старый, грубый, неотесанный коновал на двуколке, — заметил доктор, — но и я не отстаю от жизни. Душевная болезнь — она заболевание нутряное. Ну-ка, сиделка, вынимай мои инструменты, давай разберемся, в чем там дело.

И беднягу племянника на его собственных глазах, которыми он беспрерывно вращал, вмиг распластали. Доктор потрошил его, точно кожаный саквояж, бегло комментируя свои действия.

— Вот возьми, — говорил он сиделке, — положи это в раковину умывальника. А это на стул. Смотри не перепутай, а то потом черта с два поймешь, куда что девать. Жаль, племянник не возвращается: этичней было бы заручиться перед операцией согласием родственника. Совсем неплохая поджелудочная, учитывая возраст пациента. Положи ее на комод. А эти повесь на

спинку кровати. Ну-ка поднеси свечку поближе, — продолжал он. — Что-то я никак не могу понять, отчего он свихнулся. Да ты не капай, не капай туда стеарином, гигиену нарушаешь. А он, конечно, свихнулся, чего бы ему иначе вздумалось завещать деньги этому прохвосту племяннику. Правильно ты сделала, душечка, что оповестила меня и не стала зря тревожить стряпчего. Когда все это кончится, надо нам с тобой будет куда-нибудь съездить поразвлечься.

Тут он ущипнул сиделку примерно за то же место, что и дядюшка с племянником. Такой фамильярный жест не только шокировал, но и крайне расстроил нашего героя, подточив сопротивляемость его организма. "Фу, как непрофессионально, — подумал он, — и хуже того, отдает постыдным сговором".

При этой мысли он напоследок повращал глазами и разом приказал долго жить.

— Батюшки, — сказал доктор, — похоже, что мой пациент тю-тю. Иногда я прямо-таки завидую городским докторам-какие у них операционные залы! Ну, да зато их автобиографии обычно расходятся еле-еле, а для своего старинного друга я как-никак сделал все, что мог, недаром он меня упомянул в завещании. Останься он жив, он бы,

чего доброго, его переиначил. Вот какая поразительная игра судьбы! Ты подавай мне, душечка, все эти внутренние органы, а я их наскоро рассую по местам — ведь, — того и гляди, вернется племянник и будет очень сердиться, что они разбросаны по комнате.

Зеленые мысли
Джон Коллиер

Преображая все явленья
В зеленых мыслей затемненье.
Марвелл

Эту орхидею ему прислали вместе с остальным имуществом друга, погибшего в экспедиции одинокой и загадочной смертью. Или он высмотрел ее на аукционе среди прочего хлама, когда под конец распродавали "разное". Не помню уж, как это в точности было, но либо это было так, либо иначе. Кстати сказать, даже иссохший, бурый, дремлющий корень-саженец орхидеи имел довольно зловещий вид. Со своими растопыренными пучками-отростками он был похож не то на оцепенелую хваткую руку, мерзко шишковатую, не то на злобную физиономию в безобразных бакенбардах. Неужели же вы не догадались бы, что это за орхидея?

А мистер Мэннеринг не догадался. Он и читал-то одни каталоги и книги об удобрениях. Он развернул свою покупку с таким благоговением, с каким в наш двадцатый век вообще нелепо

относиться к орхидеям или, скажем, примулам, а в случае с эдаким, эдак раздобытым экземпляром подобное благоговение было идиотским, безрассудным и гибельным. И по своей пресловутой бестолковости он поместил орхидею в смотровую, в теплицу, пристроенную к южной стене его приземистого краснокирпичного обиталища. Здесь он всегда содержал самые интересные приращения к своей коллекции, особенно слабые и болезненные растения, потому что из его кабинета в теплицу вела стеклянная дверь и эти растения, слабые и болезненные, в случае чего немедля обеспечивались постоянным присмотром и заботливым уходом.

Но этот саженец оказался не из слабеньких. Прянули толстые, упругие стебли, разбрасывая веером темную зелень глянцевитых листьев, и вскоре орхидея разрослась во все стороны, заполонив столько места, что сначала одного, потом другого, потом всех ее соседей пришлось переселить в дальнюю, садовую теплицу. Сущий хмель — как выразилась кузина Джейн. Еще прежде листьев с концов стеблей пучками свесились длинные усики непонятного назначения. Мистер Мэннеринг полагал, что это скорее всего рудиментарные органы, пережиток того времени, когда

растение было вьющимся. Но где же это видано, чтобы рудиментарные усики бывшего вьющегося растения были бы настолько, на полстолько или на четверть столько толстыми и прочными?

Прошло немало времени, пока среди пышной листвы появились россыпи крохотных бутончиков. Вскоре распустились цветочки, меленькие и гаденькие, точь-в-точь мушиные головки. От всякой вальяжной орхидеи естественно ожидать крупных зловеще ярких цветов, как морские анемоны, китайские фонарики или зев гиппопотама; а уж если эта орхидея вдобавок неизвестна науке, то, по-моему, с полным правом можно требовать за те же деньги ядовитого, дразнящего благоухания.

Но мистер Мэннеринг был на все согласен. Собственно говоря, помимо восторженной радости открывателя и крестителя новой разновидности орхидеи он испытывал лишь слабый естественнонаучный интерес по поводу столь разительного сходства этих жалких цветочков с мушиными головками. Может быть, они таковы затем, чтобы приманивать мух в качестве пищи или опылителей? Но тогда почему они подобны именно головкам?

Через несколько дней исчезла кошка кузины

Джейн. Для кузины Джейн это был страшный удар, но мистер Мэннеринг в глубине души не очень огорчился. Он не любил кошку, потому что стоило только сделать маленькую вентиляционную щель в стеклянной крыше, как эта тварь ухитрялась протиснуться внутрь — тепло ее, видите ли, привлекало, — и поломала она там уйму нежных побегов. Но не успела кузина Джейн и двух дней прогоревать, как произошло событие, столь захватившее мистера Мэннеринга, что он совершенно перестал выражать соболезнование горю кузины или с кротким лицемерием осведомляться за завтраком, не нашлась ли кошка. На орхидее завязался новый и странный бутон. Стало вполне очевидно, что цвести она будет двояко — такое встречается в фантастических уголках растительного мира — и что новый цветок будет весьма отличен по размеру и по характеру от прежних. Бутон все набухал и набухал и сделался с кулак.

И тогда-то, в самое неподходящее время, мистеру Мэннерингу пришлось отправиться в город по делу крайне Неприятному и крайне огорчительному. Его негодяй племянник снова попал в историю — на этот раз так попал и в такую историю, что понадобилось все великодушие, а

заодно и все влияние мистера Мэннеринга, чтобы вытащить из беды этого пропащего молодого человека. Более того, как только мистер Мэннеринг оценил ситуацию, так он тут же сообщил блудному родственнику, что впредь пусть на него не рассчитывает, что его пороки и его неблагодарность. искоренили всякую приязнь между ними и что хотя рука помощи протянута ему в последний раз, но сделано это лишь в память его матери, а отнюдь не потому, что его дядя сколько-нибудь верит в его раскаяние или исправление. И сверх того, он, чтобы облегчить душу, написал кузине Джейн, очертив ей положение вещей и добавив, что не видит иной возможности, нежели отсечь молодого человека от семейного древа.

Когда он вернулся в Торки, кузины Джейн нигде не оказалось. Это было чрезвычайно досадно. Из прислуги они держали одну кухарку, очень старую, очень глупую и очень тугую на ухо, а к тому же слегка помешанную, так как мистер Мэннеринг многие годы во всяком разговоре с нею обязательно и настоятельно напоминал, что она должна всегда, при любых обстоятельствах поддерживать жар в большой кухонной печи на определенном уровне. Ибо от этой печи зависел не только водообогрев дома; она разогревала

трубы отопления смотровой, куда приходящий садовник, обслуживавший прочие теплицы, доступа не имел.

В конце концов, кухарка привыкла считать себя истопником и находить в этом свой главный raison d'etre[7] , так что если какой-нибудь вопрос и пробивался сквозь стену ее глухоты, то ее глупость вкупе с помешательством тут же как-нибудь относили его к топке печи — и уж тем более когда с нею заговаривал мистер Мэннеринг.

Ему удалось разузнать только то, что кухарка сразу же сообщила, а именно — что его кузины три дня как нет, что она уехала и слова не сказала. Мистер Мэннеринг недоумевал и негодовал, но будучи человеком собранным, он счел за благо отложить дальнейшие расспросы, а прежде восстановить свои силы после долгого и утомительного путешествия. Чтобы вытянуть хоть что-нибудь из старой кухарки, нужно было запастись энергией; и все-таки могла еще обнаружиться записка. Естественно, по пути в свою комнату мистеру Мэннерингу надо было заглянуть в теплицу, просто удостовериться, что с его драгоценной орхидеей ничего не случилось за

---

[7] Примечания: 7
Смысл существования(фр.)

время безрассудной отлучки кузины Джейн. Едва отворив дверь, он сразу же увидел бутон: тот вырос до размеров человеческой головы. Скажем не преувеличивая, что мистер Мэннеринг так-таки прирос к месту на целых пять минут, не сводя взгляда с удивительного бутона.

Однако, спросите вы, почему же он не заметил на полу ее одежды? Дело в том, что (как бы это поделикатнее) одежды ее на полу не было. Кузина Джейн — о, дама, конечно, весьма почтенная во всех отношениях, да и возраста довольно почтенного (давно за сорок), — старательно исполняла новейшие предписания насчет обоюдной культуры тела и души — шведские, немецкие, неоэллинские и тому подобные. А в орхидейной было как нельзя более тепло. Словом, я продолжаю.

Мистер Мэннеринг наконец оторвал глаза от исполинского бутона и решил пока что вникнуть в тусклые будничные мелочи. Тело его покорно взошло по лестнице, но сердце, ум и душа пребывали возле орхидеи в немом обожании. И хотя к первому ее жалкому цветению он отнесся философически безразлично, теперь его, как и нас бы с вами на его месте, восхитил новый, неимоверный бутон. Куда как естественно, что,

принимаючи ванну, мистер Мэннеринг восторженно воображал расцвет своей ненаглядной зеленой крестницы. Это будет, конечно же, самый пышный на свете цветок, причудливый, как сон, или же, напротив, поразительно простой. Лепестки его раскроются плавно, как руки балерины-или это будет похоже на солнечный восход. Ах, она, может быть, распускается сию минуту! У мистера Мэннеринга не стало никакого терпения; он поднялся из воды в облаке пара, набросил свой купальный халат и поспешил в теплицу, даже не вытершись как следует, хотя и был подвержен простуде.

Бутон еще не распустился; он по-прежнему вздымал свою плотную головку среди лоснистой, упитанной листвы — и мистер Мэннеринг заметил теперь то, на что прежде не обратил внимания, — как буйно разрослась орхидея. Он вдруг с изумлением понял, что огромный бутон — вовсе не тот, который завязался до его отъезда. Тот был гораздо ниже. Так где же он? Ага, его скрыла молодая лиственная поросль. Он раздвинул ее и обнаружил расцветший бутон. При виде этого цветка изумленный мистер Мэннеринг оцепенел и даже, можно сказать, остолбенел, ибо факт тот, что он прирос к месту, не сводя глаз с цветка, на

целых пятнадцать минут. Цветок являл собой копию головы пропавшей кошки кузины Джейн. Сходство было такое точное и живое, что через пятнадцать минут мистер Мэннеринг вознамерился поднять сброшенный халат и запахнуться в него, потому что он был человек благопристойный, а кошка, слывшая поначалу котом, оказалась совершенно женского пола. Я это к тому, что вот сколько выразительности, экспрессии, presence[8] — называйте, как хотите, — имела в себе эта цветочная кошачья морда. Однако хотя он и попытался поднять свой халат, но было уже поздно. Он и шевельнуться не мог. Свежая пышная листва незаметно сомкнулась вокруг него; повсюду впились вовсе не рудиментарные усики; он слабо вскрикнул раз-другой и обмяк: с этого места мистер Мэннеринг как таковой выбывает из нашей истории.

Мистер Мэннеринг погрузился в обморок, в такое глубокое беспамятство, что лишь за провалом вечности забрезжили в его мозгу первые слабые проблески сознания, завязи нового бутона. Прошло никак не меньше двух или трех дней, покуда комок органического вещества, сначала

[8] Примечания: 8
Присутствия духа (фр.).

почти бесформенный и вовсе бесструктурный, вызрел до того, что мог именоваться мистером Мэннерингом. Эти дни, которые во внешнем мире миновали довольно быстро, слегка волнительно и не без приятности, для смутно зреющего в бутоне сознания оказались краткой историей возникновения человека, сводкой множества эпох.

Происходил процесс, подобный развитию зародыша. Наконец существо, гонимое из глубины до нелепости сжатой перспективы веков, замедлило бег свой и почти остановилось в настоящем. Оно стало опознаваемо. Семь возрастов мистера Мэннеринга сменились, как серия крупных планов в научно-популярном фильме. Его сознание определилось и прояснилось. Набухший бутон был готов распуститься. Полагаю, что в этот момент мистер Мэннеринг в точности походил на пациента, который, очнувшись после наркоза и рассеивая смутные видения, жалобно спрашивает: "Где я?" Затем бутон распустился, и он понял, где он.

Он был в теплице, но теплица предстала в незнакомом ракурсе. Вон, за стеклянной дверью, виднелся его кабинет. Вот, внизу, торчала кошачья голова, а вот, рядом с ним, была кузина

Джейн. Он не мог вымолвить ни слова, но и она тоже не могла. Это было, пожалуй что, и неплохо. Хотя бы потому, что иначе ему пришлось бы признать ее правоту в давнишнем споре: она всегда утверждала, что его увлечение "этими ненормальными цветами" добром не кончится.

Следует признать, что поначалу мистера Мэннеринга не очень расстроил такой чрезвычайный жизненный переворот. По-моему, дело в том, что его занимали не частные и не личные вопросы, а более широкие, более общие, можно так сказать, биологические аспекты своего преображения. А в остальном — раз уж он стал растением, то и реакция его была растительная. Неспособность к передвижению, например, ничуть его не тревожила, равно как отсутствие туловища и конечностей или, скажем, непоступление в организм бекона с чаем, сухариков с молоком, обеденных котлет и тому подобного, хотя все это рот его поглощал свыше полувека. Теперь, однако, поток этот заменился притоком снизу, мягким, постоянным, едва заметным питанием. Таким образом, все мощное воздействие физической стороны на духовную склонялоего к невозмутимости. Но физическая сторона не единственная. Не будучи более человеком, он все же

остался мистером Мэннерингом. И, по мере убывания его научного интереса к происшествию, этот парадокс породил нашествие скорбей, в сущности говоря, субъективных.

Его, например, задевала мысль, что теперь не будет никакой возможности дать имя орхидее или написать о ней статью; хуже того, в уме его угнездилось пакостное убеждение, что как только судьба его обнаружится, так его самого обозначат и классифицируют, о нем напишут статью, даже, может быть, не очень научную, а критическую и полемическую. Как и все собиратели орхидей, он был непомерно робок и чувствителен, тем более в нынешнем своем состоянии: он едва удержался, чтоб не завянуть. Больше всего приходилось опасаться, что его пересадят невесть куда, на сквозняк, чего доброго, даже на проход. Выкопают! Ух-х! И крупная дрожь пробежала по густолиственному ответвлению мистера Мэннеринга. Внизу стебля возникли какие-то неясные ощущения; сообщились они и купам нижней листвы — это было похоже на чувство спины, сердца и конечностей. Он стал подобием дриады.

Однако же солнце пригревало на славу. Теплица полнилась сытным запахом разогретой, вкусной земли. Трубы имели такое специальное

приспособление, подпускающее теплый пар. Мистер Мэннеринг начал понемногу разнеживаться, поддаваться laisser-aller[9]. Тут-то до него и донеслось из угла под стеклянной крышей, от вентилятора, назойливое жужжание. Вскоре призвук раздражения смолк, и жужжание стало самодовольным: пчела исхитрилась пролезть в узкую металлическую щелку. Гостья снижалась плавными кругами в недвижном зеленом воздухе, словно в каком-то подводном мире, и уселась отдохнуть на одном из тех лепестков, которые создавали брови мистера Мэннеринга. Затем она переползала с одной черты лица на другую и наконец добралась до нижней губы, которая опустилась под ее уверенной тяжестью, открыв ей путь в рот мистера Мэннеринга. Это, конечно, было довольно странно, однако в общем данное ощущение не явилось ни столь тревожным, ни столь, неприятным, как это могло бы ожидаться. "А что, — подумал растительный джентльмен, — пожалуй, оно даже и соответственно".

Но у мистера Мэннеринга скоро пропала всякая охота к сонному анализу своих ощущений: он увидел, что оглетевшая пчела, слегка покру-

---

[9] Примечания: 9
От глагола "se laisser-aller" (фр.) — расслабляться.

жившись, присела прямиком на девственную губу кузины Джейн. Молниеносно озарились в сознании ее родственника начала ботаники. Кузина Джейн сообразила то же самое, хотя, будучи воспитана в прежних понятиях, она могла бы пробавляться блаженным неведением, если бы кузен ее — о тщеславный, болтливый, общительный болван! — не пытался бы год за годом заинтересовать ее жизнью растений. О, как он, несчастный, теперь себя корил! Он видел, как две пышные ветви под самым цветком вздрогнули, затрепетали и стыдливо вскинулись в точном подобии недоуменно-протестующих рук. Он видел, как нежные строгие лепестки, образующие лицо кузины, взъерошились и зарделись от гнева и смущения, а потом-от ужаса и подавленности — стали болезненно бледными, под стать гардении. Но что ему было делать? Вся его укорененная благовоспитанность, все рыцарство, присущее собирателю орхидей, — все в нем клокотало под паралитически-недвижной оболочкой. Он прямо-таки изнемог от усилий оживить лицо, явить на нем выражение скорби, мужественного раскаяния, беспомощности перед лицом судьбы, готовности честно загладить проступок — и вообще представить события в

неясно оптимистическом, утешительном свете; но тщетны были его усилия. Напрягшись так, что, казалось, вот-вот перервутся нервы, он только и сумел слегка подмигнуть левым веком — лучше бы уж ничего не сумел.

Это происшествие совершенно пробудило мистера Мэннеринга от растительной спячки. Ему были нестерпимы сковавшие его зеленые узы — слишком много оставалось в нем от человека: надежды, стремленья, упованья, а главное, человеческая способность страдать.

Наступили сумерки, и очертания раскидистой, зловеще пышной орхидеи расплылись: она стала мрачней и властительней, чем в своей яркой дневной роскоши. В теплице пахнуло духотой тропического леса, точно мечтой изгнанника или тоскою саксофона; кошачьи усы поникли, и даже глаза кузины Джейн медленно сомкнулись, а наш страдалец все бодрствовал, вперившись в густеющую мглу. Вдруг в кабинете вспыхнул свет, и туда вошли двое. Один был поверенный, другой — племянник.

— Как вам известно и без меня, это его кабинет, — сказал негодяй племянник. — Я еще в среду, по приезде, заходил сюда — и ничего не обнаружил.

— Много вечеров я просидел в этой комнате, — отозвался поверенный раздраженным голосом. — Я сидел по эту сторону камина, он — по ту. "Мэннеринг, — думал я про себя, — любопытно мне знать, чем же вы кончите? Наркоманией? Половыми извращениями? Или убийством?" Что ж, вероятно, мы скоро узнаем ответ на эти вопросы. А пока что, по-моему, вам, как ближайшему родственнику, и карты в руки.

С такими словами поверенный направился к выходу, а мистер Мэннеринг заметил, что молодой человек пакостно усмехается. При виде племянника ему сразу стало не по себе; усмешка же повергла его в страх и трепет.

Проводив поверенного, племянник вернулся в кабинет и огляделся с живым и злорадным удовлетворением. Потом он выкинул антраша на коврике у камина. Мистер Мэннеринг подумал, что он в жизни не видел ничего столь сатанинского, как это неудержимое и одинокое гнусное ликованье прежнего изгоя, ставшего полновластным хозяином в чужом доме. Как пошло выглядело в глазах невольного наблюдателя это мелочное торжество; как отвратительна была мелочная злоба; как ужасали мстительность и жестокосердие! Он вдруг припомнил, что еще гад-

ким ребенком племянник проявлял жестокость к мухам, отрывая у них крылышки, и варварски обращался с кошками. Точно росинками покрылся лоб добряка. Ему казалось, что стоит лишь племяннику взглянуть в его сторону, и все откроется — нет бы вспомнить, что из освещенной комнаты во тьме теплицы ничего не разглядишь.

На камине стояла большая необрамленная фотография мистера Мэннеринга. Племянник вскоре заметил это изображение и подскочил к нему с глумливым и наглым смешком.

— Что, старый ханжа! — издевался он. — Решил тишком проехаться с нею в Брайтон, а? Боже ты мой! Да чтоб тебе там и сгинуть! Чтоб тебе свалиться со скалы, чтоб тебя отливом унесло, вообще-пропади ты пропадом! Ну ничего — я тут тебе покамест так наворочу, что не разгребешь. Ах ты, старый скряга!

Он вытянул руку и презрительно щелканул портрет по носу. Затем нахальный мерзавец удалился: по-видимому, столовая с баром была для него привлекательнее, чем строгий кабинет ученого.

Всю ночь напролет слепящий электрический свет из кабинета изливался на мистера Мэннеринга и кузину Джейн, словно муторное сияние

искусственного солнца. Если вам случалось видеть в полуночном парке, как несколько бессонных астр изумленно торчат под прожектором, обесцвеченные его въедливым, безжалостным лучом, торчат ни живы ни мертвы, застыв в напряжении неврастенического транса, то вы можете себе представить, как провела ночь эта злополучная пара.

А ближе к утру произошло событие, само по себе, конечно, пустяковое, но в сочетании с прочим едва не доконавшее кузину Джейн и преисполнившее родственника ее смущеньем и угрызениями совести. По краю объемистого ящика с землей, в котором помещалась орхидея, пробежала маленькая черная мышь со злыми красными глазками, острозубым оскалом и чудовищными, как у нетопыря, ушами. Мерзкая тварь шмыгнула прямиком по нижним листьям ответвления кузины Джейн. Это было просто ужасно. Мощный стебель скорчился, точно волос на угольях, листья свело мучительной судорогой, и они свернулись, как листья мимозы; содрогаясь от омерзения, перепуганная дама чуть не выкорчевала сама себя. Я думаю, что и выкорчевала бы, если б мышь задержалась.

Но, пробежав какой-нибудь фут, она глянула

вверх, увидела, что над нею склоняется встопорщенный до полного жизнеподобия цветок, который некогда звался Тиб, и у нее перехватило дыхание. Мышь явно замерла в ужасе, кошка могла только смотреть и вожделеть. Внезапно человеческие глаза наблюдателей заметили, что коварный отросток с пучком листьев мягко изогнулся и подбирается сзади к оцепенелому животному. Кузина Джейн, которая только что с восторгом думала: "Ах, вот сейчас она убежит и никогда, никогда, никогда не вернется", вдруг ощутила нависшую страшную угрозу. Собрав все свои силы, она судорожно затрепетала, и вспугнутая мышь, повернувшись как заводная, пустилась бежать. Но хищная ветка орхидеи уже преградила ей путь. Мышь кинулась напролом; пять усиков из-под пучка листьев мигом цепко впились в беглянку, и вскоре тельце ее истаяло. Сердце кузины Джейн терзал жуткий страх; она медленно, с трудом обратила измученное лицо в одну сторону, потом в другую, лихорадочно силясь угадать, где появится новый бутон. Зеленый сочный боковой побег с плоской спаржеобразной головкой, обвитый вкруг главного стебля кузины Джейн, вдруг стал очень подозрительно набухать. Она скосилась на него, зачарованная

ужасом. Может быть, ей показалось? Нет, ей не показалось.

Вечером дверь опять отворилась, и в кабинет опять вошел племянник. На этот раз он был один, и заметно было, что явился он прямо от стола. По раскрасневшейся физиономии блуждала кабацкая ухмылка. В руке он нес графин виски, накрытый перевернутым стаканом, а под мышкой держал сифон. Он поставил принесенное на стол, повернулся к сигарному ларчику мистера Мэннеринга, достал связку ключей и, чертыхаясь, примерял их один за другим, пока ларчик не отперся; тут он запустил в него лапу и отобрал что получше. Огорчительно было наблюдать это беззастенчивое распоряжение твоей собственностью, унизительно видеть, как брезгливо закуривают лучшие твои сигары; но печальнее всего нашему доброму джентльмену была мысль о том, что гнусный племянник с ключами в руках получил доступ ко всем самым укромным уголкам чужого дома.

Пока что, однако, этот мошенник вроде бы не собирался рыться по углам; он налил себе полный стакан виски и раскинулся в чрезвычайно удобной позе. Но очень скоро молодому человеку наскучило уединение. Он еще не успел созвать

в дядин дом своих собутыльников, а постоянное общение с бутылкой виски лишь разжигало в нем желание как-нибудь поразвлечься. Он уронил взгляд на дверь оранжереи. Раньше или позже это, конечно, должно было случиться. Утешает подобная мысль приговоренного к смерти, когда роковой стук сотрясает дверь его камеры? Нет, не утешает. Вот и трепетные сердца заключенной в теплице пары эта мысль ничуть не утешила.

Пока племянник крутил ручку стеклянной двери, кузина Джейн медленно приподняла две густолиственные ветви по обе стороны лица и заслонила ими свою усталую голову. Мистер Мэннеринг, заново проникшись надеждой, заметил, что таким образом она совсем неплохо укрылась от постороннего взгляда, и поспешил последовать ее примеру. К несчастью, ему пока не дано было столь же успешно управлять своими-своими конечностями? — и все его старания не подняли их выше подбородка. Дверь отворилась, племянник нащупывал выключатель. Настал тот миг, когда может спасти лишь отчаянное усилие, и мистер Мэннеринг сумел его совершить.

С неимоверной натугой ему удалось приподнять правую ветку — не прямо перед собой, это верно: поддергивая ветку все выше и превозмогая

боль, он завел ее за голову, точно закинутую руку, и приспустил над теменем. Как раз когда зажегся свет, лиственный пучок на конце ветки распростерся веером, наподобие очень мясистого листа конского каштана, и заслонил взволнованное лицо мистера Мэннеринга. Какое облегчение! Но вот племянник вошел в смотровую, и оба его сокрытых родственника разом вспомнили о гибельном соседстве кошки. И разом сок застыл у них в жилах. Племянник прошелся подле орхидеи. Животное понятливое, кошка по-звериному безошибочно чуяла, что перед нею лодырь, паразит и блудодей, грубый до скотства, неуважительный к летам, гонитель слабых, мучитель кошек. Поэтому она притаилась как могла, уповая на то, что расположена довольно низко и вперед не выдается, а также на защитную мимикрию и тому подобное; и вообще полупьяный племянник мог ее просто не заметить. Но он заметил.

— Что? — сказал племянник. — Это что, кошка? И он замахнулся на безобидное существо. Однако достойный, невозмутимый вид жертвы, должно быть, поразил его даже во хмелю, и вместо того, чтобы ударить ее, этот буян, в душе трусливый, как все буяны, замотал головой, избегая твердого, презрительного взгляда храброй кошки. Увы!

При этом в глаза ему бросилась какая-то белизна в темной листве. Он откинул ветви — поглядеть, что такое там белеется. Это была кузина Джейн.

— О-о! А-а! — сказал молодой человек, сильно смутившись. — Так ты, значит, вернулась. А зачем ты там прячешься?

Он глядел оробело и тупо, недоуменно разинув рот; наконец до него дошло истинное положение вещей. Очень многие из нас на его месте попытались быустановить какой-нибудь контакт, как-нибудь помочь или хоть преклонили колени — возблагодарить Творца за то, что, по милости его, нас минула чаша сия, или уж стремглав кинулись бы вон из теплицы во избежание досадных случайностей. Но разогретый алкоголем и закоренелый во зле молодой человек не испытывал ни страха, ни преклонения, ни благодарности. Когда он понял, в чем дело, по лицу его расползлась дьявольская ухмылка.

— Ха-ха-ха! — сказал он. — А где же старикан? Он оглядел растение, жадно высматривая дядю. Дядя вмиг отыскался: под ненадежным лиственным забралом обнаружилось лицо нашего героя в смятении сотни горьких чувств.

— Привет, Нарцисс? — сказал племянник. Воспоследовало долгое молчанье. Злобный негодяй

был так доволен, что ему слова на язык не шли. Он потирал руки, облизывал губы и не мог наглядеться, словно ребенок на новую игрушку.

— Вот так влопался, нечего сказать, — заметил он наконец. — Да, теперь на нашей улице праздник. А как было наоборот, помнишь?

Легкий трепет мыслящего цветка выдал страдальца с головой.

— Ага, ты меня слышишь, — продолжал мучитель. — Чувствовать, наверное, тоже можешь. А ну-ка, попробуем?

С этими словами он протянул руку, ухватил мягкий завиток серебристой тычиночной нити из тех, что вроде бакенбард окаймляли цветочный лик, и резко дернул за него. Пренебрегая интересами науки, мерзавец не стал наблюдать нюансировку дядиной реакции: он был доволен уже тем, что дядю перекосило. Удовлетворенно хмыкнув и затянувшись вонючим окуг ком краденой сигары, он выпустил струю смрадного дыма в самый нос жертве. Вот скотина!

— Что, приятно, Иоанн Креститель? — нагло осведомился он. — Это тебе вместо дезинсекции. Знаешь, как помогает!

Что-то прошуршало по рукаву его пиджака. Он опустил глаза и увидел, как длинный стебель, в

избытке снабженный губительными усиками, пробирается по сухой, шершавой поверхности. Вот он нащупал его запястье и впился; но усики были сразу отодраны, как пиявки, — не успели даже толком присосаться.

— Ух-х! — сказал он. — Таким, значит, манером это у вас делается? Я, пожалуй, не буду пока сюда соваться; присмотрюсь сначала. А то ищи потом свою голову на чужих плечах. Хотя в одежде-то тебя вряд ли так уж слопают.

Пораженный внезапной мыслью, он перевел взгляд с дяди на кузину Джейн, а с кузины Джейн обратно на дядю. Потом взглянул на пол — там, в тени орхидеи, валялся всего один смятый купальный халат.

— Ну да! — сказал он. — ОГО! Хо-хо-хо!

И, гнусно подмигнув на прощанье, он удалился из теплицы.

Мистеру Мэннерингу казалось, что он исчерпал страдания до дна. И все же он страшился утра. Его воспаленное воображение заполняло мрак бессонной ночи кошмарными, совершенно бредовыми видениями надругательства и пытки. Пытки! Нелепо, разумеется, было опасаться хладнокровной жестокости со стороны племянника. Пугало, однако, что ради возмутительного

каприза, в угоду мальчишескому чувству юмора тот способен на любую безобразную выходку, особенно в пьяном виде. Он подумал о слизняках и улитках, о шпалерных решетках и секаторах. Если бы только злодей довольствовался оскорбительными шуточками, растрачивал бы его состояние, разбазаривал у него на глазах его драгоценное имущество; пусть бы даже иногда дергал его за бакенбарды, пусть! Тогда, быть может, и удалось бы со временем заглушить в себе все человеческое, унять страсти, покончить со всяким хотеньем и как бы привиться, погружаясь в нирвану растительной дремы. Но поутру он обнаружил, что это не так-то просто.

Племянник вошел в кабинет и, наспех скорчив глумливую гримасу родственникам за стеклом, сел к столу и отпер верхний ящик. Он явно искал деньги, иначе бы так не суетился. Наверняка он истратил все, что выгреб из дядиных карманов, и еще не придумал, как добраться до его счета в банке. Однако и в ящике кое-что нашлось: негодяй обрадованно потер руки, призвал кухарку и проорал ей в ухо беспардонные указания насчет закупки вина и крепких напитков.

— Да пошевеливайся! — рявкнул он, втолковав ей наконец, о чем идет речь. — Уж я подыщу себе

прислугу порасторопнее, это ты так и знай! А что, — прибавил он себе под нос, когда бедная старуха, уязвленная его грубым обхождением, заковыляла прочь. — А что, и подыщу — этакую горняшечку.

Он быстро нашел в телефонной книге номер местного бюро найма и весь день принимал в дядином кабинете соискательниц места служанки. С дурнушками или гордячками он разговаривал кратко и сухо, бесцеремонно их спроваживая. Только если девушка была привлекательной (то есть на его испорченный вкус) и держалась кокетливо или развязно, дело шло дальше формальностей. Такие разговоры племянник заканчивал самым недвусмысленным образом, давая собеседнице вполне уразуметь его намерения. Одной из них, например, он, склонившись, приподнял личико и сказал ей с мерзостной усмешкой: "Во всем доме мы будем одни с тобой, и я тебе не хозяин, а член семьи, понятно, милашка?" Другую он спрашивал, приобняв за талию: "Ты думаешь, мы с тобой хорошо сживемся бок о бок?" Двух или трех девиц такое обращение смутило, но затем явилась молодая особа весьма откровенного вида: о ней красноречиво говорили побрякушки, размалеванное лицо, крашеные волосы и тем

более— вульгарные жесты и будто наклеенная улыбка. Племянник сразу нашел с нею общий язык. Было совершенно ясно, что это за фрукт, и порочный молодой человек расспрашивал ее просто так, для смеху, чтобы подсластить предвкушения и посмаковать контраст между обычными фразами и раздевающими взглядами. Ей было назначено прийти завтра.

Мистер Мэннеринг опасался не столько за себя, сколько за свою кузину. "Что за зрелища предстанут те взорам! — думал он. — Какой краской зальются ее желтые щеки!" Ах, если бы он мог выговорить хоть несколько слов!

Но вечером, когда племянник пришел отдыхать в кабинет, было заметно, что он выпил куда больше, нежели прежде. На его пятнистом с перепоя лице застыл угрюмый оскал; зловещий огонь рдел в мутных глазах; он что-то злобно бормотал себе под нос. Несомненно, этот бес в человеческом обличье был, что называется, "в буйном хмелю"; несомненно, его разъярили какие-то пустяки.

Даже и тут любопытно отметить внезапную перемену в отношении мистера Мэннеринга к жизни. Он словно бы замкнулся в себе и реагировал лишь на воздействие непосредственных внешних раздражителей.

Племянник в пьяном озлоблении пнул ногой и прорвал каминный экран, швырнул на ковер тлеющий окурок, чиркал спичками о полированный стол. Дядя наблюдал все это спокойно: его чувство собственности и личного достоинства притупилось и заглохло, и он не испытывал ни гнева, ни обиды. Быть может, он внезапным скачком, характерным для подобной эволюции, значительно приблизился к своей цели, к растительному существованию? Забота об оскорбленной стыдливости кузины Джейн, одолевавшая его лишь несколько часов назад, была, по-видимому, последним проблеском угасающего альтруизма: теперь он утратил это чисто человеческое свойство. Однако на данном этапе метаморфоза была не вполне благодетельна. Вместе с отдаленными, общечеловеческими попечениями вне сферы его самосознания остались не только гордость и альтруизм, причины большинства его скорбей, но также стойкость и выдержка, которые, в оправе греческих цитат, служили ему защитой от невзгод и напастей. Более того, в этом суженном кругу бытия душа его не умалилась, а уплотнилась; и противовесом невозмутимого, орхидейного безразличия при виде надругательства над мебелью был цепенящий, орхидейный

и безысходный ужас при мысли о подобном же надругательстве над ним.

А в кабинете племянник все курил и сквернословил. На камине стоял конверт, надписанный рукой мистера Мэннеринга. В нем было письмо кузине Джейн, которое он отправил из города, письмо, обличавшее постыдное поведение племянника. Конверт попался на глаза молодому человеку, и тот, движимый праздным любопытством, ничтоже сумняшеся вскрыл его и вынул письмо. По мере чтения лицо его чернело и чернело.

— Что? — прорычал он. — ... хам и побирушка... никчемный подонок... пронырливый гаденыш... ну-ка, ну-ка... отсечь его напрочь... Что-о? — рявкнул он, безобразно выругавшись. — Да неужели так-таки напрочь? Не ты один умеешь отсекать, старый хрен!

Он схватил со стола большие ножницы и ворвался в смотровую.

Говорят, что рыба-солнечник вскрикивает, попавшись в руки человеку; из насекомых одна лишь гусеница бабочки "мертвая голова" способна слабо взвизгнуть от ужаса; в растительном же мире только мандрагора издает предсмертный вопль — до сих пор было так.

Толкование сновидения
Джон Коллиер

Молодой человек вошел в кабинет знаменитого (психиатра с возгласом: — Доктор, спасите меня!

— Да ради бога, — любезно согласился сердцевед. — Собственно говоря, затем я здесь и сижу.

— Но вам это не под силу! — горестно воскликнул молодой человек. — Нет, не под силу! Не под силу! Меня ничто не спасет!

— Так или иначе, — мягко заметил психиатр, — но вреда не будет, если мы это обсудим.

Он сделал несколько пассов, вкрадчиво и обаятельно улыбаясь, и молодой человек сам не заметил, как очутился в глубоком кресле, лицом к свету, и начал рассказывать: — Меня зовут Чарлз Ротифер. Я служу в бухгалтерии, на верхнем этаже нашего небоскреба. Мне двадцать восемь лет, я холост, но помолвлен. Невеста моя — самая лучшая, самая милая девушка на свете, прекрасная, как ангел, с дивными золотистыми волосами. Это, как вы увидите, имеет отношение к делу.

— Еще бы, — подтвердил психиатр. — Золото символизирует деньги. Вы к деньгам бережливо

относитесь? Вот вы упомянули, что служите. Удалось ли вам скопить что-нибудь, откладывая жалованье?

— Удалось, — отвечал молодой человек. — Я скопил порядочно.

— Пожалуйста, продолжайте, мистер Ротифер, — благосклонно кивнул психиатр. — Вы говорили о своей невесте. Потом мне придется задать вам на этот счет один-два вопроса довольно интимного свойства.

— Спрашивайте — я отвечу, — отозвался молодой человек. — Нам нечего скрывать — во всяком случае, скрывать от психолога. Мы друг другу идеально подходим, и все в ней меня радует — разве что вот ее привычка чересчур жестикулировать при разговоре…

— Это я, с вашего позволения, отмечу, — вмешался эксперт, черкнув у себя в блокноте.

— Да это ничуть не важно, — заверил молодой человек. — Я даже не знаю, почему я об этом упомянул — потому, наверное, что она совершенство во всех остальных отношениях. Доктор, доктор, тридцать восемь дней назад мне приснился сон.

— Скажите, именно тридцать восемь! — отметил целитель душ, записывая цифру. — А если откровенно — не было-ли у вас в детстве няни,

учительницы или родственницы тридцати восьми лет от роду, к которой вы питали бы некие чувства?

— Нет, доктор, не было, — отвечал молодой человек, — но в нашем небоскребе тридцать восемь этажей. Психиатр пронзил его всезнающим взглядом.

— Стало быть, что же — форма и высота нашего здания вам небезразличны?

— Этого я не знаю, — упорствовал молодой человек, — а знаю то, что мне приснилось, будто я оказался за окном нашей бухгалтерии — и падаю.

— Падаете! — подхватил психиатр, поднимая брови. — И какие вы при этом испытывали ощущения?

— Никаких, — отвечал молодой человек. — Мне представилось, что я падаю обыкновенно, только думаю очень быстро. Поэтому у меня было время поразмыслить и оглядеться. Вид открывался превосходный. Затем я поравнялся с лепным орнаментом между нашими и нижними окнами. И проснулся.

— И это простое, безобидное, совершенно обычное сновиденьице вас так угнетает? — шутливым тоном осведомился психиатр. — Ну, милостивый

государь…

— Погодите минутку, — остановил его пациент. — На другую ночь я видел тот же сон — вернее, продолжение его. Распростертый в воздухе — таким вот образом, — я миновал лепной орнамент и заглянул в окно нижнего этажа, который тоже занимает наша фирма. Мой приятель Дон Стрейкер из налогового отделения сидел, склонившись над столом. Он поднял глаза, увидел меня, и лицо его выразило предельное изумление. Он отодвинул стул — наверняка чтобы кинуться к окну. Но в сравнении со мной двигался он неописуемо медленно. Помню, я подумал: "Не успеет". И, пролетев мимо его окна, снова оказался между этажами. Тут я проснулся.

— Так, — сказал врачеватель мозга. — Ну и что же? Сновидение продолжается через сутки. Самый заурядный случай.

— Возможно, — согласился молодой человек. — Только еще через сутки я продолжал падать и пролетал мимо следующего этажа. На лету я принял лежачую позу, слегка приподняв одну ногу — вот так вот.

— Да, да, — сказал психиатр. — Понимаю. Демонстрировать необязательно. Вы чуть не сшибли пепельницу.

— Виноват, — сказал молодой человек. — У Мейзи очень заразительная привычка. Мейзи — это моя невеста. Ей нужно рассказать, как она что-нибудь сделала, а она показывает. Воспроизводит. Она мне рассказала, как поскользнулась на обледенелом тротуаре Семьдесят второй стрит, и мы в тот же вечер обручились. Ну, словом, я падал мимо очередного этажа и озирался вокруг. Холмы Нью-Джерси смотрелись великолепно. Парящий голубь свернул ко мне, поглядел бессмысленным круглым глазом и отнырнул в сторону. Мне видны были внизу на улице люди, вернее, их шляпы — густая россыпь, словно черная галька на морском берегу. Под моим взглядом один-два черных камушка вдруг стали белыми, и я понял, что привлекаю внимание.

— Меня вот что интересует, — сказал психиатр. — Похоже, что у вас было немало времени на размышления. Вы не припомнили, почему вы падаете? Нарочно выкинулись, или якобы случайно выпали из окна, или как?

— Право, не знаю, доктор, — отвечал молодой человек. — Может быть, мой последний сон, который я видел прошлой ночью, что-нибудь разъяснит. А так я большей частью смотрел по сторонам и хотя падал, конечно, все быстрее, но и

мысли мои сообразно ускорялись. Я, естественно, старался думать о важных вещах, использовать последнюю такую возможность. Между семнадцатым и шестнадцатым этажами, например, я много думал о демократии и мировых проблемах. Мне подумалось, что очень многие глубоко ошибочно полагают, будто…

— Давайте лучше пока ограничимся исключительно вашими переживаниями, — прервал его врачеватель мозга.

— Ну вот, — сказал молодой человек, — значит, я заглянул в окно пятнадцатого этажа — и ей-богу, в жизни бы не поверил, что такое бывает на свете! На свете-то ладно, но в служебном помещении! И вы знаете, доктор, на другой день я побывал у нас на пятнадцатом этаже, просто так, из любопытства. Там оказалась контора импресарио. Доктор, вам не кажется, что наяву все как у меня во сне?

— Успокойтесь, — возразил ему психиатр. — Названия всех учреждений и контор, размещающихся в нашем здании, значатся в вестибюле на доске-указателе. Они, вне всякого сомнения, подсознательно отложились у вас в памяти, которая и подлаживает их к вашему сну.

— А после этого, — сказал молодой человек, — я стал большей частью смотреть вниз. Взгляну в

окно, мимо которого пролетаю, и снова опускаю глаза. К тому времени черная галечная россыпь сильно побелела. Да скоро и видно сделалось, что это шляпы и лица. Два такси свернули навстречу друг другу и сшиблись. Смутный уличный гул перекрылся женским визгом. Мне он был очень понятен. Я падал полулежа и уже предчувствовал боль в тех частях тела, которые первыми ударятся оземь. Тогда я повернулся ничком — вот так, — но это было жутко. Повернулся ногами вниз — но тогда заболели ноги. Я решил упасть на голову, чтобы не мучиться, но как-то мне это тоже не понравилось. Я вертелся и корчился — вот так.

— Успокойтесь, пожалуйста, — сказал психиатр. — Нет никакой надобности это демонстрировать.

— Виноват, — сказал молодой человек. — Такая у Мейзи заразительная привычка.

— Садитесь, — сказал психиатр, — и продолжайте.

— Прошлая ночь, — обреченно сказал молодой человек, — была тридцать восьмая.

— Стало быть, — заметил психиатр, — вы должны были долететь досюда, потому что моя приемная — в бельэтаже.

— Я и долетел! — воскликнул молодой чело-

век. — Я проносился за этим самым окном с дикой скоростью.

И на лету заглянул в окно. Доктор, я увидел вас! Так же ясно, как вижу теперь!

— Мистер Ротифер, — отозвался эскулап, скромно улыбаясь, — я часто фигурирую в сновидениях своих пациентов.

— Но я тогда еще не был вашим пациентом, — возразил молодой человек. — Я даже не знал о вашем существовании. Я узнал о нем только сегодня утром, когда пришел посмотреть, кто занимает это помещение. О доктор, как я обрадовался, что вы не импресарио!

— А почему это вас обрадовало? — добродушно сцросил медик.

— Потому что вы были не один. То есть у меня во сне. С вами была молодая женщина. Молодая женщина с дивными золотистыми волосами. Она сидела у вас на коленях, доктор, и обнимала вас за шею. Я решил, что на этом этаже еще один импресарио. А потом подумал: "Какие дивные золотистые волосы. Совсем как у моей Мейзи". И тут вы оба повернулись к окну. Это была она! Мейзи! Моя Мейзи!

Психиатр от души расхохотался. — Милостивый государь, — сказал он, — на этот счет вы

можете быть совершенно спокойны.

— Вроде бы и так, — сказал молодой человек, — но сегодня утром, на работе, я ощутил нестерпимое любопытство, почти непреодолимый позыв прыгнуть из окна и посмотреть, что я увижу.

— Вам пришлось бы, к стыду своему, убедиться, — сказал психиатр, — что ваш опрометчивый поступок лишен каких бы то ни было оснований. Ваша невеста не является моей пациенткой и, значит, не могла быть под влиянием того безвреднейшего психического аффекта, в силу которого чувственные эксцессы субъекта излечения переключаются на лечащего врача. К тому же у нас существует профессиональная этика, и ничего такого и тому подобного в кабинетах не происходит. Нет, милостивый государь, все, что вы описали — сравнительно неосложненное состояние, навязчивое сновидение, невротическое побуждение, — все это со временем вполне излечимо. Три-четыре сеанса в неделю — и буквально за несколько лет вы пойдете на поправку.

— Помилуйте, доктор, — воскликнул в отчаянии молодой человек, — ведь я же вот-вот ударюсь оземь!

— Но всего лишь во сне, — увещевал его пси-

хиатр. — Запомните это накрепко и заметьте в особенности, как высоко вы при этом подскочите. А пока что возвращайтесь на службу, продолжайте работать и тревожьтесь как можно, меньше.

— Попробую, — сказал молодой человек. — Но ей-богу, вы поразительно похожи на себя, каким я вас видел во сне, — вот и галстук у вас заколот такой самой жемчужной булавкой.

— Эта булавка, — сказал психиатр с улыбкой и прощальным поклоном, — получена в подарок от одной весьма небезызвестной дамы, которой все время снилось, что она падает.

С этими словами он прикрыл дверь за посетителем, и тот удалился, упрямо и угрюмо покачивая головой. А хозяин кабинета сел за свой стол и сложил кончики пальцев, как это всегда делают психиатры при оценке стоимости нового пациента.

Его подсчеты прервала секретарша, чья голова показалась в дверях.

— К вам мисс Мимлинг, — оповестила она. — Ей назначено на два тридцать.

— Пусть войдет, — разрешил психиатр и поднялся навстречу новоприбывшей молодой женщине, похожей на встрепанную мышь, которой на голову выплеснули ведро перекиси водорода.

Она была в чрезвычайном волнении.

— Ой, доктор, — сказала она, — ну я просто не могла вам не позвонить, потому что, когда ваша фамилия оказалась в телефонной книге, я, конечно, сразу поняла, что это вы. Я видела вашу фамилию на дверной табличке! Во сне видела, доктор! Во сне!

— Давайте-ка мы это спокойненько обсудим, — предложил целитель душ, пытаясь усадить ее в глубокое кресло. Однако ей там не сиделось, и она примостилась на краешке стола.

— Не знаю, вы, наверное, считаете, что сны вообще-то пустяки, — заговорила она. — Но это был такой, ну, необыкновенный сон.

Мне приснилось, что я подхожу к вашей двери и вижу табличку с вашей фамилией, такую самую, как и взаправду. Я потом полезла в телефонную книгу, а там оказалась ваша фамилия, такая самая, как во сне. Тут я и решила, что мне непременно надо с вами повидаться. Вот, а мне снилось дальше, что я зашла к вам в кабинет и сижу на столе, в точности как сейчас, и вам что-то говорю, и вдруг — я, конечно, знала, что это всего только сон — я ощутила такое чувство… ну вот даже стесняюсь вам сказать. Мне показалось, будто вы мой отец, мой старший брат и один мой

знакомый, его звали Герман Майерс, и все они — это будто бы вы. Я не знаю, как я могла такое почувствовать, даже во сне, я ведь помолвлена и люблю своего жениха до потери сознания, а я думала, что до потери подсознания тоже. Ой, какая я гадкая!

— Милая барышня, — проворковал психиатр, — это всего-то навсего явление эмоционального переключения, которое может случиться с каждым и, как правило, с каждым случается.

— Но я не просто переключилась, — сказала она, — я пересела к вам на колени, вот так, и потом вот так обняла вас за шею.

— Ну, ну, — ласково остерег ее психиатр, — по-моему, вы воспроизводите свой сон под влиянием невротического импульса.

— А я всегда все воспроизвожу, — сказала она. — Поэтому меня зовут на любую вечеринку и называют душой общества. Но, доктор, потом я случайно обернулась к окну, вот так, и… Ай! Это он! Это был он!

Это был Чарли! Как он на нас страшно поглядел на лету!

Карты правду говорят
Джон Коллиер

Васкальская система — надежнейший, новейший и самый научный способ гаданья на картах. Правда, гадать можно только другим, а своя судьба не разгадывается; но это, кажется, недостижимо никаким способом. Во всех же прочих отношениях Васкальская система промашки не дает.

Одна женщина усвоила на досуге начатки Васкальской системы и погадала мужу на кухонном столе после завтрака. Карты предрекли, что если он вздумает прикатить домой между тремя и пятью часами, пополудни, то ему не миновать злополучного столкновения и в лучшем случае сильной травмы. Теперь он все время просит жену раскинуть на него карты и никогда не возвращается раньше того часа, какой она признает благоприятным. Травмирована буквально вся округа, за исключением мужа: тот разъезжает как ни в чем не бывало.

Одна юная девица, обладательница Васкальского диплома с отличием, погадав, предупредила

свою младшую сестру, что нынче вечером той суждено утратить нечто, принадлежавшее ей всю жизнь, по вине высокого брюнета, и хотя эта утрата сначала будет ощущаться болезненно, в конечном счете она принесет счастье и исполнение надежд. В самом деле, упомянутая младшая сестра вечером помчалась сломя голову на свидание с первым попавшимся кавалером и в спешке забыла запереть за собой дверь. Высокий и вороватый брюнет проник в незапертый дом и похитил подаренное ей на зубок ожерельице дутого жемчуга, а ей удалось так облапошить страховое агентство, что она получила за него мало сказать втрое и купила себе на эти деньги бриллиантовую брошку, которой прельстился, приняв бриллианты за настоящие, мистер Джерри Хоррабин, ее теперешний жених.

Мистер Брустер, изучив Васкальскую систему едва ли наполовину, погадал жене — и вышло, что она зря настаивает на том, чтобы вечером пойти в театр: спектакль будет дерьмовый. Она, однако, настояла на своем, и спектакль оказался дерьмовый.

Убежденная этими и тьмой других разительных примеров, Майра Уилкинс решила, что не прогадает, если изучит Васкальскую систему. У

нее был великий замысел: она собралась поставить жизнь на карту. Она рассудила, что раньше или позже среди несметного множества ее молодых клиентов подвернется такой, которому выпадет впереди, как снег на голову, огромное состояние. Она, конечно, не станет смущать этого счастливца и открывать ему будущее, а просто предостережет его против коварных дам червей и бубен и как бы невзначай обратит его мысли к вальяжной пиковой даме: Майра была брюнетка.

Она окончила курсы гадания с высшим отличием и подыскала себе закуток на нью-йоркской окраине над заведением знакомой танцмейстерши. Она подозревала, что молодые люди, берущие уроки танцев, особенно озабочены своим будущим, и рассчитывала на них как на готовую клиентуру.

Сбережений у Майры было совсем немного, и все они ушли на обстановку: понадобились бисерные занавеси, чародейские стеклянные шары, статуэтки Будды и прочее барахло, внушающее посетителям доверие к гадалке. Брала она за сеанс очень дешево, чтобы клиент шел косяком и будущий миллионер попался в сети как можно скорее.

Она тасовала и раскладывала засаленную

колоду, предсказывая нескончаемой веренице неразличимых молодых людей будущее столь же невзрачное, как и прошлое, каковым всякое будущее со временем становится. Обогащение никому не грозило; и все это стало похоже на пасьянс, который никак не сходится. Будущие доходы клиентов предзнаменовала обычно двойка бубен; зато труды и хлопоты нависали длинными мастями треф и пик.

Месяцы выстраивались в годы; толстый слой пыли заволок стеклянные шары и бронзового Будду. Майра оставалась при своем пиковом интересе, и ее мечты о богатстве, сточившись, как старый нож, стали острее бритвы. Но однажды поздно вечером, когда жизнь казалась совсем беспросветной, ступеньки отозвались стоном на тяжелую поступь, и ражий детина запутался в бисерной занавеси.

Клиент был жуткого вида, и гадалка позажиточнее, верно, отослала бы его прямиком обратно в зоопарк. Но у Майры каждый доллар был на счету; она устало разложила карты. Тут же выскочила двойка треф, и предвещала она не что иное, как полицейскую дубинку. Клиенту грозила опасность погостить в казенном доме у валетов разных мастей, но каким-то образом этот визит

на время откладывался.

Вдруг она еле сдержала невольный возглас. Будущее клиента, черное, как людоед, словно бы улыбнулось, сверкнув золотым зубом. По Васкалю определенно выходило, что этот голубчик унаследует приличное состояние после смерти близкого человека.

— У вас есть родственники? — спросила она. — То есть какие-нибудь близкие и состоятельные родственники?

— Нету, — сказал он. — Разве, может, дядя Джо успел чего-нибудь припрятать, пока его не замели. "Должно быть, успел", — подумала она.

— Впрочем, — сказала она вслух, — это не так уж и важно. По картам не видно, чтобы какой-нибудь дядя вам что-нибудь завещал. Вот эта карта — денежные хлопоты. Вот эта означает, что вас обманывает блондинка. Быть вам, кажется, битым. К чему бы здесь эти двое в полицейской форме?

Она заговаривала ему зубы и выкладывала карты, а в голове у нее крутилась трехъярусная карусель: рассказ для ушей клиента, его подлинное будущее и ее размышления, как же ей быть.

Она исподтишка еще раз оглядела малопривлекательного посетителя. Наследство ему, похоже,

перепадало миллионное. Зато сам он даже и на человека был почти не похож. Бог с ней, с любовью, но кое-что может все-таки остановить порядочную девушку, а в нем кое-чего было с избытком.

Раздумывая, она продолжала машинально выкладывать карты. Вдруг в глазах у нее посветлело. Она глянула повнимательнее — да. Тревожиться нечего. Карты яснее ясного показывали, что клиент ее, получив наследство, через месяц-другой погибнет внезапной и насильственной смертью. Так что он был вполне подходящим супругом.

Майра не стала терять времени.

— Вы, — сказала она, — судя по всему, стоите на перепутье. На одном пути вас ждут горе, нищета, болезни, отчаяние, тюрьма…

— Пойду другим путем, — сказал молодой человек.

— Это очень рассудительно с вашей стороны, — сказала Майра. — Но должна вам сообщить, что тут все не так-то просто. Другим путем, который ведет к богатству и счастью, вы можете идти лишь рука об руку с достойной женщиной. Есть у вас на примете достойная женщина?

— Эх, едриттвою! — расстроился клиент.

— Да, это жаль, — сказала Майра. — Потому

что если вы найдете такую и если она брюнетка, недурна собой и носит тридцать пятый размер обуви, то вам только и нужно жениться на ней, и ваше будущее обеспечено. Совершенно обеспечено. Вот посмотрите. Деньги, деньги, деньги — это все вам от близкого человека. Да, но при условии, что вы женитесь на ком следует. Смотрите — это вы в отеле "Уолдорф-Астория". Это — во Флориде, Палм-Бич. Вот — в Саратоге, на курорте. Ого! Какой выигрыш на скачках!

— Леди, а леди, — сказал клиент. — Вы какой номер носите?

— Ну, — улыбнулась Майра, — могу и тридцать четвертый. Но обычно...

— Слышь, крошка, — сказал он, ухватив ее за руку. — Нам с тобой по пути. Вот смотри, видала?

Он скрестил пальцы другой своей руки и показал ей эту эмблему супружеского счастья.

Майра подавила дрожь.

"Когда он умрет, — подумала она, — мне достанется миллион, я заведу себе молодого киноактера, и все забудется!" Вскоре они поженились и сняли лачугу в трущобах Лонг-Айленда. У Лу были свои веские причины не болтаться на глазах у властей. Майра ездила гадать миль за двадцать, и ее засаленная колода кормила обоих

— доколе смерть их не разлучит, оставив ее богатой вдовой.

Время шло, наследство не объявлялось, и громила муж начал горько попрекать ее. Мозгов у него в голове было очень мало, терпения меньше, чем у ребенка, и вдобавок он заподозрил, что его женили обманом. Был он также не чужд садизма.

— Может, ты вовсе и не та, на которой надо было жениться, — говорил он, изукрасив ее синяками. — Может, ты вовсе и не тридцать пятый носишь. Может, ты носишь тридцать шестой. Денег никаких не видать, а ты вон вся изукрашенная. Ни кожи, ни рожи — одни синяки. Кончай волынку, давай мне развод.

— Не дам, — говорила она. — По-моему, браки совершаются на небесах.

Разгорался спор: он утверждал, что, по его сведениям, дело обстоит как раз наоборот. В конце концов, у него мутилось в голове от собственной тупости; он с руганью швырял жену оземь и выбегал во двор, где выкапывал глубокую яму, смотрел в нее до упаду и снова закапывал.

Шли месяцы, и Майра сама стала сомневаться, уж не подвела ли ее на этот раз Васкальская система.

"Вдруг никакого наследства так и не будет? А я-то хороша: миссис Кинг Конг, кормилица семьи. Пожалуй, все-таки вернее бы развестись".

Такие вот пораженческие настроения овладели ею в один сумрачный зимний вечер, когда она брела домой с парома. У себя на заднем дворе она провалилась в глубокую яму, вырытую ее придурковатым мужем. "Все, хватит", — подумала она.

Лу сидел в убогой кухоньке и расплылся ей навстречу в невиданной улыбке.

— Привет, милашка, — сказал он. — Как дела у моей лапушки женушки?

— Никаких милашек, — обрезала она. — И никаких женушек-лапушек. Не знаю, что за муха тебя, скотину, укусила, но у меня все решено. Пожалуйста, получай развод.

— Да что ты, сладушка, — сказал он. — Я это просто шутки шутил. Нипочем я с тобой не разведусь.

— Не ты, так я с тобой разведусь, — сказала она. — Давай без разговоров.

— А это надо, чтоб были причины, — сказал ее муж, нахмурившись.

— Причины есть, — сказала она. — Только заголюсь, покажу судье свои синяки — и живенько получу развод. Мое дело верное.

— Ты вот что, — сказал он. — Погляди-ка, тут тебе письмо. Может, еще раздумаешь.

— Ты почему его распечатал? — спросила Майра.

— А поглядеть, чего там внутри, — простодушно признался он. — Да ты почитай, почитай.

— Дядя Эзра умер, — сказала Майра, пробегая глазами по строчкам. — И завещал полтора миллиона долларов — МНЕ! Ух ты, ничего себе старик накопил! Да, а карты-то, значит, соврали. Наследство тебе выпадало.

— Чего там, — сказал Лу, поглаживая ее шею. — Муж и жена — одна сатана, верно?

— Нет уж! — радостно воскликнула Майра. — Богатая! Свободная! Пока нет, ну, за этим дело не станет.

— А мне чего делать? — спросил муж.

— Пойди залезь на дерево, — посоветовала Майра. — Тебе в самый раз по деревьям лазать.

— А, ну я так и думал, — сказал он, плотно обхватив ее горло. — Доллар у меня зажилила за гаданье, ах ты! Ладно, не хочешь по-хорошему, давай как по писаному. Значит, после смерти близкого человека, а? Нет, не соврали карты!

Майра не успела ни поблагодарить его за оправдание Васкальской системы, ни предупредить о

внезапной насильственной смерти, которая его ожидала.

Ловец человеков
Джон Коллиер

Олан Остен, точь-в-точь пугливый котенок, взошел по темной скрипучей лестнице домика неподалеку от Пелл-стрит и долго тыкался в двери на тускло освещенной площадке, пока не отыскал затертую табличку с нужной фамилией.

Он толкнул дверь, как было ведено, и очутился в комнатушке с дощатым столиком, креслом-качалкой и стулом. На грязно-бурой стене висели две полки, заставленные дюжиной флаконов и склянок.

В качалке сидел старик и читал газету. Алан молча вручил ему свою рекомендацию.

— Садитесь, мистер Остен, — весьма учтиво пригласил старик. — Рад с вами познакомиться.

— Правда ли, — спросил Алан, — что у вас есть некое снадобье, крайне, так сказать, э-э… необычного свойства?

— Милостивый государь, — ответствовал старик, — выбор у меня невелик — слабительными и зубными эликсирами не торгую — чем богаты, тем и рады. Но обычного свойства у меня в про-

даже ничего нет.

— Мне, собственно… — начал Алан.

— Вот, например, — прервал его старик, достав с полки флакон. — Жидкость бесцветная, как вода, почти безвкусная, спокойно подливайте в кофе, молоко, вино, вообще в любое питье. И можете быть точно так же спокойны при вскрытии.

— Это, значит, яд? — воскликнул Алан отшатнувшись.

— Ну скажем, очиститель, — равнодушно поправил старик. — Отчищает жизнь. Скажем, пятновыводитель. "Сгинь, постылое пятно!" А? "Угасни, жалкая свеча!"

— Мне ничего подобного не нужно, — сказал Алан.

— Это ваше счастье, что не нужно, — сказал старик. — Знаете, сколько это стоит? За одну чайную ложечку — а ее достаточно — я беру пять тысяч долларов. И скидки не делаю. Ни цента скидки.

— Надеюсь, ваши снадобья не все такие дорогие, — сказал Алан с тревогой.

— Нет, что вы, — сказал старик. — Разве можно столько просить, положим, за любовное зелье? У молодых людей, которым нужно любовное зелье, почти никогда нет пяти тысяч долларов. А были бы — так зачем им любовное зелье?

— Очень рад это слышать, — сказал Алан.

— Я ведь как смотрю на дело, — сказал старик. — Услужи клиенту раз, он к тебе придет в другой. И за деньгами не постоит. Подкопит уж, если надо.

— Так вы, — спросил Алан, — вы и в самом деле торгуете любовным зельем?

— Если бы я не торговал любовным зельем, — сказал старик, потянувшись за другим флаконом, — я бы о том, другом, вам и говорить не стал. В такие откровенности можно пускаться только с теми, кого обяжешь.

— А это зелье, — сказал Алан, — оно не просто — знаете — не только…

— Нет, нет, — сказал старик. — Постоянного действия — что там телесное влечение! Но его тоже возбуждает. Да, да, возбуждает. Еще как! Неодолимое. Неутолимое. Непреходящее.

— Скажите! — заметил Алан, изобразив на лице отвлеченную любознательность. — Бывает же!

— Вы подумайте о духовной стороне, — сказал старик.

— Вот-вот, о ней, — сказал Алан.

— Вместо безразличия, — сказал старик, — возникает нежная привязанность. Вместо презрения — обожание. Чуть-чуть капните зелья какой-ни-

будь барышне — в апельсиновом соке, в супе, в коктейле привкуса не дает, — и любую резвушку и ветреницу станет прямо не узнать. Ей нужно будет только уединенье — и вы.

— Даже как-то не верится, — сказал Алан. — Она так любит ходить по гостям.

— Разлюбит, — сказал старик. — Ее станут пугать хорошенькие девушки — из-за вас.

— Она действительно будет ревновать? — вскричал Алан в восторге. — Меня — ревновать?

— Да, она захочет быть для вас целым миром.

— Она и так для меня целый мир. Только она об этом и думать не хочет.

— Подумает, вот только глотнет снадобья. Как миленькая подумает. Кроме вас, ни о ком и думать не будет.

— Изумительно! — воскликнул Алан.

— Она захочет знать каждый ваш шаг, — сказал старик. — Все, что с вами случилось за день. Всякое ваше слово. Она захочет знать, о чем вы думаете, почему улыбнулись, почему у вас вдруг печальный вид.

— Вот это любовь! — воскликнул Алан.

— Да, — сказал старик. — А как она будет за вами ухаживать! Уставать не позволит, на сквозняке сидеть не даст, голодным не оставит. Если

вы задержитесь где-нибудь на час, она будет с ума сходить. Она будет думать, что вас убили или что вас завлекла какая-нибудь красотка.

— Нет, такой я Диану даже и представить не могу! — восхищенно воскликнул Алан.

— Представлять и не понадобится, все будет наяву, — сказал старик. — И кстати, ведь от красоток не убережешься, и если вы, паче чаяния, когда-нибудь согрешите — то не волнуйтесь. Она в конце концов вас простит. Она, конечно, будет ужасно страдать, но простит — в конце концов.

— Никогда! — пылко выговорил Алан.

— Конечно, никогда, — сказал старик. — Но если такое и случится — не волнуйтесь. Она с вами не разведется. Ни за что! И конечно, сама никогда не даст вам никакого повода — не для развода, нет, а для малейшего беспокойства.

— И сколько же, — спросил Алан, — сколько стоит это поразительное средство?

— Ну, подешевле, — сказал старик, — подешевле, чем пятновыводитель — так ведь мы его с вами условились называть? Еще бы! Он стоит пять тысяч долларов за чайную ложечку — и ни цента скидки. В вашем возрасте такие снадобья не по карману. На них надо копить и копить.

— Нет, а любовное зелье? — сказал Алан.

— Ах да, зелье, — сказал старик, выдвигая ящик кухонного стола и доставая крохотный мутный пузыречек. — Доллар за такую вот бутылочку.

— Вы не поверите, как я вам признателен, — сказал Алан, глядя, как пузыречек наполняется.

— Большое дело услуга, — сказал старик. — Потом клиенты снова приходят, в летах и при деньгах, и спрашивают что-нибудь подороже. Вот, пожалуйста. Сами увидите, как подействует.

— Спасибо вам еще раз, — сказал Алан. — Прощайте.

— Au revoir[10] — сказал старик.

---

[10] Примечания: 10
До свидания (фр.).

Мадемуазель Кики
Джон Коллиер

Ла Кайо находится на скалистом берегу неподалеку от Марселя и окружает самую маленькую гавань на юге Франции. В этой подковке мокнут у берега лодок двадцать, а владельцы их коротают вечера в кафе Рустана.

Возле кафе имеется пятачок с фонарем и затерханное деревце. Спереди проходит шоссе, а за ним плещется море. В кафе восемь или десять столиков, у дверей — обычная оцинкованная стойка, а на стойке подставка с фотографиями, с видами Ла Кайо. Виды все больше буроватые, фотографии выцвели, давно уж они здесь красуются. На одной из них запечатлен теперешний владелец кафе с каким-то обручем в руке и безучастным выраженьем на лице. От подставки до края стойки фут или около того; там день-деньской дремлет Кики. Кики — это пожилая кошка, которую преждевременно состарила ее страстная натура.

Нет там у них Кинси[11], в кошачьем мире, а то бы он сообщил нам кое-что прелюбопытное. Ну

---

[11] Примечания: 11
Кинси Альфред — известный американский врач-сексолог

вот, например, в жизни кошек бывают периоды, когда дама более обычного интересуется общением с противоположным полом. Такие периоды бывают чаще и реже, дольше и короче. Иногда дважды в году, иногда трижды, а на пламенном юге случается, что и четыре или пять раз. Кики не ханжа, однако к такой невоздержанности отнеслась бы свысока. Ее период случался лишь единожды в год. Приходится, впрочем, признать, что длился он в невисокосные годы ровно триста шестьдесят пять дней.

Кики — видная, здоровенная кошка, но красивой ее не назовешь. Ее угловатый костяк кое-как обтянут свалявшейся и выцветшей, точно замусоренной шерстью, а бока, неровные и бугристые, похоже, распирают пружины матраса с той же мусорной свалки. Как известно, кошачьи любовные игры сопровождаются весьма существенным вокальным дивертисментом, и на этот счет Кики не повезло еще более, нежели с наружностью. Такого унылого, тоскливого и отвратного воя, какой она испускала, никто никогда и не слыхивал. Ее вой леденил кипучую кровь тамошних котов, которых дотоле укрощала только смерть либо мистраль.

И эта-то угрюмая, нескладная, костлявая уроди-

на каталась как сыр в масле и жила в большом почете с людской, а равно и с кошачьей стороны. Обычно кошки в Ла Кайо не ведают хозяев и кормятся на помойках; но всякий рыбак, покидая заведение Рустана перед закрытием, непременно отвешивал учтивейший bon soir[12]мадемуазель Кики. Вдобавок, что не менее важно, каждый вечер тот или другой из них привязывал лодку невдалеке от кафе и приносил в обрывке сети или какой-нибудь жестянке рыбное месиво — чересчур костистую или просто непродажную рыбу. В том числе довольно часто попадались и жирные сардины, и нежные мерланы, затоптанные на дне баркаса.

Понятно, делалось это неспроста, ибо кошкам в Ла Кайо, повторяю, жилось несладко. Дело в том, что перед яростным, леденящим мистралем, когда все местные коты и кошки, забыв о голоде и прочих вожделеньях, забивались куда ни попадя, Кики, предчувствуя одинокую ночь, воздевала свою щетинистую морду и разражалась такими возгласами тоски и разочарования, что у слышавших мороз проходил по коже, точь-в-точь как от жестокого ветра.

---

[12] Примечания: 12
Добрый вечер (фр.).

А когда небывалый мистраль 1951 года мчался по долине Роны, еще до того, как он разметал и прибил камыши Камарга, Кики подняла такой оголтелый вой, что его и поныне вспоминают. Вспоминают еще и о том, что под утро сорвало и унесло в море два баркаса. И после урагана 1953-го за Кики окончательно признали сверхъестественное чутье. Заслышав ее пронзительные вопли, рыбаки чесали в затылке, из дому не выходили и под завыванья ветра соглашались, что сколько бы Кики рыбы ни съела, получает она свое недаром.

Получала-то она даже больше, чем могла съесть, но избыток не пропадал. Поздно вечером, проводив последнего посетителя, Рустан опрокидывал стулья сиденьями на столики, оставлял гореть одну — единственную лампу и приносил из кухни большое блюдо с обильным рыбным рационом Кики на пятачок под фонарем. Кики, будьте уверены, терлась тут же у ног и приступала к трапезе, лишь только блюдо клацало оземь.

Честный Рустан возвращался в кафе, запирал дверь на засов, гасил последнюю лампу и укладывался спать.

Бледный, мертвенный свет сеял уличный фонарь; и светились зеленоватым огнем двенадцать

круглых глаз бродячих котов, сидевших на парапете, под скамейкой, между ящиками с пустыми бутылками — кому где удобнее. В Ла Кайо все коты и кошки более или менее бродячие, но эти уж были подонки из подонков, не коты, а сущие скоты.

Ни один из этих голодных бродяг не осмеливался подползти и покуситься на роскошные яства, которыми напоказ услаждала душу Кики. Амазонка кормилась лучше их всех и шутя осилила бы любого; а помешать ей кормиться было не в их силах. Они лишь глазели, затаив дыхание, как она ухватывает рыбу за голову, пережевывает ее туловище и сплевывает хвост. Будь среди них кот-философ, он мог бы заметить, что от сытости краше не становишься: комковатые бока мегеры от поедания сытной рыбы ничуть не делались глаже. Напротив, колтуны и бугры выступали еще ужаснее прежнего. Неизвестно, впрочем, было ли сделано это наблюдение.

Когда Кики завершала трапезу, блюдо почти наполовину пустело. При этом один-другой изголодавшийся зевака, бывало, издавал сдавленный и нетерпеливый возглас. Кики оставляла без внимания эту невежливость и не спеша принималась за туалет — ни дать ни взять пожилая

чаровница, медлящая перед зеркалом в полной уверенности, что с ее богатством она может и потомить поклонника.

Покончив с туалетом, она отдалялась от блюда на шаг-другой и донельзя фальшиво мурлыкала пару куплетов из кошачьего ариозо на мотив "Parlez moi d'amour" [13]. Ее наемные обожатели подползали украдкой, не поднимаючи брюха от земли, и вскоре окружали ее, глядя немигающими взорами на омерзительные прелести; они наперебой затевали серенады столь неправдоподобные, ненатуральные и отчаянные, что казалось, это вопят в аду отверженные души. Именно из-за этих жутких концертов здешние коты и слывут несносными; за это их гонят, клянут и держат впроголодь, а они с голодухи вопят еще пуще, стараясь перекричать друг друга. Так что круг воздыхателей Кики — во всех отношениях порочный круг.

Одной Кики нравился этот адский хор, и она внимала ему с видом знатока. Кто-нибудь из вокалистов начинал ей казаться голосистей и мужественней прочих; она принюхивалась, обдавая его обнадеживающим благоуханием недавней

---

[13] Примечания: 13
"Говорите мне о любви" (фр.).

трапезы, затем издавала дикий одобрительный вопль, и все тут же смолкали, поняв, что орать больше нечего.

Дело было ясное, и приступали к нему немедля, без всяких ужимок и без ложной скромности. А вот тут как раз наблюдалось любопытнейшее явление: очень все-таки жаль, что доктор Кинси обошел своим вниманием кошачьи любовные утехи. Кики, понятно, была занята по горло, не говоря уж о ее избраннике, который, предвкушая награду, старался на совесть; и блюдо с обильными остатками рыбы могло стать чьей угодно добычей, однако же никто из отвергнутых ухажеров, осатанелых от голода, не пытался к нему подобраться. И удерживала их отнюдь не щепетильная честность, а единственно лишь присущее их натуре патологическое любопытство, которое предстанет взору всякого, кому вздумается за полночь прогуляться по закоулкам и пустырям большого города. Круглые глаза неудачников немигаючи созерцали беспардонное соитие, и круг, опять-таки порочный, оставался кругом. Время от времени кто-нибудь из отощалых зверей испускал глубокий стон — ведь редкий среди нас настолько погряз в грехе и безумствах, что не сознает, как дорого он за

это платит; и все же зачарованные, завороженные, загипнотизированные коты не трогались с места.

Через некоторое время Кики усаживалась; разглаживала усы, осматривалась и возвращалась к покинутому блюду. Любовнику дозволялось сопровождать ее, и ни стыда, ни смущенья он при этом не выказывал. Остальные же, не поступившись добродетелью и вконец озверев от голода, понуро брели к помойкам Ла Кайо, нимало не изобильным.

Таким-то образом уродина Кики жила себе да поживала, словно самая что ни на есть домашняя кисанька. А в те ночи, когда голодные коты, предчувствуя мистраль, забивались по своим дырам, она поднимала тоскливый, исступленный вопль, который служил предупрежденьем рыбакам, которые за это делились с нею уловом, и наша потасканная Клеопатра прикармливала своих Цезарей и Антониев. Вот и еще один порочный круг: может статься, их в нашем мире больше, чем принято думать.

Так обстояли дела уже несколько лет, когда некая весьма краснолицая дама продала свой большой дом в Марселе и купила маленький в Ла Кайо, где она, кстати сказать, родилась. Там

она и решила дожить остаток дней в довольстве и покое. С нею прибыл ее кот по имени Мотылек: опрятный, щеголеватый, жизнерадостный и ухоженный, чистенький хоть на выставку, с шелковистой шерсткой, он горделиво носил красный ошейничек лакированной кожи.

Совершенства на свете нет, и у Мотылька тоже был небольшой Изъян — пустячный, то есть просто говорить не о чем, и в общем-то даже благоприятный для него; однако в этой глуши о таком и слыхом не слыхивали — котов здесь домашними животными не считали и одомашнивать не пробовали.

Словом, в первый же вечер, как его выпустили, Мотылек этаким фатом отправился в гавань — совершеннейший галантерейщик на курорте, жизнеутверждение пухлявости и воплощение обходительности и самодовольства. Он появился перед кафе в тот самый миг, когда Рустан поставил на пятачке блюдо с рыбой; и рассудил, что такому гостю, как он, здесь честь и место, а покушавши, он расскажет тысячу забавных историй из марсельской жизни. Он приветливо мурлыкнул, задрал хвост и живехонько пристроился к блюду.

Кики сперва опешила от такой наглости, но

затем отвесила ему такую оплеуху, какая ему и в страшных снах не снилась. Он залепетал извинения и попятился, но и это ему вышло боком. Надо было удирать сломя голову, а то Кики решила, что он не больно торопится, мгновенно выпустила когти и двумя лапами враз обработала его так, что он без оглядки помчался восвояси, к хозяйке и заступнице, усеивая набережную клочьями шелковистой шерстки.

Однако же рыбу он успел нюхнуть, и вкусный аромат не давал ему покоя. Через день-другой он исподтишка явился снова; и ухажеры Кики, не будь они столь поглощены своим занятием, могли бы заметить его унылую морду, выглядывавшую из-за дерева. Вскоре он вполне разобрался, что тут происходит — нечто подобное он видывал в Марселе. На следующий вечер он подобрался поближе и занял место среди завсегдатаев. Те косились на него скорее недоуменно, нежели враждебно: и вовсе не его городская повадка, холеный вид и блестящий ошейник смущали и ставили в тупик рыцарей удачи — нет, тут причина была потоньше и поглубже. Со своим братом они быстренько управились бы по-свойски, но Мотылек был какой-то не такой. Почему — этого они ухватить покамест не могли: вроде бы он и

отличался ухваткой, но ухватиться-то было как бы и не за что.

Да и Кики взглянула на нового поклонника другими глазами. Ошейник ее прямо-таки пленил: как-никак признак прочного социального положения, а на это женский пол падок, даже самые отпетые среди них. К тому же она заметила, какой он гладкий и плотный: увы, она не первая обманулась внешностью. Подобно его соперникам, она чуяла в нем что-то странное, но прибыл-то он из Марселя, может быть, потому? "Эх, была не была! — подумала она. — Почем знать?" Приблизив нос к мордочке Мотылька, она сипло прокаркала любовный призыв. Тщеславный горожанин с кокетливой улыбкой изобразил сладострастное мяуканье и взялся как умел за то дело, которое вознаграждалось рыбой.

Круглые глаза наблюдателей мигнули; они обменялись взглядами и подсунулись ближе с близоруким выражением. Кики сперва сохраняла терпенье — она подумала, что кавалер обучает ее модным изыскам, — потом раз-другой явственно дала ему понять, что от него требуется, и наконец, убедившись в тщете его усилий, обернулась и одним ударом лапы отшвырнула незадачливого кастрата в канаву. Затем она без малейших про-

волочек выбрала ему преемника, и все пошло по-заведенному.

Мотылек выбрался из канавы, подрагивая от унижения. Он убрал из-за ушка гадкую грязь, присмотрелся и увидел, что происходит. Взгляд его упал на покинутое блюдо с рыбой. Обделенный судьбой, он был зато, в отличие от присутствующих, обделен и патологическим любопытством: по сравнению с рыбными яствами зрелище это не представляло для него никакого интереса.

Он подполз ближе в надежде сцапать сардину и улепетнуть, но быстро понял свое громадное преимущество перед голодранцами, которым готов был завидовать. Он видел, что они злобно сверкают глазами в его сторону, слышал глухое рычание, заметил, как один-другой кот судорожно дернулся, однако же все оставались на своих местах, как пригвожденные. Размышляя о том, сколь забавно устроена жизнь. Мотылек со смаком уплел рыбу до последнего кусочка, вылизал блюдо и удалился к себе на горку прежде, чем кто-нибудь вздумал за ним погнаться.

Вскоре заколдованный круг распался, и Кики в сопровождении нетерпеливого селадона прошествовала к трапезе. Изумленными, пустыми, круглыми глазами обвели они пустое, чистое

блюдо, на котором не осталось ни чешуйки.

Воспоследовало нечто еще небывалое. Обманутый в лучших ожиданиях любовник гнусно выругался и закатил Кики здоровенную плюху. Злополучная должница, чувствуя непрочность своей позиции, не посмела вознегодовать; она лишь съежилась и прижала уши, а разъяренный кот следом за недавними соперниками отправился рыскать по помойкам.

На другой вечер у Кики было не шесть, а всего лишь пять воздыхателей. Кот, оставленный накануне с носом, не удостоил явиться-то ли он лелеял свою законную обиду, то ли решил, что отбросы питательнее, чем любовные труды, которые, чего доброго, опять не окупятся.

И он рассудил верно. Едва лишь Кики с очередным избранником занялись делом, как откуда ни возьмись появился Мотылек. Он прошел к блюду небрежной походкой, не сморгнул под безнадежным и яростным взором прижатой к земле Кики и внимал стенаниям завороженных зрителей, точно сибарит за обедом бродячему скрипачу, терзающему басовую струну. При этом он воздавал должное угощенью и снова съел всю рыбу без остатка.

Назавтра число поклонников Кики убавилось

до четырех, затем явились только трое, а к концу недели не стало ни одного.

Несколько дней после этого Кики была так расстроена и подавлена, что на нее жалостно было смотреть. Она сидела зажмурившись, с разинутой пастью, и лишь иногда поводила лапой из-за ушей к носу, точно вычесывала какую-то мысль из своей очумелой головы. Наконец ей это удалось. Она встала, потянулась и под вечер пошла на пригорок проведать Мотылька.

Тот, завидев ее из окна, не выказал особого желания выбираться из теплой гостиной на январский холод. Вскорости, однако, хозяйка настоятельно посоветовала ему пойти погулять, и он с трепетом предстал перед кошкой, которую обездолил. Представьте его облегчение, когда после самого сердечного приветствия ему была предложена нежная и целомудренная дружба со всеми ее выгодами. Поначалу он не поверил, но был приглашен отужинать вдвоем свежей рыбкой; с жаром приняв приглашение, в полночь Мотылек сидел рядом с Кики у полного блюда.

Правда, взглянув, как гость уписывает за обе щеки, хозяйка не сдержала глухого урчания, которое, вероятно, объяснила тем, что подавилась косточкой. Увы, лучше бы самому бедняге Мо-

тыльку подавиться коварным угощением!

Некоторое время эта парочка была неразлучна, и все дивились их приятельству — а пуще всех бывшие воздыхатели, которые, притаившись поблизости, гневно созерцали совместные трапезы Кики и ее наперсника. Новоявленных друзей видели в разных концах гавани; бывало, они просиживали час за часом, почти касаясь носами, явно погруженные в долгую беседу. Кики наверняка выслушивала забавнейшие истории из марсельской жизни, а Мотылек осваивался в Ла Кайо.

И вот настал день, когда две неимоверно длинные тучи протянулись по небу, солнечный свет померк и повеяло леденящим, пронизывающим до костей холодом. Очевидно, надвигался мистраль; весь вопрос был в том, насколько свирепый и долго ли он будет свирепствовать.

Кики принюхалась к зловещему дуновенью и повела Мотылька на пристань, где они часок-другой посидели под волнорезом. Кики хаяла свой гостеприимный стол и пылко вспоминала о том, как она в юности плавала зайцем на баркасах и как вкусны были свежепойманные целенькие сардины, бьющиеся на дне лодки.

Мотылек не знал иных утех, кроме чревоугодия,

и был поэтому превеликим лакомкой. Он утер набежавшие слюнки и пошел понюхать баркасы, сулившие такие неземные наслаждения. Кики расхвалила ему умопомрачительно дряхлую посудину под названьем "Братья Гобинс", самую жалкую лодчонку во всей гавани; и простак, млея от вожделенья, вскочил на борт и укрылся под скамейкой.

А Кики вернулась в кафе Рустана, где собрались рыбаки, обсуждая, выходить ли в море или переждать мистраль.

— Было о чем спорить, — сказал один из них, заметив ее. — Посмотрите на Кики. Вон она какая — спокойная, тихая, ухом не ведет. Я вам говорю: ветер еще до ночи уляжется.

— Да вряд ли, — возразил другой. — Похоже, налетит сущий ураган.

— Ураганом и не пахнет, — заявил третий. — А то бы Кики уже сейчас завывала громче всякого урагана. Она свое дело знает и промашки не даст. Я седьмой год только ей и верю. Кики вернее всякого барометра, вернее, чем радио, и вы как хотите, а мне улов нужен.

Поговорили еще немного; но безмятежный вид Кики успокоил самых недоверчивых, и вскоре после полуночи все до одного разбрелись по

лодкам.

А под утро мистраль, какого и старожилы не упомнят, обрушился на устья Роны. Баркасы отогнало далеко в море, и когда они с горем пополам вернулись, "Братья Гобинс" как в воду канули вместе с экипажем.

Во всем винили Кики, и поделом.

— Эта старая паскуда морочила нам голову, — говорили рыбаки. — В погоде она смыслит как последний чурбан. Ее надо повесить на пристани.

Ругмя ругая ее, они все же нанесли вечером кучу негодной рыбы — так уж у них было заведено. Кики по обыкновению съела только половину, и среди кошачьего отребья разнеслась весть о том, что усердие и труд ожидает достойная награда. Полуночные сборища ветеранов приватного клуба возобновились, и Кики поднимала жалобный вой, только учуяв приближение разлучника-мистраля. Она заново укрепила репутацию предвестницы погоды, вечерние даянья не скудели, и порочный круг опять сомкнулся.

Отпрыск Кики
Джон Коллиер

На белых холмах за Ла Кайо имеется цементный заводик, самый крохотный в мире: посмотреть — так никакой не заводик, а совершеннейшая кофемолка. Месяц-другой-третий — и, глядишь, цемента уже хватает загрузить целый пароход; тогда появляется "Звезда Средиземноморья", забирает цемент и отвозит его в Алжир. Поэтому однажды весенней ночью, когда городишко был выжжен лунным светом, словно пожаром (дома стояли пепельно-белые, зияя провалами окон), у пристани загудел и пришвартовался старенький грузовой пароход.

Сперва он был просто темным пятном на дальней блескучей зыби. Потом проскользнул в горловину бухты и возник, точно башня, заполнив всю гавань и выросши над подковой домишек. Светились каюты, виднелись склоненные лица; казалось, приплыл целый город. Безобразная труба возвышалась над крышами Ла Кайо. Трижды без всякой надобности взревела сирена, затем огни один за другим погасли, и

пароход стал дожидаться дня.

Честной народ перевернулся с боку на бок (все ж таки время позднее, час ночи) и заснул крепче прежнего. Безлюдье, неистовый лунный свет, выбеленные светом дома и огромная черная пароходная туша в гавани — вот и все.

Безлюдье безлюдьем, а на террасе у кафе Рустана престарелая и страшноватая Кики почти что ополовинила большое блюдо с рыбой, и на почтительном расстоянии ее обсели и пожирали глазами продажные обожатели. Они дожидались: вот-вот она сделает перерыв, подступит к ним и выберет сегодняшнего любовника, а тот, воздав должное ее мерзостным прелестям, сподобится докушивать рыбные яства. Таким-то образом негодница Кики соблазняла и развращала здешних голодных и беззастенчивых котов.

Но в эту ночь полюбовная сделка странным образом не состоялась. С борта "Звезды Средиземноморья" перекинули сходню на причал, и по ней вразвалку сошло существо, которое лишь очень педантичный зоолог рискнул бы назвать котом. Морда у этого существа была такой несусветной округлости, что перед нею все круглое — например, луна, тарелки или мельничные колеса — казалось щербатым и сплюснутым.

Усы его торчали, как иглы дикобраза, и колесом выпирала могучая грудь, даром что сломанным ребрам он и счет потерял. Лапы у него были кургузые, а когти громадные, точно крючья. За этим устрашающим фасадом тулово, правда, суживалось, но суживалось по-львиному. Куцый вздернутый хвост походил на кокарду; из-под него виднелись мощные жизненные двигатели этого жуткого котохряка.

Он был измызган смолой и смазкой, испятнан засохшей кровью. Уцелевшая шерсть топорщилась как проволока; где ее не было, там чернела надежно выдубленная голая шкура. Вероятно, это кошачье отродье заскочило на борт парохода в каком-нибудь захолустном североафриканском порту, явившись из пустынных краев, где некогда долгими бессонными ночами джинны и демоны гнусно совокуплялись с прародительницами кошек.

Ступив на твердую землю, он издал сиплый зык и прямиком припустился к кафе Рустана, будто издали учуял пиршество.

Явился он, когда Кики роскошествовала за дразнящим туалетом, а соискатели ее милостей льстиво завывали, и злоба пополам с отчаянием пробивались в их голосах сквозь напускное лю-

бовное томленье.

Пришелец с ходу оценил положение дел: не таковский он был, чтобы осматриваться и медлить. Он прошел к блюду, по пути расшвыряв поклонников, как котят, отбросил в сторону возмущенную Кики и вмиг управился с обильными остатками трапезы — залога и вместе награды любви.

Затем случилось то изумительное, о чем Кики никогда не суждено было забыть. Бесцеремонный лиходей, облизывая верхнюю губу языком, похожим на двухдюймовый напильник, вдруг перевел взгляд на Кики, съежившуюся и рычащую. Без малейшей заминки он прыгнул на нее, вцепился зубами в ее холку и уделил ей толику от легендарных моряцких щедрот. Затем тут же потерял к ней всякий интерес, встряхнулся, почесался и надменно прошествовал по улице, навеки запакостив дорогою двери мэрии долгой струей, в двадцать раз более вонючей, чем у обычных котов. Он вернулся к своему кораблю, взошел по сходне — и был таков.

Потрясенная Кики воздела взоры к небесам. Она, пожалуй, даже и не очень обиделась на фамильярное обращение незнакомца — столь многое в нем пришлось ей по сердцу. Да, и кстати

— рыбу-то он съел до того. "Вот она, значит, какая бывает любовь", — подумала Кики, и ее увядшая душа воспрянула.

С этого часа она стала другой кошкой. Поклонникам больше ничего не Перепадало — разве что лишний раз по уху. Однако избыток сардин находил достойное применение: его съедала сама Кики. Чудеса, да и только: она кормила не одну себя, ибо моряк оставил по себе ощутимую память.

Столь сокровенные тайны недолго остаются сокрытыми. Вскоре город с мала до велика обсуждал интересное положение Кики. Все глядели ей вслед, а она горделиво прохаживалась, и под костистой ее хребтиной моталось громадное шишковатое брюхо, точно гамак, полный каменьев. Подсчитывали ее годы на пальцах, затевали споры, даже ссорились. А она блаженно растягивалась на солнышке, и разносило ее с каждым днем все больше, никто уже прямо-таки глазам не верил.

Когда подошли ее сроки, роженица удалилась в заброшенный дом на набережной. Рустан каждый вечер выносил ей блюдо на террасу, и она была тут как тут: лишь только он закрывал за собою дверь, металась, словно тень, из темноты

и дочиста пожирала всю рыбу. А вообще на глаза не показывалась.

Минула неделя-другая, и вдруг поднялся неописуемый галдеж. На набережной все оборачивались, рыбаки прекращали чинить сети, лавочники спешили к дверям. Кики вела домой потомство.

Но что это? Где остальные? У нее всего один? Да, но каков! Посмотрите, посмотрите на этого котеночка!

Следом за Кики вразвалочку плелся, задрав куцый хвост, котофей с глазами, точно стеклянные крыжовины, и, глядя на него, все разражались опасливым хохотом. Этот малютка, шипевший на каждую тень, уродством пошел в мать и унаследовал могучее до безобразия телосложение своего блудного папаши.

Кики принимала галдеж за приветствия, выступала чинно и наконец зашла в кафе честного Рустана, который при виде ее отпрыска уронил на пол тарелку pieds et pacquets[14] , которыми только что собрался полакомиться в уголку.

— Ну, тут дело ясное, — заметил церковный сторож. — С виду как есть язычник, и назвать его

---

[14] Примечания: 14
Блюдо из устриц и соленой рыбы.

надо Вольтером.

Юный Вольтер, как бы откликнувшись, прошелся по столику, куда его посадили на обозрение, и вылакал у церковного сторожа пиво из поддона.

После этого он обосновался в кафе, презрев иссохшие сосцы своей матери, и сколько пива ему ни давали, ему все было мало. Иной раз он соглашался хлебнуть и молочка, особенно с хорошей добавкой коньяка или рома. Ел он все, что подвернется, но всему предпочитал селедку пряного посола или ломтик салями. Чистоплотностью не отличался.

Кики радовалась, что сынка привечают, а сама обожала его без памяти, к вящему прискорбию прежних ее обожателей, нетерпеливо ожидавших возврата к обычаям старины. Они появлялись каждый вечер в надежде, что сыночек подрастет и они с матерью рассорятся, но не тут-то было. Их неизменно отгоняли подальше от блюда, и им оставалось лишь издали смотреть, как ненавистный Вольтер набивает ненасытное брюхо лучшими кусками.

Он взрастал, как на дрожжах, и с возрастом становился все безобразнее. Очень быстро сравнялся он в размерах с мамочкой и вместе с нею

лупцевал горе-поклонников. А старая кошка не могла на него налюбоваться и по-прежнему вылизывала бы ему морду, но он не позволял: изо рта у нее, дескать, воняет.

И увы, наступил тот вечер, когда Кики, отогнав назойливых ухажеров, вернулась к блюду сардин и только было выбрала из них самую смачную, как вдруг получила увесистую затрещину: глядь, а ее любимый сыночек Вольтер наступает на нее, что твой тигр.

Она испустила тоскливый вой и подавилась им, ибо вторая затрещина была стократ увесистее первой. Вольтер кинулся на нее, она покатилась кувырком и наконец, дрожа, скрючилась в канаве.

До ушей ее донеслось призывное мурлыканье сынка, надтреснутое и сипловатое, — и Кики подняла морду в надежде, что это он так пошутил, что все это детские проказы. Старое сердце ее затрепетало, когда она увидела, как из темноты явилась на зов жалкая и ничтожная рыженькая кошечка с кукольной мордашкой; она подскочила к блюду и поспешно принялась за еду.

Вольтер с рыженькой на глазах у голодной Кики уплели всю рыбу; затем они сблизили носы, и гавань огласилась их любовною серенадой.

Глядя на дальнейшее, Кики не раз вспомнила незнакомого мореходца, который спроворил ей это нещечко.

И настало самое печальное время долгой и когда-то размеренной жизни злосчастной Кики. Больней змеиного укуса язвила сыновняя неблагодарность. Ночь за ночью она поневоле наблюдала сцены, которые полнили ее сердце воспоминаниями, но обжигали, а не тешили — и вдобавок она изголодалась. Дошло до того, что ее былые наемники, которых она когда-то смиряла железным когтем, гнали ее с помоек — и она, вопя, убегала.

Морда ее обтянулась еще страшнее обычного; ребра жалобно торчали, хребет был как щербатый гребень, хвост обвис куском бечевы. Кошки редко кончают самоубийством, но Кики едва-едва не бросилась в воду с пристани.

И вот, когда она мрачно обдумывала этот акт отчаяния, город опять пробудился от рева сирены цементовоза. Заслышав первый гудок, Кики вздрогнула. На второй отозвалась глухим стоном. Раздался третий гудок: глаза ее зажглись диким блеском, и она кинулась к причалу.

Был тот же самый поздний час. Ту же сходню перекинули с борта. И вскоре появилась огромная

мордень водоплавающего котохряка: он повел глазами и спрыгнул на берег.

Кики подскочила к нему, но он, надо сказать, на нее еле покосился, однако же направился явно к кафе Рустана: только этого ей и было надо. Она бежала сбоку, наверно, сетуя на свои горести, а он шел себе и шел, не сбавляя и не ускоряя шага. У котохряка была крепкая память, особенно на сардины.

По обыкновению уверенно вступил он на террасу, где его сын Вольтер как раз приглашал свою рыженькую скромницу разделить с ним ужин. Рыженькая подняла мордашку — и одним прыжком укрылась за кадкой с деревцем; там она, съежившись, ждала, что будет дальше.

Признаться, Вольтер несколько оробел при виде этакого чудища. Но на его коротком веку ему даже по морде толком не досталось: в нежном возрасте его неусыпно охраняла мамаша, а теперь, подросши, он сделался отчасти похож на отца и устрашал одним своим видом. В тот вечер он был еще смелее всегдашнего: рыбаки щедро разбавили его молоко ромом. И дерзкий юнец, напыжившись, пустил в ход обе лапы.

Его моряк-родитель, не ведая об их родстве (да если бы и ведал…), немного рассердился за

оцарапанный нос и тут же показал бедняге Вольтеру, что делают с такими нахалами в Африке. Но для сына этот урок пропал втуне: отцовские зубы ляскнули, перекусывая артерию, и Вольтер испустил дух.

Кики созерцала возмездие с ледяным торжеством и таяла от умиления перед отмстителем. Вот — ее неблагодарный сын простерся бездыханным, а победитель хладнокровно закусывает. Едва он умял последнюю сардину. Кики подсунулась поближе с одной только мыслью — пережить вновь прежние восторги. Увы, ее. грубо отшвырнули в сторону: виновник ее радостей и бед, даже не оглянувшись на нее, без малейшей заминки оседлал рыженькую.

Кики, разумеется, была унижена; но она столько перестрадала, что отнеслась к делу философски. "Как-никак, — подумала она, — с этим подлым, бессовестным переростком-молокососом покончено, и мне уже больше не придется терпеть обиды и лишения по милости негодяя Вольтера. Пароход завтра уйдет; я вволю откушаю рыбки, и если немного останется, так найдутся, я думаю, любезные и услужливые охотники докушать".

Поэтому она запаслась терпением, и терпение ее было вознаграждено. Пароход уплыл вместе со

своим лихим пассажиром; рыженькая при виде Кики опрометью удирала в темные закоулки. Кики ее не преследовала — зачем? Ей снова хватало сардин и любовных услад. Да и не сердилась она больше на это рыжее ничтожество, а свысока презирала ее.

Естественно поэтому, что она и не заметила, как ее жалкая соперница ровно через восемь недель после отплытия цементовоза совсем исчезла с глаз. Еще неделя-другая-третья — и Кики о ней вообще думать забыла; тем более ошеломительна была встреча на набережной, по которой однажды прошествовала, сияя гордостью, рыженькая в сопровождении шестерых здоровенных котят чудовищного вида. Плелись они вразвалочку, и глаза у них у всех были как стеклянные крыжовины. Каждый был живым подобием своего единокровного братца Вольтера, и задранные куцые хвостики знаменовали пришествие нового порядка, который не сулил ни покоя, ни сардин, ни любовных услад.

Вылазка в действительность
Ивлин Во

Все годные на свалку лондонские такси, видимо, поступают в распоряжение швейцара ресторана Эспинозы. У него командирская выправка, и на груди его тремя рядами блещут воинские ордена, повествуя о геройстве и невзгодах, о том, как рушатся в огне фермы буров, как врываются в рай фанатики из племени фузи-вузи и как высокомерные мандарины созерцают солдат, топчущих их фарфор и рвущих тончайшие шелка. Стоит ему только снизойти по ступенькам крыльца Эспинозы — и к вашим услугам готов экипаж, столь же разбитый, как враги короля Британской империи.

Саймон Лент сунул полкроны в белую лайковую перчатку и не стал спрашивать сдачи. Вслед за Сильвией он пристроился среди сломанных пружин на сквозняке между окнами автомобиля. Вечер был не из самых приятных. Они сидели за столиком до двух, благо ресторан нынче поздно закрывался. Сильвия не стала ничего заказывать, потому что Саймон пожаловался на безденежье.

Так они провели часов пять или шесть — то молча, то в перекорах, то безучастно кивая проходящим парам. Саймон высадил Сильвию у ее подъезда, он неловко поцеловал ее, она холодно подставила губы; и надо было возвращаться к себе, в маленькую квартирку над бессонным гаражом. За нее Саймон платил шесть гиней в неделю.

Перед его подъездом обмывали лимузин. Он протиснулся мимо и одолел узкую лестницу, где в былые времена раздавался свист и топот конюхов, спозаранку спешивших к стойлам. (Бедные и молодые обитатели бывших Конюшен! Бедные, бедные и слегка влюбленные холостяки, живущие здесь на свои восемьсот фунтов в год!) На его туалетном столике были набросаны письма, которые пришли ввечеру, пока он одевался. Он зажег газовый светильник и принялся их распечатывать. Счет от портного на 56 фунтов, от галантерейщика на 43 фунта; уведомление о неуплате его годового клубного взноса; счет от Эспинозы с приложенным сообщением, что ежемесячная плата наличными была строго оговорена и что в дальнейшем кредита ему предоставляться не будет; извещение из банка: «как выяснилось», его последний чек

превышал на 10 фунтов 16 шиллингов сумму допустимого превышения; запрос от налогового инспектора относительно количества и жалованья наемной рабочей силы (то есть миссис Шоу, которая приходила прибрать постель и поставить апельсиновый сок за 4 шиллинга 6 пенсов в день); счета поменьше за книги, очки, сигары, лосьон и за подарки к последним четырем дням рождения Сильвии (бедные магазины, где имеют дело с молодыми людьми, живущими в бывших Конюшнях!).

Остальная почта была совсем иного рода. Коробка сушеного инжира от почитателя из Фресно (Калифорния); два письма от юных леди, каждая из которых сообщала, что готовит доклад о его творчестве для своего университетского литературного общества, — обеим нужна была поэтому его фотография; газетные вырезки, где он был назван «популярнейшим», «блестящим», «метеорическим» молодым романистом «завидного таланта»; требование дать взаймы 200 фунтов журналисту-паралитику; приглашение к завтраку у леди Метроланд; шесть страниц обоснованной ругани из сумасшедшего дома на севере Англии. Ибо Саймон Лент был в своем роде и в своих пределах молодой знаменитостью, о

чем вряд ли кто догадался бы, глядя ему в душу.

Последний конверте машинописным адресом Саймон вскрыл тоже без особых надежд. Внутри оказался бланк с названием какой-то киностудии из лондонских предместий. Письмо на бланке было короткое и деловое.

> «Дорогой Саймон Лент! (Обращение, как он давно заметил, ходовое в театральных кругах.)
>
> Любопытно, не предполагаете ли Вы начать писать для кино. Мы были бы Вам признательны за Ваши соображения по поводу нашего нового фильма. Желательно было бы повидаться с Вами завтра во время ленча в Гаррик-клубе и услышать, что Вы об этом думаете. О своем согласии поставьте, пожалуйста, в известность мою ночную секретаршу в любое время до восьми часов завтрашнего утра или мою дневную секретаршу после этого часа.
>
> ***Искренне Ваш…»***

Внизу были два слова, написанные от руки, что-то вроде «Иудее Маккавее», а под ними то же самое на машинке — «сэр Джеймс Макрэй».

Саймон перечел все это дважды. Потом он позвонил сэру Джеймсу Макрэю и уведомил его ночную секретаршу, что он явится завтра к означенному ленчу. Едва он положил трубку, как телефон зазвонил.

— Говорит ночная секретарша сэра Джеймса Макрэя. Сэр Джеймс был бы весьма признателен, если бы мистер Лент заехал сейчас повидаться с ним у него на дому в Хэмпстеде.

Саймон посмотрел на часы. Время близилось к трем утра.

— Но… как-то поздновато в такую даль…

— Сэр Джеймс высылает за вами машину.

У Саймона мигом прошла всякая усталость. Пока он ждал машину, телефон снова зазвонил.

— Саймон, — сказал голос Сильвии, — ты спишь?

— Нет, я как раз выхожу из дому.

— Саймон… Тебе со мной было сегодня очень скверно?

— Омерзительно.

— Ну, знаешь, мне с тобой тоже было довольно омерзительно.

— Ладно. Увидимся — разберемся.

— Ты что, не хочешь со мной разговаривать?

— Прости, мне не до того. У меня тут кое-какие

дела.

— Саймон, ты не с ума ли сошел?

— Нет времени объяснять. Машина ждет.

— Когда мы увидимся, завтра?

— Честное слово, не знаю. Позвони утром. Спокойной ночи.

За несколько сот метров Сильвия положила трубку, поднялась с коврика, на котором устроилась в надежде минут двадцать повыяснять отношения, и уныло забралась в постель.

Саймон катил в Хэмпстед по пустым улицам. Он откинулся назад и испытывал приятное волнение. Дорога круто пошла вверх, и вскоре открылись лужайка, пруд и кроны деревьев, густые и черные, как джунгли. Ночной дворецкий открыл ему двери невысокого дома в георгианском стиле и провел в библиотеку, где сэр Джеймс Макрэй стоял перед камином, облаченный в рыжие брюки гольф. Стол был накрыт для ужина.

— А, Лент, привет. Как чудно, что вы подъехали. Дела, дела, днем и ночью. Какао? Виски? Вот еще пирог с крольчатиной, вкусный. С утра никак не удается поесть. Позвоните, еще какао принесут, вот так, молодец. Да, ну так в чем дело, зачем я вам понадобился?

— Но… мне казалось, что я вам понадобился.

— Да? Очень может быть. Мисс Бентам в курсе. Это ее рук дело. Нажмите вон там на столе кнопку, не затруднит?

Саймон позвонил, и немедленно явилась ночная секретарша.

— Мисс Бентам, зачем мне понадобился мистер Лент?

— Боюсь, что не могу вам сказать, сэр Джеймс. Мистер Лент был поручен мисс Харпер. Когда я вечером приняла дежурство, от нее была только записка с просьбой устроить это свидание как можно скорее.

— Жаль, — сказал сэр Джеймс. — Придется подождать, пока завтра заступит мисс Харпер.

— По-моему, это было что-то насчет сценария.

— Очень может быть, — сказал сэр Джеймс. — Скорее всего что-нибудь в этом роде. Незамедлительно вам сообщу. Спасибо, что заскочили. — Он поставил чашку какао и протянул руку с искренним дружелюбием. — Спокойной ночи, мой мальчик. — Он позвонил, и явился ночной дворецкий. — Сэндерс, Бенсону надо будет доставить мистера Лента обратно.

— Сожалею, сэр. Бенсон только что уехал на городскую студию за мисс Гритс.

— Жаль, — сказал сэр Джеймс. — Что ж, придет-

ся вам взять такси или что-нибудь в этом роде.

Саймон улегся в половине пятого. В десять минут девятого зазвонил телефон на ночном столике.

— Мистер Лент? Говорит секретарша сэра Джеймса Макрэя. Машина сэра Джеймса заедет за вами в половине девятого и подвезет вас на студию.

— Простите, в половине девятого я выехать еще не смогу.

Дневная секретарша потрясенно замолчала, затем сказала:

— Прекрасно, мистер Лент. Я проверю, нельзя ли устроить иначе, и позвоню вам через несколько минут.

Тем временем Саймон снова заснул. Его опять разбудил телефон, и тот же бесстрастный голос адресовался к нему:

— Мистер Лент? Я поговорила с сэром Джеймсом. Его машина заедет за вами в восемь сорок пять.

Саймон торопливо оделся. Миссис Шоу еще не приходила, и позавтракать было нечем. Он нашел в кухонном буфете какой-то черствый пирог и поедал его, когда прибыла машина сэра Джеймса. Он прихватил с собой ломоть и жевал на ходу.

— Напрасно вы взяли это с собой, — сказал суровый голос из машины. — Сэр Джеймс прислал вам кое-что к завтраку. Быстро садитесь, мы опаздываем.

В углу сиденья куталась в коврики молодая женщина в игривой красной шляпке, у нее были живые глаза и очень волевой подбородок.

— Видимо, вы мисс Харпер?

— Нет. Я Эльфреда Гритс. Насколько я понимаю, мы с вами работаем над сценарием. Я была занята всю ночь с сэром Джеймсом. Если вы не против, я посплю минут двадцать. Можете достать термос с какао и кусок пирога с крольчатиной из корзинки на полу.

— Сэр Джеймс всегда пьет какао и ест пироги с крольчатиной?

— Нет, это остатки вчерашнего ужина. Пожалуйста, помолчите. Я хочу спать.

Саймон пренебрег пирогом и налил себе дымящегося какао в металлическую крышечку термоса. В углу мисс Гритс расположилась спать. Она сняла игривую красную шляпку и положила ее на сиденье между ними, смежила синие веки и слегка расслабила подобранные губы. Ее ослепительно серая непокрытая голова вздрагивала и покачивалась с рывками автомобиля, который

мчался между сходящимися и расходящимися трамвайными рельсами. Лондон остался позади. Замелькал голый кирпич, и кафельные фасады станций метро сменились бетонными, появились безлюдные строительные площадки и свежепосаженные деревья вдоль еще безымянных шоссе. Ровно за пять минут до прибытия на студию мисс Гритс открыла глаза, припудрила нос, чуть подвела губы и, косо нацепив шляпку, выпрямилась, как стрела, навстречу новому дню.

Сэра Джеймса они застали в гуще дел. В знойно-белом аду, предположительно за ресторанным столиком, нудно и нескончаемо беседовали два юных существа. На заднем плане безжизненно танцевали изможденные парочки числом около дюжины. В другом конце огромного сарая плотники трудились над декорацией усадьбы тюдоровских времен. Люди в козырьках сновали туда-сюда. Отовсюду глядели таблички: «Не курить», «Не разговаривать», «Осторожно! Кабель высокого напряжения».

Тем не менее мисс Гритс закурила сигарету, попутно отшвырнула ногой какой-то электроприбор, сказала: «Он занят. Надо думать, он позовет нас, как только отснимет эту сцену» — и исчезла в двери с табличкой «Вход воспрещен».

Вскоре после одиннадцати сэр Джеймс заметил Саймона.

— Чудно, что подъехали. Скоро освобожусь, — крикнул он ему. — Мистер Бриггс, стул для мистера Лента.

В два часа он снова заметил Саймона.

— Завтракали?

— Нет, — сказал Саймон.

— Я тоже нет. Сейчас кончаем.

В половине четвертого к нему подошла мисс Гритс и сказала:

— Что ж, пока все спокойно. Не думайте, что мы всегда так лодырничаем. Тут во дворе столовая. Пойдемте перехватим чего-нибудь.

Громадный буфет был полон разодетыми и более или менее загримированными людьми. Безработные актрисы томно разносили чай и яйца вкрутую. Саймон с мисс Гритс заказали сандвичи и только собирались за них приняться, как репродуктор над ними вдруг объявил с угрожающей отчетливостью: «Сэр Джеймс Макрэй просит мистера Лента и мисс Гритс в конференц-зал».

— Ну, быстро, — сказала мисс Гритс. Она протолкнула его между стеклянными створками, протащила через двор к зданию дирекции и проволокла по лестнице к тяжелым дубовым дверям

с табличкой: «Не входить. Идет совещание».

Опоздали.

— Сэра Джеймса вызвали в город, — сказала секретарша. — Он просит вас быть у него в Вест-Энде к пяти тридцати.

Назад в Лондон, в этот раз на метро. В пять тридцать они были в приемной на Пиккадилли, готовые к дальнейшим указаниям. Их направили в Хэмпстед. Наконец к восьми они вернулись на студию. Мисс Гритс была свежа и энергична.

— Старикан расщедрился — целый день отгула, — заметила она. — С ним сейчас вообще одно удовольствие работать, не то что было в Голливуде. Давайте-ка поужинаем.

Но только они зашли в столовую и на них приятно пахнуло легкими закусками, как репродуктор снова объявил: «Сэр Джеймс Макрэй просит мистера Лента и мисс Гритс в конференц-зал».

На этот раз они не опоздали. Сэр Джеймс находился во главе овального стола, по кругу от него располагались ответственные лица. Он сидел в пальто, низко свесив голову, упершись локтями в стол и обхватив руками затылок. Все участливо безмолвствовали. Вскоре он поднял глаза, встряхнулся и приветливо заулыбался.

— Чудно, что подъехали, — сказал он. — Жаль,

не вышло у нас с вами пораньше. Такая работа — уйма всяких мелочей. Обедали?

— Нет еще.

— Зря. Надо питаться, знаете ли. Не будете питаться как следует — не выдержите полной нагрузки.

Затем Саймона и мисс Гритс усадили, и сэр Джеймс изъяснил свой план.

— Я хочу, леди и джентльмены, представить вам мистера Лента. Уверен, что все вы и без меня слыхали это имя, а кто-нибудь из вас знаком и с его творчеством. Так вот, я вызвал его помочь нам и надеюсь, что он согласится сотрудничать с нами, когда услышит, в чем дело. Я хочу экранизировать «Гамлета». Надо полагать, вам эта идея не кажется особенно оригинальной, но в мире кино важно не что, а как. Я думаю сделать это совершенно по-новому. Поэтому я и вызвал мистера Лента. Я хочу, чтобы он написал нам диалоги.

— Понятно, — сказал Саймон, — но ведь диалоги там как будто уже имеются?

— А, я вижу, вы не уловили. Шекспира много ставили в современном платье. Мы его поставим на современном языке. Как же вы хотите, чтобы публика воспринимала Шекспира, когда у него

в диалогах ничего не разберешь? Да я сам на днях заглянул в текст, и будь я проклят, если хоть что-нибудь понял. И тут я себе сказал: «Публике нужен Шекспир во всем богатстве его мыслей и образов, переведенный на нормальный язык». И естественно, мне сразу пришло на ум имя мистера Лента. Многие самые первоклассные критики рекомендовали диалоги мистера Лента. И мне кажется, что мы сделаем так: мисс Гритс будет консультировать мистера Лента, поможет ему с раскадровкой и вообще по части техники дела, а мистеру Ленту мы предоставим полную свободу в написании сценария…

Сообщение продолжалось четверть часа, затем ответственные лица закивали с пониманием дела, Саймона повели в другую комнату и дали ему подписать контракт на пятьдесят фунтов в неделю и двести пятьдесят аванса.

— Советую вам четко определить с мисс Гритс удобные для вас часы работы. Первых результатов буду ждать к концу недели. На вашем месте я бы пошел и пообедал. Надо питаться.

Слегка пошатываясь, Саймон устремился в столовую, где две томные блондинки закрывали на ночь.

— Мы с четырех утра на ногах, — сказали

они, — был ужасный наплыв народу, и все съели. Осталась только нуга. К сожалению.

Посасывая ломтик нуги, Саймон пробрался в опустелую студию. С трех сторон в ужасающем жизнеподобии высились четырехметровые мраморные стены декорации ресторана, на столике у локтя Саймона стояла декоративная бутылка шампанского в ведре с подтаявшим льдом, сверху мрачно нависли балки необъятного свода.

«Факты, — сказал себе Саймон, — деятельное существование… пульс жизни… деньги, голод… **действительность**».

На другое утро к нему постучали со словами: «Две молодые леди хотят вас видеть».

— Две?

Саймон надел халат и вышел в гостиную со стаканом апельсинового сока в руке. Мисс Гритс приветливо кивнула.

— Мы условились начать в десять, — сказала она. — Но это, в общем, не важно. На первых порах вы мне почти не понадобитесь. Это мисс Доукинс. Она наша штатная стенографистка. Сэр Джеймс решил, что она вам пригодится. Мисс Доукинс будет состоять при вас до дальнейших распоряжений. Сэр Джеймс прислал вам также два экземпляра «Гамлета». Сейчас вы примете

ванну, потом я ознакомлю вас с моим черновиком к нашей первой читке.

Но этого не случилось: Саймон не успел еще одеться, как мисс Гритс вызвали на киностудию по неотложному делу.

— Я позвоню вам, когда освобожусь, — сказала она.

Целое утро Саймон диктовал письма всем, кого припомнил, они начинались: «Простите за форму, в которой я уведомляю вас о том, что в настоящее время по причине крайней занятости я не смогу уделять внимание частной переписке…» Мисс Доукинс почтительно строчила в блокноте. Он дал ей номер телефона Сильвии.

— Будьте так добры позвонить по этому телефону и передать мисс Леннокс мои наилучшие пожелания, а также пригласить ее к завтраку в ресторан Эспинозы… И закажите столик на двоих к часу сорока пяти.

— Милый, — сказала Сильвия, когда они встретились, — почему тебя вчера весь день не было дома и что это за голос разговаривал со мной сегодня утром?

— А, это мисс Доукинс, моя стенографистка.

— Саймон, ты не с ума ли сошел?

— Видишь ли, я теперь работаю в кинопро-

мышленности.

— **Милый,** возьми меня на работу.

— Ну, в настоящее время я не комплектую штат, но буду иметь тебя в виду.

— Господи. Как ты изменился за два дня!

— Да! — сказал Саймон с чрезвычайным самодовольством. — Да, пожалуй, я изменился. Видишь ли, я впервые соприкоснулся с Действительной Жизнью. Я бросил писать романы. Вообще это была чистая дребедень. Печатное слово отжило — сперва папирус, затем книгопечатание, теперь кино. Писатель больше не может творить в одиночку. Он должен быть на уровне времени, ему, как и пролетарию, полагается еженедельный конверт с заработной платой — хотя, разумеется, моя дорогая Сильвия, разный труд оплачивается по-разному. Вторгаясь в жизнь, искусство тем самым включается в определенные общественные отношения. Кооперация… координация… сплоченные и целенаправленные устремления человеческого сообщества…

Саймон распространялся в том же роде еще довольно долго и поедал тем временем завтрак диккенсовских размеров; наконец Сильвия сказала жалобным голоском:

— А я думаю, ты влюбился в какую-нибудь про-

тивную кинозвезду.

— О Боже, — сказал Саймон, — нет, только девицы могут изрекать такие пошлости.

Они собрались было начать привычную и нескончаемую перебранку, когда рассыльный передал телефонное извещение, что мисс Гритс желала бы немедленно возобновить работу.

— Значит, вот как ее зовут, — сказала Сильвия.

— Если б ты только знала, как это нелепо, — сказал Саймон, подписывая счет своими инициалами, и удалился, прежде чем Сильвия успела схватить перчатки и сумочку.

Однако он стал любовником мисс Гритс на этой же неделе. Это была ее мысль. Она предложила это как-то вечером у него на квартире за вычиткой окончательной версии первого наброска сценария.

— О нет, — сказал Саймон в ужасе. — О нет. Нет, это никак невозможно. Простите, но…

— В чем дело? Вас не устраивают женщины?

— Устраивают, но…

— Ах, перестаньте, — отрезала мисс Гритс. — Не тратьте попусту драгоценного времени. — Потом, укладывая рукопись в кожаный чемоданчик, она сказала: — Надо будет заняться этим еще как-нибудь, если выпадет свободная минута. Кроме

всего прочего, я нахожу, что с мужчиной проще иметь дело, когда у тебя с ним роман.

Три недели Саймон и мисс Гритс — а она и в любовницах оставалась для него мисс Гритс — работали в полном согласии. Его жизнь перестроилась и преобразилась. Он больше не залеживался утром в унылых мыслях о предстоящем дне; он больше не засиживался за ужином в ленивых перекорах с Сильвией; прекратились вялые выяснения отношений по телефону. Его затянуло в беспорядочный круговорот. Днем или ночью его вызывали звонком на совещания, которые обычно отменялись: иногда в Хэмпстед, иногда на студию, однажды на побережье, в Брайтон. Он подолгу работал, расхаживая туда-сюда по своей гостиной; мисс Гритс расхаживала взад-вперед вдоль противоположной стены, а мисс Доукинс послушно усаживалась между ними. Оба диктовали, правили и переписывали свой сценарий. Иногда — ночью или днем — доводилось поесть; увлеченно и по-деловому проходили интимные эпизоды с мисс Гритс. Он поглощал какую-нибудь неслыханную и несуразную пищу, проезжая через пригороды на автомобиле сэра Джеймса, или шагая по ковру и диктуя мисс Доукинс, или устраиваясь на безлюдных съемочных площад-

ках — среди сооружений, похожих на памятники, воздвигнутые на случай крушения цивилизации. На мгновение он впадал, как мисс Гритс, в мертвое забытье и иногда, очнувшись, удивленно замечал, что во время сна перенесся на какую-то улицу, к какой-то фабрике или пустырю.

Тем временем фильм взрастал как на дрожжах, что ни день раздаваясь вширь и внезапно изменяясь на сто ладов под самым носом сценаристов. С каждым совещанием история Гамлета поворачивалась по-новому. Мисс Гритс отчетливо и строго оглашала итоги их совместного творчества. Сэр Джеймс сидел, уронив голову на руки, покачиваясь из стороны в сторону, время от времени у него вырывались глухие стоны или всхлипы. Кругом сидели эксперты — режиссура, дирекция, распределители ролей, раскадровики, оформители и калькуляторы, у всех блестели глаза, все жаждали привлечь внимание начальства уместным замечанием.

— Что ж, — говорил сэр Джеймс, — я думаю, что хорошо, то хорошо. Ваши предложения, джентльмены?

После некоторой паузы эксперты один за другим начинали выкладывать свои соображения.

— Мне кажется, сэр, что ни к чему нам забирать-

ся в Данию. Зрителю надоела всякая экзотика. Не обосноваться ли нам в Шотландии и не подключить ли к делу горцев в юбках и сцену-другую со сборищем клана?

— Верно, очень здравое предложение. Запишите там у себя, Лент…

— Я думаю, не лучше ли выбросить из сценария королеву? Правильнее будет, если она умрет до начала действия. Она тормозит события. Да и зритель не потерпит такого обращения Гамлета со своей матерью.

— Верно, запишите там у себя. Лент.

— А что, сэр, если мы введем призрак королевы, а не короля…

— Вам не кажется, сэр, что правильнее, чтоб Офелия была сестрой Горацио? Как бы тут пояснее выразиться… острее будет конфликт.

— Верно, запишите там у себя…

— По-моему, в конце здесь чересчур накручено. В основе сюжета у нас привидения, и незачем тянуть сюжет…

Таким образом, простая история величественно разрослась. К концу второй недели сэр Джеймс согласился, правда, после некоторого обсуждения, что в тот же сценарий просится «Макбет». Саймон воспротивился, но вспомнил о трех ведьмах и

не устоял. Название изменили на «Белая леди из Дунсинана», и вдвоем с мисс Гритс они чудесным образом за неделю переписали весь сценарий.

Конец наступил так же внезапно, как и все остальные события этой любопытной истории. Третье совещание состоялось в отеле в Нью-Форесте; эксперты прибыли по срочному вызову поездом, на машинах и на мотоциклах и были утомлены и безучастны. Мисс Гритс зачитала последний вариант, на это ушло время, ибо сценарий был в стадии «беловика» — можно было начинать съемки. Сэр Джеймс сидел в размышлении дольше обычного. Потом он поднял голову и сказал всего-навсего:

— Нет.

— Нет?

— Нет, не пойдет. Все насмарку. Что-то мы далеко отошли от текста. Вообще не понимаю, зачем вам понадобились Юлий Цезарь и король Артур.

— Но, сэр, вы же сами их предложили на последнем совещании.

— Неужели? Ну, что ж теперь поделаешь. Значит, я был переутомлен и слегка рассеян… Кстати, мне не нравится диалог. В нем утрачена вся поэтичность оригинала. Зрителю нужен Шекспир, весь Шекспир и ничего, кроме Шекспира. Вот

что я вам скажу. Мы отснимем пьесу именно так, как она написана, с протокольной точностью. Запишите там у себя, мисс Гритс.

— Так что, в моих услугах вы больше не нуждаетесь? — сказал Саймон.

— Да, пожалуй что не нуждаюсь. Но чудно, что вы подъехали.

На другое утро Саймон проснулся, как обычно, бодр и свеж и собрался было вскочить с постели, как вдруг припомнил события прошлой ночи. Дел не стало. Ему предстоял пустой день. Ни мисс Гритс, ни мисс Доукинс, ни срочных совещаний, ни надиктованных диалогов. Он позвонил мисс Гритс и пригласил ее позавтракать с ним.

— Нет, боюсь, что это никак не выйдет. К концу недели мне нужно раскадровать сценарий Евангелия от Иоанна. Работка не из легких. Снимать будем в Алжире, чтоб воссоздать обстановку. А через месяц — в Голливуд. Думаю, что мы с вами больше не увидимся. До свидания.

Саймон лежал в постели, и энергия его постепенно улетучивалась. Снова безделье. Что ж, подумал он, теперь самое время поехать в деревню дописывать роман. Или съездить за границу? Где-нибудь в тихом солнечном кафе можно будет подумать над этими несчастными последними

главами. Да, так он и сделает… в скорости… Скажем, на этой неделе.

Пока что он приподнялся на локте, снял трубку, назвал номер Сильвии и приготовился к двадцатипятиминутному язвительному примирению.

На страже
Ивлин Во

1

У Миллисент Блейд была белокурая головка, кроткий и ласковый нрав, а выражение лица менялось молниеносно: с дружелюбного на смешливое, со смешливого на почтительно-заинтересованное. Но сентиментальные мужчины англосаксонского происхождения ближе всего к сердцу принимали ее нос.

Это был нос не на всякий вкус: многие предпочитают носы покрупнее; живописец не прельстился бы таким носом, ибо он был чересчур мал и совсем не имел формы, просто пухленькая бескостная нашлепка. С таким носом не изобразишь ни высокомерия, ни внушительности, ни проницательности. Он был бы ни к чему гувернантке, арфистке или даже девице на почте, но мисс Блейд он вполне устраивал: этот нос легко проникал сквозь тонкий защитный слой в теплую мякоть английского мужского сердца; такой нос напоминает англичанину о невозвратных школьных днях, о тех пухлолицых обормотах,

на которых было растрачено мальчишеское обожание, о дортуарах, часовнях и затасканных канотье. Правда, трое англичан из пяти вырастают снобами, отворачиваются от своего детства и предпочитают носы, которыми можно блеснуть на людях, но девушке со скромным приданым достаточно и двоих из каждой пятерки.

Гектор благоговейно поцеловал кончик ее носа. При этом чувства его смешались, и в мгновенном упоении он увидел тусклый ноябрьский день, сырые клочья тумана на футбольном поле и своих школьных приятелей: одни пыхтели в свалке у ворот, другие ерзали по дощатой трибуне за боковой линией, растирая замерзшие пальцы, третьи наспех дожевывали последние крошки печенья и во всю глотку призывали свою школьную команду поднажать.

— Ты будешь меня ждать, правда? — сказал он.

— Да, милый.

— И будешь писать?

— Да, милый, — ответила она с некоторым сомнением, — иногда буду… я попробую. Знаешь, у меня не очень получаются письма.

— Я буду там все время думать о тебе, — сказал Гектор. — Мне предстоят ужасные испытания — до соседей и за день не доберешься, солнце

слепит, кругом львы, москиты, озлобленные туземцы… одинокий труд с рассвета до заката в борьбе с силами природы, лихорадка, холера… Но скоро я вызову тебя, и ты будешь там со мной.

— Да, милый.

— Тут не может быть неудачи. Я все обсудил с Бекторпом, с тем типом, который продает мне ферму. Понимаешь, пока что каждый год урожай шел впустую — сначала кофе, потом сизаль, потом табак, больше там ничего не вырастишь. В год, когда Бекторп посеял сизаль, все другие торговали табаком, а сизаль хоть выбрасывай; потом он посеял табак, а оказалось, что в этот раз надо было сеять кофе, ну и так далее. Так он бился девять лет. Но Бекторп говорит, что если это дело вычислить, то видно, что еще через три года обязательно посеешь нужную культуру. Я тебе не могу толком объяснить, но это вроде рулетки, что ли, понимаешь?

— Да, милый.

Гектор загляделся на ее носик — маленькую, круглую, подвижную пуговку — и снова погрузился в прошлое… «Нажимай, нажимай!» — а после матча как сладко пахли пышки, обжаренные на газовой горелке у него в комнате…

2

Позже в тот же вечер он обедал с Бекторпом и от блюда к блюду становился мрачнее.

— Завтра в это время я буду в море, — сказал он, поигрывая пустым винным стаканом.

— Веселее, приятель, — сказал Бекторп.

Гектор налил в стакан портвейна и еще неприязненнее оглядел затхлую дымную столовую клуба Бекторпа. Удалился последний из дурацких членов этого дурацкого клуба, и они остались наедине с буфетом.

— Слушай, я тут, понимаешь ли, попробовал вычислить. Ты ведь сказал, что я за три года непременно посею что требуется?

— Да, за три, приятель.

— Так вот, я посчитал как следует и боюсь, как бы на это не понадобился восемьдесят один год.

— Нет-нет, приятель, три или девять, самое большее двадцать семь.

— Ты уверен?

— Вполне.

— Хорошо бы… Знаешь, так скверно, что Милли здесь остается. Представляешь, если в самом деле только через восемьдесят один год урожай пойдет на продажу. Это же чертову пропасть вре-

мени девушке придется ждать. Еще какой-нибудь лоботряс может подвернуться, вот в чем дело.

— В Средние века на этот случай надевали пояс целомудрия.

— Да, я знаю. Я про это думал. Но он, должно быть, ужасно неудобный. Чего доброго, Милли его и носить не станет, даже если я ухитрюсь раздобыть.

— Вот что я тебе скажу, приятель. Ты ей что-нибудь подари.

— Черт, да я ей все время что-нибудь дарю. Но она это или разбивает, или теряет, или забывает, куда положила.

— А ты ей подари что-нибудь необходимое, да такое, чтоб сносу не было.

— Это на восемьдесят один-то год?

— Ну, скажем, на двадцать семь. Чтобы о тебе все время напоминало.

— Я бы ей подарил фотокарточку, да за двадцать семь лет я ведь могу измениться.

— Нет-нет, это не пойдет. Как раз фотокарточку не надо. Я знаю, что бы я ей подарил. Я бы ей подарил собаку.

— Собаку?

— Да, такого крепкого, здорового щенка, и чтоб уже переболел чумкой. Пусть даже она его зовет

Гектор.

— Ты думаешь, это то, что надо, Бекторп?

— Самое верное дело, приятель.

И вот на следующее утро перед отъездом в порт Гектор поспешил в один из гигантских лондонских универсальных магазинов, и его провели в зоологический отдел.

— Мне нужен щенок.

— Да, сэр. Какой-нибудь особой породы?

— Который долго проживет. Восемьдесят один год, самое меньшее двадцать семь лет.

Продавец засомневался.

— У нас, конечно, есть в продаже отличные крепкие щенки, — заметил он, — но гарантии на такой срок мы ни за одного дать не сможем. Впрочем, если вас интересует долголетие, позвольте вам рекомендовать черепаху. Они живут необычайно долго и очень удобны для перевозки.

— Нет, мне нужен щенок.

— А попугай не подойдет?

— Нет-нет, щенок. И надо еще, чтобы его звали Гектор.

Они прошли мимо обезьян, котят и какаду к псиному отделению, где даже в этот ранний час уже разгуливали заядлые собачники. Здесь были щенки всех пород в конурках за прово-

лочными сетками; они настораживали уши, виляли хвостами и шумно заявляли о себе. Слегка ошарашенный, Гектор выбрал пуделя и, пока продавец ходил за сдачей, пристроился коротко побеседовать со своим лохматым избранником. Он вгляделся вострую щенячью мордочку, увернулся от щелкнувших зубов и сказал сурово и торжественно:

— Ты тут пригляди за Милли, Гектор. Смотри, чтобы она не вышла замуж, пока я не вернусь.

И щенок Гектор помахал своим пышным хвостом.

3

Миллисент пришла его проводить, но второпях ошиблась вокзалом; впрочем, это было не важно, потому что она все равно опоздала на двадцать минут. Гектор томился с пуделем в руках возле барьера, высматривая ее, и, только когда поезд уже тронулся, он всучил животное Бекторпу с наказом доставить его Миллисент. Багаж с ярлыком «До Момбасы. Ручная кладь» лежал на полке над ним. На душе у него было сиротливо.

Вечером, когда пароход качало и кренило в проливе возле маяков, он получил радиограмму: «Отчаянии что разминулись помчалась пэддинг-

тон как последняя идиотка спасибо спасибо тебе за чудного песика какой он милый папа сердится ужасно жду скорых вестей фермы не влюбись в красотку на корабле люблю целую милли».

В Красном море он получил еще одну: «Берегись красоток щенок укусил человека по имени Майк».

После этого Гектор не имел от Миллисент никаких вестей, кроме рождественской открытки, которая прибыла в конце февраля.

4

Обычно Миллисент бывала постоянна в своих чувствах месяца четыре. Охладевала она внезапно или постепенно — смотря как далеко успевали зайти отношения с данным поклонником. В случае с Гектором ее чувствам пришла пора убывать как раз ко времени помолвки, они, однако, продержались еще три недели, пока Гектор был занят упорными, нестерпимо трогательными попытками устроиться на работу в Англии, и наконец все чувства сразу же иссякли с его отбытием в Кению. Соответственно щенку Гектору пришлось приступить к исполнению своих обязанностей с первого дня в доме. Возраст его был самый юный, навыка к работе еще не было, так что не стоит

винить его за ошибку с Майком Босуэлом.

Этот молодой человек весело и безмятежно дружил с Миллисент чуть ли не со дня ее первого появления в свете. Он видел ее белокурую головку в любом освещении, в комнате и на улице, в шляпках изменчивых фасонов, обвязанную ленточкой, украшенную гребнями, небрежно утыканную цветами; он видал ее вздернутый носик в любую погоду, а при случае даже подергивал его двумя пальцами, однако чувства его не шли дальше простой приязни.

Но щенок Гектор вряд ли мог об этом догадаться. Через два дня по вступлении в должность ему пришлось наблюдать, как высокий и привлекательный мужчина жениховского возраста обращался с хозяйкой фамильярно, а такая фамильярность среди подруг его собачьей юности означала только одно.

Хозяйка и гость пили чай. Гектор сидел на диване и наблюдал за ними с едва приглушенным рычанием. Время действовать настало, когда Майк, невразумительно отшучиваясь, наклонился и потрепал Миллисент по коленке.

Он не укусил всерьез, только цапнул, но его маленькие зубы были острее булавок. Больно вышло оттого, что Майк резким, нервическим

движением отдернул руку; он чертыхнулся, обмотал большой палец платком и наконец показал умоляющей Миллисент три или четыре крохотных царапинки. Миллисент укорила Гектора, обласкала Майка и помчалась к лекарственному шкафчику матери за пузырьком йода.

Но настоящий англичанин не может не влюбиться хоть ненадолго, когда ему прижигают руку йодом.

Майк видал этот нос несчетное число раз, но в тот вечер, когда нос склонился над укушенным пальцем, а Миллисент сказала: «Ужасно больно, да?» — и потом, когда она сказала: «Ну вот. Теперь все будет хорошо», — Майк вдруг увидел нос глазами его обожателя и с этой минуты стал обалделым поклонником Миллисент и пребывал им много дольше отведенных ему трех месяцев.

Щенок Гектор видел все это и понял, что совершил ошибку. Никогда больше, решил он, Миллисент не удастся побежать за пузырьком йода.

5

В общем, ему приходилось не очень трудно, ибо наивное непостоянство Миллисент само по себе доводило ее воздыхателей до белого каления.

Кроме того, он стал ее любимцем. Она регулярно получала еженедельные письма от Гектора, по три или по четыре враз, в зависимости от почтовых оказий. Она всегда раскрывала их, часто дочитывала до конца, но как-то плохо воспринимала написанное. Автор писем постепенно выветрился у нее из памяти, так что, когда ее спрашивали: «Как там наш дорогой Гектор?», она в полной невинности отвечала: «Ему там, по-моему, слишком жарко, и пальто у него совсем износилось. Я все подумываю, не вытащить ли его оттуда». Между тем вернее было бы сказать: «Он переболел малярией, а в листьях табака завелась черная гусеница».

Гектор учел, что Миллисент к нему привязалась, и на этой основе разработал технику отпугивания поклонников. Он больше не рычал на них и не пачкал им брюки — за это его просто-напросто выставляли из комнаты, — он наловчился переключать на себя все внимание.

Опаснее всего был вечерний чай, когда Миллисент позволяли уединяться с друзьями в ее гостиной; поэтому Гектор, по натуре ценитель острых мясных блюд, геройски притворялся, что любит сахар. Он внушал это Миллисент, жертвуя своим пищеварением, и та начала учить его

собачьим штукам: он служил, замирал, падал замертво, становился в угол и прикладывал лапу к уху.

— А где у нас сахар? — спрашивала Миллисент, и Гектор шел вокруг столика к сахарнице, утыкался в нее носом, истово глядел на хозяйку и дышал на серебро.

— Он все понимает, — говорила торжествующая Миллисент.

Когда штуки надоедали, Гектор начинал проситься за дверь. Молодой человек вставал, чтобы выпустить его. Выпущенный Гектор царапался и скулил, чтобы его впустили обратно.

В самые трудные минуты Гектор устраивал припадки тошноты, что легко удавалось после ненавистного сахара; он вытягивал шею и зычно тужился, пока Миллисент не хватала его и не выносила в холл, где мраморный пол было не страшно пачкать. Романтическое настроение исчезало, и робкие нежности становились после этого совсем неуместны.

Такие маневры Гектора были рассчитаны на целое чаепитие и умело применялись, как только гость выказывал намерение свернуть к интимным темам. Молодые люди отчаивались и сходили со сцены один за другим в смятении

и унынии.

Каждое утро Гектор лежал на постели Миллисент, пока она завтракала и читала газету. С десяти до одиннадцати велись телефонные разговоры: как раз в это время молодые люди, с которыми она танцевала накануне вечером, пытались продолжить знакомство и просили о встрече. Гектор было начал запутываться в проводе и тем успешно срывать переговоры, но потом выработал приемы более утонченные и оскорбительные. Он требовал соучастия в беседе. С этой целью, заслышав телефонный звонок, он принимался вилять хвостом и умильно склонял голову набок. Миллисент начинала разговор, а Гектор подлезал под ее руку и пыхтел в трубку.

— А у нас здесь, — говорила она, — кое-кто хочет о вами побеседовать. Слышите, какой ангел? — И она предоставляла трубку пуделю, а молодой человек на другом конце провода ошарашенно слушал злобное тявканье. Все это так нравилось Миллисент, что она часто даже не трудилась узнавать, кто звонит, а просто снимала трубку, подносила ее к черной собачьей морде — и какого-нибудь несчастного юношу за полмили от нее заливисто призывали к порядку, хотя он ничего такого еще не сказал и вообще, может быть, чув-

ствовал себя с утра не особенно хорошо.

Бывало, что поклонники, вконец пленившись пресловутым носом, подстерегали Миллисент в Гайд-парке, где она гуляла с Гектором. Гектор и тут не давал себя забыть. Он куда-нибудь пропадал, задирался к другим псам и кусал маленьких детей, но скоро выдумал кое-что поехиднее. Он вызвался носить в зубах сумочку Миллисент. Он трусил впереди и, чуть что, сразу ронял сумочку; молодому человеку приходилось поднимать ее и возвращать Миллисент, а затем — по ее просьбе — тому же Гектору. И мало кто опускался до того, чтобы прогуляться еще разок ценой таких унижений.

Между тем прошло два года. Из Кении все приходили письма, полные нежных слов и удручающих известий — о сизале, увядшем на корню, о саранче, пожравшей кофе, о рабочей силе, засухе, наводнении, местных властях и мировом рынке. Иногда Миллисент читала письма вслух пуделю, обычно же оставляла их нераспечатанными на подносе с остатками завтрака. Вместе с Гектором ее увлекал безмятежный круговорот английской светской жизни. Там, где она проносила свой нос, двое из пяти неженатых мужчин временно теряли голову; но за нею следовал Гек-

тор, и любовный пыл сменялся злостью, стыдом и отвращением. Матери начали умиротворенно подумывать, почему это очаровательная девочка Блейдов никак не выйдет замуж.

6

Наконец на третьем году такой жизни очередная угроза предстала в облике майора сэра Александра Дреднота, баронета и члена парламента, и Гектор тут же понял, что надо браться за дело всерьез.

Сэр Александр был отнюдь не молодым человеком, а сорокапятилетним вдовцом. Он был богат, известен и противоестественно терпелив; он имел также и некоторые особые достоинства, будучи совладельцем известной Мидландской собачьей своры и заместителем министра; на фронте он был многократно награжден за воинскую доблесть. Отец и мать Милли пришли в восторг, когда заметили, что он не устоял перед ее носом. Гектор невзлюбил его сразу, пустил в ход все приемы, отработанные за два с половиной года, и ничего не добился. Как назло, выходило, что там, где дюжина молодых людей давно бы взбесилась от досады, сэр Александр только лишний раз выказывал нежную заботливость. Он

заходил вечерами за Миллисент, и карманы его вечернего костюма были набиты кусками сахара для Гектора; когда же Гектора тошнило, сэр Александр опять был тут как тут, на коленях, с листом «Таймс». Гектор вернулся к своим прежним грубым методам и кусал его яростно и часто, но сэр Александр лишь замечал; «Ага, наш маленький друг, кажется, ко мне ревнует. Вот это молодец!»

А дело было в том, что сэра Александра упорно и остервенело изводили с самого нежного возраста — родители, сестры, школьные приятели, сержант и полковник, политические соратники, жена, совладелец упомянутой своры, егеря и распорядитель охоты, посредник на выборах, избиратели и даже личный секретарь набрасывались на него вместе и поодиночке, и он к такому обхождению вполне привык. Для него не было ничего естественнее, чем лай в ухо с утра перед разговором с избранницей сердца; он польщенно поднимал ее сумочку, которую Гектор ронял на прогулках в парке; царапины на кистях и щиколотках от зубов Гектора он почитал боевыми шрамами. Иногда он даже позволял себе отзываться в присутствии Миллисент о Гекторе как о «своем маленьком сопернике». В его намерениях не было никаких сомнений, а когда он пригласил

Миллисент с ее матерью посетить его поместье, то в письме было приписано: «Разумеется, приглашение касается и Гектора».

Визит к сэру Александру — с субботы до понедельника — был для пуделя сплошным кошмаром. Он трудился, как никогда в жизни, он использовал все средства, чтобы отравить жизнь своим присутствием, и все зря. Хозяину, во всяком случае, все было нипочем. Другое дело домочадцы: Гектору отвесили хорошего пинка, когда он по собственной оплошности оказался наедине с тем самым лакеем, которого во время чая удалось опрокинуть вместе с подносом.

Поведение, за которое Миллисент с позором изгнали бы из половины лучших домов Англии, здесь терпели беспрекословно. В доме были другие собаки — пожилые, тихие, благовоспитанные животные, и Гектор на них кидался, взахлеб призывая подраться; они печально отворачивались, и он вцеплялся им в уши. Они угрюмо отскакивали, и сэр Александр распорядился запереть их пока что где-нибудь подальше.

В столовой лежал роскошный французский ковер, и Гектор изуродовал его на вечные времена, но сэр Александр как будто этого и не заметил.

Гектор отыскал в парке какую-то дохлятину,

старательно вывозился в гадости с ног до головы, задыхаясь от омерзения, и, вернувшись, испакостил все стулья в гостиной. Сэр Александр сам помогал Миллисент вымыть его и вдобавок еще принес из своей ванной какие-то ароматические соли.

Гектор выл всю ночь — он спрятался, и половина прислуги искала его с фонарями; он задушил несколько фазанят и на всякий случай попытался слопать павлина. И все зря. Правда, он сорвал формальное предложение — раз на прогулке в саду, раз на пути в конюшню и в тот раз, когда его пришлось купать, — но наступил понедельник, и сэр Александр сказал: «Надеюсь, Гектору у нас было не очень скучно. Надеюсь, мы его скоро-скоро увидим здесь снова». Гектор понял, что побежден.

Чуть раньше или чуть позже, но это случится. В Лондоне вечерами он не сможет уследить за Миллисент. И скоро он проснется и услышит, как Миллисент звонит подружкам с радостной вестью о своей помолвке.

И тогда после длительной борьбы чувства и долга он пришел к отчаянному решению. Он полюбил свою молодую хозяйку: когда она прижималась к нему щекой, он все больше со-

чувствовал толпам молодых людей, которых преследовал подолгу службы. Но он был не какой-нибудь приблудный кухонный попрошайка. Если пес знает своих родителей, то он знает и цену деньгам. Надо блюсти верность тому, кто тебя купил, а не тому, кто кормит и ласкает. Та рука, которая когда-то отсчитывала пятифунтовики в зоологическом отделении громадного универсального магазина, рыхлила теперь скудную почву Экваториальной Африки, но в памяти Гектора еще звучали незабвенные напутственные слова. Всю ночь с воскресенья на понедельник и всю дорогу в Лондон он размышлял и колебался, затем он решился. **Нос должен быть устранен.**

7

Это было легко — как следует цапнуть за нос, когда она наклонится над его корзинкой, и конец делу. Она легла на пластическую операцию и вернулась недели через две — на носу ни стежка, ни шрамика. Но это был другой нос; хирург оказался в своем роде художником, а я уже говорил, что прежний нос Миллисент пластичностью не отличался. Теперь ее нос украшает аристократическая горбинка, достойная будущей старой девы. Как все старые девы, она жадно ждет иностранной

почты и бережно запирает шкатулку, полную безотрадных сельскохозяйственных сообщений; как все старые девы, она повсюду бывает вместе с дряхлеющей комнатной собачкой.подходят сказки

Для зимы печальные подходят сказки[15]
Мюриэль Спарк

Жил человек у самого кладбища. Звали его Селвин Макгрегор, и был он чудесный парень, даром что не без греха по части выпивки.

— Ну и жилье у тебя, Селвин!

— Подопрись посошком на дорожку, золотко.

— Вот так, Селвин!

— Письмо-то завтра принесут. А завтра-то письмо придет.

— Ох, уж этот мне Селвин Макгрегор!

— Как первое число, так мне письмо. Как мне письмо, так первое число.

— Ну ты же и хват, Макгрегор. Ладно, налей, только поменьше.

— Да подопрись как следует, путь-то долгий!

— Нет, Мак, я пошел. Ну и жилье у тебя — там, понимаешь, кладбище, тут развалюха церковь, а кругом колючей проволоки понавертели, да кто сюда к тебе полезет!

— Короче, со свиданьицем!

---

[15] Примечания: 15

У. Шекспир, Зимняя сказка, акт II, действие I.

— Будем здоровы, мистер Макгрегор. Распоследний голодранец — и тот сюда ночью не сунется. Нет, вот как угодно, а колючую проволоку я не одобряю.

— Словом, первого деньги будут.

— Селвин, мне все ж таки пора, а то смеркается.

И так оно шло тринадцать лет: Селвину было двадцать пять, а стало тридцать восемь. В двадцать пять его комиссовали из армии, а в тридцать восемь он жил да поживал в своей лачужке, в зарослях возле развалин пасторского дома. Но и до кладбища доходили письма из Эдинбурга, и первого числа каждого месяца он ходил менять чек на деньги.

— Вечер добрый, мистер Макгрегор.

— Привет, привет, сейчас обоим налью.

— Мистер Макгрегор, мы вас прямо-таки просим: вы ведь примете участие в нашем концерте?

— Это в середине-то месяца?

— Брось, Мак, ну что тебе стоит побренчать на пианино.

— В середине месяца я буду созерцать.

— Мне больше не надо — ладно, самую капельку, — хватит, хватит, мистер М.

— Со свиданьицем!

— В общем, твой номер за тобой, Селвин.

— Я же говорю: не-а.

— Мистер Селвин, вы же начисто свихнетесь от меланхолии. Хорошенькое у вас соседство!

— За обоюдную удачу!

К середине месяца у Селвина каждый раз кончались деньги. Он мучился от жажды и держал дверь на замке, явись ты к нему хоть с обедом на подносе. Ел он что ни попадя, все больше брюкву, а иной раз хлеб или обед, оставленный на приступочке. Двадцать пятого числа он снова открывал двери, подзанимал до первого, принимал гостей и выставлял бутылку.

А все десять дней с середины месяца до двадцать пятого Селвин Макгрегор молча сидел у окошка и созерцал могилы.

Тетка Селвина снимала квартиру в Уорриндерском районе Эдинбурга. Когда-то в таких квартирах обитал зажиточный люд, да и теперь там кое-кто сидит на полных сундуках, хоть виду и не подает.

— Да, район уж не тот, что был! — говаривала тетка Селвина лет двадцать кряду. Но приди к ней кто-нибудь и брякни: «Да, район уж не тот, то ли дело раньше было», и она тут же заявляла:

— А по-моему, ничего подобного.

Тетка-то и слала Селвину по чеку в месяц: ведь мать Селвина была валлийка, а чем же мальчик виноват, коли у него мать из Уэльса, а стало быть, либо тронутая, либо прожженная лентяйка. Вот и сын такой же, да не по своей вине.

Незачем так уж особенно расписывать тетку Макгрегора: как там на ней сидел темно-синий костюм или что вот, мол, личико у нее было сухое и строгое, а вокруг глаз или там у рта — сеточкой лопнувшие прожилки. Все это исчезло под землей — где, как говорил Селвин, только и есть что разложение, — а темно-синий костюм достался сиделке.

Словом, она умерла. А за месяц-другой до того заявилась к Селвину в его лачугу возле кладбища. Была она в коричневом костюме, чтобы попусту не таскать темно-синий. Взяла и съездила к Селвину Макгрегору. А он как раз не созерцал, и дверь была настежь.

— Тетушка Макгрегор! Ну-ка, рюмочку с дороги, что значит не пью, а самую капельку. Вот так, ай да тетушка!

— Селвин, — сказала она, — дела твои идут все хуже и хуже.

— Хуже, чем что? Хуже, чем куда? Чем куд-куд-

куд-куда?

Селвин заквохтал, а она засмеялась. Не могла она всерьез сердиться на Селвина.

Словом, она умерла и отказала ему сколько-то там деньжат. Селвин поехал ее хоронить, а холода стояли зверские. Он, понятно, по случаю зверских холодов запасся фляжкой. А надо вам знать, что Селвин не на шутку верил в воскресение мертвых: неужели же он хотел оскорбить тетку Макгрегор, просто подзаправился, чтоб не мерзнуть у могилы, вот и все. Ну, слегка покачивался, так было о чем говорить!

— Праху прах...

— Эдакий-то племянничек у мисс Макгрегор! Вот тебе и на!

— Да как ему не стыдно, ведь отцову сестру хоронить приехал. Господи, чего же это он делает?

Селвин поднял горсть земли. Ну поднял, посмотрел-посмотрел на эту горсть и улыбнулся. И гроб стоит ждет, и люди стоят ждут. Священник ему покивал, дескать, ладно, чего там, сыпь землю-то на гроб, а Селвин возьми и кинь ее через плечо, вроде как дома щепотку соли. А потом оглядел всю честную компанию, да так и засиял, будто сейчас скажет: «Будем здоровы!», «Со свиданьицем!» или что-нибудь еще похлестче.

— Бедная мисс Макгрегор. Единственный-то родственник, ох, бедняжка она.

А вскорости Селвин получил письмо от теткиного поверенного насчет завещания. Чтобы не ломать голову, Селвин попросту отписал: «Приезжайте повидаться после двадцать пятого». А покамест он занялся созерцанием. Двадцать шестого в дверях Селвина показался поверенный, такой свежий мужчина в темном пальто. Селвин подумал: вот, ей-богу, какой лапушка поверенный, а вдруг он привез живые деньги, надо по этому поводу заранее тяпнуть.

— Будьте как дома, — сказал Селвин и достал второй стакан.

— Кх, — сказал тот.

— За надежду, — сказал Селвин.

А потом поверенный и говорит Селвину:

— Вам известно завещание мисс Макгрегор?

— Помнится, — объявил Селвин, — вы мне что-то об этом писали, да мне было недосуг прочесть.

Ну, тот и зачитал завещание, а как дошел до слов «моему племяннику Селвину Макгрегору», остановился, поглядел на Селвина и давай дальше: «...при условии, что он будет следить за своим здоровьем».

— Узнаю тетеньку, — сказал Селвин. — Вот

была женщина, правда, мистер...

— Браун, — сказал тот. — А второй поверенный — мой компаньон мистер Харпер. Вы с ним найдете общий язык. Итак, когда вы отсюда переезжаете?

— Сразу после смерти, — сказал Селвин.

— Ну-ну, мистер Макгрегор, тут у вас нездоровая обстановка. В завещании сказано...

— Ну и пес с ним, с завещанием, как говорится, — сказал Селвин и похлопал мистера Брауна по плечу. Мистер Браун поневоле заулыбался: виски разогрело ему нутро, и вообще ему понравилось, как говорится: «Ну и пес с ним, с завещанием».

— Куда ж я денусь, здесь у меня работа, — прибавил Селвин.

— А что у вас за работа, мистер Макгрегор?

— Я созерцаю разложение.

— Ну-ну, мистер Макгрегор, это нездоровое занятие. Лично я не желал бы ставить вам палки в колеса, но мой компаньон мистер Харпер — он, знаете, у нас человек долга. А мисс Макгрегор — наш старейший клиент, и она всегда тревожилась о вашем здоровье.

— Лей, не жалей, подливай да опрокидывай, — сказал Селвин.

— Всех благ, мистер Мак. Ваше здоровье, сэр.

— Передайте Харперу, — посоветовал Селвин, — что я здоров как бык и работаю как вол.

— Какой-то у вас тощий вид, мистер Макгрегор. По-моему, тут у вас все-таки нездоровая обстановка.

Селвин сыграл ему на фортепьяно и спел песню. «О мать моя, — пел он, — стели постель. Поуже мне стели...»

— Очень мило, — сказал поверенный, когда Селвин допел. — Прямо-таки замечательно.

— Я и есть музыкант, — сказал Селвин. — А кое о чем другом Харперу даже и знать не обязательно.

— Ах, вы уже и меня хотите разложить, это не выйдет. Вы же сказали, что вы искусник по части разложения?

— Нет, нет. Я искусник по части созерцания разложения, — объяснил Селвин. — Совсем другое дело, сравнил тоже. Ну-ка, поддали.

— Желаю вам, чего вы сами себе желаете, — сказал мистер Браун. — Только меня вам нипочем не разложить!

— Это уж либо ты разложишь, либо тебя разложат, — заявил Селвин и пустился в объяснения, и спор дошел до того, что они потеряли всякий счет времени и вконец запутались с разложением,

которое стало у них называться заложением.

— Кто кого заложил? — сказал мистер Браун. — Кто из нас заложился?

Сначала Селвин не мог смеяться от кашля, а потом не мог кашлять от смеха. Очухавшись, налил по маленькой и растолковал, что если как следует подзаложить, то разложение переходит в заложение. Он запел:

— Хи-хи-хи да ха-ха-ха. Ха-ха-ха да хи-хи-хи. Заложу-ка я тебя, а ты меня подзаложи.

— Сколько ни жить, лишь бы весело! — сказал мистер Браун.

Словом, Селвин разложил поверенного. И ежемесячный чек стал покрупнее, чем раньше. Зиму он прожил по-заведенному: с двадцать пятого держал двери открытыми для всех и каждого пятнадцатого двери запирал и садился к окошку созерцать могилы.

А весной он умер. Года два назад ему просвечивали легкие, и Селвин сказал: «Ну и пес с ними, с моими легкими, что мне, делать больше нечего. Будем здоровы!»

Мистер Браун сказал своему партнеру:

— Он даже не намекнул мне на свои легкие. Если б я знал, я бы тут же обеспечил ему теплое жилье и новый костюм. Я бы подыскал ему эко-

номку и обеспечил медицинскую помощь.

— О, эти музыканты, — сказал мистер Харпер. — Мученики профессии. Они все же вызывают невольное восхищение.

— Ах, невольное? Ах, невольное? — сердито сказал мистер Браун. Он не желал чтить память Селвина — такой мерзавец, уговор был, что он всего-навсего созерцает, а он взял и умер.

— Грустная история, — мечтательно сказал мистер Харпер. — Макгрегор был в своем роде героем.

— Ах, в своем роде, ах, в своем роде? — В тот миг мистер Браун презирал своего глупого партнера едва ли не больше, чем обижался на покойника. Правда, потом, проезжая подле былого жилья Селвина, даже мистер Браун и тот подумал: «Ах, Селвин Макгрегор, вот ведь был человек!» А когда он увидел, что старое кладбище начисто срыли и сделали на его месте детскую спортивную площадку, он остановился и долго еще созерцал разложение Селвина.

Портобелло-Роуд
Мюриэль Спарк

Однажды в погожий летний денек на заре юности, валяючись с любезными друзьями на стогу сена, я нашла там иголку. Уже несколько лет я втайне догадывалась, что меня относит в сторону от общей колеи, и вот иголка обличила меня перед всеми нашими — перед Джорджем, Кэтлин и Скелетиком. Я сосала большой палец, потому что в него-то и впилась иголка, когда я от нечего делать зарылась рукою в сено.

Суматоха улеглась, и Джордж возгласил: «Сунешь пальчик в пирог — и достанешь творог». И мы снова принялись безжалостно и беспечно насмешничать.

Иголка глубоко вонзилась в мякоть пальца: из темной точечки струился и расплывался кровавый ручеек. И чтобы мы, упаси боже, не приуныли, Джордж спешно потребовал:

— Эй, подальше со своим грязным пальцем от моей, ей-богу, чистой рубашки!

И мы проорали «кукареку», сотрясая послеполуденный зной на границе Англии и Шотландии. Вот правда, ни за что бы не захотела снова так

помолодеть сердцем. Это я думаю каждый раз, вороша старые бумаги и натыкаясь на фотографию. Кэтлин, Скелетик и я возлежим на стогу. Скелетик ясно уточнил, в чем суть моей находки:

— Тут не голова нужна. Да ты не головой и берешь — ты у нас просто крохотулька-удачница.

Все согласились, что просто так иголку в стогу сена не найдешь. Разговор угрожал стать серьезным, и Джордж сказал:

— Тихо лежать, я вас снимать.

Я обмотала палец и приосанилась, а Джордж показал пальцем из-за фотоаппарата и заорал:

— Смотрите, мышь!

Кэтлин взвизгнула, и я тоже, хотя обе мы, пожалуй, знали, что никакой мыши нет. Зато можно было лишний раз погорланить. Наконец мы все втроем пристроились сниматься. Мы очень мило выглядели, и день выдался изумительный, но не хотела бы я, чтобы он повторился.

С тех пор меня стали звать Иголкой.

Как-то в субботу, уже в общем недавно, я слонялась по Портобелло-Роуд, прошивая вдоль узких тротуаров потоки покупателей, и вдруг заметила женщину. У нее был изможденный, озабоченный и очень благополучный вид; похудела, только полные груди высоко, по-голубиному, подобра-

ны. Я не видела ее чуть ли не пять лет. Как она изменилась! Но я узнала Кэтлин, мою подругу, хотя нос и рот у нее выдались, а лицо обтянуло, как у всех преждевременно стареющих женщин. Прошлый раз я видела ее лет пять назад, и Кэтлин — ей было едва за тридцать — сказала:

— Я ужасно подурнела, это у нас в роду. Девушками — прелесть, а после сразу увядаем, становимся черными и носатыми.

Я молча стояла среди толпы и наблюдала. Как вы потом поймете, мне не пристало заговаривать с Кэтлин. Я смотрела, как она, по-обычному хищно, пробирается от прилавка к прилавку. Она всегда обожала покупать по дешевке старые драгоценности. Странно, что я ее не встречала раньше здесь, на Портобелло-Роуд, во время моих субботних утренних прогулок. Ее длинные крюкастые пальцы мертвой хваткой выудили колечко с нефритом из груды брошек и подвесок, из ониксов, золота и лунных камней, выложенных на прилавке.

— Как тебе это? — спросила она.

И я увидела, с кем она была. За несколько шагов смутно маячила крупная мужская фигура, и теперь мне ее стало видно.

— Да вроде ничего, — сказал он. — А почем?

— А почем? — спросила Кэтлин у продавца.

Мне стал совсем ясен тот, сопровождающий Кэтлин. Это был ее муж. Он оброс до неузнаваемости, но показался огромный рот, яркие, сочные губы и большие карие глаза, налитые вечным волнением.

С Кэтлин разговаривать мне не пристало, однако что-то вдруг побудило меня спокойно сказать:

— Привет, Джордж.

Великан повернул голову, приглядываясь. Люди, люди и люди — но наконец он увидел и меня.

— Привет, Джордж, — повторила я.

Кэтлин стала сноровисто выторговывать у хозяина нефритовое колечко. Джордж уставился на меня, и обнажились белые зубы в распахнутом алом рту между белокурыми космами усов и бороды.

— Господи! — сказал он.

— Что такое? — сказала Кэтлин.

— Привет, Джордж! — сказала я, на этот раз совсем громко и превесело!

— Гляди, гляди! — сказал Джордж. — Гляди, вон там, за фруктовым прилавком!

Кэтлин поглядела и ничего не увидела.

— Ну кто там еще? — нетерпеливо спросила она.

— Иголка, — выговорил он. — Она сказала: «Привет, Джордж!»

— *Иголка,* — сказала Кэтлин. — Это ты о ком же? Это ты не о той ли Иголке, нашей старой приятельнице…

— Да. Вон она. Господи!

Он побледнел досиня, хотя я сказала «Привет, Джордж» вполне дружелюбно.

— Там нет никого даже отдаленно похожего на бедную нашу Иголку, — сказала Кэтлин, не сводя с него глаз. Она забеспокоилась.

Джордж показал на меня пальцем.

— Гляди, вон она. Говорю тебе, это она, это Иголка.

— Ты нездоров, Джордж. Боже мой, тебе, наверно, просто привиделось. Пойдем домой. Какая там Иголка? Ты не хуже меня знаешь, что Иголки нет в живых.

Надо вам сказать, что я рассталась с жизнью лет пять назад. Но я не совсем рассталась с миром. Остались кое-какие дела, в которых никогда нельзя доверять душеприказчикам. Бумаги для просмотра, в том числе разорванные и выкинутые. Вообще пропасть занятий — не по воскресеньям, конечно, и не по присутственным праздникам, но между делом есть с чем повозиться. Отдыхаю

я в субботу утром. Если суббота выпадает сырая, то я прохаживаюсь возле распродажи мелочей у Вулворта, как бывало в пору молодости и во времена осязаемости. На прилавках разложены всякие милые предметы, которые я теперь замечаю и разглядываю несколько отрешенно, как это приличествует моему нынешнему положению. Тюбики крема и зубной пасты, расчески и носовые платки, матерчатые перчатки, легкие, зыбкие шарфики, писчая бумага и цветные карандаши, стаканчики мороженого и лимонад, отвертки, пачки кнопок, жестянки с краской, с клеем, с повидлом — я радовалась всему этому и раньше, а теперь, когда мне уже ничего не надо, радуюсь еще больше. А если в субботу ясно, я иду на Портобелло-Роуд, где мы, бывало, прогуливались с Кэтлин, совсем взрослые. И с лотков продают все то же: яблоки и вискозные рубашки истошного синего и исподнего лилового цвета; серебряные тарелки, подносы и чайники, давно потерявшие былых хозяев и застрявшие у перекупщиков, путешествующие из магазинов в новые квартиры и ненадежные дома, а оттуда обратно на лотки к перекупщикам; старинные ложки, кольца, бирюзовые и опаловые сережки в виде символического двойного узла, похожего

на распластанную бабочку; цветные шкатулки с миниатюрными женскими изображениями на слоновой кости и серебряные табакерки, выложенные шотландскими самоцветами.

Иной раз на субботнее утро подруга моя Кэтлин, католичка, заказывает по мне заупокойную мессу, и тогда я, как бывало, являюсь в церковь. Но чаще всего по субботам я отдыхаю душой среди чинной толкотни с ее деловитой бестолковщиной неподалеку от жизни вечной, среди людей, которые проталкиваются к прилавкам и ларькам и там перебирают, покупают, воруют, ощупывают, примеряют и приценяются к товарам. Я слушаю, как щелкают кассы, как бренчит мелочь, болтают языки и верещат дети, упрашивая дать подержать и, пожалуйста, купить.

Так-то вот я и забрела на Портобелло-Роуд субботним утром, когда увидела Джорджа и Кэтлин. Я бы не заговорила, не будь к тому наития. Да мне это теперь, кстати же, и не дано — разговаривать без наития. А самое странное, что в то утро, заговорив, я даже стала отчасти видимой. И наверно, бедняга Джордж счел меня за привидение, увидев, как я стою за тележкой с фруктами и добродушно повторяю: «Привет, Джордж!»

Наш путь лежал на юг. Когда по северным по-

нятиям и возможностям наше образование было закончено, нас одного за одним послали или вызвали в Лондон. Джон Скиллеттер, по-нашему — Скелетик, поехал доучиваться археологии, Джорджу пришлось отправиться к дяде-табаководу, а Кэтлин прибилась к богатым родственникам — у кого-то из них в Мэйфере был шляпный магазин, и там она кое-как училась торговать. Чуть позже и я тоже приехала в Лондон посмотреть, как люди живут, потому что я собиралась писать о жизни и надо было с нею ознакомиться.

— Нашей четверке надо держаться друг друга, — повторял Джордж своим проникновенным голосом.

Он всегда отчаянно боялся отбиться от компании. Наша четверка распадалась, и Джордж нам не доверял: мы, того и гляди, вообще потеряем его из виду. Ему предстояло вскорости отбыть в Африку, на дядину табаководческую ферму, и он говорил все чаще и чаще:

— Нам надо держаться вчетвером.

И перед отъездом озабоченно сообщил каждому из нас:

— Я буду писать регулярно, раз в месяц. Нам надо держаться вместе и сохранить юношескую дружбу.

Он сделал три отпечатка с негатива той фотографии на стогу, написал на обороте каждой: «Так Джордж запечатлел тот день, когда Иголка нашла иголку» — и раздал нам по штуке. По-моему, всем нам хотелось, чтобы он поскорее очерствел.

Я жила как жилось, совершенно неупорядоченно. Друзьям было трудновато уследить за моей жизнью. По всем нормальным расчетам, я должна была впасть в нищету и отчаяние, чего, однако, не случилось. Конечно, мне не удалось написать о жизни, как я собиралась. Может быть, поэтому мне и пишется в нынешних необычных обстоятельствах.

Почти три месяца я преподавала в Кенсингтонской закрытой школе, учила самых маленьких. Я не знала, что с ними делать, хотя забот хватало и с мальчиками, не дотерпевшими до уборной, и с девочками, не приученными к носовым платкам. Я кое-что скопила и отдыхала целую зиму в Лондоне, а когда деньги кончились, я нашла в кино бриллиантовый браслет и получила за него пятьдесят фунтов вознаграждения. Я их прожила и устроилась при рекламном агентстве, где составляла речи для промышленных деятелей, не вылезая из словаря цитат. Так оно и шло. Я обручилась со Скелетиком, но вскоре мне пере-

пало небольшое наследство, и месяцев на шесть я была обеспечена. Тогда мне показалось, что Скелетика я не люблю, и я вернула ему обручальное кольцо.

Но в Африку я все-таки поехала стараниями Скелетика. Его взяли в археологическую экспедицию на копи царя Соломона, к той древнейшей системе рудников, которая простирается от древнего порта Офир (теперь Бейра) через Португальскую Восточную Африку и Южную Родезию до сокрытого в джунглях великого города Зимбабве, где на склоне древней священной горы еще стоят стены храма и где осколки былой цивилизации рассеяны по окрестным пустыням. Я была в экспедиции чем-то вроде секретаря. Скелетик за меня поручился, оплатил дорожные расходы и тем самым как бы признал в правах мою непутевую жизнь, при случае, однако, высказываясь о ней неодобрительно. Жизнь, подобная моей, почти всех раздражает: когда ходишь каждый день на службу, что-то устраиваешь, отдаешь распоряжения, стучишь на машинке, отдыхаешь недели две-три в году, то все-таки неприятно, что другой ничего этого делать не изволит и живет себе без забот о хлебе насущном, едва ли не припеваючи. Когда я расторгла обручение, Скелетик

прочел мне на этот счет нотацию, но в Африку меня, однако же, взял, хоть и не мог не знать, что я наверняка сбегу через пару месяцев.

Прошла неделя-другая после приезда, и мы стали расспрашивать о Джордже, который хозяйствовал миль за четыреста к северу. Мы его ни о чем не известили.

— Если написать Джорджу, что мы ожидаемся в его краях, он сразу явится и прилипнет к нам с первого дня. В конце концов, мы работать едем, — говорил Скелетик.

Перед отъездом Кэтлин сказала нам:

— Передайте привет Джорджу и скажите ему, чтоб не слал безумных телеграмм каждый раз, как я задерживаюсь с ответом. Скажите ему, что я занята в магазине и вообще разрываюсь на части. Можно подумать, что, кроме меня, у него никого на свете нет, — так он себя ведет.

Сначала мы задержались в форте Виктория, перевальном пункте на пути к развалинам Зимбабве. Там-то мы и навели справки о Джордже. Друзей у него явно было немного. Старые поселенцы, судя по всему, вполне терпимо относились к его сожительству с полукровкой, но очень злобствовали по поводу его табаководческих новшеств, которые, как выяснилось, были

насмешкой над агрономией и к тому же таинственным образом предавали белую расу. Мы так и не дознались, почему, если Джордж по-своему выращивает табак, черные начинают много о себе понимать, но старые поселенцы на этом настаивали. Недавние же иммигранты считали его нелюдимом, ну и конечно, раз он живет с какой-то негритоской, то о визитах и говорить нечего.

Я, признаться, и сама была несколько ошарашена этой новостью про темнокожую сожительницу. Я выросла в университетском городе, куда съезжались вест-индские, африканские и азиатские студенты всех цветов и оттенков, и мне внушили, что их надо избегать по соображениям репутации и по предписаниям религии. А через свое воспитание нелегко перешагнуть, если ты не бунтарь по натуре.

Но все же Джорджа мы в конце концов навестили: нас вызвалась подвезти компания, собравшаяся охотиться на севере страны. Он уже слышал о нашем прибытии в Родезию, и хотя при виде нас от сердца у него отлегло, но держался он поначалу донельзя угрюмо.

— Ну, Джордж, ну мы же хотели свалиться тебе как снег на голову.

— Ну, Джордж, ну откуда нам было знать, что ты

прослышал о нашем приезде. Слушай, Джордж, тут у вас новости разносятся со скоростью света.

— Ну, Джордж, ну мы же надеялись сделать тебе сюрприз.

Мы к нему подлещивались и нукали, пока он наконец не сказал:

— Ладно, чего там, приятно все-таки вас повидать. Вот кого не хватает, так это Кэтлин. Нам ох как надо держаться вчетвером. Пожили бы с мое в эдаком местечке, поняли бы, что такое старые друзья.

Он показал нам свои сараи для просушки табака. Он показал нам лужайку, на которой проводил опыты по случке жеребца с зеброй. Животные резвились порознь, не выказывая друг к другу ни приязни, ни отвращения.

— Это уже удавалось, — сказал Джордж. — Выводили чудесную скотину, поумнее мула и покрепче лошади. Но с этой парой мне что-то не везет, они друг на друга смотреть не хотят.

Чуть позже он сказал:

— Пойдем чего-нибудь выпьем, надо вас познакомить с Матильдой.

Она была темно-коричневая, с жалкой впалой грудью и круглыми плечами, нескладная, очень крутая с мальчишками-домочадцами. Мы вы-

пивали на веранде и все умасливали Джорджа, что было нелегко. Почему-то он стал распекать меня за то, что я не вышла за Скелетика, и говорил, как это, ей-богу, подло — так оплевать наше общее прошлое. Я переключилась на Матильду. Она ведь, наверно, спросила я, в здешних краях каждый кустик знает?

— Нет, — сказала она. — Я была приютная мою жизнь. Мне из места на место нет было нельзя как всякий грязный девчонка.

На всех словах она делала одинаковое ударение.

Джордж пояснил:

— Ее отец был белый, из городских чиновников. Ее воспитали в приюте, не как других цветных, понятно?

— Ну, я же не черноглазый Сузан от соседний двор, — подтвердила Матильда, — я нет.

Вообще же Джордж помыкал ею, как служанкой. Она была чуть ли не на пятом месяце, а он то и дело гонял ее за чем-нибудь. За мылом, например: Матильда сходила принесла мыло. Джордж сам себе варил туалетное мыло, горделиво нам предъявленное, он даже сообщил рецепт, но я его запоминать не стала: пока жива была, я любила хорошее мыло, а Джорджево пахло брильянти-

ном и, чего доброго, пачкалось.

— Вы коричневаешь? — спросила меня Матильда.

Джордж перевел:

— Она спрашивает — к тебе загар хорошо пристает?

— Нет, меня обсыпает веснушками.

— Моя невестка обсыпает веснушки.

Больше она ни слова не сказала Скелетику или мне, и мы ее с тех пор никогда не видели.

Через несколько месяцев я сказала Скелетику:

— Надоело мне таскаться с вами.

Не то чтобы он удивился моему дезертирству, но ужасно было, как я об этом сказала. Он посмотрел на меня с суровым укором.

— Выбирай выражения. Вернешься в Англию или останешься здесь?

— Пока останусь здесь.

— Ну ладно, ты хоть из виду не пропадай.

Я перебивалась гонорарами за колонку светских новостей в местном еженедельнике, хотя, конечно, вовсе не так собиралась я писать о жизни. Покинув замкнутый кружок археологов, я сверх всякой меры обзавелась друзьями. Меня ценили за то, что я недавно из Англии, и за любознательность. Холостяков и предприимчивых

семейств, с которыми я исколесила сотни миль по родезийским дорогам, было без счету, но, вернувшись на родину, я сохранила отношения только с одним семейством. Они как бы остались представительствовать за всех: тамошние похожи друг на друга, словно кучки идолов, разбросанные по пустыне.

Я виделась с Джорджем еще раз — в Булавайо, в гостинице. Мы пили виски со льдом и говорили о войне. Экспедиция Скелетика тогда решала, оставаться им в Африке или ехать домой. Они докопались до самого интересного, и, выберись я к ним в Зимбабве, Скелетик погулял бы со мной при лунном свете по развалинам храма, и я, может статься, увидела бы, как призраки финикийцев мелькают то впереди, то на стенах. Я не вовсе раздумала выйти за Скелетика: пусть только сначала доучится. Надвинувшаяся война висела у всех над душой, и я говорила об этом Джорджу, когда мы сидели и пили виски на гостиничной веранде под жгучим и ярким зимним солнцем африканского июля.

Джордж любопытствовал насчет моих отношений со Скелетиком. Он расспрашивал меня добрых полчаса и отстал лишь после моих слов:

— Джордж, ну что за напор?

Тогда он вдруг разволновался и сказал:

— Война не война, а я отсюда сматываюсь.

— От жары то ли еще на ум взбредет, — сказала я.

— Сматываюсь в любом случае. Я уйму денег просадил на этом табаке. Дядька мой уже с ума сходит. Такие здесь колонисты все мерзавцы: не угодишь им — со свету сживают.

— А как же Матильда? — спросила я.

— Что с ней сделается, — сказал он. — У нее сто человек родни.

Я уже слышала, что родилась девочка. Говорили, черная, как уголь, и копия Джорджа. И будто бы Матильда уже носит следующего.

— А как же с ребенком?

Он ничего на это не сказал. Он заказал еще виски и долго помешивал в своем стакане.

— Тебе двадцать один исполнилось, а ты меня не пригласила? — выговорил он наконец.

— Да я ничего не устраивала, Джордж, никак не отмечала. Ну, выпили рюмку-другую — Скелетик, два старых профессора с женами и я, понимаешь, Джордж.

— На день рождения не позвала, — сказал он. — Вот Кэтлин мне все время пишет.

Это он врал. Писала-то Кэтлин мне, и довольно

часто, предупреждая при этом: «Не говори Джорджу, что я тебе пишу: он обидится, а мне сейчас вовсе не до него».

— Ну вы же, — сказал Джордж, — вообще плюете на старых друзей, что ты, что Скелетик.

— Ну, Джордж! — сказала я.

— Вспомни, как мы дружили, — сказал Джордж. — Нет, ты вспомни, как мы дружили. — Его большие карие глаза налились слезами.

— Мне вообще-то надо идти, — сказала я.

— Да погоди ты. Погоди меня бросать. Я тебе кое-что расскажу.

— Хорошее что-нибудь? — И я изо всех сил улыбнулась. Ему всегда и на все требовалась повышенная реакция.

— Сама не понимаешь, какая ты везучая, — сказал Джордж.

— Да ну? — огрызнулась я. Иногда мне тошно становилось слушать, что я такая везучая. Бывало, украдкой пробуя писать о жизни, я понимала, чего стоит все мое везение. Когда в моих писаниях жизнь снова и снова не укладывалась и не изображалась, меня все больше затягивала, несмотря на мое беспечное житье, неутолимая тоска по ненаписанному. И так в бессильных писательских потугах я наливалась ядом, который

отравлял мне день за днем и брызгал на Скелетика или вообще на кого попало.

— Ни с кем ты не связана, — говорил Джордж. — Хочешь — приходишь, хочешь — уходишь. И все время что-нибудь подвертывается. Ты свободна — и сама не знаешь своего счастья.

— Помалкивал бы насчет свободы, — отрезала я. — У самого-то богатый дядюшка.

— А я ему надоел, — сказал Джордж. — С него вроде хватит.

— Ну и что, у тебя еще все впереди. Что ты хотел мне сказать?

— Секрет, — сказал Джордж. — Помнишь, у нас бывали с тобой секреты?

— Бывали, бывали.

— Ты меня продавала?

— Ну что ты, Джордж. — По правде-то я не помнила ни одного из бессчетных секретов школьных дней или даже более поздних.

— Так вот, это секрет, учти. Уговор — не выдавать.

— Договорились.

— Я женат.

— Джордж, ты женат? На ком это?

— На Матильде.

— Какой ужас! — выпалила я, не подумавши, и

он согласился.

— Да, ужасно, а что было делать?

— Со мной мог посоветоваться, — важно сказала я.

— Я тебя на два года старше. Нужны мне твои советы, Иголка сопливая.

— Тогда и сочувствия не жди.

— Ничего себе друзья у меня, — сказал он. — Сколько лет, можно сказать, прожили бок о бок…

— Ну, Джордж, бедняга! — сказала я.

— Тут на трех белых мужчин одна белая женщина, — сказал Джордж. — В глуши и вовсе не увидишь белой, а увидишь — так она тебя не увидит. Что мне было делать? Мне нужна была женщина.

Меня чуть не стошнило. Я получила суровое шотландское воспитание, а фраза «Мне нужна была женщина», которую Джордж к тому же два раза повторил, была омерзительно дешевая.

— Матильда прямо осатанела, — сказал Джордж, — после того, как вы со Скелетиком нас навестили. У нее друзья — миссионеры, так она собрала вещи — и к ним.

— Ну и пусть бы, — сказала я.

— Я кинулся за ней, — сказал Джордж. — Она долбила: женись, женись, я и женился.

— Какой же это секрет, — сказала я. — Такие новости о смешанных браках мигом облетают всю окрестность.

— Об этом я позаботился, — сказал Джордж. — Может, я и свихнулся, но я ее все-таки повез в Конго, там и поженились. Она обещала держать язык за зубами.

— Ну и как же, ты ведь не можешь теперь улизнуть и бросить ее? — спросила я.

— Нет, я отсюда сматываюсь. Хватит с меня этой женщины и этой страны. Я понятия не имел, каково оно окажется. Два года в здешних краях и три месяца женатой жизни меня доконали.

— Ты что, разведешься с ней?

— Нет, Матильда католичка. Она развода не даст.

Джордж здорово набрался виски со льдом, и я от него не особенно отстала. Его карие глаза заблестели и переполнились, когда он рассказывал, как дядя воспринял его злосчастье.

— Только я ему, конечно, не написал, что женился, это было бы для него слишком. Он все-таки старый колонист и закоренел в предрассудках. Я написал, что у меня ребенок от цветной и что будет еще один, и он меня понял. И сразу прилетел на самолете — несколько недель тому назад. И

назначил ей постоянное пособие — лишь бы не трепалась про меня направо и налево.

— И она не будет?

— Конечно, не будет, а то денег не получит.

— Но она ведь твоя жена и в любом случае может требовать с тебя свое.

— Будет требовать как жена — получит гораздо меньше. Матильда знает, что делает, она такая жадина. Нет, она не будет трепаться.

— Только, Джордж, ты же не сможешь теперь снова жениться?

— Не смогу, если она не умрет, — сказал он. — А она здоровая, как вол, хоть запрягай.

— Ну, Джордж, мне тебя очень жалко, — сказала я.

— И на том спасибо, — сказал он. — Только я по твоему подбородку вижу, что ты меня осуждаешь. Мой старый дядька — и тот понял.

— Ой, Джордж, ну я тоже все понимаю. Тебе, наверно, было очень одиноко.

— Даже на день рождения меня не позвала. Если бы вы со Скелетиком так меня не третировали, я бы никогда не потерял голову и не женился бы на этой бабе, никогда.

— Ты же меня на свадьбу не пригласил, — сказала я.

— Да ты прямо бешеная кошка, а не Иголка. Разве ты такая была раньше, когда, помнишь, сочиняла и рассказывала нам всякие байки?

— Ладно, я пошла, — сказала я.

— Смотри же, не проболтайся, — сказал Джордж.

— А можно, я Скелетику скажу? Он тебе будет очень сочувствовать, Джордж.

— Никому чтоб не говорила. Секрет есть секрет. Уговор.

— Ладно, уговор, — сказала я. Я поняла, что ему хочется как-то связать нас этим секретом, и подумала: «Что ж, наверно, ему очень одиноко. Секрет так секрет — никому это не повредит».

Я возвратилась в Англию с экспедицией Скелетика перед самой войной.

Джорджа я увидела снова перед самой моей смертью, пять лет назад.

Отвоевав, Скелетик вернулся к учебе. Ему надо было сдать за восемнадцать месяцев еще два экзамена, и я думала, что вот он их сдаст и я, пожалуй, выйду за него замуж.

— Повезло тебе со Скелетиком, — говорила мне Кэтлин во время наших субботних утренних прогулок по антикварным магазинам и барахолкам.

Годы на ней очень сказались. Наши оставшиеся

в живых шотландские родственники намекали, что пора бы нам уже обзавестись семьями. Кэтлин была чуть моложе меня, но выглядела куда старше. Она понимала, что шансы ее падают, однако в то время это ее как будто не очень волновало. Я же думала, что за Скелетика надо выйти главным образом затем, чтобы поехать с ним в экспедицию по Месопотамии. Я подогревала в себе охоту к замужеству постоянным чтением книг о Вавилоне и Ассирии; наверно, Скелетик это чувствовал, потому что снабжал меня книгами и даже начал посвящать в искусство расшифровки клинописи.

На самом же деле Кэтлин была очень озабочена замужеством. Она погуляла во время войны не меньше моего, была даже помолвлена с американским морским офицером, но его убили. Она владела антикварной лавкой в Ламбете, торговля шла хорошо, жила она на Челси-сквер, но при всем том, видно, хотела быть замужем и иметь детей. Она останавливалась и заглядывала во все колясочки, оставленные матерями у входа в магазин или возле подъезда.

Я ей как-то сказала, что такая привычка была у поэта Суинберна.

— Правда? Ему хотелось своего ребенка?

— Да вряд ли. Просто он любил младенцев.

Незадолго до последнего экзамена Скелетик заболел, и его отправили в швейцарский санаторий.

— Опять-таки тебе повезло, что не успела за него выйти, — сказала Кэтлин. — Еще подцепила бы ТБЦ.

Счастливица, удачница… все кругом твердили мне это по разным поводам. Меня это раздражало: оно хоть и было верно, однако не в том смысле, в каком говорилось. Мне очень легко удавалось прокормиться: рецензии на книги, мелкие поручения от Кэтлин, несколько месяцев я проработала в том же рекламном агентстве, составляя речи о литературе, искусстве и жизни все для тех же промышленных магнатов. Я по-прежнему готовилась писать по-настоящему, и мне казалось, что в этом моя судьба, пусть неблизкая. А пока что я жила как зачарованная; все, что надо, всегда подвертывалось само без особых усилий, не как у других. Я вдумалась в свое везение, когда стала католичкой и прошла конфирмацию. Епископ касался щеки конфирманта, символически напоминая о страданиях, которые полагаются на долю каждого христианина. И я подумала: вот и опять повезло — эдакое легкое касание взамен

положенного дьявольского надругательства.

За два года я дважды навестила Скелетика в его санатории. Он почти выздоровел и рассчитывал вернуться домой через несколько месяцев. После второй поездки я сказала Кэтлин:

— Пожалуй, выйду-ка я за Скелетика, когда он поправится.

— Решайся, Иголка, раз и навсегда, без всяких «пожалуй». Не ценишь ты, как тебе везет, — сказала она.

Это было пять лет назад, я тогда жила последний год. Мы с Кэтлин очень сблизились. Мы встречались по нескольку раз на неделе, а после наших субботних вылазок на Портобелло-Роуд я часто сопровождала Кэтлин к ее тетушке в Кент и оставалась там на субботу и воскресенье.

Как-то в июне мы с Кэтлин условились вместе пообедать — она позвонила, что есть новость.

— Представляешь, кто сегодня явился ко мне в магазин? — сказала она.

— Кто?

— Джордж!

Мы уж наполовину похоронили Джорджа. От него лет десять как не было писем. В начале войны доходили слухи, будто он держит притон в Дурбане, а потом ни вестей, ни слухов. Не мешало

бы о нем и разузнать, если б нас что-нибудь на это подвигло.

Однажды, когда о нем зашла речь, Кэтлин сказала:

— Надо бы мне как-то связаться с беднягой Джорджем. Одного боюсь — переписку заведет. И потребует, чтобы ему отвечали раз в месяц.

— Нам надо держаться вчетвером, — передразнила я.

— Ох, представляю себе, как у него глаза при этом укоризненно переполняются, — сказала Кэтлин.

Скелетик сказал:

— Да он, наверно, освоился там с кофейной сожительницей и развел дюжину детишек орехового цвета.

— Вероятнее, что умер, — сказала Кэтлин.

Я не стала рассказывать ни о супружестве Джорджа, ни вообще о его излияниях тогда в гостинице. Годы шли, и мы упоминали о нем только походя, как о человеке для нас более или менее умершем.

Когда Джордж опять возник, Кэтлин разволновалась. Она забыла, как она его в свое время терпеть не могла, и теперь повторяла:

— Как это было дивно — милый старый Джордж.

Он так истосковался по друзьям, отбился от своих, затерялся.

— Видно, материнской заботы не хватает.

Кэтлин не заметила ехидства. Она заявила:

— Ну да, вот именно. Джорджу всегда этого не хватало, я теперь поняла.

Она как будто готова была резко изменить суждение о Джордже в лучшую сторону. За утро он успел рассказать ей о своем дурбанском притоне военных лет и о своих недавних охотничьих экспедициях. О Матильде явно и речи не было. Кэтлин сказала мне, что он располнел, но ему это даже идет.

Мне любопытно было поглядеть на обновленного Джорджа, но назавтра я уезжала в Шотландию и увиделась с ним только в сентябре, перед самой смертью.

Из писем Кэтлин ко мне в Шотландию я поняла, что с Джорджем она видится очень часто, что ей с ним приятно, что она каждый раз ждет не дождется встречи. «Ты сама удивишься, насколько он теперь другой». Должно быть, он целыми днями околачивался в магазине возле Кэтлин. «Он чувствует себя при деле», — как она по-матерински выразилась. У него была престарелая родственница в Кенте, и он туда ездил на субботу-

воскресенье; старушка жила за несколько миль от тетки Кэтлин, так что Кэтлин и Джордж могли выезжать вместе в субботу и бродить вдвоем по сельским окрестностям.

«Вот ты увидишь, что Джордж совсем уже другой», — сказала Кэтлин в сентябре, когда я вернулась в Лондон. Мы должны были свидеться втроем ввечеру — это было в субботу. Тетка Кэтлин уехала за границу, служанку отпустили, и нам с Кэтлин предстояло развлекать друг друга в пустом доме.

Джордж уехал из Лондона в Кент за два дня до этого. «По-настоящему взялся за дело, помогает там убирать урожай», — любовно сказала мне Кэтлин.

Мы с Кэтлин собирались поехать вместе, но в ту субботу ее непредвиденно задержали в Лондоне по какому-то делу. Было договорено, что я отправляюсь вперед и позабочусь о продуктах на всю компанию: Кэтлин пригласила Джорджа с нами пообедать.

— Я подъеду к семи, — сказала она. — Ты ведь не против, что дом пустой? Сама-то я терпеть не могу приезжать в пустые дома.

Я сказала, что нет, я пустые дома люблю.

Очень даже оказался милый дом, и очень мне

понравился: обиталище викария XVIII века, кругом восемь пустых акров, комнаты большей частью закрыты и завешены, и всего-то одна служанка. Оказалось, что мне нет нужды идти за покупками: тетка Кэтлин оставила массу вкуснятины с пришпиленными записками: «Съешьте это оч. прошу см. тж. в хол-ке» или «Хватит накормить троих см. тж. 2 бтл. домашн. вина на сл. вечеринки угл. кух. стол». Я разыскивала указанное по тихим и прохладным хозяйственным помещениям и чувствовала себя кладоискательницей. Дом без людей — но по всем признакам обитаемый — может быть прекрасным, спокойным пристанищем. Тем более что люди обычно занимают в доме несоразмерно много места. Когда я бывала здесь раньше, комнаты казались прямо переполненными: Кэтлин, ее тетка и маленькая толстая служанка сновали туда-сюда. Когда я пробиралась по обитаемой части дома, раскрывала окна и впускала бледно-золотистый сентябрьский воздух, я, Иголка, не сознавала себя во плоти, я могла быть призраком.

Осталось только пойти за молоком. Я подождала до четырех, чтобы подоили коров, и отправилась на ферму через два поля позади фруктового сада. Там-то, когда скотник вручал

мне бутылку с молоком, я и увидела Джорджа.

— Привет, Джордж, — сказала я.

— Иголка! Ты что здесь делаешь? — удивился он.

— Молоко покупаю, — сказала я.

— И я тоже. Ну, надо сказать, приятная встреча.

Мы расплатились, и Джордж сказал:

— Я с тобой немного пройдусь. Только рысью, а то моя старая кузина ждет не дождется молока к чаю. А что Кэтлин?

— Задержалась в Лондоне. Будет позже — наверно, прямо к семи.

Мы пересекли первое поле. Джорджу надо было налево, на дорогу.

— Ну что ж, стало быть, нынче вечером свидимся? — сказала я.

— Да, поболтаем о днях минувших.

— Чудненько, — сказала я.

Но Джордж прошел за мной на другое поле.

— Слушай-ка, Иголка, — сказал он. — У меня к тебе два слова.

— Вечером, вечером, Джордж. А то твоя кузина молока заждалась. — Я заметила, что разговариваю с ним, как с ребенком.

Мы пошли через второе поле. Я надеялась по-

быть в доме одна еще пару часов и настроена была нетерпеливо.

— Смотри-ка, — вдруг сказал он, — тот самый стог.

— Да-да, — рассеянно отозвалась я.

— Давай посидим там, поговорим. Как бывало, на стогу полежишь. У меня сохранилась та фотография. Помнишь, как ты…

— …нашла иголку, — поторопилась я, чтобы покончить с этим.

Отдохнуть, однако же, было приятно. Стог немного завалился, но пристроились мы там неплохо. Я зарыла свою бутылку в сено, чтобы молоко не нагрелось. Джордж осторожно поставил свою внизу под стогом.

— Моя старая кузина рассеянна до невозможности, бедняжечка. Она немного не в себе. У нее никакого чувства времени. Я ей скажу, что ходил всего десять минут, и она поверит.

Я хихикнула и посмотрела на него. Лицо его стало куда шире прежнего, а губы сочные, широкие, налитые как-то не по-мужски. Его карие глаза по-прежнему переполняла смутная мольба.

— Значит, все-таки решила после стольких-то лет выйти за нашего Скелетика?

— Право, не знаю, Джордж.

— Ну, ты его и поводила за нос.

— Это уж не тебе судить. Позволь мне иметь свои резоны.

— Да не брыкайся ты, — сказал он, — я просто шучу. — В доказательство он вырвал клок сена и провел мне им по лицу. — Знаешь ли, — сказал он затем, — по-моему, вы со Скелетиком все-таки плоховато обошлись со мной тогда, в Родезии.

— Ну, Джордж, мы были заняты. Мы тогда вообще были моложе, много еще надо было сделать и увидеть. Да и к тому же мы ведь могли еще сто раз с тобою встретиться, Джордж.

— Себялюбие, и не более того, — сказал он.

— Ну ладно, Джордж, я пошла. — И я стала слезать со стога.

Он подтянул меня обратно.

— Погоди, мне надо тебе кое-что сказать.

— Надо, так говори.

— Сперва уговор — ни слова Кэтлин. Она пока не велела говорить, чтобы ты от нее самой узнала.

— Ладно. Уговор.

— Я женюсь на Кэтлин.

— Но ты уж и так женат.

Иногда до меня доходили вести о Матильде от того семейства в Родезии, с которым я поддержи-

вала переписку. Они ее называли «Джорджева смуглая леди» — и, конечно, не знали, что он на ней женат. Она, видно, здорово пообчистила Джорджа (так мне писали), а теперь только и делает, что шляется, вся расфуфырившись, ни о какой работе и слышать не хочет и сбивает с панталыку скромных цветных девушек по всей округе. Видимо, ее там считали живым примером несусветного идиотизма Джорджа: вот, мол, как не надо.

— Я женился на Матильде в Конго, — заметил Джордж.

— И все-таки это будет двоеженство, — сказала я.

От слова «двоеженство» он рассвирепел. Он рванул пук сена, будто собрался ткнуть мне им в лицо, но пока что овладел собой и стал меня этим сеном шутливо обмахивать.

— Не уверен я, что какой-то там брак в Конго и вообще действителен, — продолжал он. — А в моей жизни он ровным счетом ничего не значит.

— Нет, это не дело, — сказала я.

— Мне нужна Кэтлин. Она такая добрая. По-моему, мы с Кэтлин всегда были предназначены друг другу.

— Мне надо идти, — сказала я.

Но он прижал мне ноги коленом, и я не могла двинуться. Я сидела смирно, с отсутствующим видом. Он пощекотал мне лицо соломинкой.

— Улыбнись, Иголка, — сказал он, — поговорим, как прежде.

— Ну?

— Никто не знает, что я женат на Матильде, кроме тебя и меня.

— И самой Матильды, — сказала я.

— Она помолчит, пока ей за это платят. Дядька мой ассигновал ей ежегодное содержание, уж за этим юристы присмотрят.

— Пусти-ка меня, Джордж.

— Ты обещала меня не выдавать, — сказал он, — уговор был.

— Да, был уговор.

— И ты теперь выйдешь за Скелетика, мы переженимся между собой, как надо, как давно надо было. Надо было, но молодость, наша молодость нам помешала, ведь верно?

— Жизнь нам помешала, — сказала я.

— Ну вот, все и уладится. Ты ведь не выдашь меня, правда? Ты обещала! — Он отпустил мои ноги. Я от него слегка отодвинулась.

Я сказала:

— Если Кэтлин вздумает выйти за тебя, я скажу

ей, что ты женат.

— Нет, не сделаешь мне такой пакости, а, Иголка? Ты будешь счастлива со Скелетиком и не станешь препятствовать моему…

— Ничего не поделаешь, Кэтлин — моя лучшая подруга, — перебила я.

Он посмотрел на меня, будто сейчас убьет, и немедля убил — он натолкал мне в рот сена, до отказа, придерживая мое тело коленями, чтобы я не дергалась, и зажав мои кисти своей левой ручищей. Последнее, что я видела в этой жизни, был его налитой алый рот и белая полоска зубов. Кругом не было ни души, и он тут же захоронил мое тело: разрыл сено, чтобы получилась выемка по длине трупа, и накидал сверху теплой сухой трухи, так что получился потайной холмик, очень естественный в полуразваленном стогу. Потом Джордж слез, взял бутылку с молоком и отправился своей дорогой. Наверно, поэтому он так и побледнел, когда я почти через пять лет остановилась у лотка на Портобелло-Роуд и дружелюбно сказала: «Привет, Джордж!»

«Убийство на стогу» было едва ли не коронным преступлением того года.

Мои друзья говорили: «Вот кому жить бы да жить».

Мое тело искали двадцать часов, и, когда нашли, вечерние газеты оповестили: «Иголку» нашли в стоге сена!»

Кэтлин, рассуждавшая с католической точки зрения, не для всех привычной, заметила: «Она была на исповеди за день до смерти — вот счастливица!»

Беднягу скотника, который продавал нам молоко, раз за разом тягали в местную полицию, а потом в Скотленд-ярд. Джорджа тоже. Он признал, что расстался со мной возле стога, но, по его словам, не задерживался там ни минуты.

— Вы ведь с ней не виделись десять лет? — спросил его инспектор.

— Около того, — сказал Джордж.

— И не остановились поболтать?

— Нет. Наговорились бы позже, за обедом. Моя кузина заждалась молока, и я торопился.

Старушка кузина присягнула, что он отлучался всего на десять минут, и свято верила в это до дня своей смерти, последовавшей через несколько месяцев. На пиджаке Джорджа были обнаружены микроскопические частицы сена, но в этот урожайный год такие частицы имелись на пиджаке любого мужчины в округе. К несчастью, у скотника руки были еще крепче и мускулистее,

чем у Джорджа. На моих запястьях, как показало лабораторное обследование моего трупа, остались следы именно от таких рук. Но одних следов на запястьях было недостаточно, чтобы служить уликой против того или другого. Вот не будь я в джемпере, синяки бы как раз, может, и пришлись бы по чьим-нибудь пальцам.

Чтобы доказать полиции, что Джорджу совершенно незачем было меня убивать, Кэтлин заявила, что они помолвлены. Джордж счел, что это глуповато. Поинтересовались его житьем в Африке, докопались до сожительства с Матильдой. Но не до брака — кому могло прийти в голову поднимать конголезские архивы? Да и тут мотива для убийства не обнаружилось бы. И тем не менее Джордж вздохнул спокойно только после того, как следствие миновало оставшийся в тайне брак. Нервное расстройство он словно подгадал к таковому же у Кэтлин, они почти одновременно оправились от потрясения, а когда поженились, полиция давным-давно уже допрашивала летчиков из казармы за пять миль от дома тетки Кэтлин. По поводу этих допросов летчики немало волновались и чрезвычайно много выпили. «Убийство на стогу» осталось одним из таинственных преступлений года.

А заподозренный скотник вскоре эмигрировал в Канаду и начал там новую жизнь на деньги Скелетика, который ему очень сочувствовал.

Когда в ту субботу Кэтлин увела Джорджа домой с Портобелло-Роуд, я подумала, что, быть может, мы с ним снова увидимся в сходных обстоятельствах. В следующую субботу я его высматривала — и точно, он появился, уже без Кэтлин, в тревоге и в надежде обмануться.

Надежды его были недолговечны. Я сказала:

— Привет, Джордж!

Он уставился на меня — и застрял на оживленной улице, среди рыночной толпы. Я подумала про себя: «Скажи пожалуйста, будто сеном объелся». На эту мысль, смехотворно-поэтичную, как сама жизнь, наводили его пышные соломенно-желтые усы и борода вокруг сочного рта.

— Привет, Джордж! — снова сказала я.

Утро было благоприятное: я, может быть, сказала бы по наитию и еще что-нибудь, но он не стал дожидаться. Он свернул в переулок, выбежал на другую улицу, потом на третью — и запетлял, спасаясь от Портобелло-Роуд.

Но через неделю он явился опять. Бедняжка Кэтлин привезла его на машине. Она остановилась в начале улицы и вылезла вместе с ним, крепко

держа его под руку. Я огорчилась, что Кэтлин не обращает никакого внимания на искрящиеся прилавки. Сама я уже подметила дивную шкатулку вполне в ее вкусе и еще пару серебряных сережек с эмалью. Она же не замечала этих изделий, а жалась к Джорджу, и — бедная Кэтлин! — ужас сказать, как она выглядела.

И Джордж осунулся. Глаза его сузились, как от неотпускающей боли. Он продвигался по улице, волоча Кэтлин и колыхаясь вместе с нею из стороны в сторону в русле уверенной толпы.

— Ну знаешь, Джордж! — сказала я. — Ты совсем худо выглядишь, Джордж!

— Гляди! — сказал Джордж. — Вон там, за скобяным товаром. Это она, Иголка!

Кэтлин плакала.

— Вернемся домой, милый, — сказала она.

— Ну и вид у тебя, Джордж! — сказала я.

Его забрали в лечебницу. Он вел себя преспокойно, только в субботу утром они не знали, что с ним делать, — ему нужно было на Портобелло-Роуд.

И через пару месяцев он все-таки сбежал. В понедельник.

Его искали на Портобелло-Роуд, но он поехал в Кент, в деревню неподалеку от «убийства на

стогу». Там он пошел в полицию и во всем сознался, но по разговору его было понятно, что он не в себе.

— Я сам видел, три субботы подряд Иголка там шьется, — объяснил он, — а они сунули меня к душевнобольным, и я сбежал, пока санитары возились с новеньким. Помните, Иголку убили, — так вот, это я убил. Я вам сказал всю правду, и теперь она, сука Иголка, будет молчать.

Мало ли несчастных и полоумных сознаются в каждом нераскрытом убийстве? Полиция вызвала санитарную машину, и его отвезли в знакомую лечебницу. Пробыл он там недолго. Кэтлин продала свой магазин и взяла его под домашний присмотр. Но всякое субботнее утро ей тоже давалось нелегко. Он все рвался на Портобелло-Роуд, повидаться со мной, и снова хотел ехать доказывать, что это он убил Иголку. Однажды он принялся рассказывать о Матильде, но Кэтлин так нежно и внимательно слушала его, что у него, должно быть, не хватило храбрости припомнить толком, что он хотел сказать.

Скелетик еще со времени убийства был с Джорджем холодноват. Но Кэтлин он жалел. Он-то их и убедил эмигрировать в Канаду, чтоб Джордж был подальше от Портобелло-Роуд.

В Канаде Джордж несколько пришел в себя, но прежним Джорджем ему уже, конечно, не быть, как замечает Кэтлин в письме к Скелетику. «Этой трагедии на стогу сена Джордж просто не вынес, — пишет она. — Я иногда больше жалею Джорджа, чем бедную Иголку. Однако за упокой души Иголки я очень часто заказываю мессы».

Вряд ли мы с Джорджем увидимся еще на Портобелло-Роуд. Он подолгу разглядывает тот свой затертый снимок, где мы лежим на стогу. Кэтлин эту фотографию не любит, да оно и неудивительно. А по-моему, снимок веселенький, только я не думаю, что мы в самом деле были такие милые, как там. Мы лежим, глядя во все глаза на пшеничное поле: Скелетик с ироническим видом, я — иначе, надежнее, чем остальные, а Кэтлин кокетливо подперлась локтем, и на лице каждого из нас заснят отблеск земной прелести, которой словно и конца не будет.

Загадка
Джон Фаулз

Кто таков — помутнел, почернел и потом исподволь тихо яснеет?
"Дао дэ цзин",
Трактат о пути и добродетели.

Чаще всего пропадают без вести девушки лет до двадцати на пару с юношами-сверстниками — в большинстве своем из рабочих семей, и семей, как правило, неблагополучных. Нередки и человеческие пропажи под сорок лет, но тут уж не из рабочих: это отчаявшиеся жены и ошалелые мужья рвутся из тисков брака и уз семейной скуки. За порогом сорокалетия очень мало кто пропадает всерьез и надолго — разве что опять-таки бедняки, полунищие, полубродяги, те, у кого жизнь окончательно не сложилась.

Так что исчезновение Джона Маркуса Филдинга с точки зрения социальной статистики было крайне маловероятным. Пятидесяти семи лет от роду, состоятельный, счастливый в браке — сын и две дочери; свой человек в Сити, деятельный, и весьма деятельный, член правления ряда компа-

ний; владелец великолепной, от шекспировских времен уцелевшей усадьбы на востоке Англии: 1800 акров и соответствующий доход; совладелец (правда, скорее бездеятельный) своры гончих, первоклассный стрелок… словом, ни дать ни взять, образец преуспеяния, столп общества — делец и помещик, деревенский сквайр. Многовато, и надоест разрываться надвое: оно бы и понятно, но нет — вдобавок Филдинг был еще членом парламента от консерваторов.

В пятницу, 13 июля 1973 года, в 14.30 по Гринвичу пожилая секретарша мистера Филдинга, некая мисс Парсонс, проводила взглядом его такси, отъезжавшее от лондонской квартиры в Найтсбридже. У него было совещание в Сити; затем поезд 17.22 и встреча с избирателями. Поезд прибывал на станцию около семи; час-другой ему предстояло объясняться; посредник, приглашенный к ужину, ждал с машиной — до Тетбери-Холла было миль двенадцать.

Филдинг очень ценил личные, непосредственные контакты и показывался избирателям не реже двух раз в месяц. Программа этих неминуемых встреч была накрепко и надежно затвержена.

На совещание в Сити он между тем не явился. Ему позвонили на квартиру, но мисс Парсонс

отпросилась в пятницу пораньше и уехала к родичам в Гастингс. Прислуга покончила с делами и удалилась. Обычно во всем пунктуальный, будь то, присутствие или заблаговременно оговоренное отсутствие, Филдинг был прощен: посовещались без него. Первым заподозрил неладное Драммонд, агент-посредник, когда его патрон не прибыл назначенным поездом. Он вернулся в местное партийное отделение, позвонил в Лондон — квартира не отвечала; в усадьбу — но миссис Филдинг могла лишь недоумевать. Она говорила с мужем по телефону в четверг утром и ожидала его нынче к вечеру, да, поезд 17.22, очень странно, что он не приехал. Впрочем, может быть, он задержался из-за сына, аспиранта Лондонского экономического училища. Питер, помнится, обещал прогостить уик-энд в Тетбери со своей девушкой. Посредник обещал позвонить через полчаса, если депутат не объявится.

Она, разумеется, и сама набрала их лондонский телефон, потом номер мисс Парсонс — но та была уже в Гастингсе, — наконец, позвонила в Айлингтон, где сын ее снимал квартиру с двумя приятелями аспирантами. Один из них ответил, что про Питера толком ничего не известно: "кажется", он где-то в городе и вернется к ночи.

Миссис Филдинг сделала последнюю попытку — но и хэмпстедский телефон девушки Питера отозвался долгими гудками. Впрочем, пока что тревожиться было нечего. Скорее всего, муж ее просто опоздал к поезду и приедет следующим — что-нибудь задержало, а оповестить ее не было ни времени, ни особой надобности. Вот-вот позвонит Драммонд, и все разъяснится.

Он тоже предположил опоздание либо дорожную дремоту — и послал человека на станцию встречать очередной лондонский и обратный поезд. Позвонил он, однако, в растерянности: посланец вернулся ни с чем. Теперь уж даже миссис Филдинг слегка растерялась и несколько встревожилась: сердечный приступ, несчастный случай? Но у Маркуса всегда при себе какие-нибудь бумаги, документы: не сможет сам назваться, опознают и так, без всякого труда. Здоровье у него крепкое, сердце в порядке, вообще никаких жалоб. Миссис Филдинг отгоняла смутное опасение совсем другого рода, опасение стареющей женщины. Как раз в этом году ее очень потрясло скандальное дело Лэмбтон-Джеллико: но ведь и муж говорил о нем с явным омерзением, и нынешняя вседозволенность была ему всегда противна — на словах, во всяком случае, а на

деле… нет, все-таки не с чего его подозревать.

Минул еще час, а Филдинг все не появлялся — ни у Драммонда, ни в Тетбери-Холле, Рьяных избирателей распустили с извинениями, ничуть не ведая, что через три дня этот маленький казус займет первые полосы газет. Драммонд согласился подежурить у себя в кабинете; ужинать собирались в тесном кругу, никаких приглашенных не было, так что хоть с ужином никаких хлопот. Если что, они созвонятся, в девять — в любом случае. Тут-то миссис Филдинг и разволновалась не на шутку: немая, лондонская квартира пугала ее. Она позвонила на станцию, чтобы проверили номер, — нет, все в порядке. Обзвонила высокопоставленных знакомых: а вдруг Маркус — хотя вот уж он не рассеянный — забыл ей сказать, что зван в театр или на обед? Ей вежливо отвечали, что такой-то за границей или уехал за город. Она опять позвонила сыну — но теперь уж там никто не подходил. Девицы Питера по-прежнему не было дома, мисс Парсонс тоже. Миссис Филдинг изнывала от мучительной, беспомощной тревоги; но она была женщина собранная и практичная. Она вызвонила одного из близких лондонских друзей — который, кстати, и жил там поблизости, за две-три минуты ходьбы, — и

попросила его не счесть за труд, договориться со швейцаром и зайти к ним на квартиру. Потом позвонила швейцару, распорядилась выдать ключи и спросила, не видал ли он случаем ее мужа. Не видал: он заступил в шесть, мистер Филдинг не проходил ни в дом, ни из дому.

Минут через десять друг семьи позвонил из квартиры. Маркуса нет, в остальном все как обычно. На столике мисс Парсонс лежит календарь: да, вот и распорядок на сегодня. Утром — прочерк: это понятно, пятничное утро отводилось для наименее срочной депутатской корреспонденции. В три — совещание; по счастью, с одним членом директората компании миссис Филдинг была знакома лично. Через минуту-другую она узнала, что ее муж исчез еще до поезда 5.22 и что мисс Парсонс зловещим образом пропала уже в три (про ее невинную поездку в Гастингс ничего не было известно). Происшествие — какое бы то ни было — отодвигалось назад, чуть ли не на вчера. Правда, утром в четверг Маркус был на квартире, она сама с ним говорила в девять часов; но с тех-то пор ничего неизвестно — и наверняка что-то случилось.

Драммонд согласился приехать в Холл — обсудить, что дальше, а миссис Филдинг тем временем

снеслась с местным полицейским участком. Она пояснила, что это просто так… но все-таки нельзя ли проверить лондонские больницы и регистрацию несчастных случаев? Вскоре после приезда Драммонда из участка сообщили: за последние двадцать четыре часа нет ни одной неопознанной жертвы несчастного случая иди сердечного приступа. Перешли к другим возможностям: может быть, политическое похищение? Но в ближневосточном конфликте Филдинг был скорее на арабской стороне, так что "Черный Сентябрь" избрал бы какого-нибудь другого парламентария; Ирландская Республиканская Армия тоже вряд ли на нем бы остановилась, хоть он и отстаивал закон, порядок и сильную руку в Ольстере. Нет, он ничем не выдавался; и все его нечастые парламентские речи касались финансов или сельского хозяйства.

Драммонд заметил, что похитители не стали бы хранить молчание. А если похищение чисто уголовное… но ведь Филдинг не такой уж богач, да к тому же его дочерей, путешествующих за границей, Каролину или Франческу, похитить куда легче и толку не в пример больше. Тоже, впрочем, пустая гипотеза — давно бы уж объявили и потребовали выкуп. Чем дольше они

обсуждали, тем больше уверялись, что вернее всего — временная амнезия. Но если и амнезия, то все равно ведь: такие тоже понимают, что им отшибло память, и мучаются, припоминая, кто они и где живут? И обращаются ко всем встречным? Местного врача оторвали от телеэкрана, и он дал импровизированную консультацию. Что, мистер Филдинг проявлял в последнее время забывчивость? Был озабочен, напряжен? Дурное настроение, беспочвенные тревоги? Нет, ничего подобного. Может быть, внезапное потрясение? Тоже нет. Тогда вряд ли амнезия. И доктор мягко предложил сделать то, что уже было сделано, — навести справки по больницам.

А миссис Филдинг опять начала подозревать чудовищный, отвратительный интимный скандал. Раньше она воображала бездыханное тело на полу лондонской квартиры, теперь — столик на двоих и ужин при свечах в парижском ресторане. Лицо мисс Парсонс в этом зыбком свете как-то не вырисовывалось; однако же неспроста она провела этим летом в Лондоне куда меньше обычного… Вот-вот зазвонит телефон, и голос Маркуса расторгнет их брак, разрушит взлелеянное благополучие… такое подлинное, такое прочное — в их кругу прочнее ни у кого не было.

В их кругу — нет; стало быть, что-то очень потаенное, за пределами понятного мира: какая-нибудь девушка из простых, кто-то, совсем уж неясно кто. И миссис Филдинг решила про себя: на сегодня хватит. Она тоже была из консерваторов и строго различала частные прегрешения и публичные проступки. Мало ли у кого что бывает в жизни; главное, чтобы об этом не знали.

И словно вдогад позвонил полицейский инспектор: не сможет ли помочь? Нет, осадила она его нарочито беззаботным голосом, нет, а то мы тут сделаем из мухи слона, и не дай бог, пронюхает пресса. То же самое было под конец сказано и Драммонду. Наверняка где-то кроется очень простое объяснение: телеграмма не дошла, мисс Парсонс забыла позвонить — ну и так далее — словом, до завтрашнего утра тревогу поднимать рано. А утром Питер съездит на квартиру, и, может быть, все разъяснится само собой.

Слуга-филиппинец затворил за Драммондом дверь в самом начале двенадцатого. Посредник сделал свои выводы; он тоже предвидел скандал, вовсе не политического свойства, и его это шокировало — миссис Филдинг еще вполне привлекательная женщина и самая подходящая супруга для парламентария.

За полночь позвонил наконец и блудный сын Питер. Сперва он просто не мог взять в толк, что ему говорит мать. Еще вчера вечером они с Изабеллой и отцом обедали в ресторане, отец был такой, как всегда, и планы на уик-энд менять отнюдь не собирался. Все же, вняв материнской тревоге, он согласился немедля поехать в Найтсбридж и там переночевать. Миссис Филдинг пришло в голову, что если ее мужа все-таки похитили, то вдруг похитители знают только его лондонский адрес — и безуспешно, вроде нее, звонят туда весь вечер.

Питер перезвонил в час без четверти и лишний раз подтвердил, что квартира в полном порядке. Среди входящих бумаг и почты на столе у мисс Парсонс ничего особенного. В отцовской спальне — ни малейшего признака поспешных сборов; содержимое чемоданов и саквояжей отвечало беглому перечню. Нигде не было записи насчет экстренного звонка жене или посреднику. Календарь, как обычно, заполнен на всю будущую неделю, начиная с утреннего совещания и ленча в полдень шестнадцатого. Оставалось еще, правда, проверить, на месте ли заграничный паспорт, но паспорт хранился в запертом секретере — ключ от него был только у самого Филдинга и

у мисс Парсонс.

Мать и сын опять-таки обсудили, не поднять ли на ноги лондонскую полицию. И опять решено было подождать до утра: может, выяснится хотя бы, куда девалась мисс Парсонс. Спала миссис Филдинг плохо. Проснувшись в начале седьмого, пятый или шестой раз, она решила безотлагательно ехать в Лондон, прибыла туда к девяти, и они с Питером битых полчаса снова обыскивали квартиру. И платье, и белье — все было на месте, никаких улик внезапного отъезда. Напоследок она еще раз позвонила домой мисс Парсонс. Гудки. Ну вот и все.

Миссис Филдинг сделала еще два предварительных звонка и без пяти десять разговаривала с министром внутренних дел по засекреченному домашнему телефону. Если даже совершилось преступление, все равно затронуты не только частные интересы, и огласка крайне нежелательна, пока не будет проведено детальнейшее первичное расследование.

Через несколько минут это расследование было препоручено профессионалам.

К субботнему вечеру они прояснили картину, по-прежнему, однако, таинственную. Мисс Парсонс выследили у родных в Гастингсе — с

помощью соседки. Она была глубоко потрясена — как-никак прослужила у Филдинга чуть не двадцать лет — и совершенно растеряна. Она, как сейчас, помнила, что мистер Филдинг перед уходом спросил, все ли бумаги к совещанию у него в папке. Да, она уверена: мистер Филдинг определенно собирался ехать прямо в Чипсайд, на это самое совещание.

Дневной швейцар сообщил полиции, что не расслышал адреса, сказанного шоферу такси, а джентльмен вел себя по-обычному, правда вот "слегка торопился". Мисс Парсонс тотчас приехала в Лондон и отперла секретер. Паспорт лежал на своем месте. Угрожающих писем или звонков, насколько она знает, не было. Приготовления к отъезду? Деньги со счета? Тоже нет. Всю последнюю неделю держался как обычно. Частным порядком, без миссис Филдинг, она заметила старшему суперинтенданту, в чье ведение было наспех отдано дело, что считает самую мысль о другой женщине "более чем нелепой". Мистер Филдинг любил жену и был прекрасным семьянином. Восемнадцать лет состояла она при нем доверенной секретаршей, и не то что неверности, а ничего отдаленно подобного даже заподозрить не могла.

По счастью, пока Филдинг еще не спустился, дневной швейцар успел перемолвиться словом-другим с таксистом и смог дать его приблизительное описание, по которому тот был разыскан через несколько часов. Свидетельство его, во всяком случае, говорило против амнезии. Он отвез джентльмена не в Чипсайд, а к Британскому музею: именно так, он твердо помнил плату и чаевые. Не сказал ни слова, всю дорогу читал — газету, что ли, или какие-то бумаги из папки. Водитель не помнил, может, он и зашел в музей, может, и нет, ему тут же подвернулся новый седок. Зато в музее ждала удача: главный смотритель гардероба сразу принес папку, не востребованную вечером в пятницу. Папка содержала номер "Таймс", бумаги к совещанию и письма от избирателей, видимо отобранные для встречи.

Миссис Филдинг сообщила, что муж ее интересовался искусством и даже от случая к случаю приобретал охотничьи гравюры и картины; но зачем бы ему идти в Британский музей — этого она не понимает, тем более и время не позволяло. Сколько она знала, он там никогда не бывал — никогда, за всю их совместную жизнь. Кроме гардеробщика, который принял папку, Филдинга

никто не помнил, да и мудрено было бы упомнить случайного посетителя в обычном июльском наплыве туристов. Может быть, он просто пересек вестибюль и взял такси у северного входа. Если так, то похоже, будто он путал следы и, уж очевидно, желал скрыть, куда направляется.

Полиция не рассчитывала сохранить дело в тайне позже воскресенья: оно и лучше скормить в понедельник утренним газетам апробированные факты, чем позволить расползаться самым несусветным слухам. В конце концов, вероятнее всего было какое-нибудь расстройство психики — опубликовать фотографию, и шансы на опознание возрастут неизмеримо. Они, конечно, проверили многое, о чем миссис Филдинг знать было незачем: привлекли и контрразведку, и особое управление. Однако до министра Филдингу было далеко, и возможность выдачи государственной тайны отпадала, а с нею и скандал по линии шпионажа. Компании, с которыми он был связан, нимало не сомневались в его благонадежности… нет, скандалом в Сити тоже не пахло. Могло быть что-нибудь по типу дела Лэмбтона — Джеллико: шантаж и психический надлом. Но опять-таки не тот человек. Тщательно проглядели все его бумаги: ни загадочных адресов,

ни зловещих писем. Все те, кто знали — или думали, что знают, — его частную жизнь, дали о ней наилучшие отзывы. Проверили банковские счета: никаких изъятий крупных сумм — не то что в последнюю неделю, а за несколько месяцев. Этим летом он продавал кое-какие акции, но биржевики засвидетельствовали, что продавал с выгодой — и лишь затем, чтобы купить другие. Никаких перемен в завещании; все завещательные распоряжения давным-давно сделаны.

Шестнадцатого июля имя его появилось на первых полосах утренних газет. Вкратце излагалась биография: младший и единственный выживший сын члена Верховного суда; в Оксфорде был отличником правоведения; в 1939-м ушел на фронт с университетской скамьи; пехотным офицером участвовал в североафриканской кампании, награжден Военным Крестом; переболев желтой лихорадкой, по состоянию здоровья отчислен в тыл и закончил войну служащим военно-полицейского управления министерства обороны, в чине подполковника. После войны преуспел на юридическом поприще, специализируясь по торгово-экономическому и налоговому праву; с 1959 года — политический деятель; член правления таких-то фирм, владелец имения в

восточной Англии, ориентация среди консерваторов правоцентристская.

Строились нехитрые догадки, тем более что полиция не исключала возможности политического похищения, хотя и было неясно, отчего все-таки мистер Филдинг преминул явиться в Сити к трем часам. Но поверенный Филдингов, который информировал прессу, категорически заявил, что сомневаться в его клиенте нет ни малейших оснований; полиция со своей стороны удостоверила незапятнанную репутацию законопослушного гражданина: ни на подозрении, ни под надзором мистер Филдинг никогда не состоял.

Предположив, что он выехал за границу под чужим именем и с чужими документами, сыскные органы обратились в Хитроу и главные аэропорты на континенте. Однако ни один паспортист, ни одна дежурная или стюардесса пассажира с такими приметами не помнили. Он изъяснялся по-французски и по-немецки, но сойти за француза или немца никак не мог; и, в конце концов, оставленный паспорт веско говорил за то, что он в Англии. Газетные статьи и телепередачи с фотографиями вызвали обычное число откликов: все они, были расследованы, и

все втуне. За границей тоже писали, говорили и показывали — дело получило более чем достаточную огласку. Ясно было, что если он жив, то прячется или спрятан. Значит, должны быть сообщники; но никто из близкого и дальнего окружения Филдинга в сообщники, по всей видимости, не годился. За двумя-тремя все-таки установили слежку, за мисс Парсонс в частности. Прослушивали ее домашний телефон и телефон найтсбриджской квартиры — но без толку. Чиновники, полицейские, родственники, друзья и знакомые пребывали в туманном недоумении. Ни просвета; и любители необъяснимого припоминали загадочную историю "Мари Селест".

Но всякая сенсация чахнет без прикорма свежими фактами. И дней через десять на Флит-стрит Филдинга втихую "похоронили".

Однако же миссис Филдинг без устали тормошила все инстанции всеми доступными ей способами, так что сыскные органы не имели возможности забыть об этом неудобном деле: полиция не в пример уязвимее прессы. Здесь, впрочем, тоже царило убеждение, что делать больше нечего, все уже сделано, едва заметный след совсем простыл, и надо ждать дальнейших событий, которые скорее в руце божией, нежели

в полицейской. Паутину сплели и раскинули; дело стало за мухой, а между тем миссис Филдинг неотступно требовала следственных новостей.

На совещании тридцатого июля в Нью-Скотленд-Ярде было решено (разумеется, по согласованию с верхами) отставить от дела Филдинга ранее занятую им бригаду и целиком препоручить его младшему инспектору особого управления, дотоле подбиравшему и подшивавшему только материалы "политического ракурса" исчезновения. Номинально же, с поклоном миссис Филдинг, расследование продолжалось на самом высшем уровне. Инспектор прекрасно понимал, что он всего лишь должен суетиться за десятерых. Никаких открытий от него не ждали: надо было просто создать видимость кипучей и многосторонней деятельности. Как он заметил приятелю, его оставили шуровать на случай, если министр оглянется.

Знал он и другое: что это хоть и небольшая, но проба. Выпускники закрытых школ нечасто идут служить в полицию, а уж если надевают мундир, то наверняка метят в тузы; но до поры изволь ходить по ниточке. Полицейская служба бывает наследственной, равно как армейская и флотская: он был блюстителем закона в третьем поколении.

Сметка и обаяние, выговор и манеры — все это ему скорее вредило; выручала дипломатия. Он отлично знал, что средние чины относятся к нему с мещанским предубеждением, как к чужаку и белоручке. Его удручала тупость, угнетал самодовольный и чаще всего неуместный формализм, ему претил тот вымученный тошнотворный жаргон, которым начальство изъяснялось для пущей культурности. Но чувства свои он держал при себе, и такое лицемерие было неплохой школой для сыщика. Особенно удавались ему расследования в высших кругах общества. Он не выглядел сыщиком в фешенебельном игорном доме или роскошном ресторане. Он легко мог сойти за богатого модничающего бездельника, и, хотя это вызывало зависть у его сослуживцев, зато не соответствовало расхожим и презрительным представлениям о полицейских. По нему было сразу видно, что он из респектабельной семьи (отец — начальник полиции графства); вообще он мог служить живой рекламой полицейской карьеры — оттого, собственно, и получил задание, предполагавшее контакты с влиятельными лицами. Звали его Майкл Дженнингс.

Когда это секретное решение было ему объявлено, он провел целый день, перелистывая

распухшую папку дела Филдинга, и набросал для себя краткое резюме под заголовком "Расклад": перечень возможностей с контрдоводами.

1. Самоубийство. Труп? Предрасположения нет, повода тоже.

2. Убийство. Труп? Личных врагов, по-видимому, не было. Террористы распубликовали бы акцию.

3. Похищение. Не доведено до логического конца. Почему именно Филдинг?

4. Амнезия. В таком случае теряются, а не прячутся. С медицинской точки зрения крайне маловероятно, не тот тип.

5. Угроза убийства. Подтверждений нет. В его характере сразу обратиться в полицию.

6. Шантаж. Никаких данных о махинациях или уклонении от налогов. Никаких данных о сексуальных проступках.

7. Опостылел образ жизни. Подтверждений нет. Никаких финансовых, семейных проблем. Чувство долга на первом месте. Склад ума деловой, к выходкам не склонен.

8. Расчет времени. Воспользовался отлучкой Парсонс (отпросилась за десять дней), то есть действовал по плану? При нужде во времени мог отменить совещание и встречу — или отпустить

Парсонс на целый день. Значит, было достаточно четырех часов, предполагая самое раннее привлечение полиции — в 18.35, когда не явился к избирателям. Значит, продумано? Готовность номер один?

Инспектор вывел другой заголовок: "Дикие домыслы".

9. Любовь. Женщина, девушка — неизвестная. Не просто увлечение. Социальные препятствия (замужняя, мезальянс, цветная)? Проверить, кто еще пропал тогда же.

10. Гомосексуализм. Ни малейших подтверждений.

11. Мания преследования. Подтверждений нет, на него непохоже.

12. Нечаянная встреча. Добрачная связь, какой-нибудь недруг военных лет или времен судебной практики? Данных нет, проверить.

13. Деньги. Тайный счет в заграничном банке?

14. Охотничья струнка. По-лисьи сбил со следа гончих — и что?

15. Крах супружества. Отместка жене. Может, она с кем-нибудь? Проверить.

16. Кризис на религиозной почве. Англиканец — и то больше для порядка. Исключено.

17. Темные политические делишки за грани-

цей — что-нибудь понадобилось срочно замять. К разведке непричастен, разоблачениями не занимался. Человек очень упорядоченный: непременно снесся бы с Форин офисом или хотя бы предупредил жену. Пустой номер.

18. Сын. Что-то не так. Повидаться.

19. Сообщники. В одиночку не исчезнешь. Надо где-то укрываться, как-то кормиться, следить за ходом событий и т. д.

20. Какая-нибудь побочная улика должна отыскаться. Случайная реплика в разговоре? С женой вряд ли, скорее с Парсонс (?). Опросить близких знакомых в Вестминстере и Сити.

Инспектор еще поразмыслил и крупными буквами приписал к своему резюме два слова, одно из них матерное.

Недельная его программа началась с мисс Парсонс. Дочери, Франческа и Каролина, возвратились — одна с курортной виллы возле Малаги, другая — из яхтного круиза вдоль берегов Греции; и семья заняла позицию в Тетбери-Холле. Мисс Парсонс была на посту в Лондоне. Инспектор снова прошелся с нею по мелочам пятничного утра. Мистер Филдинг надиктовал пятнадцать деловых писем, потом работал с бумагами, а она

печатала. Он позвонил своему маклеру; больше как будто никому. Все утро — да, почти все — провел в гостиной; из дому не выходил. Она выходила — минут на двадцать, купить пару-другую сандвичей в кулинарии возле Слоун-сквер. Вернулась в начале второго, сварила кофе — вот именно, к тем самым заказанным сандвичам. Да, по пятницам такой импровизированный ленч в порядке вещей. За время отлучки? Ничуть не изменился. Говорили об ее уик-энде в Гастингсе. Он сказал, что и сам рад отдохнуть без гостей у себя в Тетбери-Холле. Разумеется, он держался с ней непринужденно — сколько лет проработали вместе! Зовут ее в семье запросто — "Пэ", у нее даже есть своя спальня в Тетбери-Холле. Личный секретарь и общая нянька.

Коснувшись прошлого Филдинга, инспектор понял, что надо следить за каждым своим словом. "Пэ" ни пылинке не позволяла лечь на доброе имя своего босса и рьяно оберегала его репутацию законника и политика. Инспектор с тайной ухмылкой подумал, что обойти закон не так уж трудно, даже не нарушая его буквы; и у мистера Филдинга была масса возможностей поживиться исподтишка, особенно в Сити. Но мисс Парсонс была тверже алмаза: никакого счета ни в каком

заграничном банке. Мистер Филдинг терпеть не мог увиливания от налогов — о деле Лонро, втором позоре консервативной партии за год, он был того же мнения, что и премьер-министр: "капитализм в худших своих проявлениях". Ну а все-таки, ухитрился вставить инспектор, а если бы он пожелал тайком завести себе заграничный счет — он что, не сумел бы сам? На это мисс Парсонс обиделась как доверенная секретарша. Уж простите, но она-то знала финансовые дела мистера Филдинга едва ли не получше его самого. Нет, ничего подобного попросту быть не могло.

Затронув интимные вопросы, инспектор тут же наткнулся на твердокаменную стену. По этому поводу она уже высказывалась — совершенно категорически — и добавить ничего не имеет. Мистер Филдинг в жизни бы не завел интрижки: у него было достаточно самоуважения. Дженнингс изменил подход.

— А не было речи про обед с сыном — накануне, в четверг?

— Упоминалось, конечно. Он знает, что мне всегда интересно про всех детей.

— В довольном тоне?

— Разумеется.

— Они ведь по-разному смотрят на вещи?

— Милейший молодой человек, это отец и сын. Еще бы, конечно, они спорили, и подолгу. Мистер Филдинг все пошучивал: возрастное, пройдет. Как-то он мне сказал, что в его годы и сам был таков. Я, например, точно знаю, что в сорок пятом он чуть не проголосовал за лейбористов.

— Ну а в тот четверг, не знаете, споров не было, осадка не осталось?

— Никакого. Он сказал, что Питер отлично выглядит. Что у него новый роман с очаровательной девушкой. Да, вот, пожалуй, он был немного огорчен, что у них сорвался семейный уик-энд в Тетбери-Холле. Но он никогда не мешал детям поступать по-своему.

— Так значит, Питер ничуть его не разочаровывал?

— С какой стати? Учился он всегда превосходно.

— Но по стопам отца не пошел?

— Не знаю, все почему-то считают мистера Филдинга каким-то викторианским деспотом. А он очень терпимый человек.

Инспектор улыбнулся.

— Кто это все, мисс Парсонс?

— К примеру, ваш начальник. Он мне задавал те же самые вопросы.

Дженнингс постарался умаслить ее: она лучше всех знала мистера Филдинга, на нее у них главная надежда, важно всякое ее соображение.

— Естественно, у меня этот ужас из головы не идет. Но пока с трудом верится, что такое вообще произошло, а уж почему…

— По наитию, первое, что приходит на ум? — Инспектор снова искательно улыбнулся.

Она рассматривала сложенные на коленях руки.

— Ну… он буквально не давал себе передышки.

— И что же?

— Может быть, что-то в нем… Нет, я не вправе так говорить — это сущие домыслы.

— Домыслы иной раз очень помогают делу.

— Ну, что-то в нем надломилось, он рванулся в сторону — и, конечно, опомнился через день-другой. Он был необычайно требователен к себе, а тут еще эти газетные толки и пересуды. Мне кажется…

— Да?

— По-моему, он, когда опомнился… наверно, он был ужасно потрясен и не понимал…

— Вы хотите сказать, что он мог в таком случае покончить самоубийством?

Она явно клонила к этому, однако отрицатель-

но покачала головой.

— Не знаю, просто не знаю, что и думать. Только убеждена: это было внезапное помрачение рассудка. Мистер Филдинг во всем любил порядок и планомерность. То есть это совсем не в его духе: он бы действовал совершенно иначе, если бы…

— Если бы он действовал по плану? Но ведь все удалось как нельзя лучше?

— Не мог он ничего подобного планировать. В здравом уме не мог. Это немыслимо.

Инспектор вдруг почуял в ней какую-то глухую непроницаемость: понятно было, что ради Филдинга она готова на что угодно, готова, если понадобится, без конца низать ложь на ложь. Пахнуло затаенной любовью: положим, возраст не помеха, но весь ее облик, мешковатая фигура, подобранные губы, очки, суровый стародевичий наряд вечной секретарши — словом, такая невзрачная (такой же видится и в молодые годы, а если б у нее что-нибудь было с Филдингом, то нынче за ее словами не стояла бы преданность, а сквозило тайное злорадство), что и тень подозрения тут же исчезала: не вяжется. Однако тень эта мелькнула в следующем вопросе инспектора.

— А как он проводил свободные вечера — без миссис Филдинг?

— Обычно в клубе или в театре. Довольно часто ужинал с друзьями. Иной раз любил сыграть в бридж.

— Скачками не интересовался?

— Делал небольшие ставки — на дерби в Общенациональных, не чаще.

— А в игорных клубах?

— Уверена, что не бывал.

Инспектор расспрашивал дальше, выискивал какую-нибудь слабость, что-нибудь постыдное, пусть и давнее, — и ничего не выискал. Точка была поставлена — человек переработался; подсказка (более чем сомнительная) — поддавшись слабости, он затем сделал харакири. Дженнингс подозревал, что мисс Парсонс поведала ему свои тайные желания и утаила темные опасения. Лучше пусть уж патрон ее горделиво сгинет, чем свяжется с грязной девчонкой или замарает себя гнусным скандалом.

Здесь же на квартире он повидался с уборщицей — та ничего не добавила. Никогда никаких признаков ночлега вдвоем: ни забытого белья, ни стаканов со следами помады, ни пары кофейных чашек на кухонном столике. Мистер Филдинг был джентльмен, заметила она. Значило это, что джентльмены следов не оставляют или ведут

себя как следует, инспектор не понял и не поинтересовался.

Он все-таки держал в уме любовно-романтическую коллизию — может быть, потому, что с фотоснимков глядело напряженное лицо, без улыбки, в котором мерещилась подавленная чувственность. Стройный, гладко выбритый, чуть выше среднего роста, всегда тщательно одетый, Филдинг наверняка нравился женщинам. Однажды инспектор целых пять минут думал, что набрел на родник в пустыне. Он просматривал список человеческих пропаж за 13–15 июля. Среди них была секретарша-вестиндка, сбежала от родителей из Нотинг-Хилла; и он радостно насторожился. Филдинг состоял в правлении той страховой компании, где служила беглянка. Девятнадцать лет, недурно образована, отец работает в системе социального обеспечения. Дженнингсу пригрезился было детективный мираж: Филдинг, чуждый расовых предрассудков, перехвачен по пути на совещание, темнокожая девушка по наущению отца увлекает его на черный слет, он проникается светлыми идеями… какие дивные воздушные замки! Их разрушил один телефонный звонок: девушка объявилась, поиски прекращены. Она решила, что у нее есть

голос, и сбежала с гитаристом из вест-индского клуба в Бристоле. Никакого смешения рас.

Со знакомыми из Сити и коллегами депутатами — теми, которые не отбыли на летний отдых, — Дженнингсу повезло не больше. В Сити уважали проницательность Филдинга и его юридические познания. Политики не отставали от мисс Парсонс — у них выходило, что Филдинг был в парламенте чуть ли не белой вороной — настоящим представителем своего округа, в ладах с партийной верхушкой, выступал всегда по делу и с толком, обаятельный, надежный… все только плечами пожимали. Ничего такого за ним никто не замечал. Никаких побочных психологических улик не обнаружилось.

Один только депутат, из лейбористов, годом раньше случайно защищавший вместе с Филдингом какой-то межпартийный законопроект, снизошел и слегка разговорился. Да, было деловое знакомство, такое, как бы сказать, не более чем кулуарное. Ничего он про Филдинга не знает и знать не желает, с чего бы тот "задал стрекача"; но, добавил он, это, "в общем, вписывается".

Инспектор спросил, как его надо понимать.

— В отчетах ни слова.

— Само собой, сэр.

— Так и понимать: ходил в узде, на коротком поводу. В тихом омуте, сам знаешь. В один прекрасный день терпежу-то не хватит.

— Простите, сэр, не понял.

— Ну да, не понял; не такая у тебя работа, чтоб не понимать: никто же не без греха. А с твоего хоть портрет пиши. — И пояснил: — Возьми любого консерватора — или постный ханжа, или сукин кот. А этот ловчее всех: одной рукой деньгу копит, другую к сердцу прижимает. Нет, брат, опоздал родиться. Если не дурак, самому надоест.

Депутат насмешливо оглядел инспектора.

— Ты хоть подумал, отчего он застрял?

— Я как-то не подумал, что он застрял, сэр.

— Место, конечно, теплое, казенное, со своими спелся. Только это, парень, все пустяки, у нас не в это играют. Палата, она как лошадь или собака — либо с ней умеешь, либо нет. А наш-то не сумел, и сам понимал, что не умеет, даже мне признавался.

— А почему не сумел, сэр?

Депутат-лейборист развел руками.

— Понимаешь, у нас в нижней палате не любят чрезвычайно благородного вида, когда не сразу и поймешь, кто таков: то ли простой подручный

мошенника, то ли, — депутат хмыкнул, — видный советчик по налоговой части.

— То есть, вы полагаете, что он был нечист на руку?

— Да нет, необязательно, просто раз в жизни умыл руки.

Дженнингс улыбнулся с наигранным простодушием.

— Извините, сэр, хотелось бы вас правильно понять: он, значит, разочаровался в консервативной политике?

Депутат-лейборист отфыркнулся.

— Ишь ты, чувства человеческие ему подавай. Да у него их и в помине не было. Скажем, так: очертенела вся эта дурацкая волынка — палата, Сити, представления перед ротозеями избирателями. Вот и решил дать стрекача. По мне, так молодец: пример с него надо брать.

— Но знаете ли, сэр, ни семья его, ни близкие друзья ничего подобного не замечали.

Депутат ухмыльнулся.

— Врасплох, врасплох взял.

— То есть "стрекача" и от них тоже?

Депутат оттопырил языком щеку. Потом подмигнул.

— Из себя опять же не урод.

— Cherchez la femme?

— Мы тут сварганили маленькое пари. Я поставил на праматерь Еву — авось угадал.

Только гадать и оставалось: гадать и выдумывать. Депутат-лейборист был куда более видной фигурой, чем Филдинг; задиристый оратор и завзятый недруг консерваторов — стало быть, не слишком надежный свидетель. Но предположил он попранное честолюбие; а в таких делах враги иной раз прозорливее друзей.

Затем Дженнингс встретился со свидетелем по его счету номер один — тем более что здесь ожидался друг, а намечался враг — с Питером, сыном Филдинга. Сначала он заглянул в папки, официально не существующие. Собственно "дела" на Питера не было: просто взят на учет как сын парламентария. Его примостили "на периферии НЛ" (Новых Левых), "скорее эмоциональный, чем интеллектуальный приверженец, до активности далеко". Краткая заметка о нем кончалась словами: "розовый до поры" — и в тоне чувствовалось пренебрежение матерого антисоциалиста, неосознанно перенимающего оценки и формулы недругов.

Инспектор повидался с Питером на квартире в Найтебридже. Питер унаследовал отцовскую

недурную наружность — и натянутую улыбку. Он едва ли не напоказ стыдился здешнего роскошества и настроен был очень нетерпеливо: зачем заново терять время, раз уже потерянное?

Сам Дженнингс был скорее аполитичен. Он держался отцовского взгляда, что полиции теплее при консерваторах, и к тому же презирал Уилсона. Хита он, впрочем, тоже недолюбливал. Не какая-нибудь партия была ему противна, а вообще круговерть политики, ложь и лицедейство, мелочные счеты. Он вовсе не был тем тупым служакой ("фашистской свиньей"), за которого его принял, как можно было заметить, "розовый" Питер. Он имел представление о подлинном правосудии, на деле не испробованном; и терпеть не мог ту грубую, уличную сторону полицейской службы, которую знал понаслышке, а раз-другой видел и своими глазами. Собственно, жизнь казалась ему игрой, чаще своекорыстной, иногда — по долгу. Выпало быть на стороне закона — вот и будь, нравственность тут ни при чем. И Питер был ему неприятен с самого начала не как политический противник, а как дурной партнер… из-за несправедливых и неумело используемых преимуществ. Сгодилось бы даже и простое слово "арап". Дженнингс не желал различать между "ле-

вым", принципиальным презрением к полиции и наследственным, классовым высокомерием. Презрение и презрение; он бы сумел его скрыть гораздо лучше, чем молодой человек напротив.

Вечерняя трапеза в четверг устроилась совершенно случайно. Питер позвонил отцу около шести: сказать, что все-таки не приедет на уик-энд, не получается. Тогда отец предложил поужинать втроем с Изабеллой, только пораньше: перед сном еще дела, но часа два у него есть. Они повели его в новую шашлычную на Шарлотта-стрит. Это было в порядке вещей, он любил иной раз "потрущобничать" с ними. Держался по-обычному — "изображал светскую любезность". Политические перепалки они давно уж, "много лет назад", прекратили. Обсуждали семейные новости, говорили об Уотергейте. Отец вместе с "Таймс" считал, что Никсон отдувается за других, но защищать нынешнее американское правительство не брался. Изабелла рассказывала о сестре, которая вышла за француза, будущего кинорежиссера, пока что нищего, и вскорости ждет ребенка. Филдинга очень позабавило, что она ужас как боится рожать во Франции. Ни о чем серьезном речи не было, намека даже не проскользнуло на завтрашние происшествия.

Около десяти они расстались; отец взял такси (и немедля вернулся домой, как это ранее засвидетельствовал ночной швейцар), а они пошли смотреть позднюю кинопрограмму на Оксфорд-стрит. Распрощались как всегда: доброй ночи друг другу, и все.

— Как вам кажется, вы в чем-нибудь переубедили отца? В те давние времена, когда еще спорили с ним?

— Нет.

— Он оставался тверд в своих воззрениях? Не выказывал отвращения к политической деятельности?

— Увы, как ни странно, тоже нет.

— При этом не знал, что вы все это презираете?

— Я всего лишь его сын.

— Его единственный сын.

— Я сдался. Все без толку. Признал еще одно табу.

— А какие другие?

— Да обычные пятьдесят тысяч. — Питер окинул взглядом комнату. — Что угодно, лишь бы отгородиться от жизни.

— А ведь это все однажды будет ваше.

— Почем знать, — возразил Питер. И прибавил: — Не уверен, что мне это понадобится.

— Как насчет сексуальных запретов?

— Поточнее?

— Знал он о характере ваших отношений с мисс Доджсон?

— Ну и ну!

— Простите, сэр. Я только хотел бы выяснить, не было ли с его стороны… зависти, что ли.

— Мы эту тему не обсуждали.

— А все же, какое у вас сложилось впечатление?

— Она ему понравилась, хоть и не нашего круга, слегка деклассированная и так далее. Кстати, запреты вовсе не значат, что он хотел бы воспретить сыну…

Инспектор предупреждающе вскинул ладонь.

— Простите, не о том речь. Был ли у него особый интерес к девушкам ее возраста?

Питер посмотрел на него и перевел взгляд на свои вытянутые ноги.

— Чересчур для него смелый помысел. И воображения бы не хватило.

— Может, не возникало такой потребности? Ваши родители, кажется, были очень счастливы вместе?

— "Кажется" — значит, не были?

— Не знаю, сэр. Я вас об этом спрашиваю.

Питер снова посмотрел на него долгим взглядом, встал и отошел к окну.

— Ну хорошо, объясню. Видимо, вы просто не представляете себе, в какой обстановке я вырос. Главное — никогда, ни за что, ни в коем случае не выказывать своих подлинных чувств. Да, должно быть, отец с матерью были счастливы. А может, и нет. Вполне вероятно, что где-то за сценой они много лет орали друг на друга с утра до ночи. Может быть, у отца любовницам счету не было — сомневаюсь, но ручаться за него не стану. В таком вот мирке они живут — и я, когда с ними, живу по их правилам. Главное — сохранить видимость, понятно? Не выдать правды, хоть земля под ногами разверзнись. — Он повернулся от окна. — Так что незачем расспрашивать меня об отце. Скажите вы мне о нем что угодно — я не смогу отрезать: нет, неправда. Должно быть, он был таким, каким хотел казаться. Но теперь, когда… попросту не знаю.

Инспектор оставил паузу.

— Ну а задним числом — как вы думаете, в тот вечер накануне он лицемерил?

— Ей-богу, я не готов к полицейскому допросу. Как-то не ожидал.

— Ваша мать нажала на все кнопки, и нас обя-

зали продолжать расследование, а расследовать почти что нечего.

Питер Филдинг издал глубокий вздох.

— Ладно, спрашивайте.

— Вы полагаете, отец ваш отдавал себе отчет, что жизнь его построена на притворстве?

— По временам, во всяком случае. Приходилось общаться с такими жуткими тупицами, болтать такую несусветную чепуху — но чаще даже и это его забавляло.

— Никак у него не прорывалось, что лучше бы без этого?

— Без чего — без нужных людей? Шутить изволите.

— Не замечали в нем разочарования по поводу затора в политической карьере?

— Тоже запретная тема.

— Он однажды намекал на это своему коллеге депутату.

— Что ж, не исключено. Была у него такая шуточка: мол, зады парламента — седалище демократии. Мне в этом всегда чудился подвох. — Он прошелся по комнате и снова сел напротив инспектора. — Вы все-таки не понимаете: вечно одно и то же — личины, личины и личины. Для встречи с избирателями. Для влиятельных

людей, от которых что-то нужно. Для старых приятелей. Для семьи. Все равно, что выспрашивать меня про личную жизнь актера, которого я видел только на сцене. Не знаю — и все тут.

— А последняя личина — что вы о ней думаете?

— Не думаю — аплодирую. Если он и вправду сбежал.

— По-вашему — нет?

— Статистическая вероятность — один к эн, где эн — сумма слагаемых британского уклада жизни. Такие микровеличины можно в расчет не принимать.

— Ваша матушка, однако же, считает иначе?

— Моя мать вообще ничего не считает. Все подсчитано за нее.

— Извините, а сестры разделяют ваш образ мыслей?

— Мало вам одной паршивой овцы на стадо?

Инспектор принужденно улыбнулся. Он продолжал расспросы — и получал такие же ответы, полураздраженные, полубезразличные: Питер, казалось, больше старался прояснить свое отношение к делу, чем само дело. И без особой проницательности была заметна утайка: стыдливое горе, непризнанная любовь или то и другое

вместе; может быть, Питер и чувствовал надвое, вполовину желая самоутверждения за чужой счет — эффектного разрыва с лицедейством, а вполовину надеясь, что все пойдет, как прежде. Если он — а похоже было на то — и в самом деле "розовый до поры", тогда решение отца выпасть в "красный осадок", пусть не в политическом, но в социальном смысле, унижало сына, будто насмешливый совет: если уж готов на все плевать, то плюнь как следует.

Наконец инспектор встал и на прощание упомянул, что желательно было бы все-таки повидаться с мисс Изабеллой Доджсон, когда она вернется из Парижа, куда отбыла дней через десять после исчезновения Филдинга. Ее сестра была на сносях, и она давно обещала приехать, но кое-кто увидел в этом детективный сюжет, и поведение мисс Доджсон, приезды и отъезды ее пестрой французской родни — все было несколько дней под наблюдением, и все оказалось до тоски безобидным. Питер Филдинг, видимо, в точности не знал, когда она вернется. Должно быть, не позже чем через неделю — ей нужно к себе в издательство.

— И все, что она вам скажет, вы уже сто раз слышали.

— Тем не менее хотелось бы повидать ее, сэр.

И Дженнингс отправился восвояси, еще раз не докопавшись ни до чего, кроме заторможенного эдипова комплекса, — не стоило и копаться...

На очереди был условленный визит в Тетбери-Холл; но, прежде чем любоваться его замковыми рвами и потолочными балками, инспектор посетил некоторых соседей. Они смотрели на дело по-своему и сообща питали очень мрачные, хоть и неопределенные, подозрения. Филдинга считали жертвой, и опять-таки в один голос расхваливали, словно соревнуясь в соблюдении заповеди De mortuis[16] Он был таким замечательным собачником — то есть был бы, если б, увы, столь часто не отлучался, — он так "радел о деревне" и со всеми ладил (не то что прежний депутат). Когда инспектор пытался объяснить, что политическое убийство, ничем не подтвержденное, не говоря уж о трупе, трудно считать совершившимся, он замечал соболезнующие взгляды: ничего, мол, парень не смыслит в нынешней городской жизни. Кто же мог хоть на миг всерьез поверить, будто Филдингу взбрело бы на ум покончить с собой накануне охотничьего сезона?

---

[16] Примечания: 16

De mortuis aut bene, aut nihil *(лат.)* — о мертвых (говорят) или хорошее, или ничего.

Несколько иначе думал только управляющий Филдинга, молодой человек в твидовом костюме. Дженнингс плохо разбирался в сельском хозяйстве и хозяевах, но тридцатилетний управитель, отрывистый и немногословный, пришелся ему по душе. Он и сам заочно относился к Филдингу примерно так же: раздражение мешалось с уважением. Управляющий, правда, был раздражен оттого, что ему не давали свободы действий. Филдинг любил и требовал, чтобы к нему обращались "по любому пустяку"; и все решалось "на расчетной основе" — что бы уж поставить компьютер, и дело с концом. Однако он признал, что многому научился, что даже и дерготня пошла ему на пользу. Под давлением Дженнингса он наконец выдал словцо "перегороженный" — в том смысле, что у Филдинга было две натуры. Он выкачивал из хозяйства всю до грошика подсчитанную возможную прибыль, и при этом был "хорош с людьми, очень отзывчивый, никакого снобизма". Недели за две до того, как "запропастился", Филдинг держал с управляющим совет дальнего прицела. Ни малейшего признака, что владелец планировал отдельно от своего будущего. Под конец Дженнингс полунамеком спросил о миссис Филдинг — был ли у мужа какой-нибудь повод

для ревности.

— Чего не было, того не было. Здесь — что вы? В пять минут разнесли бы по всей округе.

Наверняка не было — это стало ясно при одном взгляде на миссис Филдинг. Хотя инспектор и отнесся к Питеру скептически, однако все его колкости насчет лицедейства оказались вполне к месту. Ей осторожно объяснили, что Дженнингс, несмотря на свой малый чин, "один из наших лучших людей", что он изначально целиком занят расследованием этого дела, — весьма многообещающий работник. Он припомнил школьную выучку, держался любезно и непринужденно и дал понять, что очень рад возможности свидеться с нею лично.

Вкратце оповестив миссис Филдинг о том, что он предпринял и намерен предпринять, Дженнингс как бы невзначай предложил ее вниманию догадки мисс Парсонс и депутата-лейбориста — разумеется, не называя имен. Идею, будто ее муж в припадке раскаяния покончил с собой или же от стыда скрывается, миссис Филдинг сочла неправдоподобной. Уж конечно, он прежде всего подумал бы о тех страшных волнениях, которые причинил, и немедля вернулся бы к семье. Да, неизбежная гласность, разумеется, повредила

бы его политической карьере, но у него "было кое-что в жизни и помимо карьеры".

Предположение, что он отчаялся преуспеть в политике, миссис Филдинг также отвергла. Он вовсе не был мечтателем-честолюбцем и давно понял, что ему не хватает напора и не даны министерские таланты. Он не умел фехтовать в парламентских дебатах и слишком много занимался собственными делами — не то что кандидаты в правительство. Маркус, заметила она, был, кстати, настолько лишен амбиции, так до смешного оптимистичен, что даже додумывал и вовсе не баллотироваться на следующих выборах. Однако, настаивала она, отнюдь не потому, что в чем-нибудь разочаровался: просто считал, что свое на этой ниве отработал. Инспектор возражать не стал. Он спросил миссис Филдинг, к каким выводам пришла она сама за две истекшие недели.

— Конечно, мы только об этом и говорили, однако… — Она изящно и безнадежно развела руками, видимо не впервые.

— Но вы все же полагаете, что он жив? — И быстро прибавил: — Само собой разумеется.

— Знаете, инспектор, я прямо теряюсь. То я жду, что вдруг откроется дверь и он войдет, то… — И

она опять плавно развела руками.

— Ну а если он скрывается, способен он обойтись без прислуги? Стряпать, например?

Она скупо улыбнулась.

— Как вы сами понимаете, это занятие для него непривычное. Но ведь он бывший военный. Конечно, способен. Всякий способен, если понадобится.

— Никакое имя не выплывало — может быть, из далекого прошлого? Кто бы мог стать укрывателем или укрывательницей?

— Нет, — отрезала она. — И ради всего святого, избавьте вы меня от ваших предположений на этот счет. От меня он принципиально ничего не скрывал. Хорошо, пусть даже он кем-то увлекся. Но чтобы тайком, мне не сказавшись — если тем более…

Дженнингс закивал.

— Мы так и считаем, миссис Филдинг. Я, собственно, вовсе не об этом. Простите — и спасибо. — И прибавил: — А у кого-нибудь из друзей — может быть, вилла или особняк за границей?

— Как же не быть друзьям с заграничными виллами и особняками? У вас они наверняка все на заметке. Но я отказываюсь верить, что они могли со мною так поступить — со мной и с детьми.

Невообразимо.

— А ваши дочери — они не могли бы что-нибудь подсказать?

— Сомневаюсь. Впрочем, они здесь — расспрашивайте.

— Ну, попозже, может быть? — Он обезоруживающе улыбнулся. — Тут еще один такой довольно тонкий вопрос. Простите — честное слово, обидно…

Она изобразила покорность жестом мученицы: ее долг — слушать и отвечать.

— Видите ли, нужна ведь психологическая картина. Я уже имел разговор с вашим сыном в Лондоне. Его политические взгляды — большое было разочарование отцу?

— Что он вам сам сказал?

— Хотелось бы сперва послушать вас.

Она пожала плечами: вопрос скорее глуповатый, чем "тонкий".

— Не худо бы ему понять, что от него при всех условиях ждут самостоятельного мышления, а не… вы меня поняли.

— И все-таки — было разочарование?

— Поначалу муж мой, разумеется, огорчался. И он, и я. Но… расхожденье — не раздор? И он, кстати, прекрасно знает, что в других отношениях им

просто гордятся.

— Выходит, однако же, так: построен мир, красивый и уютный, а сын и наследник шарахается в сторону, ему все это не нужно?

Она усмехнулась.

— Да Питеру очень даже все это нужно. Он обожает этот дом и здешнюю жизнь — мало ли что он там говорит. — Усмешка ее стала несколько надменной. — Уверяю вас, инспектор, вы идете по заведомо ложному следу. Нелады, какие были, давно утряслись. И кроме Питера, есть еще две дочери, об этом тоже не забывается. Словом, — заключила она, — легкий флирт Питера с Карлом Марксом не слишком омрачал наше почти устрашающее семейное благополучие.

Ощущалось примерно то же, что с мисс Парсонс: обе явно предпочитали не делать лишних открытий. Положим, он потому и был здесь, что миссис Филдинг настаивала на продолжении расследования; но вряд ли ей так уж нужна была истина, может быть неприглядная, соблюдался декорум, и не более того. Еще вопросы, еще ответы — и никакого толку. Стало прямо-таки казаться, будто на самом деле она знает, где ее муж, и укрывает его от назойливой полиции. На инспектора снизошло странное наитие, подобное

тем, которые беспомощность внушала и самой миссис Филдинг в памятный вечер исчезновения: ему подумалось, что нужна не учтивая беседа в гостиной, а ордер на обыск Тетбери-Холла. Но на такое преступление была бы способна совсем иная женщина, вовсе не эта миссис Филдинг — наглухо спаянная со своей жизненной ролью и социальным статусом, наделенная осанкой и обделенная воображением. Еще он почуял в ней глубоко уязвленное самолюбие. Так или иначе тень происшествия падала на нее: и в глубине души она копила горькое возмущение. Куда лучше было бы, если б она выражала его открыто, подумал инспектор.

Опрос дочерей занял немного времени: тут семейный фронт был нерушим. Да, у папы бывал очень усталый вид, он ведь невероятно много работал; но папы лучше него свет не видел. Младшая, Каролина, — та, что вернулась от берегов Греции, — внесла, однако, некоторый разнобой. По ее мнению, "даже мамочка" и та не совсем представляла себе, как много значила для отца деревенская жизнь и здешнее хозяйство. Тони (управляющий) прямо из себя выходил, зачем папа всюду мешается, а он потому и мешался, что все-все здесь принимал близко к сердцу. Он

даже не то чтобы мешался — он "вроде как бы жалел, что он не Тони". Почему же он тогда не расстался с Лондоном и не переехал сюда? Этого Каролина не знала. Наверно, все-таки потому, что он очень непростой человек, "сложнее, чем мы все думали". Она даже рискнула высказать самое покамест фантастическое предположение.

— Знаете гору Афон? Ну в Греции? — Инспектор покачал головой. — Мы там мимо проплывали. Такая гора, на ней одни монастыри и монахи — только мужчины. Не позволено даже держать кур и коров. Нет, не туда, конечно, это смешно, а куда-нибудь вот в этом роде. Где бы он мог побыть один.

Но привести что-нибудь в подтверждение и объяснение этой тяги к одиночеству ни Каролина, ни ее сестра не смогли. В том, что брат их считал лицедейством, они усматривали, напротив, семейный долг и самопожертвование.

Еще через несколько минут миссис Филдинг поблагодарила инспектора за усердие и не пригласила его остаться к обеду, хотя уже был второй час. Он вернулся в Лондон, резонно полагая, что с тем же успехом мог бы и не уезжать оттуда.

Расследование явно зашло в тупик, у него опускались руки. Намечено еще было кое с кем пови-

даться, но изменений в общей — и совершенно невразумительной — картине он не предвидел. Детективный азарт быстро сменялся вялостью, и он понимал, что не сегодня-завтра будет уже не придумывать себе задания, а избегать их за ненадобностью. Так, наверняка незачем было встречаться с Изабеллой Доджсон, любовницей Питера. Ее подробно расспросили еще на предварительном следствии, и расспрос этот ничего не дал. Правда, она оставила приятное впечатление; в конце концов, почему бы и не полюбоваться на хорошенькую девушку, даже если она никудышная свидетельница. А то у Каролины и Франчески красивее всего были имена.

Она вернулась из Парижа пятнадцатого августа, посреди самой знойной недели за много лет. Дома ее ожидала открытка с просьбой позвонить в Скотленд-Ярд сразу по приезде, и нестерпимо душным и влажным утром шестнадцатого инспектор услышал в трубке ее спокойный голос. Он предложил приехать к ней в Хэмпстед во второй половине дня. Она суховато заверила, что прибавить к показаниям ничего не сможет, так что и приезжать вроде бы незачем. Он, однако, настоял, хоть и не сомневался, что она уже переговорила с Питером и выступит его подголоском.

Понравилась она ему сразу, еще в дверях домика на Уиллоу-роуд. Она глядела озадаченно, словно ожидала кого-то другого; между тем он явился минута в минуту. Должно быть, представила его себе старше и в форме; он тоже думал увидеть куда более самоуверенную девицу.

— Инспектор Майк Дженнингс. Легавый.

— А, ну да, конечно.

Невысокая брюнетка, живое овальное личико, темно-карие глаза; длинное, по щиколотку, белое платье в синюю полоску, босоножки… одно к одному, но не в этом дело. Все были какие-то неживые, будто манекены, а от нее сразу повеяло жизнью, и не отошедшей, а нынешней, сиюминутной, — вот уж не пара Питеру! Она улыбнулась и легким кивком указала на улицу.

— А если в парк, это никак нельзя? Душно до умопомрачения, а в комнате и вовсе дышать нечем.

— Идемте.

— Сейчас, только возьму ключи.

Он дожидался на тротуаре. Солнца не было: знойная муть, сырой и затхлый воздух. Он снял темно-синюю полотняную куртку и перекинул ее через руку. Она вышла с маленькой сумочкой; оба осторожно улыбнулись друг другу.

— Вы нынче мое первое прохладное впечатление.

— Да? Одна видимость.

Они поднялись на Ист-Хит-роуд, пересекли улицу и тропкой пошли к прудам. До понедельника она была в отпуске; в редакции как-нибудь обойдутся без девчонки на побегушках. Он знал о ней куда больше, чем она могла подумать: пока ее держали на подозрении, навели справки. Двадцать четыре года, университетская специальность — английская литература, опубликовала даже сборник детских рассказов. Родители развелись, мать в Ирландии, сошлась с каким-то художником. Отец — профессор Йоркского университета.

— Понятия не имею, что мне вам говорить.

— Вы по приезде виделись с Питером Филдингом?

Она покачала головой.

— Нет, разговаривала по телефону. Он там, у себя в деревне.

— Вы не думайте, не допрос. Беседа, не более того.

— А вы продвинулись?..

— Да почти что нет. — Он перевесил куртку на другую руку. Хоть не двигайся — сразу обливаешься потом. — Я вот толком не понял, как давно

вы познакомились с Филдингами.

Шли они еле-еле. И вся она казалась легкой и прохладной, хотя он-то говорил только о ее платье; маленькая, хрупкая, точно шестнадцатилетняя; нет, какое! — взрослая женщина, помимо случайной робости, уверенная в себе. Сладко пахнуло французскими духами: да, молодая, привлекательная женщина, избегающая его взгляда, скользящая глазами по траве, посматривающая вдаль.

— Весной, четыре месяца всего. С Питером то есть.

— А с его отцом?

— Были мы в их роскошном поместье два или три раза. И в Лондоне была вечеринка у него на квартире. Иногда обедали вместе, как в тот последний раз. Мало ли с кем сын придет. Нет, по правде-то я его не знала.

— Он вам нравился?

Она улыбнулась, помолчала и ответила:

— Не очень.

— Почему же?

— Консерватор. Я не так воспитана.

— Понятно. И только-то?

Она с усмешкой повела глазами по траве.

— Я как-то не думала, что вы будете задавать

такие вопросы.

— Я и не собирался. Сами напрашиваетесь.

Она с удивлением глянула на него, как бы не ожидая такой прямоты, потом неопределенно улыбнулась. Он сказал:

— Факты все налицо. Осталось узнать, как о нем думали.

— Не о нем. Об их жизни.

— Друг ваш выразился иначе: лицедействе.

— Да они же не притворялись. Они ведь такие и есть.

— Вы не против, если я сниму галстук?

— Пожалуйста. Ради бога.

— Весь день мечтал о воде.

— И я.

— Ну вот и вода, хоть купайся нагишом.

Они проходили мимо женской купальни, заслоненной деревьями и кустарником. Он бегло улыбнулся ей, скатывая галстук:

— Только подглядывают.

— А вы откуда знаете?

— Служил постовым неподалеку. Хэверсток-Хилл — бывали?

Она кивнула, и он подумал, до чего же хорошо обходиться без околичностей, говорить напрямик, что думаешь и что знаешь, жить нынешним

днем, а не полувековой давностью; хорошо, когда за тебя высказывают то, что ты сам не берешься выразить. Ему тоже не очень-то нравился Филдинг и совсем не нравился его образ жизни. Вот так. Ленишься думать, ловишься на подсказку, впитываешь глазами дурманящие цвета воскресных газетных приложений, соглашаешься со старшими, подчиняешься профессии — и совсем забываешь, что есть и независимые люди с незамутненным сознанием, которым все это не застит глаза и которые не боятся…

Вдруг она спросила:

— А правда, что полицейские там избивают стариков за непростительное любопытство?

Он словно ударился оземь; и постарался не выдать сотрясения — сильного и неожиданного, точно охотился за пешкой и вдруг подставил под удар короля.

— Не знаю, может быть. — Она бродила взглядом по траве. Через секунду-другую он добавил: — Лично я их чаем угощал. — Однако пауза уже сломала ритм общения.

— Простите, я зря это спросила. — Она искоса поглядела на него. — У вас не очень-то полицейский вид.

— Ничего, нам не привыкать.

— Мне когда-то рассказывали. Простите, я не хотела… — Она встряхнула головой.

— Да все в порядке, обычный вопрос насчет превышения мер.

— И я вас прервала.

Он закинул куртку за спину и расстегнул рубашку.

— Сейчас мы пытаемся выяснить, не опостылела ли такая жизнь ему самому. Ваш друг сообщил мне, что у отца его не хватило бы смелости… ни смелости, ни воображения на что-нибудь другое.

— Питер так сказал?

— Слово в слово.

Она помедлила с ответом.

— Иногда казалось, что он вовсе не здесь, понимаете? Будто сам себя изображает и сам это видит со стороны.

— Еще что казалось?

Такая же пауза.

— Опасный — не то слово, но такой… чересчур сдержанный. Может, лучше сказать — одержимый? То есть если он себе что-нибудь докажет, другие не разубедят. — Она укоризненно хлопнула себя по виску. — А, все я не так говорю. Странно только, что Питер…

— Не отвлекайтесь.

— Ну, в нем была какая-то внутренняя твердость, напряжение, жесткость, что ли, такая. Нет, смелости бы хватило. И нездешний вид, будто он сам себе чужой. И воображения тоже. — Она состроила гримасу. — Привет от детектива-любителя.

— Нет-нет, очень любопытно. А в последний вечер? Тоже нездешний вид?

Она покачала головой.

— Как раз нет, он был веселей обычного. Да… пожалуй, веселее. К нему вообще-то это слово не подходит, но…

— Чему-то радовался?

— Да, это было не просто радушие.

— Словно бы на что-то решился — и отлегло от сердца?

Она раздумывала, не поднимая глаз. Шли они совсем медленно, будто собрались вот-вот повернуть назад. Наконец она мотнула головой.

— Честно сказать — не знаю. Потаенного волнения, по-моему, не было. И ничего прощального в поведении.

— Даже когда расставались?

— Меня он поцеловал в щеку, Питера, кажется, потрепал по плечу. Впрочем, точно не помню. Но что-нибудь необычное я бы, конечно, заме-

тила. Вот разве настроение у него было немного необычное. Помнится, Питер говорил потом, что он, видно, размякает к старости. В самом деле, он как будто особенно старался быть с нами поласковее.

— И это против обыкновения?

— Ну, не то чтобы… просто обычно он бывал нарочито сдержан. А тогда — может быть, потому, что в Лондоне. В поместье у него всегда был более посторонний вид. Во всяком случае, мне так казалось.

— И все сходятся на том, что в поместье он отдыхал душой.

Она снова задумалась, подбирая слова.

— Да, ему нравилось это показывать. Должно быть, по семейным соображениям. Дескать, таков я en famille [17] .

— Теперь, — сказал он, — я задам вам очень невежливый вопрос.

— Нет. Этого не было.

Ответила она так быстро, что он рассмеялся.

— Вот повезло со свидетельницей!

— Я ждала вопроса.

— Никогда, ни взгляда, ни?..

---

[17] Примечания: 17
В семейном кругу *(франц.)*.

— Мужчины оглядывают меня либо в открытую, либо исподтишка. Он исподтишка не оглядывал, за это я ручаюсь.

— Я не о том, позволил ли он себе что-нибудь, а не было ли такого ощущения…

— Которое поддается описанию? Нет.

— Ага, значит, что-то было?

— Да нет же, нет. Он — ничего, это мои штучки. Шестое чувство — чепуха, словом.

— Встать на колени?

Углы ее губ дрогнули, но она смолчала. Они поднимались к Кенвуду полузаметной пологой тропкой.

— Дурные флюиды? — предположил он.

Она поколебалась и качнула головой. Ее темные волосы милыми небрежными завитками курчавились у открытой шеи.

— Я с ним одна не любила оставаться — именно поэтому. Всего раз или два это случилось. Может, просто привычка политика — испускать гипнотическое обаяние. Питер — тот всегда становился сам не свой.

— В каком смысле?

— Ну, нервничал. Вскидывался ни с того ни с сего. Спорить-то они давно уж не спорили, соревновались в уступчивости. Не надо об этом

никому, пожалуйста. Ведь фактов никаких, может, мне просто чудилось.

— А с женой они, как по-вашему, хорошо ладили?

— Да.

— Не без колебания сказано.

Тропа вилась по травянистому склону; она шла с опущенными глазами.

— Мои родители разошлись, когда мне было пятнадцать. Вот и эти… ладили хорошо, но как бы не чересчур. Сами знают, что знают, детям не показывают. Когда у людей все прочно, они, наверно, друг с другом понебрежнее, не боятся, что под ногой подломится. Правда, Питер говорил, они всегда так: ни разу на его памяти не повздорили. Ко всем лицом, ко всем фасадом. Мне только и виден был этот всегдашний фасад.

— С миссис Филдинг вы по душам не разговаривали?

— Еще чего. — Она скорчила гримаску. — Исключительно по пустякам.

— Стало быть, наедине оставаться не хотели.

— Есть о чем говорить.

— Есть: вы же мне доказали, что вы телепатка. — Она снова улыбнулась, не разжимая губ. — А дурные-то флюиды — сексуального

свойства?

— Не флюиды, ощущение какой-то сдавленности. Как бы вам сказать…

— Говорите наобум.

— Боялась, вдруг он мне в чем-то признается, вдруг у него нервы откажут. Боялась без всякого повода. Не могу объяснить.

— Признается, что несчастлив?

— Нет, не то. Вдруг проглянет другое, незнакомое лицо. Сущие пустяки, и как будто их и не было. — Она пожала плечами. — А когда все случилось, что-то встало на свое место. И не так это вовсе поразило, как должно бы.

— Вы, значит, считаете, что "другое лицо" было совсем другое, не похожее на то, к какому привыкли?

Она медленно, неохотно кивнула.

— Хуже, лучше?

— Честнее.

— На вашей памяти он никогда не собирался менять политическую ориентацию? Свернуть налево?

— Абсолютно не собирался.

— А вы его устраивали как будущая невестка?

Она почему-то слегка смутилась.

— Я пока не тороплюсь замуж. И мы об этом

не говорили.

— Само собой не разумелось?

— Само собой разумелось, что спим мы вместе. Когда мы приезжали, нам готовили общую спальню.

— Вам, значит, не нравилось, что вы ему как-то не так нравитесь? Верно — или я упрощаю?

Она вдруг поглядела на него в упор, словно разбираясь, с кем имеет дело. И отвела глаза.

— Пойдем немного посидим? Под тем вон деревом? — Она свернула, не дожидаясь ответа. — Я кое-что утаила от следствия: давно надо было сказать, признаться. Не в чем и признаваться, но все-таки станет понятнее.

Опять эта внезапность — и легкая улыбка предупредила его готовые сорваться слова.

— Погодите. Сначала усядемся.

Она по-детски поджала под себя ноги. Он вынул сигареты из кармана куртки, она покачала головой, и он спрятал пачку назад. И сел, потом прилег на локоть. Жухлая трава. Ни ветерка. Белое платье в синих штрихах, простое белое платье, изгиб ее плеч и легкие холмики груди, бледно-матовая кожа, яркие глаза, темная линия волос. Она сорвала подсохшую травинку и пристроила ее на коленях.

— Во время прощальной трапезы, — она с усмешкой подняла глаза, — тайной вечери? — я была с ним одна несколько минут: мы поджидали Питера с какого-то студенческого митинга, он чуть-чуть задержался. Мистер Филдинг никогда не опаздывал. Да, так он спросил меня, чем я занималась на неделе, а мы перепечатываем забытые романы прошлого века — такие, знаете, с пышными иллюстрациями, пробуем попасть в струю; и я объяснила ему, что их читаю. — Она вспорола стебелек ногтем. — Ну и вот. Я ему сказала, что завтра пойду в Британский музей, остался один непрочитанный. — Она подняла глаза и посмотрела на инспектора. — Правда, не пошла. Но так я ему сказала.

Он потупил взгляд.

— И умолчали — а почему?

— "Меня об этом не спрашивали" — годится?

— Для кого другого — сгодилось бы, для вас — маловато.

Она снова занялась стебельком.

— Ну тогда пусть будет, что я струсила, хорошо? Тем более я же знаю, что вины за мной нет.

— Он дал понять, что ему это важно?

— Ничуть. И сказано-то это было мимоходом, речь шла о книге, которую я прочла. Вот и все.

Тут и Питер явился.

— А в музей вы почему не пошли?

— Была суматоха с верстской, и я всю пятницу просидела над корректурой. — Она снова поглядела ему в глаза. — Можете проверить, суматоху пока не забыли.

— Уже проверено.

— Ну и слава богу.

— Проверено, где все были тогда под вечер. — Он сел и прищурился, глядя на Хайгет-Хилл. — Зачем было молчать, если за вами нет вины?

— Сугубо личные причины.

— Какие, простите за любопытство?

— Да из-за Питера. С некоторых пор у нас как-то не клеится. Мы тогда и в Тетбери не поехали по моей милости. — Она поглядела на инспектора — достаточно ли, потом снова опустила глаза. — У меня было такое чувство, что он меня приглашает, как вы сказали, в будущие невестки отцу. И приманкой служит та самая жизнь, которую он будто бы ненавидит. Мне это не понравилось, вот и все.

— Стало быть, вы решили его не смущать?

— Он и так-то в полном замешательстве. А я подумала… понимаете, любые объяснения все равно будут подозрительными, да еще перед мис-

сис Филдинг… Я знаю, что ни в чем не виновата, а другие-то не знают. Опять-таки не видела — и сейчас не вижу, — что вам это дает.

— Ну а если он хотел с вами повидаться, то зачем?

Она выпростала из-под себя ноги и села к нему боком, обхватив колени.

— Сначала думала, может, по издательской линии. Но я ведь мелкая сошка, он это знал.

— То есть что — анонимные мемуары? Разоблачения?

Она повела головой.

— Да, не вяжется.

— Все-таки надо было сказать.

— Меня допрашивали довольно бездарно. Не как вы.

— Спасибо. Но подколоть случая не упустили.

— О чем и печалуюсь.

Не глядя на нее, он подавил улыбку.

— Ваше ощущение, будто он что-то хотел вам сказать, идет отсюда или возникло раньше?

— В июне в Тетбери был один случай: он повел меня на конюшню показывать новые денники — так, для пущего дружелюбия. Сказал, что мы прекрасно глядимся с Питером, что его это очень радует, а то кругом маловато людей с чувством

юмора; их и всегда-то не хватает, особенно нашему брату политику. — Последние слова она выговорила медленно, словно диктуя. — Да, именно так он и сказал. Потом заметил — как легко замкнуться в своем мироощущении. Вот и все — но он вроде бы дал мне понять, что не считает себя мерилом, знает, что Тетбери не по мне, и вполне признает мое право жить и думать по-своему. Впрочем, — прибавила она, — я говорю о слабых, мимолетных впечатлениях; да может, еще задним числом и преувеличиваю, придаю им какое-то значение.

— Питер, видимо, вообще не знает, что вы бываете в музее?

— По счастью, это не всплывало. Он вообще предпочитал лишний раз не вспоминать, что я сама зарабатываю себе на хлеб.

Он отметил прошедшее время.

— А если бы знал — поверил бы вам?

— Вы-то верите?

— Иначе бы вы здесь не сидели. Или опять-таки умолчали бы.

— Да, пожалуй.

Он снова опустился на локоть и прикинул, что еще можно выспросить под маской официального любопытства.

— Питер у вас выходит путаник.

— Именно что нет. В нем одно с другим не путается и даже не связывается. Будто два разных человека.

— В отца пошел?

— Только у Питера это все наружу: не умеет скрыть. — Она говорила, не поднимая головы и чуть покачиваясь, со сплетенными на коленях руками. — Знаете, бывает — люди живут притворно, ну там лакеи по стенам и прочее. Противно, конечно, но хотя бы естественно. Вот мать у Питера. — Она пожала плечами. — Ведь и правда — хозяйка от старинных времен, оставляет джентльменов за портвейном и сигарами. — Она снова искоса глянула на него. — Но отцу-то это не годилось, он был очень неглуп, даром что консерватор.

— Не мог принять всерьез?

— Не мог, но не показывал этого, то есть не извинялся ужимками, как некоторые. Вот только со мной оговорился — тут, конечно, неувязка, и объяснять не берусь. — Она ему улыбнулась. — Жидковато, правда? Не знаю даже, зачем я вам голову морочу.

— Может быть, затем, что я тоже не знаю, арестовать ли вас за недобросовестные показания

или напоить чаем в Кенвуде.

Она с улыбкой глядела на свои поднятые колени, не торопясь отвечать.

— Вы так всегда и были полицейским?

Он рассказал ей про своего отца.

— И вам нравится?

— Что — быть прокаженным для вашего поколения?

— Нет, серьезно.

— Это дело — не нравится. Никому оно не нужно, даже опасно — мало ли что выйдет наружу! Между нами, разумеется.

— Тошно это, наверно.

Он усмехнулся.

— Не тошнее обычного — тем более сегодня. — И поспешно прибавил: — Не примите за любезничанье. Просто у вас хотя бы одно вяжется с другим.

— Так вы, стало быть, не ближе к разрешению?..

— Дальше от разрешения. Правда, по-вашему кое-что намечается. Примерно то же самое говорил еще один свидетель, только не так связно.

Она еще помолчала.

— Зря это я сказала про полицейских. Что избивают.

— Ладно, оставьте, случается. У полицейских тоже есть маленькие дочери — вот они порой и хватают через край.

— А вы правда чувствуете себя прокаженным?

— Иногда.

— И все друзья у вас полицейские?

— Не в друзьях дело, а в работе. Привыкаешь представлять власть, официальничаешь. Повинуешься людям, которых не уважаешь. И сам себе не хозяин.

— Это вас волнует?

— Когда я вижу, что бывает иначе.

Она глядела вдаль.

— Может быть, из-за этого когда-нибудь и бросите службу?

— Из-за чего?

— Из-за того, что не сам себе хозяин.

— Почему вы спрашиваете?

— Да просто… — Она дернула плечом. — Странно от вас это слышать.

— Почему?

Она ничего не ответила, только снова опустила глаза.

— У меня есть своя теория, диковатая, — и усмехнулась. — Литературная. Продаю за чашку чаю. — Она помахала сумочкой. — У меня с собой

ни гроша.

Он встал и протянул руку:

— Пойдемте, угощаю.

Они пошли к деревьям у Кенвуд-Хауза. Она держалась уговора: сначала чай, потом теория. И они разговорились как вовсе незнакомые люди, сведенные случаем. Говорили каждый о своей работе: оба поначалу ожидали большего от волнующих профессий детектива и литератора. Он спросил о книге детских рассказов, и она призналась, что метит выше и хочет писать для взрослых, взялась за роман, который идет туго, все время черкаешь и начинаешь заново; вообще так трудно разобраться, то ли ты писатель, то ли невольник привитой любви к литературе. У него было сходное отношение к своей работе: пустопорожние удачи и неудачи, многонедельное толчение воды в ступе. Странным образом оказалось (хотя прямо и не высказывалось), что при всей разнице культурной среды ситуации у них довольно похожие. Он стоял в очереди за чаем позади своей свидетельницы, поглядывая на ее темный затылок, нежную шею над воротом платья, крахмально-синие полосы по мучнистой белизне и думал, что надо как-то устроить с ней свидание помимо службы. С девушками

он обычно не робел. И тут была не то что физическая неуверенность, не опаска насчет иной культуры и воспитания; нет, преграда была психологическая: он понимал, что, несмотря на ее грубую оплошность — грубую, но по-своему честную, — она непривычно находчива и требовательна к чувствам и личным отношениям… это плюс исконная неприкасаемость таких, как он, для таких, как она; да вдобавок еще новый, политический барьер (она ведь наверняка левых убеждений) — полицейский для нее в самом деле "прокаженный". Однако было в ней что-то, чего ему как раз недоставало, словно она — почему-то именно она — могла обсеменить некую душевную пустошь, указать ему нужное направление жизни. Короче, в ней была прямизна. Давно уже ни одна девушка не вызывала у него такого внезапного и сильного влечения. И все же он мудро решил выжидать.

Они нашли себе в углу отдельный столик. Предложенная сигарета была на этот раз принята.

— Ну что ж, излагайте.

— Реальность по боку. Все сплошной вымысел.

Покусывая ненакрашенные губы, она ждала, как он отзовется.

— Это и есть решение?

— Нет, это условие. Уговоримся, что все, связанное с Филдингами, даже и наш с вами теперешний разговор, — все происходит в детективном романе. Идет? Мы не на самом деле, кто-то где-то про нас пишет. Он или она решает, кто мы такие, чем занимаемся, — словом, все с начала до конца. — Она поиграла ложечкой, устремив на него темно-карие глаза с живой искоркой. — Приготовились?

— Напрягся.

— В романе должен быть конец. Нельзя оставлять загадку без разрешения. Уж раз ты писатель, то будь добр, придумывай.

— Почти целый месяц я пробился…

— Да, но не отвлекаясь от действительности. Одно дело — у меня слишком мало фактов, чтоб доискаться решения; другое — у меня мало фактов, но какое-то решение должно быть найдено.

Ее перевес в его глазах поколебался: наконец-то изъян — глуповатая рассудочность. Была бы она не такая милая в остальном, это бы раздражало, но тут ему даже стало полегче. Он усмехнулся.

— Мы тоже так играем. Впрочем, неважно.

Она прикусила губу.

— Deus ex machina нам заведомо не годится. Это беспомощность и жуткое надувательство, не

более того.

— Сделайте такое одолжение…

— Бог на веревке, — улыбнулась она, — из греческой трагедии. Когда по-честному конец не вытанцовывается, и прибегают к посторонним средствам. Негодяя убивает молнией. Кирпич ему на голову падает. Понятно?

— Оклемался и слушаю.

— Все это с Британским музеем вполне может быть и простым совпадением. Но что, если исчезнувший человек действительно решил встретиться с той девушкой? По воле писателя он мог бы, не обнаружив ее в читальном зале, позвонить ей на службу, в издательство. Есть непонятный пробел в ее дне — от половины шестого, когда она ушла с работы, до восьми, когда она с Питером Филдингом явилась на премерзкую вечеринку.

Он вдруг не на шутку почувствовал себя не в своей тарелке. То ли она его дразнит — и, значит, он ей нравится? То ли водит за нос — и, значит, вовсе нет?

— И они встретились?

Она подняла палец.

— Писатель *может* устроить им встречу. Только придется сделать это его решение внезапным,

иначе, учитывая характер мистера Филдинга, все было бы куда лучше спланировано. Он сказал бы ей что-нибудь такое… Я не выдержал скрытого стресса двойственной жизни и не знаю, к кому обратиться, а вы кажетесь мне доброжелательной и хладнокровной девушкой, и вот…

— И хладнокровная девушка станет мне это рассказывать?

— Только будучи уверена, что тут ничего не докажешь. А она, пожалуй, и уверена — ведь полиция до сей поры даже не подозревала об их встрече.

— Не совсем так. Не имела данных.

— Все равно.

— Положим.

— Почему бы ей попросту не пожалеть его? Опустошенный человек в приступе отчаяния, в тисках безнадежности. Очень трудно написать, и все-таки… Ведь эта девушка, кстати, гордится своей независимостью — и уменьем разбираться в людях. Не забудьте еще, что она совершенно чужда тому миру, от которого он бежит. — Действительная девушка играла пластмассовой ложечкой и смотрела на него уже без улыбки, испытующе. — Сексуального подтекста нет: она делает это лишь по доброте сердечной. И что осо-

бенного от нее требуется? Всего только подыскать ему укрытие на пару дней, пока он сам не устроит все толком. А уж раз у нее такой характер, то от решений своих она не отступается, и никто из нее ничего не вытянет, даже шустрые молодые полисмены, угощающие ее чаем.

Он разглядывал свои чашку и блюдце.

— Как же вас прикажете…

— Такой вот вариант концовки.

— Прятать людей — дело непростое.

— Ага.

— Особенно когда они действуют напропалую: судя по всему, даже не запасшись деньгами. И когда они так действовать не привыкли.

— Тонко подмечено.

— К тому же и характер у нее, по-моему, не такой.

— Меньше дерзновения?

— Больше воображения.

Она с улыбкой прилегла щекой на ладонь.

— Стало быть, придется нашему автору перечеркнуть такую концовку?

— Если у него есть в запасе получше.

— Есть. А можно еще одну сигарету?

Он щелкнул зажигалкой. Она подперла кулачками подбородок и подалась вперед.

— Предположим, автор наш перечтет все неперечеркнутое — что ему должно броситься в глаза?

— Собственная беспомощность.

— Почему?

— Забыл подготовить развязку.

— А может, стоит оглянуться на главного персонажа? Знаете, в книгах они, бывает, живут своей жизнью.

— И бесследно прячут любые улики?

— Вынуждая автора с этим считаться. Да, вот так он решил сам за себя: исчез, как в воду канул — и оставил автора с носом. И без развязки.

Инспектор усмехнулся.

— Кто же мешает писателю устроить все иначе?

— Вы хотите сказать, что в конце детективного романа все должно разъясняться? Закон жанра?

— Условность.

— Ну а если в нашем романе нарушены литературные условности, может, он просто достовернее? — Она снова закусила губу. — Не говоря уж о том, что случилось-то это на самом деле: значит, так оно и есть.

— Почти упустил из виду.

Она выставила блюдце и стряхнула в него

пепел.

— Значит, нашему автору только и остается убедительно разъяснить, почему главный персонаж толкнул его на чудовищное литературное преступление — нарушение законов жанра? Ах, бедняга, — сказала она.

Инспектор чувствовал пропасть между ними: между теми, кто живет идеями, и теми, кто вынужден пробавляться фактами. Почему-то было немного унизительно вот так сидеть и слушать все это; а глазам его представлялась ее нагота, ее нежная нагота — на его постели. На ее постели. На любой или без всякой постели. Соски грудей под легким платьем; такие маленькие руки, такие живые глаза.

— И вы беретесь разъяснить?

— Его жизнь имеет своего автора — в некотором смысле. Не человека, нет — систему, мировоззрение. Он был нацело задуман, был сделан книжным персонажем.

— Так, ну и…

— Безукоризненно правильным. Который всегда говорит то, что надо, надевает то, что следует, отвечает нужным представлениям. Правильным с большой буквы. Роль за ролью и все вместе. В Сити. В именье. Тусклый и надежный член

парламента. Ни малейшей свободы. Никакого выбора. Все только по указке системы.

— Но это можно сказать про…

— Однако же надо искать в нем чего-то необычного — коли уж он совершил такой необычайный поступок?

Инспектор кивнул. Теперь она избегала его взгляда.

— И вот он это осознает. Наверно, не сразу. Медленно, понемногу. Осознает себя чужим твореньем, вымышленным персонажем. Все распланировано, расчерчено. Он — всего-навсего живая окаменелость. Вряд ли у него изменились взгляды, вряд ли Питер его переубедил или Сити вдруг показалось ему грязненьким игорным притоном для богачей. Наверно, он винил всех и вся подряд — в том, что его сделали манекеном, связали по рукам и ногам.

Она стряхнула в блюдце пепел.

— Вы его альбомы видели?

— Его что?

— В Тетбери, в библиотеке. Все в синем сафьяне, с золотым тиснением: его инициалы, чины, даты. А внутри — газетные вырезки со времен его адвокатуры. Отчеты "Таймс" и тому подобное. Любой пустяк приобщен. Вырезки из местной

газетенки о благотворительных базарах и те на своих местах.

— А что, это так необычно?

— Больше похоже на актера. Писатели бывают в этом роде. Навязчивая потребность… в каком-то признании?

— Пожалуй.

— На самом-то деле — от страха. Перед неудачей, перед безвестностью. Только вот писатели и актеры — большинство из них — могут жить будущим, лелеять вечный оптимизм. Новая роль будет ослепительной. Следующая книга будет шедевром. — Она посмотрела ему в глаза взглядом убеждающим и в то же время оценивающим. — Вдобавок и жизнь их нараспашку. Цинизм, грызня. Никто не верит чужой репутации — особенно высокой. Оно даже и здоровее — в некотором смысле. Но он был не таков. Консерваторы принимают успех всерьез, определяют в точности. Никаких скидок. Общественное положение. Статус. Чины. Деньги. А мест наверху маловато. Надо стать премьер-министром, знаменитым юристом, мультимиллионером. Или расписаться в неудаче. Возьмите, — сказала она, — Ивлина Во — ужасный сноб, оголтелый консерватор. Но очень проницательный, неве-

роятно остроумный. И подставьте другого на его место — человека совсем не такого ограниченного, каким он казался, однако без тех отдушин, что были у Во. Ни блистательных книг, ни католицизма, ни остроумия. Опять-таки ни тебе пьянства, ни шалых домашних выходок.

— То есть такого же, как тысячи других?

— Не совсем. Он ведь сделал то, чего тысячи других не делают, — стало быть, ему было нестерпимее других. Обреченный на неудачу, загнанный в западню, да еще вынужденный соблюдать видимость и притворяться счастливцем. Никаких творческих способностей, Питер мне говорил. В суде он тоже был на вторых ролях: узкий специалист, не более. А вкусы его! Как-то признался мне, что он большой любитель исторических биографий, жизнеописаний замечательных людей. Да, и к театру еще был очень неравнодушен. Я все это знаю, потому что больше нам и разговаривать было не о чем. Обожал Уинстона Черчилля, этого толстомясого фанфарона.

В разброде мыслей инспектора мелькнуло припоминание мисс Парсонс, как Филдинг "чуть не проголосовал" в сорок пятом за лейбористов. Впрочем, одно другому не противоречит. Он сказал:

— Так, ну и что же…

— Он все больше и больше чувствует себя второстепенным героем пустяковой книжонки. Собственный сын и тот его презирает. Ходячий мертвец, верхний винтик дурацкого механизма. С виду — чуть ли не на вершине успеха, сам для себя — нелепое и жалкое чучело.

Кончиком пальца она вычерчивала на столике невидимые разводы: квадрат, круг с точкой. Наверно, подумал инспектор, у нее совсем ничего нет под платьем, и мучительно представил, как она, голая, сидит верхом у него на коленях, обвив шею руками, — сладкое, грубое терзанье. Влюбляешься, вдруг понимая, чего не было, не могло быть прежде.

— Но однажды он видит, что боли и фальши можно положить конец. И заодно пробиться к бессмертию.

— Исчезнув?

— Неразрешимое остается в памяти. Тайна долговечнее всего. — Она подняла пальчик от невидимого чертежа. — Если только она остается тайной. Если же выследят, разгадают — все пойдет прахом. Он попадет назад, в чужую книгу. Нервное потрясение. Детективная головоломка. Да мало ли.

Что-то сместилось, разрозненные улики сплылись, и в словах ее был ритм соития. Треньканье посуды, невнятные голоса, липкий зной — все понемногу отступило. Одно сомнение продребезжало — и не понадобилось.

— Значит, его нет и не будет?

— Как бога, — улыбнулась она.

— Не понял?

— У богословов: Deus absconditus, бог незримый, пропащий. Нет Его — и нет. Оттого и не забыт.

Он опять припомнил разговор с мисс Парсонс.

— Покончил с собой, что ли?

— Спорим на что хотите.

Он поднял и опустил взгляд.

— А ваш писатель — у него и это разработано?

— Что там детали. Я вам разъяснение предлагаю.

Он попытался заглянуть ей в глаза.

— К сожалению, мне-то нужны именно детали.

Она прищурилась.

— Это уж по вашей части.

— Продумывали. Положим, бросился с ночного парома через пролив. Проверяли. Паромы перегружены, всюду народ. Не получается.

— Зря вы его недооцениваете. Он бы рассудил, что это рискованно: заметят.

— Пропавших лодок нет — и это проверяли.

Она глянула из-под бровей — хитро, по-заговорщицки — и тут же скромно потупилась.

— Хотите, я вам его утоплю? В тихом таком местечке?

— Где?

— В лесу возле Тетбери-Холла. Называется озеро, а просто большой пруд. Говорят, очень глубокий.

— Как же он туда добрался невидимкой?

— Прекрасно знает местность. Помещик все-таки; охотится. Выбраться из Лондона, и не сыщешь.

— Ну а как выбрался?

— Переоделся как-нибудь? На такси вряд ли. Поездом тоже опасно. Автобусом?

— Пересадки.

— Он же не торопился. Надо было, чтоб смеркло. Сошел на остановке за несколько миль, а там тропкой. Он любил пройтись.

— Да и утопиться — не шутка. Как труп на дне удержать?

— А что-нибудь плавучее? Надувной матрас? Камера? Выплыть с грузом на середину, а там…

— Из-за вас у меня будут кошмары.

Она улыбнулась, откинулась назад и сложила

руки между колен, потом рассмеялась.

— Ну чем я не Агата Кристи?

И снова потупилась в притворном раскаянии, а он не сводил с нее глаз.

— Прикажете принимать вас всерьез — или как?

— В Париже у меня эта история из головы не шла. Особенно Британский музей — зачем я-то ему понадобилась. А если нет, то зачем было так рисковать? Он мог на меня случайно натолкнуться. Да и в читальный зал просто так не пустят — нужен пропуск. Проверяли?

— У всех дежурных.

— И вот теперь я надумала, что это был такой знак. Встречи со мною он не искал, но почему-то ему хотелось, чтоб я знала, что причастна к его решению. Может быть, из-за Питера. Или у него со мной связывалась какая-то мечта.

— О выходе, закрытом для него?

— Вероятно. Тут не во мне дело, я не слишком уж необычная — разве что в его мире. По-моему, он как бы уведомил меня, что хотел бы поговорить со мной толком и без церемоний, но нет, не выйдет.

— А что его потянуло в Тетбери-Холл?

— Это как раз очень понятно — и тоже в ду-

хе Агаты Кристи. Там и искать не станут, и все концы в воду. Он был очень опрятный, неряшливость ненавидел. А тут на своей земле, никто лишний не замешан. Все равно что застрелиться в оружейной, ей-богу.

Он посмотрел ей в глаза.

— Смущают меня все-таки те ваши два часа после работы.

— Да я шутила.

— Дома-то вас не было. Миссис Филдинг тогда звонила вам.

Она улыбнулась.

— Теперь мой черед спросить: вы это всерьез?

— Скорее для порядку.

— А если я не стану отвечать?

— Своего писателя подведете.

— Ничего подобного, это вполне в ладу с его замыслом. Мало исполнять обязанности, нужно иметь чутье.

Она его, конечно, поддразнивала, но заодно и проверяла: ведь именно это он должен был усвоить. И в самом деле, за последние полчаса уголовное дело точно растаяло, и вовсе не из-за ее предложенной разгадки: просто он, как и все остальные, но по-своему, понял, что дальше разгадывать незачем. Событие совершилось:

разнимать его на части, уяснять его в деталях — в этом смысла не было. Зато был смысл в живом личике с карими глазами, насмешливо-испытующими; его бы не потерять. Он подумал схитрить, поискал повода продолжать расспросы и решил — не надо; улыбнулся и опустил взгляд.

Она мягко сказала:

— Мне пора. Если только вы меня не арестуете за ясновидение.

Они остановились друг против друга на тротуаре у ее домика.

— Ну что ж.

— Спасибо за чашку чаю.

Он нехотя принял официальный тон.

— Номер мой у вас есть. Если что-нибудь еще…

— Надумаю, кроме несусветных фантазий…

— Вовсе нет. Это было замечательно.

Легкая пауза.

— Что ж вы форму-то не носите. Вот я и забылась.

Он чуть помедлил — и протянул руку.

— Следующий раз будете осторожнее. Скажите, когда выйдет роман, — я куплю.

Она коснулась его пальцев и скрестила руки на груди.

— Который?

— О котором шла речь.

— Есть и другой — с убийством. — Она словно бы разглядывала улицу за его спиной. — Пока в зародыше — вот найду, кто поможет в технических деталях…

— Полицейская процедура и прочее?

— И тому подобное. Больше полицейская психология.

— Ну, это вам будет нетрудно.

— Вы думаете, найдется охотник?

— Есть один на примете.

Она поставила торчком левую босоножку и рассматривала ее, не разнимая скрещенных рук.

— Завтра вечером он вряд ли сможет?

— Ваши любимые блюда?

— Вообще-то я люблю готовить сама. — Она подняла глаза. — Когда работа не мешает.

— Сухое белое? Примерно к восьми?

Она кивнула и закусила губу, слегка усмехаясь, чуть-чуть сомневаясь.

— Ох, сколько телепатии ушло.

— Я хотел было. Но…

— Замечено. И одобрено.

Она еще поглядела ему в глаза, потом помахала рукой и пошла к крыльцу: темные волосы, легкий шаг, белое платье. Когда ключ был уже в замке,

она обернулась, снова вскинула руку и исчезла за дверью.

На следующее утро инспектор безуспешно попытался добиться неофициального позволения обшарить пруд близ Тетбери-Холла. Потом он с тем же успехом попросил освободить его от дальнейшего расследования и предложил молчком прикрыть дело. Его обстоятельная новая теория по поводу загадочного происшествия тоже успеха не имела. Ему велели не терять времени на скороспелую психологию, а лучше поискать веских улик и сурово напомнили, что летний сезон на исходе, скоро палата общин снова соберется в Вестминстере, и не ровен час кто-нибудь полюбопытствует, куда же все-таки исчез их коллега и что на сей счет думает полиция. Инспектор не мог знать, что история спешит ему на выручку: его просьбу и предложение уважили, когда разразилась августовская эпидемия взрывчатых писем.

Однако же к концу того дня, первого из многих, когда яства были съедены, совиньон выпит и босоногая хозяйка после долгих поцелуев согласилась наконец расстаться с платьем — другим, но тоже очень длинным и очень милым, ее единственной защитой от посягательств, принятых более чем охотно, — тогда инспектор отнюдь не

был настроен винить Джона Маркуса Филдинга в чем бы то ни было.

Нежная тайнопись пола несет свой ритм, ни сбить, ни нарушить который не может никакая загадка, земная или небесная; она может лишь подсказать его — и исчезнуть.

ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПРОЗЫ

Легенда о Розе Альгамбры
Вашингтон Ирвинг

Первое время после покорения Гранады испанские государи часто наведывались в этот дивный город, но потом их отпугнула череда землетрясений, которые обрушили много домов и расшатали до основания старинные мавританские башни.

Миновало много-много лет, а короли в Гранаде почти не бывали. Дворцы знатных особ стояли безмолвные и заколоченные, и Альгамбра, словно покинутая красавица, одиноко печалилась средь заглохших садов. Башня Де Лас-Инфантас, когда-то обитель трех прекрасных мавританских царевен, тоже пребывала в запустении; пауки наискось заткали ее золоченый свод, нетопыри и совы ютились в покоях Заиды, Зораиды и Зорагаиды. Эта башня была в особом небрежении из-за суеверных страхов жителей Альгамбры. Рассказывали, что тень юной Зорагаиды, сгинувшей в этой башне, лунными ночами часто сидит в чертоге у фонтана или бродит меж зубцами башни и что в полночь из ложбины слышна ее

серебряная лютня[18].

Наконец Гранада снова удостоилась королевского посещения. Известно всему свету, что Филипп V был первым Бурбоном, воцарившимся в Испании. И всему свету известно, что он женился вторым браком на Елизавете, иначе говоря, Изабелле, прекрасной княжне пармской; таким образом, на испанском престоле оказались французский принц и итальянская княжна.

К визиту этой блистательной четы Альгамбра со всею поспешностью прибралась и приукрасилась. Прибытие гостей преобразило весь облик заброшенного дворца. Барабанный бой и пенье труб, конский топот в подъездных аллеях и наружном дворе, блеск доспехов, знамена у барбакана и между зубцами — все как бы напоминало о древней боевой славе крепости. В королевском дворце, однако, воинственным духом и не пахло. Здесь шелестели платья, в передних слышались мягкая поступь и осторожные голоса почтительных придворных, по садам разгуливали пажи и фрейлины, и из открытых окон лилась музыка.

---

[18] Примечания: 18

...*серебряная лютня* — само испанское название этого инструмента laud восходит к арабскому слову al-'ûd, которое означает и «музыкальный инструмент», и «дерево»; так что данное сочетание у Ирвинга звучит для посвященного как оксиморон.

В свите приближенных состоял некий Руис де Аларкон, любимый паж королевы. Сказав так, мы дали ему наилучшую рекомендацию, ибо в окружении прекрасной Елизаветы все как один блистали красотою, изяществом и дарованиями. Ему едва исполнилось восемнадцать, и он был стройный, гибкий и прелестный, как юный Антиной.[19]

Королева видела на лице его только почтение и восторг, а на самом деле это был сущий повеса, заласканный и избалованный придворными дамами и не по возрасту искушенный в амурных делах.

Однажды утром этот бездельник-паж слонялся по рощам Хенералифе, над угодьями Альгамбры. Забавы ради он прихватил с собой любимого кречета королевы. Увидев, что из куста выпорхнула птица, он сдернул клобучок с головы пернатого ловчего и подбросил его в воздух. Кречет круто взмыл, камнем упал на жертву, промахнулся и понесся прочь, не внемля зову пажа. Тот проследил взглядом прихотливый полет беглеца и заметил,

---

[19] Примечания: 19

...стройный, гибкий и прелестный, как юный Антиной... — Антиноем звали прекрасного юношу, приближенного к римскому императору Адриану (первая треть II в.); сохранилось множество его изображений, и в связи с этим его имя стало синонимом юношеской красоты.

что кречет уселся на зубце крепостной башни Альгамбры, отдаленной от прочих и стоящей у края ложбины, между королевским обиталищем и Хенералифе. Это была Башня Царевен.

Паж спустился в ложбину и подошел к башне, но оттуда в нее входа не было, а взобраться на такую высоту не стоило и пробовать. Чтоб зайти с тылу, пришлось дать большой крюк через ближние крепостные ворота.

Перед башней был садик в камышовой ограде, осененной миртом. Отворив калитку, паж пробрался к дверям между цветочными клумбами и кущами роз. Дверь была на запоре; он приложился глазом к щели и увидел мавританский чертог с узорными стенами, стройными мраморными колоннами и алебастровым фонтаном, обсаженным цветами. Посредине висела золоченая клетка с певчей птицей; под нею в кресле среди мотков шелка и другого женского рукоделия возлежала пестрая кошка; и перевитая лентами гитара была прислонена к ограде фонтана.

Руис де Аларкон подивился этим милым следам женского присутствия в уединенной и, как он полагал, заброшенной башне. Ему припомнились рассказы об очарованных чертогах Альгамбры: пестрая кошка, может статься, была заколдован-

ной царевной.

Он негромко постучал. В оконце наверху мельком показалось пленительное личико. Он ожидал, что дверь тотчас отопрут, но напрасно: изнутри не было слышно ни шагов, ни иных звуков. То ли это ему привиделось, то ли в башне обитает сказочная фея? Он постучал громче. Немного погодя ясное личико выглянуло снова, и глазам его предстала очаровательная девушка лет пятнадцати.

Паж тут же сорвал с головы оперенный берет и с отменной учтивостью попросил позволения взойти на башню за беглым кречетом.

— Я не могу вам отворить, сеньор, отвечала, краснея, юная девица, — тетя мне запретила.

— Но я вас умоляю, красотка это любимый кречет королевы, и мне никак нельзя без него вернуться ко двору.

— А вы, значит, из придворных?

— Из них, красотка, но и место свое, и милость королевы — я все потеряю, если пропадет этот кречет.

— Санта-Мария! А тетя мне как раз велела ни за что на свете не впускать никаких придворных кавалеров.

— Разные есть кавалеры при дворе, но я-то —

простой, ни в чем не повинный паж, и я пропал и погиб, если вы откажете мне в этой небольшой просьбе.

Несчастье пажа тронуло девичье сердце. В самом деле, как будет жаль, если он пропадет из-за таких пустяков. И он, конечно, не из тех злодеев, которые, судя по тетиным описаниям, настоящие людоеды и рыщут кругом в поисках беспечных девушек; он скромный и вежливый, так просительно стоит с шапочкой в руке и такой миловидный.

Хитрый паж увидел, что гарнизон дрогнул, и взмолился вдвое пламеннее: тут уж не устояла бы ни одна земная дева. Закрасневшаяся привратница башни сошла вниз и трепетной рукой отперла дверь; и если паж был очарован одним ее личиком в оконце, то, увидев ее теперь целиком, замер от восхищения.

Вышитый андалузский корсет и нарядная баскинья облегали нежные округлости ее еще девической фигуры.

Глянцевито-черные волосы были строго посредине разделены пробором и украшены, как всюду в Испании, свежесорванной розой. Знойное солнце слегка осмуглило ее лицо, но тем ярче пылал на нем румянец и яснее сияли влажные глаза.

Руис де Аларкон все это приметил с одного взгляда, ибо медлить ему было не должно; он лишь второпях поблагодарил и легко взбежал по винтовой лестнице наверх за своим кречетом.

Вскоре он возвратился с пойманным беглецом на руке. Тем временем девушка села в кресло у фонтана и принялась мотать шелк, но от волнения обронила моток на пол. Паж подскочил, поднял его и, опустившись на одно колено, подал ей; протянутую за мотком ручку он поцеловал столь пылко и самозабвенно, как никогда не целовал прекрасной руку своей государыни.

— С нами крестная сила, сеньор! — воскликнула девушка, покраснев до корней волос от изумления и замешательства: таких знаков внимания ей в жизни не оказывали.

Смиренный паж рассыпался в извинениях, уверяя, что при дворе просто принято выражать так почтение и преданность.

Ее недовольство, если это было недовольство, легко улеглось, но смущение и растерянность остались; и она краснела гуще и гуще, потупив глаза и вконец запутав шелк, который все пыталась мотать.

Коварный паж заметил смятение в противном лагере и не замедлил бы им воспользоваться,

но пышные речи замирали у него на устах, любезности выходили неуклюжие и неуместные, и повеса, который, не моргнув глазом, пленял самых взыскательных и многоопытных придворных дам, к собственному изумлению, робел и терялся перед пятнадцатилетней простушкой.

В самом деле, скромность и невинность бесхитростной девы оберегали ее добродетель куда надежнее, чем теткины замки и засовы. Но где то женское сердце, которое устоит перед откровением любви? И как ни была простодушна юная андалузянка, ей было внятно все, на чем заплетался язык пажа, и сердце ее трепетало при виде первого склоненного к ее ногам воздыхателя — и какого воздыхателя! Паж оробел хоть и непритворно, но ненадолго, и к нему уже возвращалась обычная развязная непринужденность, как вдруг вдали послышался сварливый голос.

— Это моя тетя вернулась от обедни! — вскрикнула испуганная девица. — Уходите, сеньор, прошу вас.

— Не прежде, чем получу от вас эту розу в память о нашей встрече.

Она поспешно выпутала розу из черных, как вороново крыло, волос.

— Возьмите, — воскликнула она, раскрас-

невшись и чуть дыша, — только идите, идите скорее!

Паж принял розу из прелестной ручки, покрыв ее поцелуями. С розой на берете он подхватил кречета на руку и в три прыжка промчался через сад, унося с собою сердце нежной Хасинты.

Когда всевидящая тетка зашла в башню, она сразу заметила, что племянница взволнована, а рукоделие разбросано, однако все тут же объяснилось.

— Кречет залетел в чертог в погоне за добычей.

— Господи помилуй! Не хватало, чтоб сюда еще кречеты залетали! Ах ты, какой бесстыжий разбойник! За пташку в клетке — и за ту покоя нет!

Неусыпная Фредегонда была самая оглашенная старая дева. Она, как водится, больше всего на свете боялась тех, кого называла «противным полом», и не доверяла им ни на грош, а многолетнее целомудрие довело ее боязнь и недоверие до белого накала. Не то чтобы эта добрая женщина испытала когда-нибудь на себе мужское коварство: природа поставила ее лицо надежным заслоном всему остальному, но женщины, которым незачем беспокоиться за себя, тем паче пекутся о целости лакомого достояния ближних.

Отец ее сиротки-племянницы был офицером и погиб на войне. Она выросла в монастыре и лишь недавно поступила из святой обители в ведение своей тетки, под неусыпным надзором которой расцвела в безвестности, как роза, распустившаяся под сенью шиповника. Сравнение наше не совсем случайно: ее свежая утренняя красота не укрылась-таки от посторонних взоров, и соседи с поэтическим чутьем андалузских простолюдинов окрестили ее Розой Альгамбры.

Все то время, пока королевский двор пребывал в Гранаде, рачительная тетка на совесть стерегла свою чересчур миловидную племянницу и горделиво полагала, что уследила за нею. Правда, добрую женщину иногда тревожили ночной звон гитары и любовные куплеты, при лунном свете доносившиеся откуда-то из зарослей под башней, но она призвала свою племянницу замкнуть слух и не внимать этой праздной музыке, ибо противный пол выдумал ее на пагубу бедным девушкам. Увы, разве такие пресные назидания уберегут бедную девушку от серенады при лунном свете?

Наконец король Филипп пресек свои гранадские досуги и внезапно отбыл со всею свитой. Неусыпная Фредегонда собственными глазами проследила, как королевский кортеж выехал из

Врат Правосудия и отправился к городу главной аллеей. Когда с глаз ее скрылось последнее знамя, она облегченно вздохнула и побрела к башне: настал конец ее заботам. Но, к ее удивлению, возле садовой калитки бил землю копытом стройный арабский жеребец, и, к ужасу своему, она увидела за кущами роз юношу в расшитом наряде у ног племянницы; заслышав ее шаги, он нежно попрощался, легко перепрыгнул через ограду из камыша и мирта, вскочил на коня — и словно его тут и не бывало.

Нежная Хасинта, изнемогая от горя, и думать забыла о теткином гневе. Она кинулась к ней на грудь и заплакала навзрыд.

— Ау de mi! — всхлипывала она. — Он уехал! уехал! уехал! Я больше его никогда не увижу!

— Уехал? Кто уехал? Что это за юноша стоял сейчас перед тобой на коленях?

— Паж королевы, тетя, он заезжал проститься со мной.

— Паж королевы! — слабым эхом отозвалась неусыпная Фредегонда. — Дитя мое, когда же ты познакомилась с пажом королевы?

— В то утро, когда в башню залетел кречет. Это был кречет королевы, и он пришел за ним.

— Ах ты, глупая, глупая девочка! Эти беспутные

мальчишки-пажи страшней всякого кречета, и охотятся они как раз за бедными пташками вроде тебя!

Тетка сперва досадовала: ведь влюбленные, обманув ее недреманный надзор, спознались у нее под самым носом, по, когда выяснилось, что ее простодушная племянница, не защищенная никакими засовами от козней противного пола, прошла огненный искус, не опалившись, она утешила себя мыслью, что тут-то и сказались строгие наставления и правила, как бы броней одевшие Хасинту с головы до ног.

Пока тетка залечивала свое уязвленное достоинство, племянница лелеяла в памяти принесенные ей несчетные клятвы любви и верности. Но что такое любовь беспокойного, суетного мужчины? Это изменчивый поток, который играете прибрежными цветами и проносится мимо, оставляя их в слезах.

Шли дни, недели, месяцы, а паж никак не давал о себе знать. Налились гранаты, созрели виноградные гроздья, из-за гор пришли проливные осенние дожди; Сьерра-Невада накрылась снежной мантией, и зимние ветры застонали в чертогах Альгамбры — а от него ни весточки. Зима миновала. Снова настал праздник весны

— звенели песни, набухали бутоны, веяли зефиры; снег на горах стаял, и лишь возвышенные пики Невады переливались белизной в знойном воздухе. А непостоянный паж как в воду канул.

Между тем бедняжка Хасинта стала бледной и унылой. Она забросила прежние занятия и забавы — не мотала шелк, не трогала гитару, не ухаживала за цветами, не слушала птицу в клетке, и глаза ее, раньше такие ясные, помутнели от тайных слез. Ни в каком уединении девичье сердце так не изноет от любви, как в Альгамбре, ибо все здесь поневоле навевает нежные, сладостные грезы. Для любящих здесь сущий рай; каково же в этом раю одинокой — и не просто одинокой, а покинутой!

— Ах, глупое дитя, — говорила степенная и беспорочная Фредегонда, застав племянницу в тяжкой печали, — я ли не остерегала тебя от мужского коварства и двуличия? Да и на что могла ты рассчитывать: он ведь из знатной, честолюбивой семьи, а ты — сирота, побег захудалого и обедневшего рода. Будь уверена, если б даже юноша и не забыл тебя, все равно отец его, один из самых горделивых придворных, никогда не согласился бы на его брак с безвестной бесприданницей. Крепись же и выбрось из головы нелепые мечтания.

От увещаний беспорочной Фредегонды ее племяннице становилось все тяжелее, и она старалась оставаться наедине со своей печалью. Однажды летним вечером, в поздний час, когда тетка удалилась на покой, она сидела одна возле алебастрового фонтана. Здесь неверный паж впервые упал перед нею на колено и поцеловал ей руку, здесь он часто клялся быть верным ей всю жизнь. Мучительно-сладкие воспоминания стеснили сердце бедной девушки, слезы полились по ее щекам и закапали в фонтанный бассейн. Кристальная вода запузырилась, забулькала, взбурлила, закипела, заплескалась — и из фонтана медленно поднялась женщина в пышном мавританском одеянии.

Хасинта перепугалась, убежала из чертога и не посмела туда вернуться. Наутро она рассказала обо всем тетке, но почтенная дама была уверена, что это ей привиделось с тоски, а может, она просто задремала у фонтана.

— Ты, наверно, вспоминала про трех мавританских царевен, которые когда-то жили в этой башне, — продолжала она, — вот тебе такое и приснилось.

— Про каких царевен, тетя? Я про них ничего не знаю.

— Как это ты не знаешь про трех царевен, Зайду, Зораиду и Зорагаиду, которых царь-отец заточил в этой башне, и они решились бежать с тремя христианскими рыцарями! Две старшие бежали, а у младшей не хватило духу, и она, говорят, так и умерла в этой башне.

— Да, теперь вспоминаю, — сказала Хасинта, — я о них слышала и даже плакала над участью бедной Зорагаиды.

— И недаром плакала, — заметила тетка, — ведь возлюбленный Зорагаиды — твой предок. Он долго по ней тосковал, но со временем утешился и женился на испанке, они и есть твои прародители.

Теткины слова запали на ум Хасинте. «Я-то знаю, — говорила она себе, — что я все видела наяву. Если это тень бедняжки Зорагаиды и она взаправду витает в нашей башне, то чего мне бояться? Подожду-ка я нынче вечером у фонтана, может быть, она снова явится».

Когда всюду воцарилась ночная тишь, она пришла на прежнее место. Дальний колокол на сторожевой башне Альгамбры пробил полночь, и воды фонтана опять взволновались: забулькали, взбурлили, закипели, взметнулись — и возникла та же мавританка. Она была молода и прекрасна,

платье расшито жемчугами, в руке серебряная лютня. Хасинта задрожала и обмерла от страха, но ее успокоили нежный и жалобный голос и ласковое выражение бледного, печального лика.

— Смертная девушка, — сказала она, — что у тебя за печаль? Почему слезы твои тревожат воды моего фонтана, а вздохи и стенания оглашают тихие часы ночи?

— Я плачу о мужской неверности и скорблю о том, что я брошена и одинока.

— Утешься: скорби твоей наступит конец. Пред тобою мавританская царевна; подобно тебе, я была несчастна в любви. Твой предок, христианский рыцарь, пленил мое сердце; он хотел увезти меня к себе на родину и крестить в свою веру. Душою я обратилась, но мне недостало решимости, равной вере, и я промедлила в роковой миг. Поэтому злые духи получили власть надо мной, и я обречена томиться в этой башне, доколе чистая сердцем христианка не разомкнет заклятия. Сделаешь ли ты, что тебе под силу?

— Сделаю, — ответила дрожащая девушка.

— Подойди же, не бойся, погрузи руку в фонтан, покропи меня водой и окрести, как велит твоя вера, тогда чары сгинут и мой измученный дух успокоится.

Девушка приблизилась неверными шагами, зачерпнула горстью воды и окропила бледный лик призрака.

Блаженная улыбка озарила его. Серебряная лира упала к ногам Хасинты, снежные руки скрестились на груди, и видение растаяло, словно осыпалось дождем брызг.

Хасинта покинула чертог в испуге и изумлении. В эту ночь она едва сомкнула глаза и, очнувшись на рассвете от тревожной дремы, подумала было, что все ей пригрезилось. Но когда она спустилась в чертог, ночное видение доподлинно ожило: возле фонтана в лучах утреннего солнца поблескивала серебряная лютня.

Она поспешила к тетке, обо всем ей рассказала и призвала поглядеть на залог правдивости своих слов. Если у почтенной дамы и оставались сомнения, то они рассеялись при первом звоне лютни, ибо она зазвучала под рукою Хасинты так упоительно, что даже холодную грудь беспорочной Фредегонды, эту область вечной зимы, проняло оттепелью. Такое могла свершить лишь нездешняя музыка.

Чародейная власть лютни что ни день становилась явственнее. Прохожий обмирал возле башни и слушал, как зачарованный, затаив дыхание от

восторга. Даже птицы и те слетались на ближние деревья и, смолкнув, завороженно внимали звукам лютни.

Молва понесла весть о чуде. Гранадцы толпами потянулись в Альгамбру, чтоб хоть одним ухом услышать неземную музыку, струившуюся из башни Де Лас-Инфантас.

Очаровательной маленькой лютнистке пришлось оставить тесные стены. Богачи и знать наперебой старались залучить ее к себе и окружали всевозможными почестями — то есть, попросту говоря, заманивали под ее лютню к себе в салоны избранное общество. Тетка везде была у нее под боком и, словно огнедышащий дракон, распугивала стаи млеющих обожателей. Из града в град неслись о ней слухи. Малага, Севилья, Кордова одна за другою пали к ее ногам; по всей Андалузии только и говорили что о прекрасной лютнистке из Альгамбры. Еще бы, ведь андалузцы — такие ценители музыки и такие любезники, а лютня была волшебная, а лютнистка влюбленная!

Итак, вся Андалузия помешалась на музыке; между тем королевский двор сходил с ума на иной лад. Как известно, Филипп V был черный меланхолик с невероятными причудами. То он

по неделям не вставал с одра мнимой болезни, то порывался отречься от престола, к великой досаде его венценосной супруги, которая обожала свой пышный двор и королевский сан и правила державою полоумного мужа твердой и искусной рукой.

Обнаружилось, что единственное лекарство от королевской хандры — музыка, и Елизавета собрала при дворе лучшие голоса и виртуознейших музыкантов; знаменитого итальянского певца Фаринелли она держала в должности лейб-медика.

В то время, о котором идет речь, хитроумный и блистательный Бурбон надумал кое-что похлеще обычного. После долгого приступа мнимой болезни, истощившей силы Фаринелли и не подвластной лекарскому искусству целого оркестра, монарх во всеуслышание скончался и объявил себя покойником.

Это было бы довольно безобидно и даже не лишено удобства для королевы и придворных, если б он и вел себя покойно, как подобает мертвецу, но, ко всеобщему огорчению, он потребовал, чтобы над ним совершили похоронный обряд. И уж вовсе они были озадачены, когда король разгневался и распек приближенных за нерадивость и

непочтительность: доколе его праху дожидаться погребения?

Что было делать? Как могли раболепные придворные ослушаться короля, не нарушив щепетильного этикета? Но повиноваться и похоронить его заживо — это уже отдавало цареубийством!

Посреди такой растерянности при дворе прослышали наконец о девушке-лютнистке, от которой без ума вся Андалузия. Королева со всей поспешностью отрядила за ней гонцов, повелев доставить ее ко двору, в Санто-Ильдефонсо[20] .

Через несколько дней, когда королева прогуливалась с фрейлинами по великолепным садам, аллеи, террасы и фонтаны которых должны были затмить славу Версаля, к ней привели знаменитую лютнистку. Царственная Елизавета с удивлением поглядела на юную и простоватую девицу, которая всех сводила с ума. Она была в живописном андалузском наряде, в руке держала серебряную лютню и стояла, скромно потупившись; лишь ее чистая и свежая прелесть выдавала в ней Розу Альгамбры.

При ней, как всегда, находилась неотступная

---

[20] Примечания: 20

Санто-Ильдефонсо (или Сан-Ильдефонсо) — город в провинции Сеговия, где при Филиппе V была выстроена королевская резиденция.

Фредегонда, которая в ответ на расспросы королевы тут же выложила всю ее родословную. Скромный вид Хасинты пришелся по душе королеве; тем приятней ей было узнать, что девица — достойного, хоть и захудалого рода и что отец ее пал смертью храбрых за короля и отечество.

— Если ты и вправду так искусна, как слывешь, — сказала она, — и сумеешь рассеять дурное наваждение, овладевшее твоим государем, то отныне я позабочусь о твоей участи и тебя ждет почет и богатство.

И, возгоревшись нетерпением изведать искусство Хасинты, она безотлагательно повела ее к опочившему королю.

Хасинта с опущенным взором миновала ряды стражи и скопища придворных. Они пришли наконец в огромный траурный покой. Окна были занавешены от дневного света; сумрачное пламя желтых восковых свеч в серебряных канделябрах тускло освещало недвижные фигуры в черном облачении и бесшумно скользивших по сторонам придворных со скорбными лицами. Посредине на погребальном одре, скрестив руки, возлежал все еще не погребенный монарх; виднелся лишь кончик его запрокинутого носа.

Королева молча вошла в покой, указала Хасин-

те на скамеечку в дальнем углу и знаком велела начинать.

Сперва она тронула струны робкой рукою, но скоро обрела уверенность и вдохновение — и нежные звуки полились в таком сладостном согласии, что в зале повеяло чем-то неземным. А монарх и вовсе решил, что уже вознесся в царство духов и слушает ангелов или музыку сфер. Одна мелодия плавно сменилась другою, и зазвучал чистый голос певицы. Она пела старинную балладу о древней славе Альгамбры и бранных подвигах мавров. В песню она вкладывала всю душу, ибо память об Альгамбре была памятью ее любви. Призывное песнопение огласило траурный чертог, и призыв проник в пасмурное сердце монарха. Он поднял голову и огляделся, потом сел на ложе, глаза его сверкнули, наконец, спрыгнув на пол, он потребовал меч и щит. Музыка — или, вернее, волшебная лютня — восторжествовала: дух уныния был изгнан, мертвец — или все равно, что мертвец — ожил. Окна раскрыли настежь, и в недавно еще омраченный покой хлынуло лучезарное испанское солнце; все взоры устремились к милой чаровнице, но лютня выпала из ее рук, она покачнулась — и через миг Руис де Аларкон прижимал ее к сердцу.

Счастливую чету вскоре обвенчали с великой пышностью, и Роза Альгамбры стала украшением и утехой двора.

— Погодите, погодите, не так быстро, — слышу я читательский возглас, — чего это вы вдруг ударились в галоп? Расскажите-ка сначала, как Руис де Аларкон оправдался перед Хасинтой.

Ничего проще: он привел веское и старое, как мир, оправдание — ему встал поперек пути спесивый, несговорчивый старик-отец; к тому же, знаете, когда молодые люди друг в друге души не чают, размолвки им ни к чему и они мгновенно забывают минувшие горести.

— Ну а как же спесивый и несговорчивый старик-отец все-таки согласился на их брак?

— Два-три слова королевы, и дело с концом, тем более что невеста была обласкана при дворе и осыпана почестями и наградами. К тому же, знаете, лютня Хасинты была чародейная и легко смиряла самых твердолобых и жестокосердых.

— А что сталось с волшебной лютней?

О, это самое любопытное: тут-то яснее ясного подлинность всей истории. Лютня хранилась в семье, но ее, говорят, из зависти выкрал и увез с собой в Италию великий певец Фаринелли. Тамошние его наследники не знали, что лютня

волшебная, и пустили ее в переплав, а струны прикрепили к остову старой кремонской скрипки [21]. Они и поныне отнюдь не утратили волшебной силы. Словечко на ухо читателю, только, чур, молчок: скрипка эта нынче завораживает весь мир — это скрипка Паганини!

[21] Примечания: 21

...старой кремонской скрипки — имеются в виду непревзойденные инструменты, изготовленные в итальянском городке Кремона мастерами Амати, Гварнери, Страдивари и др. в XVI—XVIII вв.

Гипотетический казус
О. Генри

Поверенный Гуч не интересовался абсолютно ничем, кроме своей мудреной и захватывающей профессии. Он давал волю воображению, лишь когда любовно сравнивал свою трехкомнатную контору с корабельным трюмом. Двери отворялись (и затворялись) из одной комнаты в другую, из другой — в третью, и каждая — в прихожую.

— Для вящей надежности, — замечал поверенный Гуч, — трюм корабля разгорожен водонепроницаемыми переборками. Пусть один отсек даст течь и наполнится водой: добрый корабль плывет себе как ни в чем не бывало. Между тем не будь этих разделительных переборок, он затонул бы от одной-единственной пробоины. Вот и я: беседую, скажем, с одной стороной, а тем временем является другая. При посредстве Арчибальда — это мой многообещающий юноша-рассыльный — я разливаю опасный приток по отсекам и погружаю в них свой юридический лот. А понадобится — так можно иного клиента откачать в прихожую и сплавить по лестнице,

которую так и назовем подветренным водостоком. И доброе деловое судно держится на плаву; если же вода, вместо того чтобы служить опорой, станет свободно растекаться по днищу, то мы можем и затонуть — ха-ха-ха!

Закон — не шутка, да и вообще жизнь шутками не балует. А такой незатейливый и неприхотливый юмор хоть как-то скрашивает тягостные тяжбы и тоскливые иски.

Практика поверенного Гуча большею частью сводилась к улаживанию супружеских неурядиц. Если супружество подрывали различия — он посредничал, утешал и примирял. Если супруги нарушали приличия — он исправлял, охранял и отстаивал. А уж если дело доходило до двуличия — он всегда ухитрялся смягчить своим подопечным приговор.

Отнюдь не всякий раз поверенный Гуч спешил во всеоружии воинской хитрости крушить обоюдоострым мечом оковы Гименея. Бывало, что он воздвигал, а не разрушал, сочетал, а не расторгал, возвращал неразумных и заблудших овец в загон, а не рассеивал стадо по долам и весям. Случалось, что под звуки его проникновенного красноречия рыдающие супруги заключали друг друга в объятия. Очень пригождались и детишки,

особенно когда в нужный момент и по условному знаку слышалось жалостно и гнусаво: «Папотька, ты азве не поедес домой со мной и с мамотькой?» — и все становилось на свои места, в том числе расшатанные семейные устои.

Беспристрастные критики признавали, что за восстановление супружеского мира поверенный Гуч получает столько же, сколько и в случае судебного процесса. Пристрастные намекали, что перепадает ему вдвое: ведь рано или поздно покаянные супруги все равно явятся разводиться.

Как-то в июне юридическое судно поверенного Гуча попало в штиль. В июне мало кто разводится. Это месяц Купидона и Гименея.

И вот поверенный Гуч сидел без дела в среднем отсеке своей порожней приемной. Маленькая прихожая связывала или отделяла его комнату от коридора. В прихожей помещался Арчибальд, который изымал у посетителей визитные карточки или исторгал устные самообозначения, надобные хозяину: он разберется, а клиент подождет.

Вдруг в наружную дверь гулко постучали.

Арчибальд отворил и отлетел в сторону, явно не понадобившись посетителю, который без лишних церемоний прямо проследовал в кабинет поверенного Гуча и с дружелюбным нахальством

плюхнулся перед этим джентльменом в удобное кресло.

— Вы — Финеас С. Гуч, поверенный в делах? — произнес посетитель тоном одновременно вопросительным, утвердительным и обвинительным.

Прежде чем связать себя ответом, поверенный окинул возможного клиента своим быстрым, трезвым и цепким взглядом.

Это был человек известной категории — размашистый, напористый и развязный, тщеславный, конечно — не без бахвальства — тертый и дошлый. Одет он был хорошо; чуть-чуть, пожалуй, перестарался. Ему нужен был юрист — видно, не слишком и нужен: глядел он весело, держался уверенно.

— Да, моя фамилия Гуч, — признал наконец поверенный. Под нажимом он согласился бы и с тем, что он — Финеас С., но сообщать о себе лишнее было не в его принципах.

— Ваша визитная карточка не была мне предъявлена, — продолжал он с укором в голосе, — и я не имею…

— Именно что не имеете, — невозмутимо отрезал посетитель. — Пока обойдетесь. Закурить желаете?

Он перекинул ногу через подлокотник и вытряхнул из кармана на стол горсть сигар с яркими бандерольками. Поверенный Гуч ценил этот сорт. Он снизошел и закурил.

— Устраиваете разводы, — сказал безымянный посетитель. Это был уже не вопрос и не утверждение. Он обвинял — или обличал; так можно заметить, например, собаке: «Ах ты, собака». Поверенный Гуч снес обвинение молча.

— Занимаетесь, словом, — продолжал посетитель, — всевозможными пропащими браками. Вы есть, скажем так, хирург: извлекаете стрелы Купидона, когда те угодили в кого не надо. Если где факел Гименея догорел до того, что и сигары не прикуришь, то вы тут как тут с фирменными электролампочками. Верно я говорю, мистер Гуч?

— В моей практике встречались дела такого рода, — осторожничал поверенный, — на которые вы как будто намекаете в своих образных выражениях. А вы желали бы со мной проконсультироваться, мистер… — и поверенный многозначительно запнулся.

— Э нет, — его собеседник лукаво помахал сигарой, — пока не надо. Ни к чему в делах такая спешка — не спешить бы в свое время, так и сей-

час бы не канителились. Тут надо расторгнуть один никудышный брак. Но раньше, чем я вам назову имена, вы мне честно — ну, в общем как специалист — скажете, стоит ли браться все это расхлебывать. Мне надо, чтобы вы так это абстрактно — понимаете? — прикинули размеры катастрофы. Пусть я буду мистер Койкто и хочу вам кое-чего рассказать. А вы мне скажете, как чего. Улавливаете?

— Вы хотите изложить гипотетический случай? — предположил поверенный Гуч.

— Вот-вот, то самое слово. Я все думаю, какой он — оптический, что ли. А он гипотетический. Сейчас я его изложу. Положим, есть одна такая женщина — глаз не оторвешь — и она сбежала из дому от мужа. Она по уши врезалась в другого, а тот приехал в город пошевелить тамошних насчет недвижимости. Положим теперь, что мужа этой женщины зовут Томас Р. Биллингс — тем более так его и зовут. Насчет имен, как видите, я вам прямо намекаю. А нашего донжуана зовут Генри К. Джессап. Биллингсы жили в таком городишке Сьюзенвилле — отсюда не близко. Две недели назад Джессап из Сьюзенвилля уехал. А миссис Биллингс за ним — прямо на другой день. В общем она в этого Джессапа влопалась вмертвую

— ставлю доллар против вашего свода законов.

Клиент поверенного Гуча произнес это с таким смачным самодовольством, что даже видавшего виды законника слегка передернуло. Из его нагловатого посетителя так и лезло дешевое тщеславие волокиты, благодушное себялюбие неотразимого сердцееда.

— А что ж, — продолжал посетитель, — раз миссис Биллингс дома никакого счастья не видела? С мужем у нее жизнь была, прямо сказать, не сахар. Одна сплошная несовместимость характеров. Что ей по душе, того Биллингсу и даром не надо. Жили — как кошка с собакой. Она женщина образованная, знает науку и культуру люди собираются, она им вслух читает. А Биллингс только ушами хлопает. Ему, дураку, что прогресс, что обелиск, а что этика. Как дойдет до тому подобного, так Биллингс лопух лопухом. Нет, ей не такой нужен. Ну и как, вот скажите вы, юрист, неужели это будет не по всей справедливости, чтоб она бросила своего Биллингса, тем более раз нашелся мужчина в силах ее оценить?

— Несовместимость характеров, — сказал поверенный Гуч, — безусловно, служит источником многих и многих супружеских раздоров и разладов. В том случае, когда она совершенно явствует,

развода, по всей видимости, не избежать. Да, но может ли упомянутая дама безбоязненно вверить вам… то есть, простите, этому Джессапу — свое будущее?

— Насчет Джессапа будьте покойны, — сказал клиент, обнадеживающе закивав. — Джессап — это вам не фрукт. Он поступит как честный человек. Да он из Сьюзенвилля уехал, только чтоб языки не болтали про миссис Биллингс. А она за ним, и теперь-то уж он, конечно, никуда не денется. Только она законным порядком разведется, Джессап сразу все сделает честь по чести.

— Итак, — сказал поверенный Гуч, — развивая, так сказать, гипотезу, предположим, что в этом деле потребуются мои услуги, и какую же…

Клиент порывисто вскочил на ноги.

— К чертям собачьим все гипотезы! — нетерпеливо воскликнул он. — Пропади они все пропадом, давайте говорить напрямик. Кто я — вам теперь ясно. Надо, чтобы этой женщине дали развод. Берусь заплатить. Как миссис Биллингс будет свободна, я в тот же день выложу вам пятьсот долларов.

И в знак своей щедрости клиент поверенного Гуча хватил кулаком по столу.

— Поскольку дело обстоит так, как вы… — на-

чал поверенный.

— К вам дама, сэр, — возгласил Арчибальд, всунувшись из прихожей. Ему велено было всегда тут же докладывать о любом клиенте, ибо промедление в делах к добру не ведет.

Поверенный Гуч взял клиента номер один под руку и мягко направил его в соседнюю комнату.

— Сделайте одолжение, подождите здесь несколько минут, сэр, — сказал он. — Я освобожусь, и мы скоро продолжим нашу беседу. Я, собственно, ожидаю одну весьма состоятельную пожилую даму по делу о завещании. Уверяю вас, долго сидеть не придется.

Бойкий господин покладисто уселся в кресло и взял со столика журнал. Поверенный возвратился в среднюю комнату, тщательно притворив за собой дверь.

— Пригласи даму, Арчибальд, — сказал он рассыльному, который дожидался его указаний.

В приемную вошла властная красавица с горделивой осанкой. Одеяние ее — отнюдь не платье — было просторное и ниспадающее. В глазах ее вспыхивал гений и светилась душа. В руках она держала зеленый ридикюль вместимостью в полцентнера и зонтик, ниспадающий и просторный. Она опустилась на предложенный стул.

— Это вы — поверенный мистер Финеас С. Гуч? — спросила она строго и непримиримо.

— Это я, — ответил поверенный Гуч без малейших обиняков. С женщинами он ими никогда не пользовался. Обиняки — женское оружие. А когда две стороны используют одну тактику, время теряется попусту.

— Вы поверенный, сэр, — начала дама, — и вам, должно быть, не чужды таинства человеческого сердца. Неужели вы полагаете, что пустые и мелкие условности, порождение искусственной жизни нашего общества, должны вставать препятствием на пути благородного и пылкого сердца, когда оно обретает подлинное сродство среди никчемного и ничтожного людского отребья — так называемых мужчин?

— Сударыня, — сказал поверенный Гуч тем самым голосом, которым привычно смирял женскую клиентуру, — вы пришли к юристу. Я — поверенный в делах, а не философ; я также не редактор газетной рубрики «Ответы мученикам любви». Меня ждут другие клиенты. Будьте, если можно, так добры — разъясните, в чем дело.

— Могли бы и не метать мой бисер во все тяжкие, — заметила дама, сверкнув глазами и яростно крутнув зонтиком. — Я как раз по делу

и пришла. Меня интересуют ваши соображения относительно бракоразводного процесса, как говорят пошляки, — на самом же деле просто об устранении фальши и бессмыслицы, которые, по близорукости человеческих законов, встали стеной между любящими…

— Прошу прощения, сударыня, — несколько нетерпеливо прервал ее поверенный Гуч, — но я опять-таки напомню вам, что вы на приеме у юриста. Тут бы скорее миссис Уилкокс…

— Миссис Уилкокс знает, что пишет, — сурово отрезала дама. — Равно как Толстой, миссис Гертруда Эзертон, Омар Хайям и мистер Эдвард Бок. Я их всех прочла. Я хотела обсудить с вами исконное право души в поединке с притеснительными ограничениями ханжеского и узколобого общества. Но я готова перейти к делу. Я предпочла бы пока не касаться личностей а только дать вам общее понятие — словом, описать все как бы в форме предположения, а не…

— Вы хотите изложить гипотетический случай? — спросил поверенный Гуч.

— Именно это я и собиралась сказать, — сухо заметила дама. — Так вот предположим, что существует некая женщина, в избытке наделенная душой и сердцем и устремленная к жизненной

полноте. Муж этой женщины ниже ее по интеллекту, по вкусам — вообще неизмеримо. Ах, да он попросту хам. Его не трогает литература. Он насмехается над возвышенными идеями великих мыслителей. На уме у него только недвижимость и тому подобные мерзости. Женщина с душой ему не подруга. Но вот эта обездоленная женщина однажды встречает свой идеал — человека с умом, сердцем и характером. Она полюбила его. Его также пронизал трепет новоизведанного сродства, но он полон благородства и достоинства — и замкнул уста. Он бежал от лица своей возлюбленной. Она устремилась за ним, горделиво и презрительно попирая оковы, наложенные на нее невежественной социальной системой. Так вот — сколько ей будет стоить развод? Поэтесса Элиза Энн Тимминс, воспевшая Долину Платанов, развелась за триста сорок долларов. Могу ли я… то есть та леди, о которой идет речь — может ли она рассчитывать, что ей это обойдется столь же недорого?

— Сударыня, — сказал поверенный Гуч, — ваши последние две-три фразы потрясли меня своей трезвостью и ясностью. Нельзя ли нам оставить гипотезы, повести дело начистоту и назвать имена?

— Пусть так, — воскликнула дама, с изумительной готовностью перестраиваясь на практический лад. — Томас Р. Биллингс — вот имя этого презренного хама, который препятствует блаженству своей законной — но чуждой ему по духу — жены и Генри К Джессапа, ее благородного суженого. А я, — заключила клиентка в тоне последнего откровения, — я — МИССИС БИЛЛИНГС!

— К вам джентльмен, сэр, — прокричал Арчибальд, чуть ли не кувырком влетев в дверь.

Поверенный Гуч поднялся со стула.

— Миссис Биллингс, — учтиво сказал он, — позвольте попросить вас удалиться на несколько минут в соседнюю комнату. Я ожидаю весьма состоятельного пожилого джентльмена по делу о завещании. В самом скором времени я освобожусь, и мы продолжим нашу беседу.

С привычной обходительностью поверенный Гуч препроводил свою пылкую клиентку в последнюю незанятую комнату и вернулся оттуда, старательно прикрыв за собой дверь.

Арчибальд впустил очередного посетителя — сухощавого, нервозного и с виду задерганного человечка средних лет, на лице которого застыло опасливое и озабоченное выражение. Свой маленький чемоданчик он поставил у ножки

стула. Его добротная одежда не обличала в нем ни особого вкуса, ни опрятности; к тому же на ней осела дорожная пыль.

— Вы занимаетесь делами о разводах, — сказал он несколько возбужденным, но уверенным тоном.

— Припоминаю, — начал поверенный Гуч, — что в моей практике иной раз…

— Знаю, знаю, — прервал его клиент номер три. — Можете не говорить. Я о вас вполне наслышан. Я хочу поговорить с вами об одном деле, не углубляясь в разъяснения своей в нем некоторой заинтересованности — то есть…

— Вам угодно, — сказал поверенный Гуч, — изложить гипотетический случай.

— Можно и так выразиться. Я простой делец. Буду по мере сил краток. Сначала об одной гипотетической женщине. Положим, брак у нее сложился неудачно. Она во многих отношениях выше своего мужа. У нее красивая внешность — все так считают. Она увлекается, по ее выражению, литературой — поэзией там, прозой и всякими такими штуками. Муж у нее простой человек, его дело — коммерция. В семейной жизни они счастливы не были, хотя он и прилагал все усилия. И вот недавно один человек, совсем

им незнакомый, приехал в их тихий городок по делам о продаже недвижимости. Эта женщина увидела его — и ни с того ни с сего потеряла голову. Она так открыто выказывала ему свое внимание, что ему пришлось ради своей безопасности покинуть те места. Она оставила мужа и дом и последовала за ним. Она бросила свой дом, где была окружена всяческой заботой и уютом, и устремилась за тем человеком, к которому воспылала столь безотчетным чувством. Что может быть прискорбнее, — дрожащим голосом воззвал клиент, — чем распад семьи из-за вздорной женской прихоти?

Поверенный Гуч осторожно согласился, что прискорбнее ничего быть не может.

— А тот человек, который ей понадобился, — добавил посетитель, — он ей не сможет дать счастья. Она думает, что сможет, но это просто пустое и вздорное самообольщение. Да, они с мужем во многом не сходятся, но только он способен ограждать ее отзывчивую и недюжинную натуру. Она лишь на время перестала это понимать.

— А вам не кажется, что логическим выходом из данного положения был бы развод? — осведомился поверенный Гуч, на взгляд которого разговор отклонился от дела.

— Развод? — вскричал клиент с дрожью, почти со слезами в голосе. — Нет, нет — только не это! Я читал, мистер Гуч, как вы неоднократно, с терпением, добротой и пониманием примиряли рассорившихся супругов и возвращали их в лоно семьи. Оставим гипотетический случай: мне больше нет нужды скрывать, что я в этой печальной истории пострадал больше всех; вот имена замешанных — Томас Р. Биллингс с супругой и Генри К. Джессап, тот, которым она безрассудно увлеклась.

Клиент номер три возложил руку на плечо мистера Гуча. В его измученном лице проступило глубокое чувство.

— Ради всего святого, — взмолился он, — помогите мне в этот трудный час. Разыщите миссис Биллингс и убедите ее прекратить эту злосчастную погоню за своей плачевной прихотью. Скажите ей, мистер Гуч, что супруг ждет ее с распростертыми объятиями у семейного очага — в общем, обещайте ей что угодно, лишь бы она вернулась. Я слышал, вам удаются такие дела. Миссис Биллингс должна быть где-нибудь неподалеку. Я уже так наездился — с ног падаю от усталости. В пути я дважды видел ее, но поговорить никак не удавалось. Может, вы сделаете

это за меня, мистер Гуч, — и наградой вам будет моя нескончаемая благодарность?

— Действительно, — сказал поверенный Гуч, слегка поморщившись от последних слов, но тут же приняв выражение благопоспешествующее, — во многих случаях мне удавалось убедить стороны, искавшие расторжения семейных уз, пересмотреть свои скороспелые намерения и сохранить семью. Но позвольте вас заверить, что такая задача зачастую неимоверно трудна. Если бы вы представляли, сколько здесь требуется уговоров, настояний и, смею сказать, красноречия, — вы бы поразились. В данном случае, правда, мои симпатии целиком на известной стороне. Я глубоко сочувствую вам, сэр, и с превеликой радостию был бы свидетелем воссоединения супругов. Но мое время, — заключил поверенный, как бы опомнившись и вытащив часы, — дорого.

— Я это прекрасно понимаю, — заверил клиент, — и если вы возьметесь за это дело и убедите миссис Биллингс вернуться домой и прервать погоню за тем, другим мужчиной, — как только это случится, я выплачу вам тысячу долларов. Я кое-что заработал на этом недавнем буме с недвижимостью в Сьюзенвилле, и за такой суммой не

постою.

— Будьте добры, посидите здесь несколько минут, — сказал поверенный Гуч, поднявшись и снова справившись с часами. — В соседней комнате меня ожидает клиент, я о нем едва не забыл. Я совершенно незамедлительно вернусь к вам.

Ситуация была очень по душе поверенному Гучу с его любовью к хитростям и каверзам. Он упивался такими деликатными и многообещающими делами. Ему нравилось чувствовать себя властителем счастья и судеб троих людей, рассаженных по его кабинетам в полном неведении друг о друге. В уме у него всплыло старое сравнение с кораблем. Сейчас оно, впрочем, не подходило, ибо затопление всех трюмных отсеков настоящего корабля кончилось бы плохо; у него же все отсеки были полны, а между тем его груженный делами корабль безмятежно плыл к уютной гавани славного, тучного гонорара. Оставалось, разумеется, выяснить, как выгоднее распорядиться своим беспокойным грузом.

Сначала он крикнул рассыльному:

— Запри входную дверь, Арчибальд, и никого больше не впускай.

Затем он неслышными и широкими шагами устремился в комнату, где ожидал клиент номер

один, который терпеливо сидел и разглядывал фотографии в иллюстрированном журнале, держа сигару в зубах и водрузив ноги на столик.

— Ну как, — весело бросил он навстречу поверенному, — что надумали? Хватит вам пятисот долларов за избавление прекрасной дамы?

— Это в виде задатка? — мягко осведомился поверенный Гуч.

— Как? Не-ет; за все, на круг. А что, мало, что ли?

— Меня устроили бы, — сказал поверенный Гуч, — тысяча пятьсот долларов. Пятьсот сейчас, а остальное после развода.

Клиент номер один громко присвистнул. Он спустил ноги на пол.

— Нет, так у нас не пойдет, — сказал он, поднимаясь. — Пятьсот долларов я отхватил, когда в Сьюзенвилле началась заваруха с недвижимостью. Я, конечно, на все пойду, чтобы освободить даму, но это мне не по карману.

— А что вы скажете насчет тысячи двухсот долларов? — вкрадчиво спросил поверенный.

— Пятьсот — это мое последнее слово. Ладно, поищем юриста подешевле.

Клиент надел шляпу.

— Сюда, пожалуйста, — сказал поверенный Гуч,

отворяя дверь в коридор.

Джентльмен выплеснулся из отсека и хлынул по лестнице, а поверенный Гуч в душе улыбнулся.

— Те же без мистера Джессапа, — процедил он, поправив завиток над ухом и приняв портретный вид миротворца — Вернемся к безутешному мужу.

Он возвратился в средний кабинет и повел дело напрямую.

— Я вас понял так, — сказал он клиенту номер три, — что вы готовы уплатить тысячу долларов, если и поскольку я изыщу средство побудить миссис Биллингс вернуться к семейному очагу и оставить слепое преследование того человека, к которому она прониклась столь неодолимым чувством. На этих условиях мне вручаются все полномочия. Так или не так?

— Именно так, — был поспешный ответ. — Деньги в любое время в течение двух часов.

Поверенный Гуч выпрямился во весь рост. Его тощая фигура раздалась, как на дрожжах. Его большие пальцы устроились в проймах жилета. Лицо его привычно выразило неподдельное душевное участие.

— В таком случае, сэр, — ласково сказал он, — я,

вероятно, могу пообещать вам скорейшее облегчение ваших невзгод. Я в достаточной мере полагаюсь на свою способность к разъяснениям и уговорам, на естественное стремление человеческого сердца к добру и на воздействие незыблемой любви супруга. Миссис Биллингс, сэр, находится здесь, за этой дверью, — и длань поверенного простерлась к соседней комнате, — я сейчас же призову ее, и наши обоюдные увещевания не могут не возыметь…

Поверенный Гуч осекся, ибо клиента номер три словно стальной пружиной выбросило из кресла вместе с подхваченным чемоданчиком.

— Что за черт! — сипло выкрикнул он. — Что вы хотите сказать? Я думал, что обогнал ее миль на сорок.

Он ринулся к открытому окну, глянул вниз и закинул ногу за подоконник.

— Остановитесь! — в изумлении воскликнул поверенный Гуч. — Что с вами? Одумайтесь, мистер Биллингс, пожалейте свою заблудшую, но невинную жену. Совместными усилиями мы непременно…

— Биллингс?! — дико завопил клиент. — Я тебе сейчас покажу Биллингса, старая ты балда!

Он с размаху запустил чемоданчик в голову

поверенному и угодил ему в самую переносицу. Ошеломленный миротворец попятился шага на два; когда в глазах у него прояснилось, клиента не было. Поверенный Гуч бросился к окну и увидел, как отступник спрыгнул со второго этажа на крышу сарая. Шляпа его откатилась, но он не стал ее поднимать, а соскочил с десятифутовой высоты в проулок, стрелой домчался до ближайшего здания и скрылся из виду.

Поверенный Гуч провел по лбу дрожащей рукой. У него было такое обыкновение: так он прояснял мысли. А может быть, он заодно решил потереть то место, где его стукнуло очень твердым чемоданчиком крокодиловой кожи.

Распахнутый чемоданчик лежал на полу, вывалив свое содержимое. Поверенный Гуч стал машинально поднимать предмет за предметом. Сначала попался воротничок, и всевидящий глаз законника с удивлением обнаружил на нем инициалы Г. К. Дж. Он подобрал гребешок, головную щетку, свернутую карту и кусок мыла.

И наконец — пачку старых деловых писем, и все они были адресованы «Генри К. Джессапу эсквайру».

Поверенный Гуч закрыл чемоданчик и поставил его на стол. Он с минуту поколебался, затем

надел шляпу и вышел в переднюю к рассыльному.

— Арчибальд, — кротко сказал он, отворяя наружную дверь, — я ушел в суд. Ты через пять минут пойди скажи даме, которая там дожидается, — и тут поверенный Гуч выразился попросту, — что дело ее не выгорит.

Последний из трубадуров
О. Генри

Сэм Галовей непреклонно седлал своего пони. Он уезжал с ранчо Альтито, едва прогостив там три месяца. Неужели можно дольше терпеть ячменный кофе и печево в желтых содовых подтеках? Черный громадина повар Ник Наполеон печь никогда толком не умел. Однажды, в ту еще пору, как Ник стряпал на Ивовом ранчо, Сэму его cuisine[22] приелась всего за шесть недель.

Лицо Сэма выражало скорбь, углубленную сожалением и чуть-чуть смягченную долготерпеливым всепрощенчеством виртуоза, чье мастерство так и так пропадает втуне. Однако же твердой, непреклонной рукой он подтянул подпруги, смотал лассо и повесил его на переднюю луку, приторочил к задней свой плащ и пальто и вскинул на руку ременный хлыст. Все Мерридью (арендаторы ранчо Альтито) — мужчины, женщины, дети и слуги, вассалы и гости, батраки и собаки и случайные забредалы — все они столпились, на, что называется, галерее ранчо,

---

[22] Примечания: 22
Кухня, стряпня *(*франц.).

и лица их были тоскливей печального. Ибо если прибытие Сэма Галовея на всякое ранчо, в лагерь или в хижину между реками Фрио и Браво дель Норте вселяло радость, то отбытие его повергало всех в грусть и уныние.

И вот, в глубоком безмолвии, когда слышалось лишь торканье задней лапы какого-то шелудивого пса, изгонявшего настырную блоху, Сэм нежно и бережно приторочил гитару поверх плаща и пальто. Гитара была в зеленом холщовом чехле, и если это вам что-нибудь говорит, то говорит о Сэме.

Сэм Галовей был последним из трубадуров. Ну, это народец наверняка вам знакомый. В энциклопедии, знаете, сказано, что они будто бы славились с одиннадцатого по тринадцатый век. Чем славились, там не сказано — уж будьте уверены, не мечами они славы ради размахивали, размахивать они больше любят смычком, или там вилкой с макаронами, или, если уж на то пошло, женским шарфом. Ну, так или иначе, а Сэм Галовей был одним из этих, из трубадуров.

Усаживаясь на своего пони, Сэм изобразил мученический лик. Правда, если бы сравнить его лик с внешним обликом пони, то лик получился бы едва ли не клоунский. Сами понимаете, по-

ни знает своего седока наизусть, и сородичи на пастбищах или у привязи наверняка объясняли Сэмову пони, какой ему позор, коль ездит на нем гитаристишка, а не настоящий, руганый-переруганый, матерый как бог знает что ковбой. Перед собственной лошадью и герой-то не герой, а уж насчет трубадура, так и с эскалатора в универмаге никакого спроса, если он под ним застопорится.

Да нет, вы не думайте, я знаю, что я тоже трубадур; а вы сами-то нет, что ли? Помните, вам в свое время вдалбливали всякие рассказики, учили карточным фокусам и еще этой штуковине на фортеплясах, как оно там бренчится: та-рам, та-рам, та-ра-рам, па-ра-рам: десятиминутные, изволите видеть, арапские развлеченьица, которые вы подучивали, отправляясь в гости к вашей богатой тетушке Джейн. Вот и должны бы знать, что, выражаясь по-латыни, omniae personae in tres partes divisae sunt[23]. А именно: все делятся на баронов, трубадуров и работников. Баронам и в голову не придет читать такую чепуху; у работников на чтение времени нет; стало быть, вы обязательно трубадур и обязаны понять Сэма Га-

[23] Примечания: 23

Все личности разделены на три части *(лат., искаж.).* Пародируется начальная фраза хрестоматийного сочинения Юлия Цезаря «De bello Gallicum» — «Вся Галлия делится на три части». *(Примеч. переводчика).*

ловея. Поем мы или играем, пляшем или пишем, читаем лекции или рисуем картины, суть одна: мы как есть трубадуры, и давайте хоть без особой чести выходить из этого положения.

Пони — с виду брат-близнец Данте Алигьери, — управляемый коленями Сэма, отвез менестреля на шестнадцать миль к югу. Природа была настроена как нельзя более благосклонно. Лигу за лигой заткали холмистую прерию благоуханным ковром мелкие нежные цветочки. Восточный ветер охолаживал весеннюю теплынь; ватно-белые облака с Мексиканского залива мягко и косо цедили лучи апрельского солнца. Сэм ехал и распевал песни. Под уздечку он понатыкал веточек чапарреля от слепней. В таком нехитром венке долгомордое четвероногое казалось еще дантеподобнее и, судя по его унылому виду, размышляло о Беатриче.

Сэм ехал прямиком, насколько позволяла топография, к ранчо старика Элисона. Ему что-то захотелось в гости к какому ни на есть овцеводу. А то слишком уж многолюдно, слишком много шуму, вздоров, неурядиц, суматохи было на ранчо Альтито. Он никогда еще не снисходил до пребывания на ранчо старика Элисона, однако ж не сомневался, что встречен будет радушно. Тру-

бадур всюду сам себе пропускное свидетельство. Работники замка опускают перед ним подъемный мост, и барон сажает его ошую за столом в пиршественном чертоге. А уж там дамы дарят его улыбками, рукоплещут его песням и россказням, и опять же работники приносят кабаньи головы и винные сосуды. Если же барон и клюнет раздругой носом в своем резном дубовом кресле, то это он так, без недоброго умысла.

Старик Элисон приветствовал трубадура благоговейно. Он частенько внимал похвалам Сэму Галовею из уст других скотоводов, удостоившихся его гостевания, но и помыслить не мог о том, чтобы такая честь осенила его скромный баронский удел. Я говорю «баронский», ибо старик Элисон был последним из баронов. Что говорить, рановато умер господин Бульвер-Аиттон и не мог с ним как следует познакомиться, а то еще очень погодил бы награждать таким прозваньем своего Варвика. По сути же, долг и призвание всякого истинного барона — обеспечивать работой работников и кровом с харчами трубадуров.

Старик Элисон был невзрачный старикашка с короткой желтоватой бороденкой и личиком, разлинованным и изборожденным давно прошедшими улыбками. И ранчо-то его было

двухкомнатной лачугой в милостивом окружении вязовой рощицы — на самой-самой окраине овечьего пастбища. По части домочадцев у него имелись повар-индеец из племени кайова, четыре овчарки, домашняя овца и более или менее приручeнный койот на цепи у заборного столба. Он считал своими три тысячи овец, пасшихся на двух квадратных милях арендованной земли и на многих еще тысячах акров неарендованных и ничейных. Три-четыре раза в год кто-нибудь, кто хоть чуть понимал английский, подъезжал к воротам и заводил разговор на три-четыре фразы. И это были красные дни в календаре старика Элисона. Так какими же осиянными, жирными и несравненно изукрашенными литерами прикажете обозначить день, когда трубадур — трубадур, каковой согласно энциклопедии обязан был славиться с одиннадцатого до тринадцатого столетия! — остановил коня у сего баронского замка?

При виде Сэма Галовея давно отошедшие улыбки старика Элисона вернулись и расправили его морщины. Он выскочил из дому не то вприпрыжку, не то вприскочку.

— Привет вам, Элисон! — весело возгласил Сэм. — Я тут подумал, не заскочить ли к вам на

день-другой-третий. Дожди вот, кстати, выпали. Будет что щипать вашим ягнятам.

— Ну, ну и ну, — сказал Элисон. — Не сказать как я рад, что ты не поленился проехаться к мелконькой ферме на отшибе. Зато уж и тебе не сказать как рады. Слезай, что ли. У меня как раз на кухне припасен мешок овса — как, принести твоей животине на поживу?

— Овса, — это ему-то? — насмешливо удивился Сэм. — Нет уж, сэр, обойдемся. Он и протрусился-то еле-еле. Я бы его, с вашего позволения, пустил пастись на привязи с вашими лошадьми.

Твердо вам скажу, что никогда между одиннадцатым и тринадцатым веками бароны, трубадуры и работники не устраивались так превосходно, как их потомки в этот вечер на ранчо Элисона. Индеец-кайова испек пышное и вкусное печенье и сготовил крепкий кофе. Неистребимым гостеприимством и нестерпимым восторгом светилась обветренная хозяйская физиономия. А трубадур молвил сам себе, что наконец попал в края обетованные. Отменная и обильная трапеза, хозяин, которого малейшая попытка развлечь приводила в восхищение несоразмерное, и вообще безмятежность, нынче как раз отвечавшая чувствительной душе, — все это, вместе взятое,

овеяло трубадура радостью и покоем, почти, что неведомыми во все время странствий и пребываний то на том, то на другом ранчо.

После вкуснейшего ужина Сэм распаковал зеленый холщовый мешок и вынул свою гитару. Нет, вы не подумайте, не для оплаты — ни Сэм Галовей и ни один из подлинных трубадуров не был прямым потомком Томми-труженика. Про Томми-труженика вы наверняка читали в достопочтенных, хотя временами и загадочных откровениях Матушки-гусыни. Томми-труженик пел, и за это ужинал. Нет, ни один истый трубадур так делать не станет. Он сначала поужинает, а потом уж распевает почем зря.

Репертуар Сэма Галовея включал примерно пятьдесят анекдотов и песенок, что ли, тридцать — сорок. Ну, не то чтобы уж так и все, наглухо. Нет, проговорить любую тему на двадцать сигарет ему почти ничегошеньки не стоило. И он никогда не сидел, ежели мог лечь; и никогда не стоял, ежели мог сесть. Лично я очень склонен садиться и ложиться вместе с ним, ведь я рисую автопортрет, сколько мне позволяют отупелый карандаш и замусоленный словарь.

Очень бы вам не худо на него поглядеть: такой крепыш-недоросток, которого сколько ни

воображай, не вообразишь. Носил он иссиня-синюю шерстяную блузу, передернутую спереди жемчужно-серыми толстоватыми шнурками, неистребимую бурую парусиновую робу и неизбежные сапоги на высоких каблуках с мексиканскими шпорами, а вдобавок ко всему мексиканское же соломенное сомбреро.

В этот вечер Сэм и старик Элисон выставили свои шезлонги под сень вязов. Задымились сигареты; и трубадур весело тронул струны гитары. Многие спетые песни были причудливые, невеселые, тоскливые canciones, услышанные от мексиканских овцеводов и vaqueros. Особенно одна из них порадовала и потешила душу одинокого барона: любимая песня овечьих пастухов, начинавшаяся словами «Huile, huile, palomita», что в переводе значит «Лети, лети, моя голубка». За этот вечер Сэм много раз спел ее для старика.

Трубадур остался гостить на этом ранчо. Здесь была тишина, покой и воздаяние, какого не найдешь на шумных ранчо властительных скотоводов. Да и кто на всем свете мог бы увенчать труд поэта, музыканта, художника надежнее и обожательнее, чем награждавший его восторгом за малейшее усилие старик Элисон? Прибудь хор и король в скромную хижину крестьянина

или дровосека, и то его бы не встретили с таким радушием и благодарностью.

Сэм Галовей большей частью валялся на прохладной парусиновой койке в тени вязов. Здесь он свертывал свои самокрутки, читал что бог пошлет на богом забытое ранчо и обогащал свой репертуар импровизациями, пробуя их на гитаре. Словно раб, прислуживающий великому хозяину, приносил ему индеец-кайова холодную воду, нацеженную из красного кувшина под навесом; приносил и еду по надобности. Кротко овевали его ветерки, налетая из прерии; пересмешники поутру и в полдень соревновались с его лирой и уступали ей: казалось, душистая тишь заполонила его жизнь. Элисон объезжал стадо, трясясь на своем пони, покрывавшем милю за час; кайова забирался в самый тенистый угол кухни, а Сэм возлежал на койке и думал, в каком счастливом мире он пребывает, в каком благосклонном к тем, кто дарит развлечения и удовольствия. Вот ему, например, дается кровля и пища, самая что ни на есть вкусная пища; ни хлопот, ни трудов, ни волнений, все всегда пожалуйста, и хозяин при шестнадцатом повторении песенки или анекдота радуется словно спервоначала/ Перепадал ли древнему трубадуру такой чрезвычайно

королевский замок во всех его скитаниях? И пока Галовей так лежал, буроватые малышки кролики робко пробегали по двору; стайка пышно-хохлатых голубых перепелов спешила гуськом шагов за двадцать от него; птичка paisano, охотясь за тарантулами, прыгала по забору и приветствовала его роскошными размахами длинного пышного хвоста. На восьмидесятиакровом лошадином выгоне пони со своей дантеобразной физиономией пасся, жирел и чуть ли не улыбался. Вообще странствованиям трубадура, видать, настал конец.

Элисон был сам себе vaciero. То есть сам, своей персоной снабжал овечьи загоны дровами, водой и едой, а vaciero для этого не нанимал. В небольших хозяйствах дело обычное.

И вот однажды утром поехал он к загону, где властвовал один его пастух, именуясь Энкарнасион Фелипе де ла Крус-и-Монто Пьедрас, с недельным рационом черных бобов, кофе, сахара и еще кой-чего съестного. На третьей миле от бывшего форта Юинг он повстречал лицом к лицу ужасного человека по имени Король Джеймз верхом на яростном, гарцующем, кентуккийском скакуне.

На самом деле Короля Джеймза звали Джеймз

Корроль; но люди переустроили его имя для пущей верности, а также потому, что так оно больше нравилось его величеству. Король Джеймз был крупнейшим скотоводом от площади Аламо в Сан-Антонио до салуна Билла Хоппера в Браунсвиле. А на придачу и главнейшим, всегдашнейшим задирой, хвастуном и убийцей на весь юго-западный Техас. Он ежели что хвастал, то потом так и делал; и чем больше от него было шума, тем больше безобразия. В газетных рассказиках оно как: там всегда такой тихий, с голубыми глазами, вежливый человек в углу — он и есть самый злодей; но не такова жизнь и не таков этот рассказ. Дайте-ка мне выбирать, с «ем задираться — то ли со здоровенным ругателем-громилой, то ли с безобидным голубоглазым незнакомцем, тихонько сидящим в углу; ну, тогда там, в том углу, пойдет каждый раз такая потеха…

Король Джеймз, как я и собирался сказать, был свирепый, белобрысый, загорелый детина весом сотни на две фунтов, с лица налитой, как октябрьская земляничина, и два поперечных разреза под косматыми рыжими бровями служили ему в качестве глаз. В этот день на нем была фланелевая рубашка, вообще-то более или менее светло-коричневая, только этого было не

видно за темными пятнами испарины по случаю солнечной погоды. Он был одет и еще кое, во что и даже изукрашен — бурые парусиновые штаны, заправленные в огромные башмаки, и отовсюду торчали красные носовые платки да револьверы; поперек седла дробовик, а кожаный пояс блестит миллионами патронов — но тут уж среди пустяков и соображение ваше проскальзывало, а виделись только два поперечных разреза на месте глаз.

Вот такого человека старик Элисон и встретил на своем пути; и если вы еще заметите к чести барона, что было ему шестьдесят пять лет, весил он девяносто восемь фунтов и был наслышан о деяниях Короля Джеймза, да к тому же, имея пристрастие к vita simplex[24] , он (то есть барон) не имел при себе оружия, а имел бы, в ход все равно бы не пустил; ну и вряд ли вы его осудите, если я скажу вам, что улыбки, которыми благодаря трубадуру наполнились все его старческие складки и морщинки, вмиг улетучились, и лицо его стало как прежде, тускло-морщинистым. Но он был не из тех баронов, которые бегут от опасности. Он без особого труда осадил своего быстроногого (миля

[24] Примечания: 24
Простая жизнь *(лат.).*

в час) пони и приветствовал могутного монарха.

Король Джеймз высказался с королевской прямотой.

— Это не твои ли овцы, старая ты рохля, толкутся на здешних пастбищах? — промолвил он. — Какое ты на это имеешь право? Ты что, купил здесь землю или, может, арендуешь?

— Арендую у государства две квадратные мили, — кротко ответствовал старик.

— Ни черта ты здесь не арендуешь, — произнес Король Джеймз. Срок твоей аренды вчера истек, и мой человек в земельном ведомстве разом переоформил ее на меня. Теперь ты в Техасе не владеешь ни травинкой. Вообще вам, овцеводам, надо отсюда сматываться, да поживее. Кончилось ваше время. Тут требуется разводить настоящий скот, крупный, а вам, шибздикам, нечего под ногами болтаться. Стало быть, где твои овцы нынче толкутся, это земля моя. Я ее обнесу колючей проволокой сорок на шестьдесят миль, и какая твоя овца окажется в загоне, та, считай, подохла. Неделю тебе даю, чтоб ни одной живой здесь не было. Какие останутся, пошлю человек шесть с винчестерами наделать из них баранины. А увижу здесь тебя — так и самому несдобровать.

И Король Джеймз многозначительно похлопал

по казеннику своего ружья.

Элисон поехал дальше, к выгону Энкарнасиона. Он повздыхал, и морщины на его лице обозначились резче. Слухи, что старым порядкам приходит конец, доходили до его ушей. Значит, и свободные пастбища — дело уже прошлое. Но над ним и без того скопились напасти. Стада — нет, чтобы разрастаться — уменьшались; цена на шерсть падала от стрижки к стрижке; даже Бредшо, лавочник во Фрио, у кого он закупал провиант, и тот приставал, что вот, мол, за шесть месяцев не плачено, и грозил прекратить кредит. Так что последнее бедствие, которое обрушил на него страшный Король Джеймз, вконец старика подкосило.

Когда, уже в закатную пору, он вернулся к себе, то увидел, что Сэм Галовей полулежит на койке среди скатанных одеял и мешков шерсти.

— Привет, дядя Бен, — весело возгласил трубадур. — Что-то вы нынче рановато. А я тут пробовал испанское фанданго с новым перебором. Вот как раз вроде получилось, ну-ка послушайте.

— Красота, ну ничего себе красота, — сказал старик Элисон, сидя на кухонной приступочке и поглаживая седые терьерские баки. — По-моему, так ты, Сэм, давно заткнул за пояс всех музы-

кантов, сколько их есть на востоке и на западе, докуда дороги проложены.

— Ну, не знаю, — прикинул Сэм. — Но насчет вариаций я мастак, что да, то да. На чем другом, а на пяти бемолях им меня никак не одолеть. Сами-то вы чего-то не в себе, дядя Бен, выдохлись, что ли, к вечеру?

— Да, малость подустал; вот и все, вот и все, Сэм. У тебя ежели, может, игра на сегодня не кончена, сыграл бы ты мне эту мексиканскую штуку-то: «Huile, huile, palomita». Понимаешь, меня эта песенка вроде как утешает и обнадеживает после долгой поездки или чего прочего, разных там неприятностей.

— Само собой, seguramente, sefior, — сказал Сэм. — Сколько раз захотите, столько я вам ее оттарабаню. Кстати, пока я не забыл: дядя Бен, вы скажите веское слово Бредшо насчет последних-то окороков. А то ведь перекопченные прислал.

Если человеку шестьдесят пять лет и живет он особняком на ранчо и на него обрушились всевозможные невзгоды, какой тут спрос, коли не может он долго и толком притворяться? Вдобавок и трубадур был приметлив на чужие несчастья — они ведь нарушали его покой. И на другой день Сэм снова принялся расспрашивать старика: чего

он печалится и почему рассеян? Тогда Элисон поведал об угрозах и распоряжениях Короля Джеймза и о том, что его избрали неповинной жертвой бледная печаль и яростный разор. Трубадур выслушал все это очень задумчиво. Про Короля Джеймза он и без того был довольно наслышан.

На третий день из семи пожалованных ему властелином здешних мест старик Элисон снарядил тележку во Фрио за припасами для ранчо. Бредшо был неуступчив, но не безжалостен. Он уполовинил список и согласился еще немного потерпеть с деньгами. Кстати же был затребован и получен новый в меру прокопченный окорок на усладу трубадуру.

По пути домой, на шестой миле от Фрио, старик повстречался с Королем Джеймзом, который ехал в город. Его величество был, как всегда, свиреп и грозен видом, однако в тот день его смотровые щели были как будто пошире обычного.

— День добрый, — хмуро поздоровался Король. — Вас-то мне и надо. Тут, слышно было, говорил вчера один скотовод из Сэнди, что будто вы родом с Миссисипи, из Джексонского округа. Это что, так и есть?

— Я там родился, — сказал старик Элисон, — и

прожил до двадцати одного года.

Тот вчера говорил, — продолжал Король Джеймз, — будто вы вроде бы в родстве с Ривзами из Джексонского округа. Это как, правда?

Да, — сказал старик. — Вот, например, тетушка Каролина Ривз — она моя сводная сестра.

Она мне тетка, — сказал Король Джеймз. — Я сбежал из дома шестнадцати лет от роду. Так что ладно, у нас с вами был разговор четвертого дня, давайте-ка кой-чего обговорим заново. Я, конечно, такой, я и сякой; оно, может, и верно, только наполовину. На моей земле хватит места для ваших, сколько их там, овечек. Тетя Каролина, помню, лепила из теста барашков и выпекала для меня. В общем, где ваши овцы пасутся, то и пусть их, и пастбище все равно что ваше. С деньгами-то как?

Старик, не таясь, объяснил, как плохо у него с деньгами; объяснил с достоинством, сдержанно и подробно.

— Она, бывало, подкладывала мне в школьную сумку лишний кусок — это я про тетю Каролину, — сказал Король Джеймз. — Мне нынче во Фрио, а завтра заверну к вам на ранчо. Снимука со счета две тысячи, завезу и скажу Бредшо, пусть не жмется, отпускает что надо в кредит. В

наших-то местах, небось слышали, говорят, мол, Ривзы и Корроли всегда заодно, точно двойчатка каштанов. И со всяким Ривзом я — Корроль из-под Джексона. В общем, завтра я у вас буду так это примерно к закату, и вы больше ни о чем не волнуйтесь. Вот только засуха, а трава молодая, как бы не пожухла.

Старик Элисон радостно потрусил домой, и снова его морщины разошлись улыбками. Нежданно-негаданно, чарами родства и по волшебству добра, где-то укрытого во всех людских сердцах, он вдруг вылез из всех затруднений.

Сэма Галовея на ранчо не оказалось, только гитара его свисала с дерева на кожаном ремешке и постанывала под ветерком с залива, скучая по хозяйским пальцам.

— Сэм, он пони хватал, — объяснил кайова, — и говорил ехать Фрио, какой дьявол нон сабе. Говорил, сегодня вечером назад. Может, да. Вот все.

Высыпали первые звезды, и трубадур явился в свое пристанище. Пони он пустил на выгон и пошел в дом, воинственно бренча шпорами.

Элисон сидел за кухонным столом в ожидании ужина и со спокойным, довольным видом попивал кофе из жестянки.

— Здорово, Сэм, — сказал он, — вот молодец,

что вернулся. Даже и не понимаю, как это мы тут жили-кисли, пока ты нас не растормошил, чего так поздно-то — не иначе загулялся во Фрио с тамошними девчонками?

Затем старик еще раз глянул Сэму в лицо и увидел, что перед ним вовсе не менестрель, а человек дела.

И пока Сэм отстегивает кобуру с шестизарядным револьвером старика Элисона, который тот, едучи в город, всегда оставлял дома, мы заметим в скобках, что если и когда трубадур откладывает гитару и берется за шпагу, то жди беды. Не точнейшего выпада Атоса, не холодного мастерства Арамиса, не железной руки Портоса — нет, жди гасконского бешенства, нападения неправильного и яростного — шпаги д Артаньяна, вот чего опасайся.

— Все, дело с концом, — сказал Сэм. — Затем я и съездил во Фрио. А то что же он с вами так, позволять это нельзя, дядя Бен. Я его нашел в салуне Саммера. У меня все было продумано. Я сказал ему на ухо пару ласковых слов, и он первый схватился за револьвер — из ребят человек шесть видели, что первый, — но я управился быстрее. Он схлопотал три пилюли в легкие — рядком, под одно блюдечко уместились бы. Словом, больше

он вас, будьте уверены, не потревожит.

— Это, стало быть, ты про Короля. Джеймза говоришь-то? — спросил старик Элисон, прихлебывая кофе.

— Про кого же еще. Меня, конечно, повели к шерифу ну, свидетели-то, что он первый схватился за револьвер, они ведь тут как тут. Само собой, потребовали с меня триста монет залога, что явлюсь в суд, но сразу отыскались четыре не то пять поручителей. Так, дядя Бен, живите спокойно. Поглядели бы вы, как я ему аккуратненько всадил три пульки, одну к одной. Небось, когда разработаешь пальцы на гитаре, то и стрелять ловчей, а, дядя Бен?

Тихо-тихо стало в замке; толко скворчали ломти мяса на сковородке у повара-индейца.

— Сэм, — сказал старик Элисон, поглаживая дрожащей рукой свои белые баки, — ты бы, что ли, взял гитару и сыграл бы мне разок-другой эту вот «Huile, huile, palomita». Ежели человек устал и как-то выдохся, она очень помогает и утешает.

Что тут еще прибавить, кроме того, что история неправильно названа. Ей бы называться «Последний из баронов». А трубадурам переводу не будет: иногда кажется даже, что за бренчаньем их гитар не слышно, как глухо бьют кирки и бухают

молоты работников всего нашего мира.

Алмазная гора
Фрэнсис Скотт Фицджеральд
I

Род Джона Т. Ангера был на отменном счету в Геенне — есть такой городок на Миссисипи. Отец Джона из года в год в жарких боях завоевывал первенство по гольфу среди любителей; миссис Ангер славилась, по местному выражению, «на все котлы и сковороды» своим зажигательным предвыборным красноречием; самому Джону Т. Ангеру едва исполнилось шестнадцать, однако новейшие нью-йоркские танцы он откалывал еще в коротких штанишках. И вот теперь ему предстояло на какое-то время расстаться с родным домом. Вся провинция, как известно, донельзя чтит учебные заведения Новой Англии: на алтарь этого почтения провинциалы приносят цвет своей молодежи, и родители Джона не остались в стороне. Непременно надо было, чтобы он отправился в колледж Святого Мидаса близ Бостона — не прозябать же их драгоценному и одаренному сыну в Геенне!

А в Геенне — кто бывал там, тот знает — феше-

небельные закрытые школы и колледжи едва различают по названиям. Местные жители давным-давно отстали от мира сего и хоть и очень стараются поспеть за модой, но живут большей частью понаслышке. Чикагской ветчинной принцессе их одежда, манеры и литературные вкусы, конечно, покажутся «как-то слегка прошлогодними».

Джон Т. Ангер был готов к отъезду, Миссис Ангер по-матерински набила его чемоданы летними костюмами и вентиляторами, а мистер Ангер презентовал сыну туго набитый асбестовый бумажник.

— Помни, здесь тебе всегда будут рады, — сказал он. — Семейный очаг не остынет, будь уверен, мальчик.

— Я знаю, — сглотнул комок Джон.

— И не забывай, кто ты и откуда родом, — горделиво добавил отец, — это убережет тебя от неверных поступков. Ты — Ангер из Геенны.

Родитель и сын пожали друг другу руки, и Джон пустился в путь, обливаясь слезами. Через десять минут, покидая пределы города, он остановился и обернулся на прощанье. Старинная, викторианская надпись над вратами была ему чем-то отрадна. Отец все время предлагал

сменить ее на что-нибудь бодрое и доходчивое, скажем: «Вот вы и в Геенне» или просто на «Добро пожаловать», а пониже выложить лампочками сердечное рукопожатие. Мистер Ангер считал, что старая надпись какая-то мрачноватая, но вот поди ж ты…

Джон поглядел — и обратился навстречу судьбе. И небесный отсвет оставленных позади огней Геенны был, казалось, исполнен теплой и яркой прелести.

* * *

От Бостона до колледжа Святого Мидаса полчаса на «Роллс-Ройсе». Сколько в милях — навеки останется тайной, ибо, кроме Джон Т. Ангера, никто не приезжал туда иначе, как на «Роллс-Ройсе», да, пожалуй, никто и не приедет. Это колледж для избранных — самый дорогой колледж в мире.

Первые два года прошли очень приятно. Джон учился с отпрысками денежных тузов и в каникулы гостил на модных курортах. Его гостеприимные сверстники ему вполне нравились, но отцы их были все на один покрой; по молодости лет он часто дивился их поразительной неразличимости. Когда он говорил, откуда он, они неизменно шутили: «Ну и как у вас там, припекает?» — а

Джон по мере сил улыбался и отвечал: «Да не без того». Он бы, может, и сказал что-нибудь подходящее, но уж очень они все одинаково шутили, разве что кто-нибудь спрашивал иначе: «Ну и как вам там, не холодно?» — отчего у него опять-таки с души воротило.

К концу третьего семестра среди одноклассников Джона появился тихий, изящный юноша по имени Перси Вашингтон. Новичок был приветлив в обращении и на редкость хорошо одет — даже в колледже Святого Мидаса это бросалось в глаза, — но держался как-то особняком. Близко он сошелся только с Джоном Т. Ангером, но и с ним отнюдь не откровенничал насчет дома и семьи. Ясно было, что он из богатых, и все такое, но вообще-то Джон почти ничего не знал о своем приятеле, и любопытство его прямо-таки взыграло, когда Перси пригласил его на лето к себе, «на Запад». Он не заставил себя упрашивать.

И только в поезде Перси впервые немного разговорился. Однажды, когда они обедали в вагоне-ресторане и язвительно обсуждали однокашников, Перси вдруг заметил совсем новым тоном:

— Мой отец намного богаче всех в мире.

— А-а, — вежливо отозвался Джон. Непонятно

было, что бы еще сказать на такое признание. «Это замечательно» — не прозвучит, и он чуть было не сказал: «В самом деле?» — но вовремя спохватился: вышло бы, что он сомневается в словах Перси. А в таких поразительных словах сомневаться, пожалуй, не следовало.

— Намного богаче, — повторил Перси.

— Помню, я читал в справочнике, — решился Джон, — что в Америке есть один человек с годовым доходом пять миллионов и четверо, у кого свыше трех миллионов…

— Тоже мне богачи. — Перси брезгливо скривил рот. — Крохоборы-капиталистики, банкиришки, торгаши и ростовщики. Отец мой их всех скупит и сам того не заметит.

— Почему же тогда…

— Почему его нет в справочнике? Да потому, что он не платит подоходного налога. Платит какие-то там гроши, но не с дохода, а так.

— Вот уж, наверно, богатый человек, — простодушно заметил Джон. — И прекрасно. Я как раз люблю очень богатых. Чем богаче, тем лучше — по-моему, так. — Его смуглое лицо сияло искренностью. — Прошлую Пасху я гостил у Шнитцлеров-Мэрфи. И у Вивьен Шнитцлер-Мэрфи были рубины с куриное яйцо и такие лучистые

сапфиры, как фонарики…

— Камни — это да, — восторженно поддержал Перси. — Конечно, в колледже об этом никому знать не надо, но у меня у самого есть неплохая коллекция. Камни собирать интереснее, чем марки.

— А какие алмазы бывают, — мечтательно продолжал Джон. — У Шнитцлеров-Мэрфи были алмазы с грецкий…

— Дребедень. — Перси склонился к приятелю и глухо зашептал: — Побрякушки. У моего отца алмаз — побольше, чем отель «Риц-Карлтон».

II

Закат в горах Монтаны сгустился между двумя вершинами, как громадный синяк, и темные вены расползлись от него по изувеченному небу. Небо отпрянуло в горнюю высь от деревушки Саваоф — крохотной, унылой, безвестной. По слухам, там жило двенадцать человек, двенадцать темных и загадочных душ, извлекавших пропитание из голого, почти совсем голого камня, на котором они произросли, неведомо как и почему. Они стали особой породой, эти двенадцать саваофцев, как будто природа сперва расщедрилась на

новую тварь, а потом опомнилась и оставила их копошиться и гибнуть.

Из далекого иссиня-черного сгустка в скалистую пустошь выползла цепочка огней, и двенадцать саваофцев возникли, как призраки у станционного сарайчика, навстречу семичасовому трансконтинентальному экспрессу из Чикаго. Примерно шесть раз в год трансконтинентальный экспресс, повинуясь непостижимому расписанию, останавливался у платформы Саваоф, и кто-то сходил с поезда, садился в коляску, поданную из сумерек, и исчезал во тьме закатного синяка. Саваофцы глазели на это нелепое и диковинное происшествие, словно соблюдали некий обряд. Глазели, и только: в них не было ни капли того одушевленного воображения, которое побуждает любопытствовать и размышлять, а то бы вокруг этих таинственных событий народилась своя религия. Но саваофцы жили помимо всякой религии: самые дикие и простые христианские верования и те не прижились бы на этой скале. У них не было ни алтаря, ни жреца, ни жертвоприношений; просто народ каждый день к семи вечера стекался к станционному сараю и возносил взамен молитвы смутное и вялое изумление.

В этот июньский вечер Главный Кондуктор,

которого саваофцы считали бы богом, если б бог им был нужен, повелел, дабы семичасовой поезд сгрузил людей (или нелюдь) в Саваофе. В две минуты восьмого Перси Вашингтон и Джон Т. Ангер сошли с подножки, промелькнули перед завороженными, распахнутыми, испуганными глазами двенадцати мужчин, уселись в коляску, которая явилась ниоткуда, и уехали.

Через полчаса, когда полумрак сгустился дотемна, молчаливый кучер-негр окликнул что-то черное впереди. На окрик вспыхнул рдяный диск, словно воспаленный глаз злобно уставился из непроглядной тьмы. Они подъехали ближе, и Джон понял, что это задний фонарь автомобиля, громадного и роскошного. Металл его корпуса отливал никелем и отблескивал серебром; втулки искрились зелено-желтым геометрическим узором — бисерным, а может, и самоцветным, — Джон не рискнул гадать.

Два негра в расшитых ливреях, как с картины лондонской королевской процессии, стояли навытяжку у автомобиля и приветствовали молодых людей, вылезших из коляски, на языке, непонятном гостю, но похожем на исконное негритянское наречие Юга.

— Садись, — сказал Перси приятелю, когда их

чемоданы забросили на эбеновую крышу лимузина. — Жаль, что пришлось тебя слегка протрясти, но сам понимаешь — куда ж с таким автомобилем на глаза пассажирам или этому разнесчастному саваофскому отребью.

— Ух ты! Ну и авто! — вырвалось у Джона при виде внутреннего убранства автомобиля. Его взгляду предстала парчовая обивка, сплошь затканная тонкими шелковыми узорами, вся в крапинках драгоценных камней.

Приятели развалились в кресельных сиденьях, пышный ворс которых переливался всеми оттенками страусиного пера.

— Ну и авто! — повторил изумленный Джон.

— Колымага-то? — рассмеялся Перси. — Да это старая рухлядь, она у нас для поездок на станцию.

Тем временем автомобиль мчался в темноте по направлению к перевалу.

— Через полтора часа будем на месте, — сказал Перси, взглянув на часы. — Кстати уж скажу тебе, что ничего подобного ты в жизни не видел.

Если и все прочее было под стать автомобилю, то Джона в самом деле ожидало необычайное. В Геенне простодушно и благочестиво преклонялись перед богатством с пеленок, всей душою

чтили его, и не дай бог Джон нарушил бы эту заповедь умиления — родители отреклись бы от него, не стерпев такого кощунства.

Они достигли ущелья, углубились в него, и дорога почти сразу стала ухабистой.

— Если б сюда пробивалась луна, посмотрел бы ты, какое ущелье, — сказал Перси, щурясь в темное окошко. Он что-то приказал в микрофон, и лакей тут же включил прожектор, мощным лучом хлестнувший по горным склонам.

— Видишь, кругом осыпи. Обычный мотор разнесло бы на куски в полчаса. Не зная дороги, здесь и на танке-то едва проберешься. Вот заметь, вверх пошло.

Чувствовалось, что они едут в гору. Через минуту-другую автомобиль вынырнул у гребня, и вдали мелькнула бледная, юная луна. Внезапно они остановились, и вокруг возникли из темноты какие-то фигуры — снова негры. Молодых людей приветствовали все на том же полувнятном наречии; затем негры принялись за работу и зацепили крючья четырех гигантских тросов, свисавших откуда-то сверху, за ступицы огромных самоцветных колес. Раздалось «Э-гей!» — и Джон ощутил, как автомобиль медленно оторвался от земли и взмыл ввысь — над самыми высокими скалами с

обеих сторон, и еще выше, и под ними открылась лунная долина, такая непохожая на покинутое кремнистое крутогорье. Справа высилась скала — а потом и ее не стало, кругом было чистое небо.

Очевидно, они перенеслись за каменное лезвие высокого горного отрога и все еще поднимались. И тут же стали спускаться и наконец, подпрыгнув, приземлились на равнине.

— Остальное пустяки, — сказал Перси, глянув в окно. — Отсюда всего пять миль, и дорога наша собственная — брусчатка — до самого дома. Как говорит отец, здесь Соединенные Штаты кончаются.

— Мы разве в Канаде?

— Нет, зачем же. Мы в Монтане, в Скалистых горах. Только вот этих пяти квадратных миль нет ни на одной карте.

— А почему? Пропустили?

— Да нет, — усмехнулся Перси, — три раза нас пробовали засечь. Первый раз мой дед подкупил все геодезическое управление; другой раз ему удалось подправить официальную карту — и пятнадцать лет никто не совался. Зато в последний раз была сущая морока. Отец мой соорудил сильнейшее искусственное магнитное поле, чтобы отклонить их компасы. Он изготовил целую пар-

тию геодезических приборов с изъяном, таких, чтоб пропускали это место, и подменил точные. Еще он отвел реку, и на берегу сделали кой-какие постройки — чтоб казалось, будто это городок в долине от нас за десять миль. В общем, отец мой только одного боится, — закончил он, — одна только и есть для нас опасность в мире.

— Какая?

Перси перешел на шепот.

— Аэропланы, — вздохнул он. — У нас есть с полдюжины зениток, и пока справляемся — правда, несколько убитых и много пленных. Мы-то с отцом понимаем, что это в порядке вещей, а мама с девочками огорчаются. Но в другой раз все может обернуться не так благополучно.

Зеленая луна сияла из-за мохнатых облаков, которые стелились перед нею в изумрудном небе, словно драгоценные восточные ткани пред очами татарского хана. Джону померещилось, что сейчас день и что он видит в небе авиаторов, сыплющих с борта назидательные брошюрки и лекарственные рекламки, обнадеживая унылое деревенское захолустье. Ему показалось, будто они парят и вглядываются — разглядывают то, что он сейчас увидит, — а потом? А потом их как-нибудь хитростью заманивают на землю и

держат до скончания дней в заточении: ни тебе лекарств, ни брошюрок. Или, если заманить не удается, откуда-то вылетает клуб дыма, рвется снаряд, аэроплан обрушивается наземь, а мать и сестры Перси «огорчаются»? Джон встряхнул головой, и глухой смешок сорвался с его губ. Какие за всем этим кроются жестокости? Как властвует этот странный Крез? Что это за жуткая, вызолоченная тайна?..

Шерстистые облака уплыли, и горная ночь была яснее дня. Огромные шины катили по ровной брусчатке; дорога обогнула тихое, залитое луной озеро и углубилась в прохладный, смолистый мрак сосновой рощицы; затем вывела на луг, и Джой вскрикнул от восторга, а Перси коротко заметил: «Приехали».

Осиянный звездным светом, на берегу озера стоял дивный дворец в полвысоты горы, к которой он прильнул во всей своей мраморной прелести, ровно и мягко врисовываясь в густой нагорный сосняк. Бесчисленные башенки, ажурные кружева косых балюстрад, узорная прорезь тысячи треугольных, квадратных, шестиугольных окон, излучавших золотистый свет, зыбкое смешенье синих теневых полос со звездными струями — все это отдалось трепетным аккордом

в душе Джона. Верхушка одной из башен, самой высокой и исчерна-темной снизу, была увенчана сказочным сонмом огней, и когда Джон возвел к ним очарованный взгляд, до земли донеслось томное пение скрипок: таких изнеженных созвучий он никогда еще не слышал. Автомобиль остановился перед просторным и длинным мраморным сходом, овеянным ароматами цветов. За верхней ступенью бесшумно распахнулись стрельчатые двери, и в ночь хлынул янтарный свет, озаривший великолепный силуэт темноволосой дамы с высокой прической. Она простерла к ним руки.

— Мама, — произнес Перси, — это мой друг, Джон Ангер из Геенны.

В памяти Джона этот первый вечер остался сумятицей красок, мгновенных впечатлений, музыки, нежной, как любовное признанье; чарующим хороводом бликов и теней, мельканьем движений и лиц. Вспоминался статный седой мужчина, подносивший к губам хрустальный на золотой ножке фиал с многоцветным питьем. Вспоминалась девушка в одеянии феи, с лилейным личиком, с сапфирами в волосах. Вспоминался пышный покой, где плотные, золотые стены уступали легкому нажатию руки; и покой, подобный

платоновскому «узилищу идей» — сверху донизу устланный сплошным алмазным слоем, бриллиантами всех форм и размеров: с фиолетовыми светильниками по углам, он слепил белизной, ни с чем не сравнимой, превыше человеческих помыслов и мечтаний.

Приятели брели чередой покоев. Под ногами у них вспыхивали узоры: то буйная цветовая смесь, то пастельные разводы, то белоснежная глубина, то мозаичные арабески, наверно, скопированные в какой-нибудь адриатической мечети. Под толстым хрустальным настилом расходились сине-зеленые струи, а в них, между радужными сгустками водорослей, мелькали пестрые рыбы. Они шагали по разноцветным и разнообразным мехам, шли по коридорам, выложенным от пола до потолка чистейшей слоновой костью, сплошной, словно из гигантских бивней динозавров, вымерших задолго до появления человека…

Потом они как-то вдруг оказались за столом — и тарелки были цельнобриллиантовые, в два тончайших слоя с прокладкой изумрудной филиграни, будто вырезанные из воздуха. Коридоры источали тихую тягучую музыку — и пуховое кресло, слитое с его спиной, нежило и дурманило его, а он пил свой первый стакан

портвейна. Сквозь дрему он пытался ответить на чей-то вопрос — но липучая медвяная нега была поволокой сна: камни, ткани, вина, золото — все расплывалось у него в глазах сладостным туманом…

— Да, — отозвался он из последних сил, — да, там у нас, конечно, припекает.

Он даже чуть подхихикнул; а потом, не шелохнувшись и не противясь, словно бы отплыл от стола и от мороженого, алого, как сон… Он уснул.

Он открыл глаза и почувствовал, что проспал несколько часов. Он был в большой тихой комнате с агатовыми панелями и тусклой подсветкой, такой слабой, такой мягкой… Его юный хозяин стоял над ним.

— Ты уснул за обедом, — сказал Перси. — Я и сам чуть не уснул, так было приятно слегка отдохнуть в нормальной обстановке после года в колледже. Пока ты спал, слуги тебя раздели и выкупали.

— Я в постели или на облаке? — выговорил Джон. — Перси, Перси, не уходи, мне надо извиниться перед тобой.

— За что?

— Что я не поверил тебе про алмаз больше отеля «Риц».

Перси улыбнулся.

— Я так и думал, что ты не поверишь. Это ведь гора.

— Какая гора?

— Возле которой дворец. Она не так уж и велика. Но земли и камня на ней всего футов пятьдесят, а остальное — алмаз. Сплошной алмаз чистой воды, цельная кубическая миля. Ты слушаешь? Скажи…

Но Джон Т. Ангер снова уснул.

III

Настало утро. Просыпаясь, он ощутил, как спальня сразу наполнилась солнцем. Эбеновые панели раздвинулись, и дневной свет хлынул во всю стену. Огромный негр в белой ливрее стоял у его постели.

— Добрый вечер, — пробормотал Джон, силясь очнуться от сонной одури.

— Доброе утро, сэр. Примете ванну, сэр? Нет, не вставайте, я сейчас все сделаю, только будьте добры, расстегните пижаму — вот так. Благодарю вас, сэр.

С покорного Джона совлекли пижаму. Ему было забавно и приятно, он ожидал оказаться на руках у этого услужливого черного Гаргантюа,

но не тут-то было; ложе его медленно накренилось, и он, слегка оторопев, покатился к стене: обивка раздалась, он проскользил два ярда по бархатистому скосу и погрузился в упоительно теплую воду.

Он огляделся. Спуск или скат, по которому он соскользнул, свернулся в трубку и исчез. Он был в другой комнате и сидел по горло в бассейне, голова над краем. Его окружал синий аквариум: за стенами комнаты и под бассейном в янтарных лучах резвились рыбы, спокойно проплывая возле его ног, отделенных лишь слоем хрусталя. Солнечный свет пробивался сверху сквозь сине-зеленое стекло.

— Полагаю, сэр, что нынче утром вам для начала будет в самый раз горячая розовая вода с мыльной пеной — а потом, пожалуй, холодная морская.

Это над ним склонился негр.

— Да, — нелепо ухмыльнувшись, согласился Джон, — вот именно.

Не с его жалкими и непритязательными привычками распоряжаться таким купаньем — это было бы по меньшей мере самонадеянно, а то и попросту бессовестно.

Негр нажал кнопку, и сверху хлынул теплый

ливень; Джон сразу сообразил, что это забил фонтанчик у края бассейна. Вода стала бледно-розовой, из четырех моржовых рылец по углам брызнули мыльные струи. Дюжина маленьких бортовых вертушек в минуту взбила облако сверкающей радужно-розовой пены, которая нежно окутала его, блистая и пузырясь.

— Может, запустить синема, сэр? — почтительно предложил негр. — В аппарат нынче заряжена хорошая смешная лента, а желаете, я сейчас заменю на серьезную.

— Нет, спасибо, — вежливо, но твердо отозвался Джон. Слишком приятна была ему ванна, и отвлекаться не стоило. Но отвлечься все-таки пришлось. Через мгновение его слух заполнился совсем близким мелодическим журчаньем флейт, прохладно-зеленоватым, как сама ванная, и мелодию их вело пузырчатое пикколо, ажурное, словно мыльное кружево, ласково облекавшее его.

Взбодренный прохладной морской водой и холодным пресным душем, он вылез из бассейна, был укутан в мохнатый халат, уложен на пушистую кушетку и растерт маслом, спиртом и ароматами. Переместившись в уютное кресло, он был побрит и подстрижен.

— Мистер Перси ждет вас в гостиной, — сообщил негр, закончив процедуры. — Меня зовут Джигзэм, мистер Ангер, сэр. Я буду прислуживать мистеру Ангеру по утрам.

И Джон вышел в солнечную гостиную, где был накрыт завтрак, и Перси, в ослепительно-белых лайковых бриджах, курил, откинувшись в кресле.

IV

За завтраком Перси вкратце поведал Джону историю семьи Вашингтон.

Отец нынешнего главы семьи, прямой потомок Джорджа Вашингтона и лорда Балтимора, был родом из Виргинии. К концу Гражданской войны ему исполнилось двадцать пять; он имел чин полковника, опустошенную плантацию и тысячу долларов золотом.

Фитцнорман Калпеппер Вашингтон — так звался молодой полковник — решил оставить недвижимость в Виргинии младшему брату и податься на Запад. Он отобрал две дюжины негров — разумеется, преданных ему до обожания, — и купил двадцать пять железнодорожных билетов; от имени негров можно было наарендовать зем-

ли и заняться скотоводством.

В Монтане он поистратился за месяц, и дела пошли совсем скверно; тут-то все и случилось. Он поехал в горы, заблудился, остался без еды и проголодал день. Ружья при нем не было, и в погоне за белкой он заметил, что та держит в зубах что-то блестящее. Белке не было суждено утолить собой его голод: она скрылась в дупло, но обронила свою ношу. Фитцнорман присел в печальном раздумье и заметил рядом в траве какое-то мерцание. За десять секунд аппетит его пропал, а капитал возрос до ста тысяч долларов. Белка, никак не желавшая попасть к нему в желудок, одарила его зато крупным бриллиантом чистой воды.

Ближе к ночи он отыскал свой лагерь; еще через полсуток все мужчины-негры вгрызались в гору возле беличьего дупла. Он сказал им, что напал на жилу горного хрусталя. Вряд ли хоть двоим из них случалось видеть алмазы — и то маленькие, — и ему поверили без лишних слов. Когда он понял, на что наткнулся, начались затруднения. Гора оказалась алмазом — цельным, сплошным алмазом. Он набил сверкающими образчиками четыре седельные сумки и поскакал в Сент-Пол. Там он сбыл с рук полдюжины мелких

камней, а когда вытащил один побольше, скупщик упал в обморок, и Фитцнормана арестовали как нарушителя общественного спокойствия. Он сбежал из тюрьмы и добрался поездом до Нью-Йорка, где продал несколько алмазов средней величины примерно за двести тысяч долларов золотом. Крупные он не рискнул показывать — и покинул Нью-Йорк как раз вовремя. Среди ювелиров началось страшное волнение — не оттого, что бриллианты были крупные, а потому, что они появились неизвестно откуда. Поползли дикие слухи, будто в Кэтскильских горах, в Нью-Джерси, на Лонг-Айленде, под Вашингтон-сквер обнаружились алмазные залежи. Из Нью-Йорка что ни час отбывали специальные поезда: люди с кирками и совками разыскивали окрестные Эльдорадо. Но к этому времени Фитцнорман уже катил назад в Монтану.

Прошло еще две недели, и он подсчитал, что все мировые алмазные копи, вместе взятые, вряд ли сравнятся с его горой. И в точности оценить ее было невозможно: ведь это *цельный* алмаз, и если так и пустить его на продажу, то он не только задавит рынок — в мире просто не хватит золота, чтобы купить его десятую часть. Да и кому нужен такой неимоверный бриллиант?

Странная выходила история. Богаче его человека никогда и нигде не было — но чего стоит все его богатство? Если его тайна раскроется — почем знать, что сделает государство, чтобы избежать золотой и бриллиантовой лихорадки? Скорее всего, его собственность реквизируют и установят монополию.

Оставалось только одно — распродавать гору втайне. Он вызвал с Юга младшего брата и препоручил ему черных — тем было невдомек, что рабство упразднено. Для пущей надежности им прочитали самодельную декларацию о том, что генерал Форрест собрал рассеянные южные армии и в решающей битве разгромил врага. Негры ничуть не усомнились в этом. Они единогласно признали, что это очень хорошо, и устроили благодарственное радение.

Фитцнорман захватил с собой сотню тысяч долларов, два чемодана с неотделанными алмазами, крупными и помельче, и отплыл в чужие края. В Россию его доставила китайская джонка: через шесть месяцев он был уже в Санкт-Петербурге. Он снял невзрачную комнатенку и тут же отправился к придворному ювелиру с известием, что у него есть алмаз для государя. Он пробыл в Санкт-Петербурге две недели, спасаясь от убийц

постоянными переездами, и за это время всего три-четыре раза прикоснулся к своим чемоданам.

Пообещав вернуться через год с граненными камнями покрупнее, он был отпущен в Индию. Но еще до этого императорское казначейство перевело на четыре разных счета в американских банках пятнадцать миллионов долларов.

Он вернулся в Америку в 1868 году, пропутешествовав больше двух лет. Он побывал в столицах двадцати двух стран и имел беседы с пятью императорами, одиннадцатью королями, тремя принцами, шахом, ханом и султаном. Свое состояние Фитцнорман к этому времени исчислял в миллиард долларов. Перед его тайной сами собой возникали все новые заслоны. Как только он выпускал на свет какой-нибудь крупный бриллиант, тот через неделю обрастал легендами, полными роковых совпадений, интриг, революций и войн — такой длины, что родословную его можно было проследить до Первого Вавилонского царства.

С 1870 до 1900 года — года смерти Фитцнормана — его история писана золотыми буквами. Были, конечно, и побочные происшествия — он сбивал с толку топографов, женился на виргинской уро-

женке, которая родила ему единственного сына; пришлось, ввиду прискорбных осложнений, устранить брата: он, к сожалению, пил без удержу и спьяну распускал язык. Но это и немногие другие убийства не омрачили счастливых времен роста и прогресса.

Перед самой смертью Фитцнорман повел дело по-новому: оставив в резерве всего несколько миллионов долларов, он на остальные оптом закупил редкие вещества и разместил их в банковских сейфах по всему миру под видом антикварных коллекций. Сын его, Брэддок Тарлтон Вашингтон, развил ту же идею. Он обменял вещества на редчайший из всех элементов — радий — так что миллиард долларов помещался у него в сигарной коробке.

Через три года после смерти Фитцнормана его сын Брэддок решил, что дело пора закрывать. Оли с отцом выкачали из горы столько денег, что подсчитать их в точности было уже невозможно. Шифрованные записи в его блокноте обозначали, сколько примерно радия хранится в каждом из тысячи банков, в которых он был вкладчиком, и на какие фамилии оформлены счета. И он сделал самое простое — запечатал свои алмазные копи.

Да, запечатал копи. Добытого хватит несколь-

ким поколениям Вашингтонов на самую роскошную жизнь. Оставалось только беречь свою тайну: если она откроется, будет паника, и все вкладчики всего мира, с Вашингтонами во главе, станут нищими.

У такой вот семьи в гостях оказался Джон Т. Ангер. И такую вот повесть он услышал наутро по приезде в отведенной ему серебряной гостиной.

V

После завтрака Джон вышел на высокое крыльцо и стал с любопытством осматриваться. Вся долина, от алмазной горы до гранитного пика за пять миль, была подернута золотистой утренней дымкой, млевшей над мягкими луговыми склонами, над озерами и садами. Купы вязов скапливали легкую тень, и эти теневые островки были до странности непохожи на сине-зеленый сосняк по взгорьям. На глазах у Джона три олененка цепочкой выскочили из кущи в полумиле от дворца и веселой трусцой скрылись в ребристом полумраке соседнего перелеска. Если бы среди деревьев показался козлоногий сатир со свирелью или в зелени мелькнула розовая нагота светлокудрой дриады, Джон ничуть бы не

удивился.

В тихом уповании на чудо он сошел по мраморным ступеням, чуть потревожив внизу дремоту двух лоснистых русских волкодавов, и доверился дорожке в синих и белых плитках, которая вела неведомо куда.

Ему было несказанно хорошо. Юность — блаженная и ущербная пора: юные не живут в настоящем, а примеряют его к своему блистательному воображаемому будущему; цветы и золото, девушки и звезды — лишь предзнаменования и предвестия этой недостижимой, несравненной юной мечты.

Джон обогнул благоуханные розовые заросли, пошел прямиком через парк и набрел на мшистую лужайку. Ему никогда не случалось лежать на мху, он решил проверить, правду ли об этом пишут. Вдруг он увидел, что навстречу ему по траве идет девушка, самая красивая на свете.

На ней было легкое белое платье чуть ниже колен и веночек из резеды, перевитый сапфирными нитями. Ее босые розовые ножки отрясали росу с травы. Она была младше Джона — лет шестнадцати.

— Здравствуйте, — нежно позвала она. — Я — Кисмина.

Что было Джону до ее имени! Он приблизился к ней, ступая все осторожнее — не наступить бы на ее босые пальчики.

— Мы с вами еще не виделись, — сказал ее нежный голос, а синие глаза прибавили: «И как же вы много потеряли!..» — Вчера вечером вы видели мою сестру Жасмину. А я отравилась салатным листом, — продолжал голосок, а глаза говорили: «Я всегда такая прелесть — и больная и здоровая».

«Я не могу на вас налюбоваться, — высказали глаза Джона, — я и сам вижу, какая вы...»

— Добрый день, — сказал его голос. — Надеюсь, сегодня вы уже поправились. — «Вы чудесная», — досказал его трепетный взгляд.

Джон заметил, что они снова идут по дорожке. Она предложила присесть на мох, и он уже не мог понять, мягко ему или нет.

К женщинам он был придирчив. Пустяковый изъян — будь то широкая щиколотка, низкий голос или даже очки — отрезвлял его до полного безразличия. И вот впервые в жизни рядом с ним была девушка, которая, на его взгляд, воплощала истое совершенство.

— А вы из восточных штатов? — мило поинтересовалась Кисмина.

— Нет, — честно сказал Джон. — Я из Геенны.

Или это слово ей ничего не говорило, или она не знала, как бы на это помилее отозваться, но она промолчала.

— А я осенью поеду учиться на Восток, — сказала она. — Как вы думаете, мне там понравится? Я в Нью-Йорк поеду, в пансион мисс Балдж. У нее очень строго, но на уик-энды меня все равно будут отпускать домой — у нас свой дом в Нью-Йорке, — а то папа слышал, что там девушки прогуливаются парами и следят друг за другом.

— Ваш отец считает, что вы особенные, — заметил Джон.

— Мы и есть особенные, — отвечала она, и глаза ее гордо сверкнули. — Нас никогда не наказывали. Папа сказал, что нас нельзя наказывать. Однажды моя сестра Жасмина, когда была еще маленькая, столкнула его с лестницы — и он встал, захромал и пошел. А мама — вы знаете, она так поразилась, — продолжала Кисмина, — когда услышала, что вы — ну, оттуда. Она сказала, что в детстве ей говорили — ну, сами понимаете, — она родом испанка и воспитана по-старинному.

— А вы ведь здесь не все время живете? — спросил Джон, стараясь не показать, что слова Кисмины его укололи. Ему как будто подчеркнуто

намекнули, что он провинциал.

— Перси, Жасмина и я проводим здесь каждое лето, только будущим летом Жасмина поедет в Ньюпорт, а потом, осенью, даже в Лондон. Ее ко двору представят.

— А знаете, — помялся Джон, — я было сперва подумал, что вы такая простая, а вы очень даже светская.

— Ой, вовсе нет! — вскрикнула она. — Ой, не дай бог. По-моему, они такие все ужасно вульгарные, правда же? Вовсе я не светская, ни чуточки. Еще так скажете, и я сейчас заплачу.

Она так огорчилась, что у нее губы задрожали. Джону пришлось дать задний ход.

— Ну что вы, это я просто так, просто пошутил.

— Да нет, потому что, если бы и светская, — не унималась она, — то ничего, пусть. Но ведь нет же. Я такая неопытная, совсем девочка. Ни курить не умею, ни пить и читаю одни стихи. В математике и в химии ну прямо ничего не смыслю. И одеваюсь очень-очень просто, совсем почти никак не одеваюсь. Вот уж кто не светская, так это я. По-моему, девушки должны расти как цветы и радоваться жизни.

— Я тоже так думаю, — от души согласился Джон.

Кисмина повеселела. Она улыбнулась ему, и непролитая слезинка скатилась с ее ресниц.

— Вы хороший, — доверительно прошептала она. — А вы все время будете с Перси или немножечко и со мной? Вы только представьте — я ведь совсем-совсем ничего ни про что не знаю. Даже никто в меня еще не влюблялся. Да я и вообще-то мальчиков не видела — только вот Перси. И я так бежала сюда, чтоб только с вами повидаться.

Крайне польщенный, Джон отвесил глубокий поклон, как его научили в Геенне, в танцклассе.

— А сейчас давайте пойдем, — пролепетала Кисмина. — Мне нужно в одиннадцать быть у мамы. Вы даже ни разу не попробовали меня поцеловать. А я думала, мальчики теперь все такие.

Джон горделиво расправил грудь.

— Есть и такие, — сказал он, — но я не такой. И девушки у нас в Геенне этого не позволяют.

И они рядышком побрели ко дворцу.

VI

Брэддок Вашингтон предстал Джону в ярком солнечном свете. Ему было лет сорок с лишним, лицо строгое и гладкое, сам коренастый. По утрам

от него пахло конюшней — холеными лошадьми. В руке он держал простую березовую трость с опаловой рукоятью. Они с Перси водили Джона по здешним владениям.

— Вон, там живут рабы. — Его трость обратилась влево, к мраморной обители, изящно-готические очертания которой вливались в горный склон. — Когда я был молод, на меня накатил нелепейший, бредовый идеализм. И я устроил им роскошную жизнь. Странно сказать, но у них при каждой комнате была кафельная ванная.

— Вероятно, — заметил Джон, подсмеиваясь, — они ссыпали в ванны уголь. Мистер Шнитцлер-Мэрфи как-то рассказывал мне…

— До мистера Шнитцлера-Мэрфи и его рассказов лично мне нет никакого дела, — холодно прервал его Брэддок Вашингтон. — Нет, мои рабы в ванны уголь не ссыпали. Им было велено мыться с головы до ног каждый день, и они мылись. Попробовали бы не мыться — я бы их искупал в серной кислоте. Я прекратил все это по совершенно другой причине. Кое-кто из них простудился и умер. Вода для некоторых людских пород опасна — годится разве что как питье.

Джон рассмеялся было, но передумал и понятливо кивнул. Брэддок Вашингтон был человек

опасный.

— Все эти негры — потомки тех, кого мой отец забрал с собой сюда, на Север. Сейчас их сотни две с половиной. Вы, должно быть, заметили: они так долго прожили вдали от мира, что даже разговаривать стали на несколько невнятном наречии. Впрочем, некоторые говорят и по-английски: мой секретарь и еще двое-трое слуг.

А это поле для гольфа, — сказал он, проходя по бархатной, вечнозеленой траве. — Как видите, сплошной покров — ни плешин, ни тропинок, ни рытвин.

Джону досталась милостивая улыбка.

— Как дела с пленными, отец, много их? — внезапно спросил Перси.

Брэддок Вашингтон споткнулся и выругался.

— Одним меньше, чем надо, — сумрачно выговорил он и, помедлив, добавил: — Тут у нас были неприятности.

— Да, мать мне говорила! — воскликнул Перси. — Тот учитель-итальянец…

— Ужасное упущение, — гневно сказал Брэддок Вашингтон. — Конечно, вряд ли он от нас уйдет. Может быть, он заблудился в лесу или упал с обрыва. Пусть даже и спасся — будем надеяться, что никто ему не поверит. И все-таки я отправил

за ним по окрестным городам человек двадцать.

— И что же?

— Да как сказать. Четырнадцать из них сообщили моему агенту, что прикончили человека, отвечающего описанию; они, правда, гонятся за наградой…

Перед ними была плотно зарешеченная впадина размером с большую карусель. Брэддок Вашингтон поманил Джона и указал тростью на решетку. Джон подошел и глянул вниз. Оттуда взметнулись выкрики.

— Давай к нам в преисподнюю!

— Алло, паренек, как там погодка наверху?

— Эй! Кидай веревку!

— Не захватил с собой вчерашнего пирожка или хоть сандвичей?

— Слышь, малый, столкни-ка нам сюда того типа, увидишь, что будет!

— Врежь ему разок за меня, а?

В глубине было темно, но, судя по немудрящему оптимизму и грубоватому задору, голоса принадлежали американцам из простых, не привыкших унывать. Мистер Вашингтон коснулся тростью незримой кнопки в траве, и внутренность ямы осветилась.

— Это те отважные путешественники, которые

имели несчастье открыть Эльдорадо, — заметил он.

У ног их разверзлась пропасть, словно чаша с отвесными, остекленными краями; на слегка вогнутом дне ее стояли десятка два мужчин в полувоенных костюмах авиаторов. Запрокинутые лица — гневные, злобные, угрюмые, бесшабашно-насмешливые — обросли донельзя; некоторые пленники заметно исчахли, но большей частью вид у них был сытый и бодрый.

Брэддок Вашингтон придвинул плетеное кресло к самой решетке и уселся.

— Ну, как дела, ребята? — дружелюбно спросил он.

Ему отвечал дружный хор — смолчали только вконец отчаявшиеся, — и солнечное утро огласилось яростной руганью, которую, впрочем, Брэддок Вашингтон выслушал вполне невозмутимо. Когда все затихло, он снова поднял голос:

— Надумали, что мне с вами делать?

В ответ донеслось несколько выкриков.

— А чем здесь плохо?

— Нам бы только наверх, а там сами дорогу найдем!

Брэддок Вашингтон подождал, пока они опять успокоятся. Потом он сказал:

— Я уже все вам объяснил. Вы мне здесь ни к чему. Лучше бы нам с вами никогда не встречаться. Всему виною ваше собственное любопытство; но я готов обсуждать с вами любой приемлемый для меня способ выйти из затруднения. Однако до тех пор, пока вы будете заниматься рытьем подземных ходов — да, я знаю про тот, который вы начали рыть, — мы с места не сдвинемся. Не так уж вам здесь плохо, как вы изображаете, и напрасно все это нытье о разлуке с близкими. Если бы вас так заботили ваши близкие, вы никогда не стали бы авиаторами.

Высокий пилот отделился от прочих и поднял руку, взывая к своему тюремщику.

— Позвольте вас спросить! — крикнул он. — Вот, по-вашему, вы человек справедливый.

— Какой вздор! С какой стати я буду к вам справедлив? Вы бы еще от кота потребовали справедливости к мышам.

При этом сухом замечании два десятка мышей понурились, но высокий все же продолжал.

— Ладно! — крикнул он. — Это уже было обговорено. Вы не жалостливый, вы не справедливый, но вы хоть человек, с этим-то вы не спорите — попробуйте, поставьте себя на наше место и подумайте, как это — как это — как это…

— Как это — что дальше? — холодно осведомился Вашингтон.

— Как это бессмысленно…

— Смотря для кого.

— Ну — как жестоко…

— Был уже об этом разговор. Жестокость — пустое слово, когда дело идет о самозащите. Вы воевали и сами это знаете. Что-нибудь поновее.

— Ну хорошо, тогда как глупо…

— Пожалуй, глуповато, — признал Вашингтон. — Но что прикажете делать? Я предлагал всем желающим безболезненную смерть. Я предлагал похитить и доставить сюда ваших жен, невест, детей и матерей. Я согласен расширить ваше подземное помещение, согласен кормить и одевать вас до конца ваших дней. Если б можно было начисто лишить вас памяти, вы бы все у меня тут же были оперированы и переброшены подальше от моих владений. Больше я пока ничего не могу придумать.

— А может, поверите нам на слово, что мы болтать не станем? — выкрикнул кто-то.

— Если это предложение, то несерьезное, — пренебрежительно отозвался Вашингтон. — Я взял одного из вас наверх, учить мою дочь итальянскому. На прошлой неделе он сбежал.

Две дюжины глоток испустили восторженный вопль; началось буйное ликование. В припадке веселья узники приплясывали, хлопали в ладоши, дурашливо гоготали, тузили друг друга, а иные даже взбегали по отвесному стеклу и грохались задом об пол. Высокий затянул песню, и все подхватили:

Эх, повесим кайзера
На зеленой яблоньке.

Брэддок Вашингтон хладнокровно переждал, пока они допели.

— Вот видите, — сказал он, когда восторги поутихли, — я на вас ничуть не озлоблен. Мне приятно, что вы радуетесь. Поэтому я и недосказал. Этого — как его… Кричтикьелло? — подстрелили четырнадцать моих агентов.

Было неясно, что речь идет о четырнадцати мертвецах, и ликование тут же улеглось.

— Но так или иначе, — гневно повысил голос Вашингтон, — он попытался сбежать. И после этого вы думаете, что я рискну поверить кому-нибудь из вас?

Снизу снова кричали наперебой.

— А как же!

— Китайский дочка учить не хочет?

— Эй, я умею по-итальянски! Моя мать оттуда родом!

— Может, ей сначала надо по-нашенски?

— Это, что ли, та, синеглазая? Зачем ей итальянский, я ее кой-чему поинтереснее научу!

— А я знаю такие ирландские песни — сам пою, сам поддаю!

Мистер Вашингтон вдруг протянул трость, надавил кнопку в траве — и пропасть погасла, осталась только впадина и черные зубья решетки.

— Эй, — позвали снизу, — вы что же, так и уйдете? Благословить забыли!

Но мистер Вашингтон с двумя юношами уже шествовал по полю для гольфа к девятой лунке, словно и яма и узники просто немного мешали ему играть, и он легко миновал эту помеху.

VII

Под сенью алмазной горы тянулся июль с его глухими ночами и теплыми, парными днями. Джон с Кисминой были влюблены друг в друга. Он не знал, что подаренный им золотой футбольный медальон с надписью «Pro deo et patria et St.

Midas»[25] покоится на платиновой цепочке у ее сердца. Между тем так оно и было. А она тоже не ведала, что крупный сапфир, который она как-то обронила из своей простенькой прически, был заботливо уложен в Джонову заветную коробочку.

Однажды к вечеру, когда в покое, убранном рубинами и горностаем, не было музыки, они провели там час наедине. Он сжимал ее руку, и она так посмотрела, что с губ у него сорвалось ее имя. Она придвинулась — и помедлила:

— Ты сказал: «Кисмина моя», — спросила она, — или просто?..

Она боялась ошибиться. Вдруг она неправильно расслышала.

Целоваться они не умели, но через час это стало не важно.

Так прошел вечер. А ночью они лежали в бессонных грезах, перебирая прошедший день минуту за минутой. Они решили пожениться как можно скорее.

VIII

Каждый день мистер Вашингтон ходил с маль-

---

[25] Примечания: 25
За бога, отечество и св. Мидаса (*лат.*).

чиками в лес на охоту или на рыбалку, они играли в гольф на сонном лугу — и Джон всегда уступал победу хозяину — или купались в прохладном горном озере. Джон обнаружил, что у мистера Вашингтона трудный характер: чужие мысли и мнения его нимало не интересовали. Миссис Вашингтон всегда глядела свысока и была необщительна. Дочерей своих она явно не жаловала, а в Перси души не чаяла и за обедом без конца разговаривала с ним по-испански.

Старшая дочь Жасмина походила на Кисмину, только ноги чуть кривоваты, а кисти и ступни великоваты, — но похожи они с сестрой были только с виду. Жасмина больше всего любила книжки про убогих девочек, ухаживающих за вдовыми отцами. По рассказам Кисмины, Жасмина долго пропадала с горя и тоски, что кончилась мировая война — а она только собралась было в Европу налаживать солдатское питание. Она чахла день ото дня, и Брэддок Вашингтон даже затеял было новую войну на Балканах, но тут ей попалась фотография раненых сербов, и как-то у нее пропал ко всему этому интерес. Зато Перси и Кисмина, видно, унаследовали от отца высокомерное, сухое и великолепное безразличие ко всему на свете. Они думали всегда только о себе

— строго и неукоснительно.

Дворец и долина чаровали Джона своими чудесами. Перси рассказывал, как по приказанию Брэддока Вашингтона сюда доставили садовода, архитектора, театрального декоратора и французского поэта-декадента, уцелевшего от конца века. Им было велено распоряжаться неграми по усмотрению, обещаны любые, какие только бывают, материалы и вообще предписано изобретать как можно смелее. И все они оказались полной бестолочью. Поэт-декадент тут же стал тосковать по весенним парижским Бульварам — он что-то намекнул про ароматы, орангутангов и слоновую кость, — и только. Декоратор измышлял трюки и хотел превратить всю долину в парк с аттракционами, а это Вашингтонов не прельщало. Архитектор и садовод прикидывали, как привыкли. То надо так, это — сяк.

Зато свою дальнейшую судьбу они решили сами, в одно прекрасное утро скопом свихнувшись после ночи споров о том, где устроить фонтан, — и все вместе очутились в лечебнице для умалишенных: город Уэстпорт, штат Коннектикут

— Но тогда, — полюбопытствовал Джон, — кто же спланировал все ваши гостиные и холлы, все подъезды и ванные?

— Ты понимаешь, — отвечал Перси, — стыдно сказать, но подвернулся нам такой киношник. Он один из всех привык не считаться с расходами, хотя запихивал салфетку за воротник и не умел ни читать, ни писать.

К концу августа Джон начал грустить: скоро в колледж. Они с Кисминой назначили побег на будущий июнь.

— Лучше бы, конечно, прямо здесь и пожениться, — вздыхала Кисмина, — но разве папа позволит мне выйти за тебя! А раз так нельзя, то придется уж сбежать. Теперь богатые люди в Америке — прямо хоть не женись: всегда-то нужно оповещать, что венчаешься в старинном уборе; это значит, на тебе нитка подержанного жемчуга и потертые кружева с плеча императрицы Евгении.

— Вот-вот, — горячо соглашался Джон. — Был я у Шнитцлеров-Мэрфи, а их старшая дочь Гвендолен вышла за одного там — отец его скупил пол-Виргинии. Она написала домой, что он служит в банке и ему ужас как мало платят, а в конце письма: «Слава богу, хоть у меня четыре горничные, кой-как справляемся».

— Ой, как не стыдно, — заметила Кисмина. — Подумать, сколько миллионов людей на свете

— и рабочие и вообще, — и все обходятся даже с двумя горничными.

Как-то под вечер, в самом конце августа, Кисмина обмолвилась фразой, которая все на свете изменила и повергла Джона в ужас.

Они были в любимой аллейке, и между поцелуями Джона охватили романтические предчувствия, очень, на его взгляд, пикантные.

— Иной раз мне кажется, что мы так и не поженимся, — грустно сказал он. — Ты из такой богатой, из такой знатной семьи. Ты совсем не такая, как другие, как бедные девушки. И женюсь я в конце концов на дочери какого-нибудь зажиточного оптовика-жестянщика из Омахи или Сиу-Сити и буду радоваться на ее полмиллиона.

— Дочь оптовика-жестянщика я видела, — заметила Кисмина. — Она бы тебе не понравилась. У сестры была такая подруга, сюда приезжала.

— О, так у вас здесь и другие бывали? — удивленно воскликнул Джон.

Кисмина как будто пожалела о своих словах.

— Да, да, — сказала она, — бывали и другие.

— А вы — а ваш отец не боялся, что они как-нибудь проболтаются?

— Ну, боялся, конечно, боялся, — отвечала она. — Давай о чем-нибудь другом, более при-

ятном.

Но Джона проняло любопытство.

— Более приятном! — возразил он. — А чего тут неприятного? Они вам что, не пришлись по нраву?

К его великому удивлению, Кисмина расплакалась.

— О-о-ой, они были такие ми-и-илые. Я к ним так привя-а-азывалась. И Жасмина тоже, а она все равно приглашала. Вот уж этого я не понимаю, и все.

В сердце Джона зародилось темное подозрение.

— Они, значит, проговорились, и ваш отец их ликвидировал?

— Если бы хоть так, — пролепетала она. — У отца все заранее решено — а Жасмина все равно писала им, чтобы они приезжали, и им у нас так нра-а-авилось!

Она совсем разрыдалась.

Ошеломленный жутким открытием, Джон сидел, разинув рот, а по нервам его от позвоночника шло воробьиное трепыхание.

— Вот я и проболталась, а не надо было, — сказала она, вдруг успокоившись и отерев свои темно-синие глаза.

— Ты хочешь сказать, что твой отец умерщвлял их еще здесь?

Она кивнула.

— В конце августа это бывало — или в начале сентября. Чтоб мы успели как следует с ними порадоваться.

— Какой ужас! Да нет, я, наверно, с ума схожу. Неужели ты правда…

— Правда, — прервала Кисмина, дернув плечиком. — Нельзя же было держать их, как этих авиаторов, — нас бы тогда каждый день совесть мучила. И отец очень жалел нас с Жасминой, он все это устраивал раньше, чем мы ожидали. Так что и прощаться было не надо…

— Значит, вы их убивали! О-ой! — вырвалось у Джона.

— И все очень тихо делалось. Им просто давали на ночь много снотворного — а семьям потом сообщали, что они заболели в Бьюте скарлатиной и умерли.

— Но как же, и вы снова приглашали других?

— Не приглашала я, — рассердилась Кисмина. — Никого я не приглашала. Это все Жасмина. Зато им здесь было очень хорошо. Она им делала такие чудные подарки под конец. И я, может, тоже буду приглашать — потом, вот стану не

такая чувствительная. Какая разница, все равно ведь им когда-нибудь умирать, а нам уж, значит, никакой радости в жизни. Ты подумай, как бы здесь скучно было, если б *никто* никогда не приезжал. Папа с мамой даже своих лучших друзей не пожалели.

— Значит, так, — вскипел Джон, — значит, ты позволяла мне за собой ухаживать и сама меня завлекала и соглашалась выйти за меня — и все это время ты прекрасно знала, что жить мне осталось…

— Да нет же, — запротестовала она. — Уже теперь все не так. Сначала — да. Вот ты приехал, что тут поделаешь, и я хотела, чтобы и тебе напоследок, и мне тоже было хорошо. А потом я в тебя влюбилась — и мне теперь, правда, так жалко, что тебе… что тебя придется усыпить, хотя лучше пусть усыпят, чем ты будешь целоваться с другой.

— Ах, лучше, да? — яростно выкрикнул Джон.

— Уж конечно, лучше. И еще мне говорили, что девушке гораздо интереснее с мужчиной, за которого она знает, что не выйдет. Ой, ну зачем я тебе сказала! Я теперь, наверно, все тебе испортила, а мы ведь так радовались, покуда ты не знал. Вот так я и думала, что тебе грустно станет.

— Ах, ты так и думала? — Джон трясся от гнева. — Нет уж, хватит с меня. Раз в тебе нет ни чести, ни достоинства, раз ты могла крутить роман почти что с мертвецом, так я и знать тебя больше не хочу!

— Ты не мертвец! — в ужасе встрепенулась она. — Ты никакой не мертвец! Не смей говорить, что я целовалась с мертвецом!

— Да я не так сказал!

— Нет, ты сказал! Ты сказал, что я целовала мертвеца!

— Не говорил я этого!

Они оба кричали, и оба разом смолкли: кто-то приближался. Шаги были все слышнее, розовые кусты раздвинулись: перед ними возникло гладкое благородное лицо и проницательные глаза Брэддока Вашингтона.

— Кто целовал мертвеца? — поинтересовался он с явным неодобрением.

— Никто, — поспешно отвечала Кисмина. — Мы просто шутили.

— А почему вы тут болтаетесь вдвоем? — резко спросил он. — Кисмина, тебе сейчас надо… надо читать или играть в гольф с сестрой. Иди читать! Иди играть в гольф! Чтоб я тебя здесь больше не видел!

Он кивнул Джону и удалился.

— Ну что? — сердито сказала Кисмина, когда его шаги замерли. — Вот ты все испортил. Теперь нам нельзя больше видеться. Он не позволит. Знал бы он, что мы влюблены, он бы тебя отравил!

— А мы и не влюблены, хватит! — взбесился Джон. — Это он может успокоиться. И не думай, пожалуйста, что я собираюсь здесь оставаться. Через шесть часов я буду за горами — зубами прогрызусь — и поеду к себе на Восток.

Они стояли друг против друга, и тут Кисмина подошла к нему вплотную и взяла его под руку.

— И я с тобой.

— С ума ты сошла…

— Конечно, я с тобой, — отрезала она.

— Да ни за что на свете. Ты…

— Ладно, — спокойно сказала она. — Тогда мы сейчас догоним папу и все с ним обсудим.

Джон покорился с вымученной улыбкой.

— Хорошо, милая, — сказал он, тщетно силясь изобразить нежность, — хорошо, бежим вместе.

В сердце его снова вспыхнула и спокойно разгорелась любовь к ней. Ее у него не отнять — и она готова идти с ним на любой риск. Он обнял ее и жадно поцеловал. Все-таки она его любит: она же его и спасла.

Они не спеша вернулись во дворец, обговорив все по дороге. Решено было, что раз Брэддок Вашингтон застал их, то бежать надо завтра же ночью. И все-таки Джон сидел за обедом с пересохшими губами и страшно поперхнулся ложкой павлиньего супа, который угодил ему в левое легкое. Пришлось перенести его в темно-бирюзовую, устланную соболями гостиную; помощник дворецкого хлопал его по спине, а Перси хохотал до упаду.

IX

Далеко за полночь Джон вдруг дернулся во сне и сел на постели, вглядываясь в дремотные завесы, облекавшие комнату. Из черно-синего квадрата открытого окна донесся какой-то слабый дальний звук, который растворился в ветре, не коснувшись его сознания, затянутого тревожными снами. Но вслед за ним отчетливо послышался другой звук, рядом, за стеной спальни — кляцанье замка, шаги, шепот, — он не разобрал; живот его свело судорогой, все тело заныло, он мучительно прислушивался. Потом завеса как будто отошла, и у двери засквозила тень, выплеск темноты в складках гардины, фи-

гура корявая и зыбкая, неверная, как отражение в мутном стекле.

В приступе решимости или страха Джон нажал кнопку у изголовья — и очутился в полупустом зеленом бассейне: от холодной воды с него вмиг соскочил всякий сон. Пижама намокла; оставляя за собой лужи, он кинулся к аквамариновой двери, которая — он знал — вела на парадную лестницу слоновой кости, на площадку второго этажа. Дверь бесшумно распахнулась. Одинокая багряная люстра под высоким куполом освещала роскошный выгиб точеных ступеней во всей его невыносимой прелести. Джон застыл, пораженный этим массивным и безмолвным великолепием: на мокрого человечка обрушились, сметая его, мощные контуры и складки. И тут из распахнувшейся двери его гостиной в холл вынырнули три голых негра — и почти одновременно, когда Джон в диком ужасе метнулся к лестнице, растворилась другая дверь, в другом конце коридора, и в просвете лифта появился Брэддок Вашингтон в отороченной мехом куртке и высоких сапогах, натянутых поверх ярко-розовых пижамных брюк.

Три негра — Джон их раньше никогда не видел и мгновенно догадался, что это палачи, — за-

мерли, повернувшись к лифту, откуда раздалась команда:

— Сюда! Все трое! Живо!

Трое негров мигом заскочили в лифт, дверь задвинулась, стерев световой прямоугольник, и Джон снова остался один на лестнице. Он бессильно осел на гладкие ступени.

Наверно, случилось что-то очень важное, и такая мелочь, как его участь, уже никого не волновала. В чем дело? Негры восстали? Или авиаторы прорвались сквозь железные прутья решетки? Или, может быть, саваофцы перевалили через горки, пялятся — тускло и уныло — на волшебную долину? Откуда ему было знать. Воздух протрепетал: это лифт взмыл наверх и через минуту спустился. Наверно, Перси спешил на подмогу отцу, и Джон подумал, что теперь самое время найти Кисмину и сейчас же бежать. Он выждал минуту-другую; потом, поеживаясь от ночной прохлады в своей мокрой пижаме, вернулся к себе в комнату и быстро оделся. Он взбежал по длинному пролету и свернул в коридор, устланный соболями и ведущий к покоям Кисмины.

Дверь ее будуара была распахнута, лампы горели. Кисмина в пушистом кимоно, стояла,

вслушиваясь, у окна и обернулась на беззвучное появление Джона.

— А, это ты, — прошептала она, кинувшись к нему. — Ты услышал?

— Я услышал, как рабы твоего отца…

— Да нет, — перебила она. — Аэропланы!

— Аэропланы? Ах да, может, я от них и проснулся.

— Их дюжина, не меньше. Один сейчас только заслонял луну. Наш часовой у скалы выстрелил, и отец проснулся. Сейчас они у нас получат.

— А они ведь недаром прилетели?

— Конечно — вот помнишь, тот итальянец…

Слова ее заглушил прерывистый орудийный треск. Кисмина вскрикнула, бросилась к туалетному столику, нашарила в ящичке монетку и побежала к выключателю. И тут же весь замок погрузился в темноту: она пережгла пробки.

— Пошли! — позвала она. — Пойдем в сад на крышу, посмотрим!

Она запахнулась в накидку, схватила его за руку, и они ощупью отыскали дверь. Несколько шагов — и они уже были в башенном лифте, она нажала верхнюю кнопку, а он в темноте привлек ее к себе и отыскал губами ее рот. Момент был самый романтический. Они вышли на площадку,

белую в звездном свете. В высоте, возле туманной луны, среди встрепанных облачных клочьев, кружилась и кружилась чернокрылая дюжина. Снизу в них метали огненные стрелы; грохотали разрывы. Кисмина радостно захлопала в ладоши, но тут же перепугалась: аэропланы начали, по какому-то общему сигналу, сбрасывать бомбы, и вся долина огласилась тяжким звуком и озарилась мертвенным светом.

Нападающие вскоре стали точнее целиться по зениткам, и одна из них мгновенно превратилась в громадную головню, дотлевавшую среди зарослей роз.

— Кисмина, — позвал Джон, — ты хоть порадуйся, меня чуть-чуть не успели убить. Если б я не услышал этот сигнальный выстрел, меня бы уже в живых не было…

— Не слышно! — прокричала Кисмина, не отрывая глаз от зрелища. — Ты громче говори!

— Я только говорю, — выкрикнул Джон, — что лучше нам уходить отсюда, пока они дворец не трогают!

И вдруг расселся весь портик негритянского жилища: из-под колонн взметнулось пламя, и осколки мрамора избороздили озерную гладь.

— Рабов там — на пятьдесят тысяч долларов! —

вскрикнула Кисмина. — И это еще по довоенным ценам. Американцы вообще такие — ни малейшего уважения к собственности.

Джон никак не мог ее увести. Бомбы падали все точнее и точнее, и отвечали им только две зенитки. Очевидно было, что сжатый в огненном кольце гарнизон долго не продержится.

— Пойдем! — крикнул Джон, хватая Кисмину за руку. — Пойдем скорее. Ты хоть понимаешь, что, если попадешься авиаторам, тебе конец?

Она нехотя подчинилась.

— Надо только разбудить Жасмину, — сказала она по пути к лифту. И добавила — восторженно, по-детски: — Мы будем нищие, правда? Как в книжках. И я буду сирота и совсем свободная. Ни гроша, и полная свобода! Ой! — Она остановилась и радостно поцеловала его.

— Нет уж, либо ни гроша, либо полная свобода, — мрачно заметил Джон. — Это дело проверенное. По мне, так лучше полная свобода. И ты на всякий случай ссыпь-ка в карманы свои камни, какие под рукой.

Через десять минут обе девушки встретились с Джоном в темном коридоре и спустились к главному входу. В последний раз они прошли по роскошным залам, задержались на террасе

и поглядели на охваченный пламенем дом и пылающие остовы двух аэропланов на том берегу озера. Последняя зенитка все еще упорно стреляла, и нападающие, видимо, не рисковали снижаться, окружая ее фейерверком взрывов, один из которых должен был вот-вот стереть чернокожий расчет орудия с лица земли.

Джон и сестры сошли по мраморным ступеням, круто взяли влево и стали подниматься по узкой тропке, перевивавшей алмазную гору. Кисмина знала один лесистый выступ, где можно укрыться и откуда все будет видно, а потом, когда понадобится, они уйдут потайной тропой, выбитой в скалистом ущелье.

X

Часам к трем они добрались до места. Вялая и послушная Жасмина немедленно прикорнула возле толстого дерева, а Джон с Кисминой уселись в обнимку и следили за исходом отчаянного сражения, вспышками озарявшего пепелище там, где еще вчера был зеленый сад. Вскоре после четырех последняя зенитка гулко лязгнула и смолкла, испустив алый клуб дыма. Луна почти зашла, но видно было, как крылатые чудища

кругами носятся все ниже над землей. Как только пилоты удостоверятся, что снизу им больше ничего не грозит, они приземлятся, и сумрачному, блистательному царству Вашингтонов настанет конец.

Пальба прекратилась, и долина затихла. Остовы двух аэропланов рдели, как глаза зверя, залегшего в зарослях. Темный и безмолвный дворец был так же прекрасен в ночи, как и в лучах солнца, а деревянные трещотки Немезиды сотрясали воздух жалобным стрекотом. И Джон почувствовал, что Кисмина вслед за сестрой крепко уснула.

Время близилось к пяти, когда он заслышал шаги по тропке и, затаив дыхание, пережидал, пока мимо них пройдут. Воздух был пронизан слабым трепетом, и роса застыла: ясно было, что скоро начнет светать. Шаги отдалились и стихли в высоте за кручей. Джон пошел следом. На полпути к обрывистой вершине деревья расступились: алмазную гору венчала булыжная седловина. Перед самым просветом он замедлил шаг: чутье подсказало ему, что впереди люди. Он подобрался к высокому валуну и осторожно выглянул из-за него. Любопытствовал он не зря, и вот что он увидел.

Брэддок Вашингтон стоял неподвижно — ни

жеста, ни звука: безжизненный силуэт, врезанный в серое небо. На востоке занимался рассвет, устилая землю холодной прозеленью, и одинокая фигурка противостояла новому дню.

Джон смотрел и видел, что владелец дворца погружен в непроницаемое раздумье; потом он сделал знак неграм, скорчившимся у его ног, поднять с земли носилки. Они распрямились навстречу первому солнечному лучу, заигравшему в бесчисленных гранях огромного, изумительно отшлифованного бриллианта, — и возжегшееся белое сияние было как отблеск утренней звезды. Тяжесть поколебала носильщиков, их мышцы перекатились под влажным глянцем кожи и затвердели — и небесам, как бессильный вызов, предстали теперь три неподвижные фигурки.

И белый человек поднял голову и медленно воздел руки, призывая ко вниманию, словно смиряя несметную толпу, но толпы не было, а гора и небо оглушительно молчали, и только птицы едва чирикали в ветвях. Фигурка в скалистой седловине возвысила голос, надменный, как прежде.

— Эй, там! — прерывисто выкрикнул он. — Эй, там! — Он помедлил с воздетыми руками, словно ожидая ответа. Джон силился разглядеть, кто спускается сверху, но сверху никто не спускался.

Над ними было только небо и пересвист ветра в кронах деревьев. «Может, Вашингтон молится? — подумалось Джону. — Нет, конечно — так не молятся, так нельзя молиться!»

— Эй, там, наверху!

Голос обрел силу и уверенность. Ни мольбы, ни отчаяния в нем не было. Уж скорее какое-то невероятное снисхождение.

— Эй, там…

Слова торопились, набегали друг на друга… Джон изо всех сил вслушивался, улавливая отрывочные фразы, а голос срывался, гремел, снова срывался — то мощный и убедительный, то озабоченно-нетерпеливый. И вдруг его единственный слушатель начал понимать — и понял, и кровь бросилась ему в голову. Брэддок Вашингтон торговался с Богом!

Да, да, конечно. А бриллиант на носилках был образец, предлагался в задаток.

И выкрики становились все понятнее и связнее. Прометей Озлащенный свидетельствовал о забытых жертвоприношениях, древних ритуалах, молитвах, устарелых до Рождества Христова. Он напомнил Богу о дарах, на которые призревали небеса, — о храмах, воздвигнутых ради спасения городов от моровой язвы, о приношениях миром

и золотом, о человеческих жертвах — о прекрасных женщинах, плененных армиях, о детях и царицах, о зверях лесных и полевых, об овцах и козах, о градах и жатвах, о тех покоренных землях, которые предавались огню и мечу, дабы умилостивить его, умягчить и отвратить гнев Господень — и вот теперь он, Брэддок Вашингтон, Владыка Бриллиантов, царь и жрец нового золотого века, законодатель великолепия и роскоши, предлагает ему сокровище, о каком и не грезили былые властители, и предлагает не смиренно, а горделиво.

Богу причитается от него, продолжал он, переходя к деталям, несравненный бриллиант. Граней на нем будет в тысячу раз больше, чем листьев на дереве, а обточен он будет так же тщательно, как алмаз с горошину. Обтачивать его будут многие годы, и оправой его будет огромный храм чеканного золота с дивной резьбой и вратами, изукрашенными опалами и сапфирами. И в середине бриллианта будет выдолблена молельня с алтарем из переливчатого, распадающегося, изменчивого радия, который выжжет глаза всякому, кто оторвется от молитвы, — и на этом алтаре в угоду Всевышнему благодетелю будет принесен в жертву всякий — пусть величайший

и могущественнейший человек на земле.

А взамен требуются сущие пустяки, для Бога ничуть не затруднительные, — чтобы все стало так, как было вчера в тот же час, и чтобы все так и оставалось. Совершеннейшие пустяки. Надо всего-навсего, чтобы небеса разверзлись, поглотили этих людей с их аэропланами и снова сомкнулись. И рабы его пусть будут снова живы и здоровы.

Ему еще никогда и ни с кем не приходилось ни торговаться, ни договариваться.

Он только сомневался, сходную ли цену он предложил. У Бога, конечно, на все своя цена. Он был создан по образу и подобию человеческому, и недаром сказано в Писании: в какую цену оценили Меня. Сейчас цена предлагается нешуточная — ни один храм, строившийся много лет, ни одна пирамида, воздвигавшаяся десятками тысяч рук, не сравнится с этим храмом, с этой пирамидой.

Он помолчал. Да, так вот его предложение. Все детали можно уточнить по желанию свыше, а что он сказал, что за такую цену просит пустяк, то и тут нет ничего зазорного. Он имел в виду, что Провидению это ничего не стоит, а уж там пусть решает само.

К концу речи фразы его начали крошиться,

стали короткими и неуверенными, и весь он напрягся, судорожно прислушиваясь, не донесется ли отзыв, ответное содрогание или дуновение из необъятной выси. Рассвет убелил его волосы, и он обратил лицо к небесам, как библейский пророк — в приступе величественного безумия.

Джон глядел, не отрывая завороженных глаз, — и ему показалось, будто вдруг произошло что-то странное. Словно бы небо на миг померкло, и порыв ветра отозвался в ушах смутным рокотом, трубным завыванием, шелковым присвистом гигантского покрова — и сумерки разлились вокруг: птицы замолкли, деревья застыли, из-за горы донеслось недоброе ворчание грома.

И ничего больше. Ветер заглох в густых травах долины. Рассвет вспыхнул ярче прежнего, наступал день, и взошедшее солнце проникало повсюду оранжевым маревом. Солнечная листва пересмеивалась, сотрясая деревья, и каждая ветка звонко гомонила, как женская школа на экскурсии. Бог отказался от сделки.

С минуту Джон смотрел, как торжествует день. Потом он глянул вниз, и в глазах у него зарябило: у берега озера мелькали бурые крылья, крылья, крылья, словно золотой хоровод ангелов спустился с облаков. Аэропланы приземлились.

Джон соскользнул с камня и помчался вниз по склону к перелеску, где обе девушки уже проснулись и поджидали его. Кисмина вскочила на ноги, в ее карманах бренчали алмазы, на кончике языка был вопрос, но Джон кожей чувствовал, что сейчас не до разговоров. Надо было как можно скорее покинуть гору. Он схватил обеих за руки, и они молча побежали меж стволов, омытых солнцем, окутанных ранней дымкой. Долина за спиной у них безмолвствовала: только слышались далекие павлиньи жалобы да легкий утренний шумок.

Они прошли низиной около полумили и, оставив в стороне парк, снова побрели в гору узкой тропкой. Одолев подъем, они остановились и обернулись к склону напротив, на котором недавно были, — их сдавило сумрачное и жуткое предчувствие.

На фоне неба был ясно виден согбенный седовласый человек, медленно сходивший по крутому склону; за ним шли два невозмутимых черных гиганта, все с той же ношей, которая переливчато сверкала в солнечных лучах. На полпути вниз к ним присоединились еще двое: Джон узнал миссис Вашингтон с сыном, на чью руку она опиралась. Авиаторы успели за это вре-

мя выбраться из своих аппаратов на широкий луг перед дворцом и цепью подвигались к алмазной горе, винтовки наперевес.

А пятеро наверху, за которыми напряженно следили с горы напротив, задержались на каменном уступе. Негры нагнулись и отчинили что-то вроде люка: вход внутрь горы. Он поглотил всех: первым — седовласого мужчину, за ним — его жену и сына, наконец — двух негров, чьи островерхие шапки вспыхнули последним солнечным переливом перед тем, как люк затворился.

Кисмина вцепилась Джону в руку.

— Ой! — закричала она. — Куда они? Что они делают?

— Они, наверно, подземным ходом…

Его прервал слабый девичий взвизг.

— Ты что, не понимаешь? — отчаянно прорыдала Кисмина. — Проводка по всей горе!

В тот же миг Джон заслонился ладонями. На его глазах вся поверхность горы вдруг раскалилась дожелта, и огонь пронизал земляную оболочку, как свет человеческую руку. Еще мгновение сияла гора; потом она словно стряхнула истлевшую паутину и предстала черной пустошью, курящейся синеватым дымком, в котором была гарь растений и человеческой плоти. От авиаторов не

осталось ничего — они исчезли так же бесследно, как пятеро, углубившиеся в гору.

Земля содрогнулась, и дворец поднялся в воздух, разламываясь на огненные глыбы и осыпаясь дымным холмом, сползающим в озеро. Пламени не было — а дым смешался с солнечным светом, и на месте драгоценного дворца расползалась бесформенная груда, а над нею стояла туча мраморной пыли. Потом она осела, и в долине остались только трое.

XI

К закату Джон и его спутницы достигли высокой скалы, пограничного столба владений Вашингтонов. Внизу лежала сумеречная долина, тихая и прелестная. Они уселись доедать остатки из корзинки Жасмины.

— Вот! — сказала она, расстелив скатерть и сложив бутерброды аккуратной горкой. — Правда, как аппетитно? Я и всегда думала, что есть вкуснее на воздухе.

— Ай-ай-ай, — сказала Кисмина. — Жасмина у нас теперь совсем буржуазна.

— Ты вот что, — радостно припомнил Джон, — ты выверни карманы и покажи, что у нас есть.

Если ты не сплоховала, то нам хватит до конца жизни.

Кисмина послушно запустила руку в карман и вытряхнула две пригоршни искристых камней.

— Ух ты, неплохо, — восхитился Джон. — Некрупные, правда, но… Погоди-ка! — Он поглядел камешек на солнце, склонявшееся к западу, и улыбка сползла с его лица. — Да это же не алмазы! Что такое?

— Вот тебе раз! — удивленно воскликнула Кисмина. — Какая я глупая!

— Это же стекляшки!

— Знаю, знаю. — Она рассмеялась. — Перепутала ящик. Они с платья одной девушки, Жасмининой гостьи. Я у нее их выменяла на алмазы. А то все время драгоценные камни, никаких других.

— И все, больше ничего не захватила?

— Да вот все. — Она грустно перебирала стекляшки. — Они даже лучше. Как-то мне алмазы уж очень надоели.

— Ну что ж, — мрачно сказал Джон. — Будем жить в Геенне. И ты до самой старости будешь попусту уверять соседок, что ошиблась ящиком. Чековые книжки твоего отца, к сожалению, тоже сгинули вместе с ним.

— Ну и что, ну и в Геенне!

— А то, что если я сейчас, в моем возрасте, вернусь с женой, то мой отец и золы-то мне не подбросит, как у нас говорят.

Вмешалась Жасмина.

— Я люблю стирать, — сообщила она. — Я свои платки всегда сама стирала. Открою прачечную и вас прокормлю.

— А в Геенне прачки есть? — простодушно спросила Кисмина.

— Конечно, — отвечал Джон. — Как и везде.

— Я подумала — там у вас так жарко и одеваться не нужно.

Джон засмеялся.

— Попробуй-ка! — сказал он. — Живо тебя упекут, не успеешь раздеться.

— А отец тоже там будет? — спросила она.

Джон изумленно обернулся к ней.

— Отца твоего нет в живых, — хмуро отрезал он. — С чего бы ему быть в Геенне? Ты спутала ее с другим местом — а его давно уже упразднили.

Они поужинали, свернули скатерть и расстелили одеяла.

— Такой был сон, — вздохнула Кисмина, глядя на звезды. — Как странно: одно платье и жених без гроша!.. И звезды, звезды, — сказала она. — Я раньше звезд никогда не замечала. Я думала,

это чьи-то чужие бриллианты. Страшные они какие-то. И кажется, будто все приснилось, все, что было, вся юность.

— Приснилось, да, — спокойно заверил Джон. — Юность всем снится, это просто помешательство от неправильной работы организма.

— Как хорошо быть помешанной!

— Так мне и объясняли, — мрачно сказал Джон. — А теперь я не знаю, хорошо или нет. Все равно, давай будем любить друг друга, на год нас хватит. Тоже дурман и одержимость, и тоже всякий может попробовать. Все на свете алмазы, одни алмазы, и в них нам позволено разочароваться. Что ж, начну разочаровываться — вряд ли и в этом есть толк. — Его пробрала дрожь. — Запахнись-ка, девочка, а то ночь холодная, чего доброго, схватишь воспаление легких. Вот кто был великий грешник — тот, кто первый начал думать. Давай не думать — час, другой, третий.

И он завернулся в одеяло и уснул.

Дядя Вилли
Уильям Фолкнер
I

Да знаю я, что говорят. Говорят, я не сам сбежал из дому, а меня сманил полоумный, и спасибо я его первый убил, а то бы обязательно он меня угробил через пару дней. А нет бы сказать, что никто как женщины, джефферсонские праведницы, выжили дядю Вилли из города, а я от него не отстал и что сделал, то сделал, а почему — потому что знал: дядя Вилли на свой лад с жизнью прощается, а как сцапают они его снова, так ему крышка навечно; сказали бы так — правду бы сказали. Меня ведь никто не сманивал, а дядя Вилли был вовсе не полоумный, хотя и мудрено ему было не свихнуться, уж очень об этом постарались. Никто меня не заставлял, еще бы сказали, что он меня уламывал, да я и без всяких прибежал бы как миленький, он и сам это знал. Я почему с ним поехал: потому что дяди Вилли был самый правильный человек, женщины и те с ним не сладили; он все равно распрощался с жизнью как надо и помер дай бог всякому, не зря же я ему помогал. Умирают ведь кто как может,

только редко кто может как надо, что мужчины, что женщины, даже и те, кому позарез надо по-своему кроить чужую жизнь.

Дядей он никому не приходился, но все мы, да и взрослые тоже, называли его вслух или про себя дядя Вилли. Родни у него не было, одна сестра в Техасе, замужем за каким-то миллионером по нефтяной части. Жил он сам по себе в беленьком таком ветхом домишечке, где и родился, на окраине города, вдвоем со старым негром, таким Джобом Уайли; негр был еще старше его, он стряпал, прибирал и прислуживал в аптеке, какую завел еще дяди Виллин отец, и у дяди Вилли все шло по-заведенному с Джобовой помощью; за те двенадцать или четырнадцать лет, что он прожил под морфием, мы — сначала малышня, потом ребятня — его по-всякому навидались. Мы любили заходить к нему в аптеку: там за немытыми стеклами всегда было прохладно, тихо и сумрачно — он говорил, что оттого и не ставит витрин, кто их за такими стеклами разглядит, зато жара не проходит внутрь. А кто у него и бывал — только деревенские за готовыми снадобьями в бутылочках да негры за костями или картами: небось, за все сорок лет с рецептом к нему не наведался никто, и газировкой он не расторговался:

стаканы-то были вроде стекол, их мыл старик Джоб, он же мешал сиропы и готовил мороженое с тех самых пор, как отец дяди Вилли завел аптеку в тысяча восемьсот пятьдесят каком-то году, и старик Джоб, конечно, стал подслеповат; правда, папа мой говорил, не оттого, что он тоже колется, а что день и ночь дышит одним воздухом с дядей Вилли.

Ну а нам-то что — мороженое как мороженое, тем более после бейсбола. В нашем городке было детское спортивное общество и три команды: дядя Вилли вручал победителям призы — мяч, биту или маску, и это после всякой игры, хотя посмотреть, как мы играем, ни разу не пришел; после каждой, я говорю, игры обе команды, а бывало и все три собирались в аптеке на вручение призов победителю. И мы ели мороженое, а потом перебирались за рецептурную стойку и смотрели, как дядя Вилли зажигает свою спиртовку, набирает шприц и закатывает рукав, а от локтя и выше все так и усыпано синими точечками. На другой день, в воскресенье, мы дожидались его по дворам и с ним вместе шли в воскресную школу, в наш класс: он сидел и слушал, как мы рассказывали Писание. Учил нас мистер Барбер, и дядю Вилли он никогда не вызывал. Мы зубри-

ли и потом наперебой толковали про бейсбол до самого звонка, а дядя Вилли помалкивал, сидел себе такой чистенький, опрятный, воротничок у него свежий (а галстук не носил), сам сухонький, фунтов на сто десять, а глаза под очками мешаные, как растекшиеся яйца. Потом мы все шли к нему в аптеку, доедали мороженое, какое осталось с субботы, и опять перебирались за рецептурную стойку поглядеть, как он разжигает спиртовку, закатывает рукав воскресной сорочки и медленно вгоняет шприц в исколотую синюю руку; и кто-нибудь спрашивал: «А не больно?» — а дядя Вилли говорил: «Да нет, мне нравится».

II

А ему взяли и запретили это дело. Как-то он нам сказал, что колется вот уже сорок лет; а ему шестьдесят стукнуло и осталось догулять лет еще десять — этого-то он нам не сказал, но это и в четырнадцать лет ясно. Тут ему и запретили, и так это живенько. В воскресенье утром начали его спасать, а в пятницу уж и кончили; сидим мы раз в классе, только мистер Барбер свое завел, как вдруг откуда ни возьмись преподобный Шульц, священник наш, наклоняется он к дяде Вилли —

мы и оглянуться не успели, а он уж сволок его со стула и улещивает, будто четырнадцатилетнего, любого паиньку стошнит: «Ну, ну, брат Кристиан, знаем-знаем, что вам приятно в классе брата Барбера, и все ж таки пойдемте-ка к взрослым, к брату Миллеру, он такую речь приготовил насчет как раз вот этого прекрасного и душеполезного текста»; а дядя Вилли все упирался, оглядывался на нас и хлопал своими мешаными глазами, а в них читалось яснее всяких слов: «Да что это? Да что же это, ребята? Да что это они надо мной замыслили?»

Нам-то это было невдомек, как и ему. Когда кончили зубрежку, мы не стали, как обычно, толковать о бейсболе, а пошли по коридору мимо закоулка, где взрослые мужчины занимались с мистером Миллером законом божьим, и преподобный Шульц этак попросту сидел на скамье среди прочих: дескать, что он, что паства, — а все как-то выпирал: ему, мол, ни особо двигаться, ни говорить нужды нет, и так видно, что не простой человек; я всегда вспоминал, как однажды 1 апреля мисс Каллаган устроила перекличку, а потом сошла с учительского места и говорит: «Давайте-ка я побуду сегодня простой ученицей»; уселась за парту и вызывала по очереди к доске,

чтобы вели урок: оно вроде и забавно, только все припоминалось, что завтра-то не 1 апреля, а послезавтра и подавно. Вот и дядя Вилли сидел возле преподобного Шульца, сжался чуть не в комочек, и я припомнил, как прошлым летом везли в сумасшедший дом одного деревенского по фамилии Бандрен, только он не совсем свихнулся и понимал, куда его везут, и сидел у вагонного окна рука за руку скованный с толстым помощником шерифа, а тот покуривал сигару.

Воскресные классы кончились, и мы ждали его всем скопом, чтобы пойти в аптеку доедать мороженое. А он не выходил. Уж и служба кончилась, а он все не выходил, хоть раньше никогда на службу не оставался, мы такого не видели, да и никто не видывал, это мне папа потом сказал, — и вот он вышел, справа мертвой хваткой миссис Мерридью, слева преподобный Шульц, а он-то глазами на нас, словно выкрикивал, теперь уж отчаянно: «Ребята, да что же это? Да что же это, ребята?» — преподобный Шульц заталкивал его в машину миссис Мерридью, и миссис Мерридью возглашала как с кафедры: «А теперь, мистер Кристиан, повезу я вас прямехонько ко мне, выпьем станканчик прохладного лимонаду, замечательно пообедаем курочкой, потом вы у

меня отлично соснете в гамаке, а там подоспеют брат и сестра Шульцы, и мы все вместе прекрасно покушаем мороженого», — а дядя Вилли говорил: «Нет. Погодите, мэм, погодите! Мне тут надо в аптеку, я по рецепту утром обещал отпустить».

Ну, затолкали его в машину, а он все искал нас глазами; так и скрылся из виду — рядом с миссис Мерридью, совсем как Дарл Бандрен с помощником шерифа у вагонного окна, — она его, небось, за кисть и держала, только наручников не было, такая и без наручников справится, а дядя Вилли на нас так отчаянно и ошарашенно глянул.

Потому что ему уже час как надо было всадить себе шприц, а когда он наконец под вечер улизнул от миссис Мерридью, он уже часов пять с этим промешкал и никак не мог попасть ключом в замок; тут-то его и сцапали миссис Мерридью с преподобным Шульцем. Но на этот раз он и не говорил и не оглядывался, а просто рвался из рук, как ошалелый кот. Его отвезли домой, и миссис Мерридью дала телеграмму его сестре в Техас; и дяди Вилли не было видно трое суток, потому что миссис Мерридью и миссис Ховис по очереди стерегли его в его же доме день и ночь — сестра вот-вот должна была подъехать. Тогда были каникулы, мы играли в понедельник, подошли к

аптеке под вечер — она заперта и во вторник тоже не отпиралась, и так до среды, а в среду далеко за полдень дядя Вилли примчался со всех ног.

Он был небритый, без рубашки и все никак не мог попасть ключом в замок: он задыхался, всхлипывал и приговаривал: «Заснула, слава тебе, господи»; и кто-то из нас взял у него ключ и отпер дверь. Мы и спиртовку разожгли и шприц набрали, и на этот раз шприц не впивался в руку, а вонзился так, будто сейчас кость пробуравит. Домой он не пошел. Он сказал, что поспит и на полу, дал нам денег, выпроводил с заднего крыльца, и мы зашли в кафе, принесли ему сандвичей и кофе в бутылке и оставили его одного.

А на другое утро явились миссис Мерридью и преподобный Шульц и с ними еще три тетки; исполнитель им быстренько взломал дверь, миссис Мерридью ухватила дядю Вилли за шиворот и шипела: «Ах ты гаденыш! Ах ты гаденыш! Это от меня-то улизнуть захотел, да?» — а преподобный Шульц говорил: «Сестра, сестра, успокойтесь», — а тетки выкрикивали «мистер Кристиан!», «дядя Вилли!» и просто «Вилли!» — смотря которой сколько лет и с каких пор живет в Джефферсоне. Они с ним быстро управились.

Вечером приехала сестра из Техаса, и мы хо-

дили мимо дяди Виллиного дома и видели, как тетки торчат на веранде и ходят туда-сюда в дом, с ними и преподобный Шульц: он и тут выпирал, как в классе у мистера Миллера; мы за забором под окном слушали, как дядя Вилли плакал, бранился и силился вскочить с постели, а тетки ему: «Ну-ну, мистер Кристиан», «Ну-ну, дядя Вилли» и даже «Ну-ну, Бубик», — ведь и сестра его тоже там была, а дядя Вилли плакал: упрашивал и бранился из последних сил. И настала пятница, и он сдался. Мы слышали, как он рвался, а они его держали, и все молчком, тут уж было не до слов, а потом мы вдруг услышали его слабый, но ясный голос и частое дыхание.

— Погодите, — сказал он, — погодите! Я у вас еще разок попрошу. Ну оставьте меня в покое, а? Ну идите себе, а? Ну идите себе к чертям собачьим, а я как-нибудь туда и без вас доберусь.

— Нет, мистер Кристиан, — отвечала миссис Мерридью, — Мы обязаны спасти вас.

С минуту стояло молчание. Потом мы услышали, как дядя Вилли улегся, словно опрокинулся на подушку.

— Ну что ж, — сказал он. — Ну что ж.

Это как в Библии агнцев приносят на заклание. Будто он сам влез на жертвенник, опрокинулся

на спину, выставил горло и сказал: «Ну что ж, давайте приканчивайте меня. Режьте мне глотку и катитесь и дайте мне спокойно жариться на огне».

III

Прохворал он долго. Его увезли в Мемфис. Говорили, что он при смерти. Аптека стояла запертая, а наше спортивное общество развалилось через неделю-другую. Призов, конечно, не стало, но разве дело в каких-то там битах-мячиках? Не в них было дело. Мы проходили мимо аптеки, смотрели на большой ржавый замок и на мутные бельма окон; за ними и не видать было, где это мы там ели мороженое и рассказывали ему, чья взяла и кто как играл, и булькало-пузырилось зелье на спиртовке, а он сидел со шприцем в руке и глядел на нас сквозь очки, помаргивая своими мешаными, растекшимися глазами, в которых и зрачков-то не разобрать. И негры и деревенские, бывшие его покупатели, тоже подходили к аптеке, смотрели на замок, спрашивали у нас, как он там жив, скоро ли вернется и снова откроет аптеку. Аптека потом открылась, только они и не стали ходить к новому провизору, которого

посадили туда миссис Мерридью и преподобный Шульц. Сестра-то дяди Вилли сказала: бог с ней, с аптекой, пусть стоит на замке, она прокормит его и без аптеки, лишь бы он поправился. Но миссис Мерридью сказала, что нет, не пусть, что она хочет не просто вылечить дядю Вилли, а хочет его возродить, и будет он не только настоящим христианином, а еще и человеком при своем деле, благо дело его ждет, — тогда он смсжет глядеть в глаза своим ближним и высоко держать голову; она сказала, что поначалу надеялась только помочь ему предстать перед Создателем, отрешившись от душевной и телесной скверны, от морфия; но раз уж у него оказался такой на диво крепкий организм, то она и за тем присмотрит, чтобы мистер Кристиан занял то самое место в жизни, какое ему подобает, а не позорил бы доброе имя семьи, он его и так уже сильно запятнал.

Они с преподобным Шульцем и подыскали провизора — тот уже месяцев шесть как жил в Джефферсоне. Поручители адресовали его в церковный совет, и, кроме преподобного Шульца и миссис Мерридью, никто про него ничего не знал. В общем, они-то и сделали его провизором в дяди Виллиной аптеке; остальным он всем был чужак чужаком. Только дяди Виллины завсегдаи

к нему ходить не стали. И мы тоже не ходили. Из нас, правда, какие покупатели, не ждали же мы, что он станет нас угощать мороженым, а и стал бы, так мы бы не взяли. Это же был не дядя Вилли, это был другой, а скоро и мороженое стало не то: провизор для начала промыл окна, а потом прогнал старика Джоба, только старик-то Джоб никуда не делся. Он болтался возле аптеки, ворчал себе под нос, провизор выгоняет его с парадного, а старик Джоб обойдет дом и лезет со двора, снова попадется провизору, и тот кроет его по-тихому, кроет на чем свет стоит, а туда же — с церковными рекомендательными письмами; ну, он пошел по начальству, поскандалил и получил бумажку, и исполнитель сказал старику Джобу: держись, мол, подальше от аптеки. И старик Джоб устроился на другой стороне улицы. Он целый день просиживал на обочине тротуара и глаз не спускал с дверей аптеки: как провизор покажется, так старик Джоб ну орать: «А вот я ему скажу! А вот я все скажу!» Мы даже стали обходить аптеку стороной. Мы делали крюк, чтобы только не идти мимо, не видеть мытых окон и городских покупателей: новый провизор поставил-таки торговлю — двери прямо не закрывались; а мы разве что подходили к старику Джобу спросить про дядю

Вилли, хотя и без него каждый день слышали новости из Мемфиса и знали, что старик Джоб знает не больше нашего, ему даже и рассказал бы кто, так он бы не сумел пересказать: он ведь и то не верил, что дядя Вилли заболел, думал, что просто миссис Мерридью силком увезла его куда-то подальше от дома, там и держит в постели; и вот старик Джоб сидел на обочине, мигал на манер дяди Вилли сырыми красными глазами и твердил:

— А вот я ему скажу! Его сцапали, держат, а здесь, ишь, поналезла всякая дрянь, хозяйничает в аптеке массы Хока Кристиана. Вот я ему скажу!

IV

А дядя Вилли не умер. Он вдруг явился домой, тусклый, как свечное сало, весу в нем осталось дай бог девяносто фунтов, а глаза были, как раньше, мешаные, вроде растекшихся яиц, только теперь как будто протухлые: растеклись, застыли, уж и смердеть перестали, а приглядись к ним — и сразу ясно, что ох не протухлые, какие хочешь, а не протухлые. Это уже мы потом пригляделись, когда он с нами снова перезнакомился. Не то чтобы он нас совсем забыл. Дескать, ребятня вы

симпатичная, только мне незнакомая, ну-ка, как кого зовут, да без спешки, а то не запомню. Сестра его уехала обратно в Техас; смотреть за ним взялась миссис Мерридью, ему ведь оставался один шаг до излечения, до полного исцеления. Ага. До исцеления.

Помню, явился он в город среди дня, мы ввалились за ним в аптеку, и дядя Вилли посмотрел на мытые окна, которые стали прозрачными, на городских покупателей, которых раньше не бывало, на провизора, и сказал: «Ты у меня провизором, что ли?» — а провизор ну толковать про миссис Мерридью и преподобного Шульца, и дядя Вилли сказал: «Ладно, ладно»; мы столпились у стойки и угостились мороженым, и он стоял и ел вместе с нами, точно простой покупатель, а сам оглядывал аптеку, ел мороженое и водил глазами, а глаза у него были вовсе не протухлые, и он сказал: «Ишь, чертов негр, ты его, старика, к работе, что ли, приохотил?» — а провизор снова забубнил про миссис Мерридью, и дядя Вилли сказал: «Ладно, ладно. Держи моего Джоба в руках да скажи ему, чтоб ни на день не отлучался, и пусть так вот и содержит аптеку». Потом мы с дядей Вилли прошли за рецептурную стойку, и он поглядел, какой порядок навел там

провизор, какой новый большой замок навесил на шкафчик с наркотиками и всякими такими лекарствами; а глаза у дяди Вилли были совсем не протухлые, куда там, это ж надо было такое подумать, и он сказал нам: «Пойдите-ка скажите этому малому, что мне нужны ключи». Только и спиртовка и шприц были ему без надобности. Да там и не было ни того, ни другого, уж об этом-то миссис Мерридью загодя позаботилась. Только они ему были без надобности; а провизор явился и задолдонил про миссис Мерридью и преподобного Шульца, дядя Вилли послушал-послушал и сказал: «Ладно, ладно»; сколько мы помнили, он никогда не смеялся, лицо у него и в этот раз было неподвижное, но мы-то знали, что про себя он хохочет. И пошли мы с ним погулять. С площади он свернул по Негритянскому проселку к заведению Сонни Барджера, я взял деньги, зашел туда, накупил ямайского имбирного, и мы с дядей Вилли устроились на лужайке возле его дома: он пил свое пиво и припоминал, как кого зовут.

А ночью я с ним встретился, где он сказал. У него была тачка и лом: мы взломали заднюю дверь, сшибли новый замок со шкафчика, вытащили оттуда бутыль со спиртом, отвезли ее к дяде Вилли и спрятали в сарае. В ней было три галлона,

и дядя Вилли почти месяц не выходил из дому; он снова слег, и миссис Мерридью ворвалась к нему, выворотила все ящики и перетряхнула все шкафы, а дядя Вилли лежал на постели и следил за ней глазами, в которых не было никакой тухлятины. Она ничего и не могла найти, бутыль уже кончилась, а она даже и не знала, что ей надо: искала-то ведь шприц. А когда дядя Вилли встал на ноги, мы снова взяли лом, забрались ночью в аптеку и увидели, что шкафчик и без нас открыт, у порога стоит табуретка, а на ней пожалуйста — литровая бутыль спирта; тем дело и кончилось. Потом-то я узнал, что провизор очень даже понял, кто прошлый раз увел спирт, а почему он ничего не сказал миссис Мерридью, это я только через два года узнал.

Два года это было мне невдомек, а тем временем дядя Вилли с год как повадился катать каждую субботу в Мемфис на машине, сестрином подарке. Письмо про машину я как раз и писал, а дядя Вилли заглядывал мне через плечо и диктовал, что, мол, здоровье его улучшается, но понемногу, доктор ожидал, быстрее будет, вот доктор и велел ему не ходить туда-сюда из дома в аптеку, а хорошо бы на машине ездить и машину надо бы недорогую, какую-нибудь поменьше,

он сам и водить научится, а нет — так наймет шофером негра, если, скажем, сестра считает, что ему водить машину не по силам; и она прислала деньги, а он сыскал себе кучерявого негритенка с меня ростом, по прозванию Секретарь — так и обзавелся шофером. То есть это Секретарь говорил, что он шофер: а водить машину они учились вместе с дядей Вилли ночами, когда ездили в горные поселки за самогоном, и уж в Мемфис Секретарь гонял хоть куда, каждую субботу ездили, а в понедельник утром обратно, дядя Вилли без памяти на заднем сиденье, и дух от него шел здорово густой — мне такой дух тогда еще был в диковинку, — тут же две-три початые бутылки и книжечка с телефонами какой-нибудь там Лорины, Белинды или Джекки. Я говорю, я года два ни о чем об этом не знал, только однажды утром в понедельник пришел шериф и опечатал дяди Виллину аптеку, чего там от нее еще осталось; стали искать провизора, а того и след простыл. Дело было в июле, жарища, и дядя Вилли в лежку на заднем сиденье, а впереди Секретарь, и баба раза в два больше дяди Вилли, в красной шляпке и розовом платье; на крыльях машины подвязаны два соломенных короба, через спинку сиденья белая затерханная шубенка; а у самой-то волосы

рыжие, как новенький медный кран, а на щеках краска подтекает и запеклась пудра, по дороге потом изошла.

Ну, это уж лучше бы он снова колоться начал. Он словно оспу в город занес. Помню, миссис Мерридью под вечер звонила маме и слышно было из трубки на весь дом, аж до кухни и черного хода: «Женился!*Женился!* Шлюха!*Шлюха*!» — вроде как провизор костил старика Джоба: может, конечно, им от церкви разрешается иной раз облегчить душу и минуту-другую отдохнуть от бога. Папа тоже честил на все корки, правда, непонятно кого: я-то знал, что он не дядю Вилли кроет и даже не его новую жену; эх, вот бы миссис Мерридью послушала. Правда, если б она к нам и зашла, слушать бы ничего не стала: она и то, говорят, не стала даже переодеваться, а прямо в домашнем побежала, цоп в машину преподобного Шульца — и к дяде Вилли, а он как раз отдыхал, в понедельник-вторник ему самое время было отдохнуть, и его новая жена выперла из дому миссис Мерридью и преподобного Шульца, помахивая брачным свидетельством, как ножом или револьвером. И, помню, весь тот остаток дня — а жил дяди Вилли на тихой боковой улочке, уставленной новыми домиками, где

селились деревенские: мелкие лавочники или там почтари, которые лет всего пятнадцать как перебрались в город, — весь тот остаток дня с улицы откуда ни возьмись выскакивали какие-то тетки в соломенных шляпках задом наперед и мчались в мэрию или к преподобному Шульцу, волоча за собой малышей и девиц на выданье; а мужчины помоложе и парни без особых занятий, иные и с занятиями, ездили взад-вперед мимо дома дяди Вилли посмотреть, как она сидит себе на веранде, покуривает сигареты и потягивает что-то из стакана; на другой день, помню, вышла в город за покупками, на этот раз в черной шляпке и красно-белом полосатом платье, вроде как здоровенная ходячая конфетка, раза, что ли в три больше дяди Вилли: идет она по улице, а мужчины смотрят из всех лавочек, выступает как по линеечке, а задница так и елозит под платьем; наконец, кто-то не выдержал, заржал, закинул голову и заорал «Во дае-о-о-от!» — а она даже не задержалась, вильнула задом и дальше, ну тут уж, понятно, и все заржали как оглашенные.

А на другой день пришла телеграмма от сестры, и папа пошел к нему как юридическое лицо, а миссис Мерридью как свидетель, и дяди Виллина жена показала им свое свидетельство — что, го-

ворит, выкусили, мало ли что я с Мануэль-стрит, а замужем не хуже всякой джефферсонской сильно порядочной, и папа только и повторял, что «ну-ну, миссис Мерридью, ну-ну, миссис Кристиан», — и сообщил дяди Виллиной жене, что дядя Вилли теперь несостоятельный, даже и дом его может погореть за долги, а дяди Виллина жена и говорит: а техасская-то сестричка у него зря что ли, может, папа ее за дурочку считает и скажет, что нефтяной миллионер тоже погорел. В общем, они снова телеграфировали сестре, она прислала тысячу долларов, и пришлось заодно уж отдать дяди Виллиной жене и машину. Она в тот же вечер отбыла в Мемфис, проехала через площадь со своими соломенными коробами, теперь уж в черном кружевном платье и снова потная — было б хоть и не краситься наново, жара то не спала, — остановилась возле почтового отделения, где мужчины скопом поджидали вечернюю почту, и говорит: «Вот приезжайте на Мануэль-стрит ко мне в гости, я вам такие киксы покажу, другими людьми вернетесь, а то что вы живете, только зря время теряете».

А под вечер миссис Мерридью снова перебралась к дяде Вилли, и папа сказал, что она написала дяде Виллиной сестре письмо на одиннадцати

страницах: она, сказал папа, в жизни теперь не простит дяде Вилли, что он залез в долги. Мы торчали у изгороди и слушали, как она орет: «Вы ума спятили, мистер Кристиан, просто с ума спятили! Я пыталась вас спасти, сделать из вас человека, но терпение мое лопнуло! Еще один- единственный раз я дам вам возможность образумиться. Я отвезу вас в лечебницу Кили, но если уж и это не поможет, то я сама вас повезу к вашей сестре и заставлю ее запереть вас в сумасшедший дом». Сестра прислала из Техаса бумаги, что дядя Вилли неправоспособный, а что миссис Мерридью — его опекунша и поверенная, и миссис Мерридью повезла его в Мемфис, в лечебницу Кили. Тем дело и кончилось.

V

То есть это вроде по-ихнему выходило, что тем все и кончилось, что на этот раз дядя Вилли непременно помрет. Папа и тот теперь думал, что дядя Вилли свихнулся; папа и тот говорил, что я нипочем бы не сбежал из дому, кабы не дядя Вилли, а раз я все-таки сбежал, значит, меня сманил полоумный; это не папа, а дядя Роберт сказал, что какое свихнулся, даже и не спился:

это ж представить, что человек сидел взаперти в лечебнице Кили и сторговал свой джефферсонский земельный участок за живые деньги. Они ведь и не знали, что он сначала сбежал из Кили, об этом и сама миссис Мерридью узнала только на третий день, когда оказалось, что он пропал без вести. На след они так и не напали, не вызнали даже, как он сбежал; и я тоже ничего не знал, пока не получил от него письмецо: двигай, мол, в такой-то день автобусом в Мемфис, как город покажется, вылезай, я тебя встречу. Я даже не заметил, что и Секретарь и старик Джоб уже две недели куда-то запропастились. Ничего он меня не сманивал. Я потому уехал, что самому хотелось, потому что лучше его человека не было, потому что он прожил жизнь себе на радость, как они его ни гнули в бараний рог, как ни донимали; и я подумал — вот побуду с ним и научусь, под старость, пожалуй, и пригодится, чтоб не скиснуть. А может, я и больше понимал, сам того не зная: знал же я, что все сделаю, о чем он ни попросит, пусть просит о чем угодно: помог же я ему взломать аптеку, чтобы добраться до спирта, и помог потом спрятать бутыль от миссис Мерридью, а он меня и не просил ни о чем, само собой разумелось, что я помогу. Может, я даже

знал, что выкинет старик Джоб. Тогда-то он еще ничего не выкинул, до дела дошло, только когда дядя Вилли на свой лад с жизнью прощался, и не будь там меня, он стоял бы в одиночку против всех до смерти и навеки запуганных: и дышать-то мол, надо по указке, как у нас в Джефферсоне ведется; из Джефферсона, правда, он улизнул, но куда ж денешься от старика Джоба, а уж тот джефферсонец из джефферсонцев.

На неделе я подработал, газоны стриг: набралось до двух долларов. Сел я на автобус, когда было велено, и он меня ждал на загородной в каком-то «фордике» без верха, на ветровом стекле нестертая надпись мелом: «85 долларов наличными», а на заднем сиденье новехонькая скатанная палатка; дядя Вилли за шофера, с ним рядом старик Джоб, и дядя Вилли прямо молодцом, в новенькой, козырьком назад, клетчатой кепке с большим масляным пятном, в свежем целлулоидном воротничке, как всегда без галстука, нос облез от солнца, консервы на кепке, а глаза из-под очков так и сияют. Я бы с ним куда угодно поехал; и сейчас бы снова поехал, плевать, что знал бы, чем это кончится. Он и тогда меня не упрашивал и сейчас не пришлось бы. Я уселся на скатку, и поехали мы не в город, а совсем в другую сторону.

Я спросил, куда мы едем, а он мне только: «Погоди» — и гнал несчастный автомобильчик, словно и самому невтерпеж доехать, и по голосу его слышно было, что вот теперь — да, теперь будет так, что лучше и не придумаешь, а старик Джоб впереди меня уцепился за борт и покрикивал на дядю Вилли: чего, мол, разогнался. Да. Может, я, глядя на старика Джоба, наперед понимал, что дядя Вилли хоть и улизнул из Джефферсона, но не ушел от него, а только что увернулся.

И мы подъехали к дорожному знаку, к указателю с надписью «Аэродром», свернули, и я сказал: «Чего? Куда это мы?» — а дядя Вилли только: «Погоди. Ладно, погоди», — словно он и сам не мог дождаться, согнулся над баранкой, седые патлы из-под кепки поддувало ветром, воротничок сбился наверх и в просвет виднелась шея; а старик Джоб твердил (ну да, мне, в общем-то, все уже было ясно):

— Ишь, чего раздобыл, скажи ты. Вон делов натворил. А я ему говорил, что нечего. Я ему наперед говорил.

Мы подъехали к аэродрому, дядя Вилли притормозил и показал рукой, не успел даже вылезти:

— Вон, смотри.

Самолет летал кругами, а дядя Вилли бегал по

краю поля и махал платком, с самолета заметили, приземлились и подъехали к нам, — такой двухцилиндровый самолетик. А сидел в нем Секретарь, тоже в новенькой клетчатой кепке и в консервах, как и дядя Вилли; мне сказано было, что для старика Джоба тоже есть кепка и очки, только он надевать не хочет. А ночью мы разбили палатку в туристском лагере за милю от аэродрома; оказалось, что и мне есть кепка и очки. Там я узнал, как это дядю Вилли не поймали, — он рассказал мне, что купил самолет из денег, какие выручил за свой дом (сестра его продавать не стала — сама все-таки тоже там родилась), а капитан Бин с аэродрома отказывается учить его летать: нужна медицинская справка («Ей-богу, — сказал дядя Вилли, — со всеми этими республиканцами, демократами и распроперекратами скоро надо будет брать справку, чтоб в уборной за собой воду спустить»), а к врачу разве пойдешь — тот его, чего доброго, отошлет назад в Кили или отпишет миссис Мерридью: он, дескать, там-то и там-то. Вот он и решил — пусть сначала Секретарь научится; и Секретарь летает уже две недели, почти на четырнадцать дней больше, чем учился управлять автомобилем. Вот дядя Вилли и купил давеча машину и палатку,

а завтра мы снимаемся. Сначала полетим в одно такое местечко, называется Ренфро, там нас никто не знает, и рядом большой выгон, это уже дядя Вилли разведал; пробудем там с недельку, и Секретарь научит дядю Вилли управляться с самолетом. А потом полетим на Запад. Деньги кончатся, спустимся в какой ни на есть городок и возьмем пассажиров, подзаработаем на бензин и харчи до следующего городишка: дядя Вилли и Секретарь в самолете, а мы со стариком Джобом в машине; старик Джоб сидел на стуле у стены и помаргивал, не спуская с дяди Вилли подслеповатых и кровянистых угрюмых глаз, а дядя Вилли подпрыгивал на койке, не снявши ни кепки ни очков, воротничок у него не был подстегнут к рубашке и болтался вроде ошейника, опять же и галстука не было — то он съезжал набок, то оказывался задом наперед, вроде как пастырский; а глаза сияли из-под очков, и голос у него был чистый и звонкий.

— А к рождеству будем в Калифорнии! — говорил он. — Ты только подумай — в Калифорнии!

VI

Ну, и надо после этого говорить, что меня сма-

нили? Да как у них язык поворачивается! Я, пожалуй, знать-то знал, что толку из этого не выйдет, не могло выйти, уж больно бы складно все получилось. Я, небось, знал даже и как оно все кончится: стоило только посмотреть на хмурого Секретаря, когда дядя Вилли рассуждал, как научится сам управлять самолетом; тем более — на старика Джоба, как он глядел на дядю Вилли. Пока-то он еще ничего не вытворил, но уж дойдет до ручки — тогда держись. Нас было двое белых, и мы были заодно. А раз я белый, значит, с меня и спрос, даром, что старик Джоб и Секретарь оба старше меня: мое дело решать, а там как выйдет. Видно, я и тогда уже знал: что бы с ним ни случилось, а умереть он не умрет; вот я и подумал — поучусь-ка у него жить: мало ли что со мной случится, а умереть не умру.

И мы отправились наутро, едва рассвело, а то было там у них такое дурацкое правило, что Секретарь обязан кружить над аэродромом, пока ему не разрешат летать, где захочется. Мы накачали в самолет бензину, и Секретарь полетел будто бы тренироваться. Тут дядя Вилли быстро затолкал нас в машину и сказал, что самолету шестьдесят миль в час нипочем и мы еще не опомнимся, а Секретарь уже прилетит в Ренфро.

Но мы приехали в Ренфро, а Секретаря нет как нет; мы разбили палатку, пообедали, а он все не летит, и дядя Вилли начал ругаться; мы поужинали, потом стемнело, а Секретаря все не видать, и дядя Вилли ругался со страшной силой. Он прилетел только на другой день. Мы заслышали его, выбежали и глядели, как он пролетел над нами — не из Мемфиса, а с другой стороны; и промчался он мимо, а мы кричали и махали ему. Но он пролетел мимо, а дядя Вилли прыгал, скакал и ругмя ругался, и мы свернули палатку и загрузили ее в машину; только собрались за ним гнаться, как он опять прилетел. Мотора вовсе не слышно, зато пропеллер видать: не вертится; Секретарь вроде и не на посадку пошел, а нацелился сшибить пару-другую деревьев у края выгона. Но как-то он на бреющем только-только не зацепил за деревья и с подскоком приземлился, мы подбежали, глядим, а он сидит в кабине, глаза зажмурил, лицо как дотлевшее полено, и говорит: «Начальник, вы мне не подскажете, как бы мне тут в Рен…» — а потом открыл глаза и увидел нас. Он рассказал, что семь раз приземлялся, и все не в Ренфро, ему говорили, как долететь, он летел куда сказали, и опять, хоть убей, не Ренфро, а на ночь глядя заснул в самолете, и с Мемфиса крошки у него

во рту не было, а что дядя Вилли дал ему три доллара, так он купил бензину, и не кончился бы сейчас бензин, так он бы нас в жизни не нашел.

Дядя Вилли велел мне ехать в город за бензином, чтобы он мог сразу начать учиться, но Секретарь на это был не согласен. Наотрез отказался. Самолет, говорит, ладно, дяди Виллин, пусть даже и он сам, Секретарь, тоже дяди Виллин, пока домой не вернулись, но с него покамест хватит, налетался. Пришлось дяде Вилли начать на другое утро.

Я аж подумал, что надо будет повалить старика Джоба на землю и держать двумя руками — так он орал: «Ишь, куда залез, а ну вылезай!» — а потом: «Вот я скажу! Вот я скажу! Вот я все скажу!» — и мы вместе глядели, как самолет с Секретарем и дядей Вилли мотался в воздухе и пикировал, будто дядя Вилли задумал напрямую пробиться в Китай, а потом снова вжик носом вверх и под конец выравнивался, облетал выгон и шел на посадку; и день за днем старик Джоб орал на дядю Вилли, а работники с полей, вообще все, кто мимо шел или ехал, останавливались на дороге и смотрели, как самолет приземляется, проезжает мимо нас, а в нем дядя Вилли и Секретарь как братья родные, ну лицом-то разные, я не о том, но

все равно как зубья у вил на размахе; и было видно, как Секретарь вращает глазами и вытягивает губы, и почти слышно его «у-ю-ю у-у-уй!» — а дяди Виллины очки сверкают, и волосы поддувает из-под кепки, вон и свежевымытый целлулоидный воротничок безо всякого галстука проносится на всем ходу, и старик Джоб орет: «А ну-ка вылезай! А ну вылезай из этой штуковины!» — а Секретарь кричит: «Дяденька Вилли, вон тот отогни! Отогни же вон тот!» — и самолет взлетает, пикирует, вскидывает то одно, то другое крыло, летит на боку, того и гляди так боком и сядет, вот снова бух! — и пыль от него фонтаном, проносится вскачь, и Секретарь кричит: «Дяденька Вилли же! Отогни-и!» — а вечером в палатке глаза у дяди Вилли сияют по-прежнему, он и говорить торопится, остановиться не может, куда ему спать, а поди и не вспоминал, что спиртного капли во рту не было с тех пор, как надумал купить самолет.

Да ладно, знаю я, что про меня теперь говорят, папа в то утро вместе с миссис Мерридью подъехал и сразу начал, что, мол, я же белый, без пяти минут мужчина, а Секретарь и старик Джоб негры, какой с них спрос, а мешали-то ему как раз Секретарь и старик Джоб. То-то оно и есть, этого им не понять.

Помню, в последний вечер за него враз взялись Секретарь и старик Джоб, тот подговорил Секретаря сказать дяде Вилли, что он ни за что не выучится летать, а дядя Вилли осекся на полуслове, встал и посмотрел на Секретаря.

— Ты ведь за две недели летать научился? — спрашивает.

Секретарь говорит: ну, да.

— Это ты-то, паршивый, шкодливый, бестолковый, кучерявый негр?

А Секретарь говорит: ну, я.

— А я университет кончил и сорок с лишним лет заправлял делом на пятнадцать тысяч долларов, и ты говоришь, я не научусь водить несчастный самолетик на полторы тысячи? — Потом он поглядел на меня. — Ты тоже думаешь, что мне это не под силу?

Я посмотрел на него и говорю:

— Нет. Я как раз думаю, что вам все под силу.

VII

Не могу я им ничего объяснить. У меня и слов таких нет. Папа мне как-то говорил, что это определенно: знаешь, так и скажешь. Не знаю уж, кто это там определил, только, наверно, четыр-

надцатилетних мальчишек он в счет не брал. Потому что я-то знал, как оно все получится. И дядя Вилли наверняка знал, знал, что его время уже подошло. Выходит, что мы оба знали, хоть и не сговаривались, не обсуждали: он бы, что ли, мне стал говорить в тот день в Мемфисе: поехали, мол, ты мне понадобишься, как раз под рукой будешь, — а я ему: «Давайте-ка я с вами поеду, ведь понадоблюсь».

Конечно, потому что старик Джоб сходил и позвонил миссис Мерридью. Подождал, пока мы все заснем, тихонько выбрался, дошел пешком до самого города и позвонил ей, а у него и денег не было и звонил, небось, первый раз в жизни, а все-таки ухитрился позвонить ей и на утро прибежал по росе (до города, до телефона, было миль пять с лишком); а Секретарь как раз заводил мотор, и я понял, в чем дело, раньше, чем Джоб начал издали орать; кое-как бежит, спотыкается и орет: «Не пускай его! Не пускай его! Сейчас приедут! Минут десять его продержи, сейчас приедут!»— и я понял, и кинулся ему навстречу, и схватил его, а он отбрыкивался и все орал в сторону самолета с дядей Вилли.

— Ты что, позвонил? — говорю. — Ей? Ей? Ты что, сказал ей, где он?

— Позвонил! — заорал дядя Джоб. — И она сказала, что только за папой твоим заедет — и сюда, и будет к шести!

Я все держал его, он был легкий, как охапка сухого хвороста, дышал натужно, с хрипом, и сердце колотилось; тут и Секретарь подбежал, и старик Джоб принялся орать Секретарю: «Вытащи его! Едут! Сейчас приедут, только не пускай его!» — а Секретарь переспрашивал: «Кого? Которого?» — и старик Джоб крикнул ему: «Беги, держи самолет!» — и Секретарь повернулся бежать, я хотел схватить его за ногу и не успел, а дядя Вилли, видно было, из самолета приглядывается, а Секретарь бежит к нему, и я с колен замахал и тоже заорал. Дядя Вилли вряд ли меня расслышал: мотор гудел. Но я же говорю, ему и слышать не надо было, мы и так все оба знали, и вот я стоял на коленях, прижимая к земле старика Джоба, а самолет помчался, и Секретарь за ним вдогонку; помчался, оторвался от земли, сделал нырок и снова взмыл и будто застыл в высоте над деревьями, которые Секретарь в первый день норовил сшибить, потом нырнул и скрылся за ними, и Секретарь уже бежал туда, ну и мы с дядей Джобом поднялись с земли и кинулись следом.

Да знаю я все, что про меня говорят; наслушался

еще в тот день, когда мы тащились домой; впереди дроги с покойником, за ними в «фордике» старик Джоб с Секретарем, а сзади мы с папой в своей машине, все ближе и ближе к Джефферсону, — и я вдруг расплакался. Смерть что, и касается нас только снаружи, вышелушивает, словно сдирает одежду, натянутую для порядка и для удобства, и вот эта никчемная шелуха из нас двоих подвела одного, меня подвела; и папа рулил одной рукой, а другой обнял меня за плечи и говорил:

— Ну-ну, ты не так меня понял. Ты не виноват. Никто тебя не винит.

Вот как оно было, ясно? Я все-таки помог дяде Вилли. Он знает, я помог. Он знает: без меня у него не вышло бы. Он знает: я помог; мы ведь на прощанье даже вглядом не обменялись, не понадобилось. Вот так вот.

А из них никто никогда не поймет, даже папа, ну кто им, кроме меня, объяснит, и как мне им растолковать, как сделать, чтобы они поняли? Ну как мне с ними быть?

Вот будет здорово
Уильям Фолкнер
I

Слышно было, как в ванной льется вода. А подарки были рассыпаны на постели, мама завернула их в цветную бумагу и надписала, чтоб дедушка сразу знал, чего кому, когда будет их снимать с елки. Всем были подарки, только дедушке не было, потому что мама сказала, что дедушка уже совсем старенький, ему не нужно подарков.

— Вон тот тебе, — сказал я.

— А то кому же, — сказала Рози. — Ты давай марш в ванну, раз мама тебе велела.

— А я знаю, чего там есть, — сказал я. — Вот захочу и скажу тебе.

Рози поглядела на свой подарок.

— Да уж как-нибудь могу и подождать, пока всем раздадут, что положено, — сказала она.

— Дай никель — скажу, — сказал я.

Рози поглядела на свой подарок.

— Никеля-то у меня нет, — сказала она. — А вот утром на рождество мистер Родни как отдаст мне мои десять центов, тогда и никель найдется.

— Ты тогда и так будешь знать, чего там есть,

и мне не заплатишь, — сказал я. — Поди лучше одолжи никель у мамы.

Тут Рози хвать меня за руку.

— А вот давай марш в ванну, — сказала она. — Ишь добытчик какой. Небось, к двадцати одному году обязательно разбогатеешь, одна надежда на закон — либо деньги, либо тебя законно изничтожат.

Ну, я пошел купаться, пришел обратно и снова гляжу: подарки рассыпаны на папысмаминой постели, прямо пахнет рождеством, а как завтра начнут салюты палить, так и слышно станет, что уже совсем рождество. Только ночку потерпеть, и будет утро, и мы все сядем на поезд, кроме папы, ему аж до самого сочельника нужно быть на своем извозчичьем дворе, а мы поедем к дедушке, и снова будет вечер, а там, глядишь, и рождество, и дедушка станет снимать подарки с елки, и подзывать нас, а там есть мой подарок дяде Родни, из моих десяти центов купленный, и чуть погодя дядя Родни раскроет дедушкин секретер и хлопнет дедушкиного тоника, а я ему чего-нибудь помогу, и он, может, мне за это опять даст не какой-нибудь никель, а четвертак, как прошлым летом, когда он гостил у нас с мамой и мы делали дело с миссис Такер, пока он не уехал домой и

там поступил в давильную компанию; вот будет здорово. А может, и не четвертак, а полдоллара, и прямо сил никаких нет ждать.

— Господи Иисусе, ну прямо сил нет ждать, — сказал я.

— Что ты сказал? — закричала Рози. — Иисусе? — закричала она. — Иисусе? Вот как твоя мама узнает, что ты всуе поминаешь имя божье, так у тебя сразу сил прибавится. Никель ему подавай! Сам давай никель, а то как раз пойду ей все расскажу.

— За никель-то я и сам пойду ей все расскажу, — сказал я.

— Марш в постель! — закричала Рози. — Это ж надо, семилетний мальчишка, а ругается всуе!

— Обещай, что ты ей ничего не скажешь, и я тебе скажу, что для тебя завернуто, а никель, ладно уж, дашь мне утром на Рождество, — сказал я.

— Марш в постель! — закричала Рози. — Дождешься у меня со своим никелем! Вот если б хоть кто из вас надумал бы потратить десять центов на подарок дедушке вашему, вот тут бы и я никеля не пожалела.

— Дедушка вовсе и не хочет подарков, — сказал я. — Он совсем старенький.

— Ага, — сказала Рози. — Старенький совсем,

да? А если все рассудят, что ты больно молоденький и никелей вовсе не хочешь, это как будет, а?

Ну, Рози выключила свет и ушла, а подарки все равно было видно, камин-то остался гореть: и подарки для дяди Родни, и для бабушки, и для тети Луизы и тетилуизиного мужа дяди Фреда, и для ихних Луизы и Фреда и еще малыша, и для дедушкиной кухарки, и для нашей, ну для Рози, а дедушке, может, и правда надо бы подарок, только пусть бы тетя Луиза купила, раз они с дядей Фредом живут у дедушки, или пусть дядя Родни, он тоже там живет. Для папы-то с мамой у дяди Родни всегда был подарок, а дедушке, небось, и ни к чему подарки от дяди Родни, а то я один раз спросил маму, почему это дедушка всегда так посматривает, чего дядя Родни ей с папой подарил, и потом очень сердится, а папа давай смеяться, а мама ему говорит, что постыдился бы, дядя Родни виноват разве, что у него хоть сердце золотое, да кошелек пустой, а папа ей, что да, дядя Родни уж точно не виноват, он не как некоторые, он из кожи лезет, чтоб деньги добыть, и чего-чего не пытал, только работать не пробовал, а что если мама припомнит кое-какие делишки двухлетней давности, то дяде Родни не худо бы и сказать спасибо, что у него есть один

родственник, у которого сердце, может, и не золотое, или как там мама изволила выразиться, зато в кошельке нашлось пятьсот долларов, а мама сказала, что вот пусть только папа скажет, будто дядя Родни украл эти деньги, его просто хотели в ложке воды утопить, папа это и сам знает, а что папа и вообще очень многие мужчины почему-то совершенно несправедливы к дяде Родни, и что, конечно, если папа теперь жалеет, что одолжил дяде Родни несчастные пятьсот долларов, когда речь шла о добром имени семьи, то пусть так и скажет, а дедушка хоть в лепешку разобьется, только ему их уж как-нибудь вернет, и потом стала плакать, и папа сказал: да ладно, ладно, а мама все плакала и говорила, что дядя Родни в семье любимчик, поэтому, должно быть, папа его так ненавидит, а папа говорил: да ладно, ладно, ради всего святого, хватит тебе.

Откуда маме с папой было знать, что дядя Родни, когда гостил у нас прошлым летом, без дела не сидел, да и в Мотстауне тоже никто не знает, что он и там делал свое дело, а я с ним на пару, это когда в первый раз, в прошлое Рождество. Он потому что сказал, что кому как нравится, одни делают дело с мужчинами, другие с женщинами, и никого его дела не касаются, даже мистера

Такера. Он сказал, что ведь ты же не ходишь, не болтаешь, чего там твой папа делает, а я говорю, зачем болтать-то, все и так знают, что папа работает по извозному делу, и дядя Родни мне сказал, что за молчок полникеля, а вообще, может, я не хочу никели зарабатывать, так он найдет кого другого. Ну, я и стал с ним работать: торчу у забора мистера Такера, пока он в город не уйдет, тут я вдоль забора до угла и гляжу, пока мистера Такера видно, а потом шапку на тычок, и пускай там висит, пока снова не завижу мистера Такера. Сколько я там стоял, ни разу его не завидел, потому что дядя Родни до этого успевал справиться, он выходил, и мы с ним вместе шли домой, и он говорил маме, что мы изрядно прогулялись, а мама говорила, что дяде Родни это очень полезно для здоровья. Ну, а как мы дома, так он мне никель. А четвертак он мне только один раз заплатил, это когда на рождество в Мотстауне он делал дело с другой леди, только раз такое и было, ну ничего, зато летом-то, пока он гостил, я никелями заработал куда больше, чем четвертак. Опять же все-таки рождество было, и он дедушкиного тоника хлопнул, а потом уж заплатил мне четвертак, а теперь вдруг да полдоллара даст, чего не бывает. Ну прямо сил нет ждать.

II

То да се, а потом все-таки рассвело, я надел свой воскресный костюм и пошел к дверям смотреть, вдруг извозчик уже приехал, и на кухню к Рози, что ведь почти уже пора, а она мне, до поезда, мол, еще битых два часа. И только она это сказала, слышим — извозчик, ну, думаю, время к поезду ехать, вот здорово-то как, приедем к дедушке, глядишь, и вечер, а там и до утра недолго, а если мне в этот раз полдоллара достанется, до чего ж будет здорово. Тут мама выскочила на улицу даже без шляпки и говорит: что за спешка, еще два часа до поезда, она и одеваться не начинала, а Джон Поль, что да, мэм, только его папа прислал, чтоб Джон Поль сказал маме, что тетя Луиза уже здесь и пусть мама поторопится. Ну, мы запихнули в коляску корзину с подарками, я на козлах с Джон Полем, а мама из коляски кричит, спрашивает про тетю Луизу, и Джон Поль сказал, что тетя Луиза наняла пролетку и приехала, а папа ее повел в гостиницу завтракать, потому что из Мотстауна она выехала ни свет ни заря. Так что тетя Луиза, наверно, приехала в Джефферсон помочь маме с папой купить дедушке подарок.

— Для других-то всех у нас есть, — сказал я. — Дяде Родни я вон за свои деньги купил.

Тут Джон Поль давай смеяться, а я сказал: чего ты? — а он сказал, его смех разбирает, какой же дяде Родни прок от моих подарков, а я сказал: почему? — а он, что другое дело, был бы я девчонкой, а я сказал: почему? — а Джон Поль сказал, что вот мой папа, это верно, с радостью бы сделал дяде Родни подарок, не дожидаясь даже рождества, а я спросил: какой? — и Джон Поль сказал: к месту бы его пристроил. И я тогда рассказал Джон Полю, как дядя Родни гостил у нас прошлым летом и все время работал, и Джон Поль перестал смеяться и сказал, что, конечно, если человек за одним делом ни днем, ни ночью отдыха не знает, то чем же это не работа, оно и лучше, что приятная, а я сказал, что все равно же дядя Родни теперь-то работает в конторе Давильной компании, и Джон Поль захохотал и сказал, что еще бы, дядю Родни нужно давить целой компанией. Тут мама стала кричать ему, чтобы ехать прямиком в гостиницу, а Джон Поль, что нет, мэм, велено ехать прямиком на извозчичий двор и там дожидаться. Ну, и мы поехали в гостиницу, оттуда вышли тетя Луиза с папой, папа ее подсадил в коляску, а тетя Луиза сразу в слезы, и мама кричала: Луиза! Луи-

за! в чем дело? что случилось? — а папа говорил: погоди пока. Погоди. Нас же негр слышит, это значит Джон Поль; видно, дедушке подарок не успели все-таки привезти.

Потом мы вдруг взяли и не поехали на поезде. Мы пошли к конюшне, а там уже стояла запряженная легкая дорожная коляска, а мама все плакала, что папа и не переоделся к празднику, а папа ругался и говорил, что черт с ней, с одеждой, и что если мы доберемся до дяди Родни, пока его другие не успеют сцапать, то папа снимет, чего на нем надето, и наденет на себя. И мы быстро забрались в коляску, и папа задернул занавески, чтоб маме с тетей Луизой спокойно плакать, и крикнул Джон Полю, пусть едет домой, велит Рози захватить его воскресный костюм и подвезет ее к поезду: значит, хоть Рози повезло. Но мы хоть и не на поезде, а ехали быстро, папа на козлах за кучера, и он все говорил: что ж, так никто и не знает, где он? — а тетя Луиза плакать пока перестала и рассказала, как дядя Родни вечером к ужину не пришел, а пришел сразу после ужина, и тете Луизе сделалось так жутко-жутко еще когда она заслышала его шаги в передней, и она прошла за дядей Родни в его комнату, он притворил дверь и только тогда сказал, что ему

непременно нужно две тысячи долларов, а тетя Луиза спросила, где же она ему возьмет две тысячи долларов, и дядя Родни сказал: попроси у Фреда, у тетилуизиного мужа, и у Джорджа, у папы то есть; скажи им, пусть из-под земли достают, и тут-то тете Луизе и сделалось совсем жутко-жутко, и она сказала: Родни! Родни! что же это ты, — а дядя Родни стал ругаться и сказал: ну тебя к черту, нашла время распускать нюни, а тетя Луиза сказала: Родни, да что же это ты снова натворил? — и тут они оба услышали, что стучат, и тетя Луиза глянула на дядю Родни и все поняла, еще не видевши мистера Пруита с шерифом, и сказала: только папе не говори! Главное, чтобы папа не узнал! Это его убьет!..

— Кого? — спросил папа. — Мистера как ты сказала?

— Мистера Пруита, — сказала тетя Луиза, снова заплакавши. — Председателя правления Давильной компании. Они только прошлой весной переехали в Мотстаун. Ты его не знаешь.

Ну, она пошла к двери, а там мистер Пруит с шерифом. И тетя Луиза, значит, стала умолять мистера Пруита, чтоб пожалеть дедушку, а она мистеру Пруиту под клятвой обещала, что дядя Родни никуда из дому не выйдет, пока папа мой

не приедет, а мистер Пруит сказал, что ему и самому крайне неприятно, главное, как раз под рождество, и что ладно, ради дедушки и тети Луизы он готов подождать, пока минет праздник, раз тетя Луиза обещает ему, что дядя Родни тем временем никуда не денется из города. И вот мистер Пруит дал ей взглянуть собственными глазами на чек с дедушкиной подписью, и даже тете Луизе и то было понятно, что подпись— и тут мама сказала: Луиза! Луиза! Ведь с нами Джорджи, это я то есть, а папа громко заругался, что как ты, к дьяволу, от него это скроешь? Газеты, что ли, будешь прятать? А тетя Луиза опять заплакала и сказала, что все равно обязательно все узнают, она и не ждет, и не надеется вернуть когда-нибудь наше семейное достоинство, только бы как-нибудь скрыть от дедушки, а то это его убьет. Она так расплакалась, что папа даже остановил коляску, спустился к ручью, намочил свой платок и отдал маме, чтоб она утирала тете Луизе лицо, потом папа достал из колясочного кармана бутылку с тоником и на этот платок накапал, и тетя Луиза стала канючать, а папа тогда хватил тонику из бутылки, и мама сказала: Джордж! — а папа нарочно отпил еще и даже будто собрался передать бутылку назад маме с тетей Луизой,

пусть и они хлопнут, и еще сказал:

— Пейте, чего там. Был бы я в нашей семье женщиной, я бы тоже спился. А теперь давай-ка расскажи толком, что там за облигации.

— Это были мамины дорожные облигации, — сказала тетя Луиза.

И мы опять пустились вскачь, потому что лошади отдохнули, пока папа мочил платок и пил свой тоник, и теперь он говорил: давай выкладывай, какие такие облигации, и вдруг как дернулся в сиденье, как обернулся назад:

— Дорожные облигации? Ты что, хочешь сказать, что он со своей собачьей отверткой и до материного секретера добрался?

Тут мама сказала: Джордж! да как ты можешь? — а тетя Луиза прямо затараторила, даже плакать пока что забыла, и папа смотрел на нее через плечо и говорил: так тетя Луиза, что ли, хочет сказать, что те пятьсот долларов, которые папа заплатил два года назад, это было не все? И тетя Луиза сказала, что всего-то было больше, две тысячи пятьсот, только они не хотели, чтоб дедушка узнал, и бабушка заложила свои дорожные облигации, а теперь, оказывается, дядя Родни выкупил и бабушкину залоговую расписку, и сами облигации, а вместо них отдал облигации

Давильной компании из сейфа, который стоит у них там в конторе; а мистер Пруит как увидел, что облигаций Давильной компании не хватает, так стал их искать, смотрит — а они в банке, потом заглянул в сейф Давильной компании, а там только и есть, что чек на две тысячи долларов, подписанный дедушкиной фамилией, а мистер Пруит хоть в Мотстауне и года не прожил, а все ж таки сообразил, что дедушка такой чек никак не мог подписать, тем более он заглянул в банк, где у дедушки на счету никогда и не было двух тысяч долларов, ну, мистер Пруит и сказал, что ладно, он придет через день после праздника, раз тетя Луиза ему под клятвой обещает, что дядя Родни никуда не денется, и тетя Луиза обещала и пошла наверх уговаривать дядю Родни, что пусть он отдаст мистеру Пруиту эти ихние облигации, заходит в комнату дяди Родни, где его оставила, а окошко открыто, и дяди Родни как не бывало.

— Вот чертов Родни! — сказал папа. — А облигации-то? Ты говоришь, никто не знает, где облигации?

А мы ехали вскачь, потому что перевалили последнюю гору, и в долине как раз был Мотстаун. И скоро снова запахнет рождеством, вот сегодня день пройдет, и будет вечер, а там и рождество,

а лицо у тети Луизы было как беленая изгородь после дождя, и папа сказал: да за каким чертом его вообще на работу взяли, какой дурак, а тетя Луиза сказала: мистер Пруит, а папа ей, что пусть даже мистер Пруит и прожил в Мотстауне считанные месяцы, а все ж таки должен бы знать, и тут тетя Луиза давай плакать, даже в платок на этот раз не уткнулась, а мама поглядела на тетю Луизу и тоже в слезы, и папа вытащил кнут и хлестнул по упряжным, хотя они и так быстро бежали, хлестнул и выругался.

— А, дьявол и все его присные, — сказал папа. — Сразу видно, женатый человек этот мистер Пруит.

Тут и нам стало видно. Во всех окошках были веночки из падуба, как дома в Джефферсоне, и я сказал:

— А в Мотстауне, небось, салют палят не хуже, чем в Джефферсоне.

Тетя Луиза с мамой плакали напропалую, и теперь уж папа им говорил:

— Ладно, ладно; с нами Джорджи, это я то есть, а тетя Луиза сказала:

— Именно что! Такая крашеная дрянь, вечерами так и разъезжает по улицам в пролетке, один только раз миссис Черч к ней наведалась, для

порядку только, и то миссис Черч застала ее без корсета, и миссис Черч сама мне говорила, что от нее несло спиртным.

А папа говорил: ладно, ладно, и тетя Луиза напропалую плакала и говорила, что все это дело рук миссис Пруит, потому что дядя Родни молодой, что стоит его совратить, тем более, ему и не попалась пока девушка, на которой бы в самый раз жениться, а папа гнал лошадей к дедушкиному дому и сказал:

— Жениться? Это Родни-то жениться? Какое ж ему, к черту, удовольствие удирать из собственного дома, дожидаться темноты у заднего забора и влезать потом по водосточной трубе в спальню к собственной жене?

Так что когда мы приехали к дедушке, мама с тетей Луизой плакали напропалую.

III

А дяди Родни там как не бывало. Мы зашли, и бабушка рассказала, что Мэнди, это бабушкина-то кухарка, завтрак готовить не пришла, а домик ее на заднем дворе, и бабушка послала туда Эммелину, няньку тетилуизиного малыша, только дверь-то оказалась заперта изнутри, а Мэнди не

отвечала, тогда бабушка пошла сама, а Мэнди все равно не отвечала, и мой двоюродный брат Фред залез в окошко, а Мэнди там и нет, и тут как раз вернулся из города дядя Фред, и они с папой стали кричать в два голоса: «Заперта? Изнутри? И никого там нет?»

А потом дядя Фред сказал, пусть папа пойдет заведет с дедушкой какой-нибудь разговор, папа пошел, а тут тетя Луиза хвать их обоих и говорит, что с дедушкой она сама разберется, а они пусть идут его искать и найдут его во что бы то ни стало, а папа сказал: лишь бы он, дурак, не вздумал их кому-нибудь загнать, а дядя Фред ему: поздно спохватился, милый человек, чек-то десятидневной давности, а ты и не знал? Ну, мы пошли к дедушке, он засел в своем кресле и говорил, с чего это вдруг папа приехал сегодня, он его до завтра не ждал, но, видит бог, хорошо хоть кто-нибудь ему на глаза попался, а то он просыпается, а кухарки нет, Луиза с утра пораньше куда-то сбежала, и даже дядя Родни куда-то запропастился, нет бы сходить за почтой и принести ему сигару-другую, то-то радости будет, когда это все к черту кончится, и это он так пока что шутил, до рождества-то у него все это в шутку выходило, другое дело после рождества, тогда уж не в шутку. Потом тетя Луиза

вынула дедушкины ключи у него из кармана, отперла секретер, который дядя Родни всегда раскрывал отверткой, и достала дедушкин тоник, а мама сказала мне пойти поискать братца Фреда и сестрицу Луизу.

А дяди Родни, значит, нет, как не бывало. Сначала-то я, правда, подумал, что мне и четвертака не видать, не повезло на этот раз, только что все-таки рождество, ну ладно, рождество тоже ведь не каждый день. Ну вот, стал я гулять за домом, погулял-погулял, а тут как раз папа вышел с дядей Фредом, я вижу из-за кустов — они колотят в мэндину дверь и зовут: «Родни, Родни», вот тебе и раз. Тут пришлось мне нырнуть в самые кусты, потому что дядя Фред пошел прямо на меня к сараю за топором, ломать мэндину дверь. Только куда ж им обдурить дядю Родни. Мистер Такер дядю Родни и в своем-то доме не мог обдурить, а тут он у своего папы на заднем дворе, где же моему папе с дядей Фредом его обдурить. Я даже не стал их подслушивать. Я просто подождал, пока дядя Фред вышел из взломанной двери, пошел в сарай, отодрал топором дверной замок, засов и скобу и вернулся к мэндиному домику, а папа как раз оттуда, и они вдвоем прибили на мэндину дверь замок от сарая, заперли его, обошли домик кру-

гом, и я слышу — дядя Фред окно заколачивает. И ушли обратно в дом. А если и Мэнди тоже сидит у себя в домике и не может выйти, то это ничего, все равно скоро приедет поезд из Джефферсона, привезет Рози с папиным воскресным костюмом; Рози будет стряпать и на нас, и на дедушку, так что выходит полный порядок.

Ну, и куда ж им обдурить дядю Родни. Спросили бы меня, я бы и то им сказал. Я бы им сказал, что дядя Родни другой раз нарочно дожидался темноты, а потом уж начинал делать дело. Так что в общем выходил полный порядок, хотя, правда, пока это я отмотался от братца Фреда и сестрицы Луизы, уже начало вечереть. От дня осталось всего ничего, скоро в городе начнут салюты палить, и мы тоже услышим, и его лицо едва- едва было видать между досок, что папа с дядей Фредом наколотили на заднее окно. Видать было, какой он небритый, а он меня спрашивал, черта ли я болтаюсь нивесть где, он же слышал, что джефферсонский поезд пришел еще до обеда, около одиннадцати, и он смеялся, что папа с дядей Фредом заколотили его в домике, а ему как раз того и надо было, только вот мне придется как-нибудь улизнуть после ужина, как я, сумею? А я ему сказал, что на прошлое рождество мне

перепал четвертак, и, между прочим, не надо бы в такую пору удирать из дому, а он засмеялся и сказал: четвертак? четвертак? а десять четвертаков зараз я когда-нибудь в жизни видел? — а я в жизни не видел, и он велел мне тотчас же после ужина быть здесь под окном с отверткой, и тогда я увижу разом десять четвертаков, только чтоб я помнил, что даже богу невдомек, где он сейчас, поэтому чтоб я катился покамест к чертям, возле домика не торчал и приходил с отверткой, когда совсем стемнеет.

Ну, меня-то им тоже не обдурить. Я потому что за этим дядькой весь день после обеда следил, я же джефферсонский, а не мотстаунский, вот я и не знал, кто он такой. А потом узнал, потому что он опять проходил мимо заднего забора, остановился и стал раскуривать сигару, зажег спичку, и я увидел, что у него под пальтом бляха, это он, значит, вроде как мистер Уотс в Джефферсоне, который негров ловит. Ну, я играл у забора, слышу — он остановился и смотрит на меня, а я себе играю, и он сказал:

— Здорово, сынок! Ну как, завтра Санта Клауса ждешь?

— Да, сэр, — сказал я.

— Твоя мама, наверно, мисс Сара, ты ведь из

Джефферсона? — спросил он.

— Да, сэр, — сказал я.

— К дедушке на праздник приехал? — сказал он. — А что, кстати, дядя твой Родни нынче дома?

— Нет, сэр, — сказал я.

— Так, так, это плоховато, — сказал он. — А мне бы его надо повидать. Он что, в город ушел?

— Нет, сэр, — сказал я.

— Так, так, — сказал он. — Что же, он, может, уехал куда погостить?

— Да, сэр, — сказал я.

— Так, так, — сказал он. — Это плоховато. А у меня как раз к нему одно дельце. Ладно, пока отложим.

Потом он посмотрел-посмотрел на меня и спросил:

— А ты точно знаешь, что его нет в городе?

— Да, сэр, — сказал я.

— Так, мне только это и хотелось узнать, — сказал он. — Если случайно будешь про меня рассказывать своей тете Луизе или дяде Фреду, скажи им, пожалуй, что мне только это и хотелось узнать.

— Да, сэр, — сказал я. И он ушел. И больше мимо дома не ходил. Я еще поглядел, может, снова

пройдет, но он совсем ушел. Так что и он меня тоже не обдурил.

IV

Потом стало темнеть, и в городе начали палить салюты. Пока только слышно, а скоро нам всем видно будет и римские свечи, и ракеты, и у меня в кармане тогда будет десять четвертаков, и я вспомнил про корзину, полную подарков, и подумал, что вот кончу работать для дяди Родни и пойду-ка я в город, а там куплю дедушке подарок, потрачу центов десять из своих-то десяти четвертаков, и завтра утром подарю подарок дедушке, и раз ему никто больше подарка не приготовил, то он мне, наверно, за это отвалит четвертак, а не десять центов, и будет у меня двадцать один четвертак, подумаешь, без каких-нибудь десяти центов, и до чего ж будет здорово. Только у меня времени не хватило. Мы стали ужинать, ужин опять Рози сготовила, и сидели все за столом, мама с тетей Луизой, заплаканные и запудренные, и дедушка, папа его весь день потчевал тоником, а дядя Фред ходил в город; когда он вернулся, папа вышел ему навстречу в переднюю, и дядя Фред сказал, что он всюду проверил, и в банке,

и в Давильной компании, ему сам мистер Пруит помогал, и ни тебе облигаций, ни денег, и дядя Фред стал тревожиться, потому что, оказывается, как-то вечером на прошлой неделе дядя Родни нанимал упряжку и куда-то ездил: и дядя Фред узнал, что дядя Родни ездил на главную ветку, в Кингстон, а оттуда скорым в Мемфис, и папа чертыхнулся, а дядя Фред сказал: вот как бог свят, пойдем к нему туда после ужина и уж как-нибудь выдоим это из него, спасибо, хоть он у нас в руках. Я сказал Пруиту, а он обещал, что если мы устережем Родни, то он, так и быть, попридержит правосудие.

К ужину дедушка вышел вместе с дядей Фредом и папой, он посередке, они с боков, и дедушка говорит, что, слава богу, рождество бывает раз в году, наше счастье, ура, а папа с дядей Фредом ему: ну, папа, ты у нас в порядке; ну, папа, пропустим, и дедушка пропускал, а после начинал кричать: где черти носят этого негодного мальчишку? — дядю Родни то есть, и дедушка все время собирался пойти вытащить дядю Родни из чертова игорного дома, пусть посидит вечерок с родными. Ну, мы доужинали, и мама сказала, что проводит детей наверх спать, а тетя Луиза сказала: не надо, Эммелина сама справится, и мы

пошли наверх по задней лестнице, а Эммелина сказала, что она и так нынче ни с того, ни с сего завтрак готовила, может, конечно, некоторые думают, что она прямо рождество для них будет колесом вертеться, как бы не так, сообразили, вообще из такого дома надо бежать без оглядки, и мы пошли спать сами, а я немножко погодил и по задней лестнице вниз, по дороге вспомнил, где лежит отвертка. И слышно стало, как в городе пускают шутихи, хоть луна и ярко светила, а я все-таки видел, как римские свечи и ракеты вскочили на небо. Потом рука дяди Родни высунулась в щель между досок и схватила отвертку. Лица его теперь было не видно, он как будто не совсем смеялся, он даже и не смеялся как будто, а просто так дышал за ставнем. Потому что где же им его обдурить.

— Ладно. — сказал он. — Десять четвертаков твои. Погоди-ка. А ты точно знаешь, что меня никто не выследил?

— Еще чего, сэр, — сказал я. — Я нарочно ждал у забора, чтоб он подошел и спросил.

— Кто подошел? — спросил дядя Родни.

— Ну, тот с бляхой, — сказал я.

И дядя Родни ругнулся. Но он не от злости ругнулся. Он вроде как засмеялся, такие смешочки

делал без слов.

— Он сказал, может, ты куда погостить поехал, а я ему, что да, сэр, — сказал я.

— Правильно, — сказал дядя Родни. — Ей-богу, вот подрастешь, будешь дела делать не хуже моего. Да и завраться не успеешь, недолго осталось. Ну, стало быть, десять четвертаков твои, верно?

— Нет, — сказал я. — Пока не мои, у меня их нет.

Тут он снова ругнулся, а я сказал:

— Я давай подставлю шапку, ты их кидай, они не упадут.

Он тогда совсем заругался, только тихонько.

— Вот что, десять четвертаков я тебе не дам, — сказал он, и я стал говорить: «А сам сказал» — и дядя Родни сказал:

— А дам я тебе двадцать четвертаков.

И я сказал: «Так точно, сэр», а он мне объяснил, как найти нужный дом и чего делать, когда найду. Только бумажку в этот раз не надо было передавать, потому что дядя Родни сказал, что дело-то нешуточное, на двадцать четвертаков, на бумаге такие важные дела не пишутся, опять же зачем мне бумажка, все равно я там никого не знаю; и голос выходил шепотом из-за ставни, самого-то его было не видать, и он шептал, как ругался,

вроде как он ругался на папу с дядей Фредом, что они, молодцы, заколотили дверь и ставни, а не сообразили, что ему только того и надо.

— Отсчитай от угла дома три окошка. Потом кинь песком в стекло. Потом окошко откроют — неважно, кто, ты все равно там никого не знаешь — ты только скажи, кто ты есть, и потом скажи: «Он будет с пролеткой на углу через десять минут. Забирай драгоценности». Ну-ка, повтори, — сказал дядя Родни.

— Он будет с пролеткой на углу через десять минут. Забирай драгоценности, — сказал я.

— Скажи: «Забирай все драгоценности», — сказал дядя Родни.

— Забирай все драгоценности, — сказал я.

— Правильно, — сказал дядя Родни. Потом он сказал:

— Ну? Чего дожидаешься?

— Двадцати четвертаков, — сказал я.

Дядя Родни опять ругнулся.

— Ты что же, дела не сделавши, хочешь заработок получить? — сказал он.

— Ты сказал, что с пролеткой, — сказал я. — А вдруг ты забудешь мне заплатить, ускачешь и не вернешься, а мы пока уедем. Помнишь, как еще тогда летом миссис Такер была один раз нездоро-

вая, и ты не стал мне никель платить, сказал, что ты же не виноват, что она нездоровая.

Тогда дядя Родни потихоньку здорово заругался из-за ставни и потом сказал:

— Слушай. У меня сейчас нет двадцати четвертаков. У меня и одного-то четвертака нет. Вот выберусь отсюда, покончу с этим делом, только тогда и будут. А чтоб мне с этим делом нынче покончить, надо, чтоб ты свое спроворил. Понял? Ты вперед, а я за тобой. Никуда я от тебя не денусь, буду ждать на углу в пролетке. Ну, давай, пошел. Быстро!

V

Ну, я пошел двором, только луна стала светить ярко-ярко, и я держался поближе к забору, и так до самой улицы. И слышно было, как запускают шутихи, и видно было, как римские свечи и ракеты взлетают на небо, только стреляли-то далеко в городе, и с нашей улицы всего и было видно, что свечи в небе и веночки в окнах. Я, значит, дошел до проулка и проулком до конюшни, и там, слышно, лошадь заржала, я, правда, не знал, а ну как это не та конюшня, и вдруг дядя Родни как выскочил оттуда из-за угла и сказал: а, ты вот он, и показал мне, где у дома постоять послушать, а сам ушел в конюшню. Ничего не было слышно,

только как дядя Родни запрягал лошадь, потом он присвистнул, и я пошел к нему, а он уж впряг лошадь в пролетку, и я спросил: это чья пролетка и лошадь, совсем ведь тощая, не то что дедушкина? А дядя Родни сказал: моя это теперь лошадь, только вот луна светит, черт бы ее побрал. Я снова вышел проулком на улицу, там никого не было, и я помахал рукой, луна такая яркая, что все видно, пролетка подъехала, и мы пустились вскачь. Занавески с боков были задернуты, городские ракеты и римские свечи не видать, только шутихи слышно, и я подумал, вот поедем по городу, может дядя Родни остановится, даст мне хоть не все четвертаки, я и куплю дедушке на завтра подарок, только он не остановился; дядя Родни на ходу отдернул занавеску, и я увидел дом и два дерева магнолии, только мы и тут не остановились, а свернули за угол.

Ну, — сказал дядя Родни, — значит, как окошко откроется, скажешь: «Он будет на углу через десять минут. Забирай все драгоценности». Скажешь, а кому — не твое дело. Тебе и знать не надо, кто там есть. Вообще ты этого дома не видал. Понял?

— Так точно, сэр, — сказал я, — а потом ты мне заплатишь мои…

— Да! — сказал он и ругнулся. — Да! Пошел! Быстро!

Ну, я вылез, пролетка уехала, и я пошел по улице обратно. Дом был весь темный, одно окошко горело, в общем, он самый, и два дерева рядом. Я прошел через двор, отсчитал три окошка и только собрался кинуть песком, как из-за угла выскочила какая-то леди и сцапала меня. Что-то такое она говорила, не разобрать что, да и где ж было разбирать, когда из-за другого куста выскочил какой-то дядька и сгреб нас обоих. Меня — что, а ее, видно, прямо за рот схватил, она сразу стала хлюпать и билась руками и ногами.

__ Так, малыш? — сказал он. — В чем дело? Это тебя ждут?

— Я для дяди Родни работаю, — сказал я.

— Значит, тебя и ждут, — сказал он. Леди прямо жутко билась и хлюпала, а он ей все равно зажимал рот. — Правильно. В чем дело?

Вообще-то я не припомню, чтоб дядя Родни делал дела с мужчинами, но раз он стал работать в Давильной компании, так, может, пришлось. Опять же он сам мне сказал, что я их тут никого не знаю, про это, небось, и говорил.

— Он сказал быть на углу через десять минут, — сказал я. — И забрать все драгоценности.

Это он сказал мне два раза повторить. Забери все драгоценности.

Леди билась, как полоумная, и хлюпала-заходилась, и он меня, наверно, затем и выпустил, чтоб держать ее обеими руками.

— Забери все драгоценности, — сказал он, ухватив теперь леди обеими руками. — Неплохо придумано. Здорово. Это он правильно тебе сказал, чтоб ты повторил два раза. Ладно. Иди обратно на угол, подожди его там, а подъедет — скажешь: «Она говорит, приходи, помоги нести». Это ты ему тоже два раза повтори. Понял?

— И я тогда получу двадцать четвертаков, — сказал я.

— Всего-то двадцать четвертаков? — сказал тот дядька, а леди не выпускал. — Это всего-то тебе и обещано? Это пустяки. Ты ему тогда скажи еще: «Она говорит, чтоб ты дал мне что-нибудь из драгоценностей». Понял?

— Зачем, мне бы мои двадцать четвертаков, — сказал я.

Потом они с леди опять куда-то делись за кусты, а я пошел себе обратно на угол и опять посмотрел на римские свечи и ракеты из города, послушал, как шутихи хлопают, а тут и пролетка вернулась, и дядя Родни снова зашептал сквозь занавески,

вроде как раньше из-за досок на мэндином окне.

— Ну? — сказал он.

— Она говорит, приходи, помоги нести, — сказал я.

— Что? — сказал дядя Родни. — Он дома, она не сказала?

— Никак нет, сэр. Она сказала, что приходи, помоги нести. И чтоб я два раза повторил. — Потом я сказал: а где мои двадцать четвертаков? — потому что он уже выпрыгнул из пролетки и скакнул с дорожки в темень, под кусты. Я тоже пошел под кусты и сказал:

— Ты сказал, что дашь мне…

— Хорошо, хорошо! — сказал дядя Родни. Он чуть не на карачках под кустами пробирался; я слышал, как он дышит. — Завтра получишь. Завтра получишь тридцать четвертаков. А пока что катись к дьяволу домой. И если они побывали у Мэнди в домике, то ты про меня ничего не знаешь. Беги отсюда. Быстро!

— Мне бы лучше сегодня мои двадцать, — сказал я.

Он быстро-быстро пробирался под кустами, а я от него не отставал, он тогда назад крутнулся, чуть меня не схватил. Только я вовремя отскочил из кустов; он остался на месте и ну меня крыть,

потом нагнулся, и я смотрю — палку поднял, я повернулся — и бежать. А он дальше заторопился, и все жался к кустам, а я тогда пошел, встал у пролетки, потому что мы на другой день после рождества уедем в Джефферсон, и если дядя Родни до тех пор не обернется, я его раньше лета не увижу, а он тогда, небось, будет делать дела с другой уже леди, и плакали мои двадцать четвертаков, как тот никель, когда миссис Такер была нездоровая. Ну, я и стал ждать у пролетки, смотрел на ракеты и римские свечи и слушал, как в городе шутихи хлопают, только уж теперь было поздно, наверно, все магазины закрыты, и дедушке подарка не купишь, даже если дядя Родни вернется и отдаст мне мои двадцать четвертаков. Стою себе, слушаю шутихи и думаю, а может, мне сказать завтра дедушке, что я ему хотел купить подарок, может, он мне все-таки даст пятнадцать центов заместо десяти, и тут вдруг как начали хлопать шутихи у самого дома, куда дядя Родни пошел. Одну за другой пять шарахнули, и снова тихо, а я подумал, ну, сейчас выдадут, наверно, ракеты, а может, и римские свечи. Нет, не выдали. Хлопнули разом пять шутих, и все. Я стал дальше ждать у пролетки, а потом народ кругом из домов посыпал и давай чего-то кричать; смотрю, а все

бегут к дому, куда дядя Родни пошел, а какой-то выскочил оттуда со двора и побежал по улице в дедушкину сторону, я даже подумал сперва, что это дядя Родни пролетку забыл, потом вижу — не он.

А дядя Родни все никак не возвращался, и я тогда пошел во двор, где люди собрались, пролетку все равно ведь и оттуда видно, увижу, если дядя Родни из кустов вынырнет; пошел я, значит, во двор, а там мне навстречу шесть человек несут чего-то длинное, еще двое подскочили, хвать меня, и один говорит: вот черт, это же ихний малыш, тот, джефферсонский. И я тогда разглядел, что несли-то оконный ставень, а на нем не понять что в одеяло завернуто, и я сперва даже подумал, что они все пришли помогать дяде Родни нести драгоценности, только дяди Родни было что-то не видать, и один, который нес, сказал:

— Кто? Из малышей? Вот черт, заберите его кто-нибудь отсюда домой.

И меня один дядя взял на руки, только я сказал, что мне надо дожидаться дядю Родни, а он сказал, что дядя Родни теперь без меня обойдется, а я ему: да нет, мне же его здесь вот надо ждать, и сзади кто-то сказал: проклятье, да уведите же его, и мы пошли. Я ехал у дяди на шее, а луна хорошо

светила, я оборачивался и видел, как шесть человек несут за нами ставень с большим свертком, и я сказал: это для дяди Родни? — а дядя мне, что трудно сказать, для кого это, скорее для дедушки. И тут я сразу догадался.

— Это говяжий бок, — сказал я. — Вы его дедушке несете.

Тут один дядя фыркнул, не то поперхнулся, а на котором я ехал, сказал, что в общем, да, говяжий бок или вроде того, а я тогда сказал:

— Это дедушке подарок к рождеству. А от кого? Это от дяди Родни?

— Нет, — сказал дядя. — Не от него. Скорее, пожалуй, от мотстаунских мужчин. От всех мотстаунских мужей.

VI

Потом стало еще издали видно дедушкин дом. Всюду горел свет, даже на крыльце, и я увидел, что в передней полно народу, всякие разные леди в шалях, а еще другие шли по дорожке к крыльцу, и я услышал, что в доме, похоже, кто-то поет, и тут папа вышел к воротам как раз когда мы подошли, дядя спустил меня на землю, а Рози, оказывается, тоже ждала *у* ворот. Только это было никакое

не пение, раз музыки не было, это, небось, тятя Луиза опять в слезы ударилась, ей, видно, на пару с дедушкой разонравилось рождество.

— Это дедушке подарок, — сказал я.

— Да, — сказал папа. — Иди с Рози и ложись спать. Мама скоро тоже к тебе придет. А ты пока веди себя хорошо. Слушайся Рози. Ладно, Рози. Забирай его. Побыстрее.

— Сама знаю, что побыстрей, — сказала Рози. Она взяла меня за руку. — Пойдем.

Только мы не во двор, а Рози вышла из ворот, и мы пошли по улице. Я подумал, может, мы хотим в обход к заднему крыльцу, чтоб не через людей, а мы, оказывается, не хотели. Мы шли и шли по улице, и я спросил:

— Куда это мы идем?

А Рози сказала:

— Мы будем спать в доме у одной леди, такая миссис Джордон.

И мы пошли дальше. Я помалкивал. Папа-то меня забыл спросить, чего это я из дому смотался, и лучше-ка я пойду потихоньку спать, может, он и завтра не припомнит. А главное дело, надо будет как-нибудь сыскать дядю Родни и забрать у него мои двадцать четвертаков, пока мы не уехали, ну, ничего, подождем до завтра, может, повезет. Мы

шли-шли, и потом Рози сказала: вот он и дом, — и мы зашли во двор, а тут вдруг Рози увидела опоссума. Он сидел на персиммоновом дереве во дворе у миссис Джордон, а луна хорошо светила, и мне его тоже стало видно, и я закричал:

— Беги! Беги возьми лестницу у миссис Джордон!

А Рози сказала:

— Какую тебе еще лестницу! Сейчас же спать!

А я ждать не стал. Я как припустился к дому, а Рози бежала за мной и кричала: Эй, Джорджи! А ну, стой! — а я бежал и не останавливался. Сейчас достанем лестницу, поймаем опоссума и подарим его дедушке напридачу к говяжьему боку, даже и десять центов не надо тратить, а дедушка, наверно, мне тоже даст четвертак, еще двадцать я получу от дяди Родни, и станет у меня двадцать один четвертак, вот будет здорово.

Три купальщика и йельский выпускник
Уильям Сароян

Большую часть года в протоках воды не было, но уж если была, они прямо кипели. Вскипали они, когда стаивал снег в горах, и, откуда ни возьмись, приплывали лягушки и черепахи, водяные змеи и рыбы. Что ни год, по весне клокотала вода и начинало колотиться сердце, но потом зеленые поля становились бурыми, цветы — плодами, робкая теплынь — немилосердной жарой, и протоки стихали, а сердце унималось. Первый проливень с гор был холодный, быстрый и неприветливый: ледяная вода очень спешила, ей некогда было купать голых мальчишек.

Так что мальчишка, бывало, стоял один или с дружками возле протоки и провожал глазами мчащуюся воду, стоял-стоял, а потом, раззадорившись, сбрасывал одежду, с разгону нырял, выныривал, отфыркивался и переплывал протоку. За первым ныряльщиком вскоре следовали другие — не возвращаться же им домой с позором! Холодно-то оно было холодно, но главное

не в этом; главное, что воде было не до мальчишек. Такой неприветливой вешней воды свет не видывал.

Как-то в апреле отправились мы на Томпсонову протоку с двоюродным братом Мурадом и его дружком Джо Беттенкуром, португальцем, которому в жизни надо было только, чтоб его оставили в покое и отпустили гулять. В классе Джо глупел: ему было как-то не по себе. Но чуть из школы, за школьной оградой, он становился толковым, открытым, шутливым, непринужденным и добродушным, дай Бог всякому. Как говорил Мурад, Джо никакой не глупый — просто ему школа не требуется.

Стояло ясное субботнее утро. У каждого из нас было по два бутерброда с сосисками и десять центов денег на всех. Мы решили идти к протоке пешком, чтоб добраться к полудню, в самое тепло. Шли мы сначала по шпалам до Кальвы. Потом по шоссе до Малаги. А там к востоку через виноградники до самой протоки. Томпсоновой протокой у нас называлось одно такое место на перекрестке проселочных дорог: там был деревянный мост с водоспуском. Купались мы к югу от моста. На западном берегу протоки был большой огороженный выгон, где паслись коровы и лошади. Вдоль

восточного берега много миль шла проселочная дорога. Поток бежал к югу, и до следующего моста было две мили. Летом считалось, что не купался, если не проплывешь от моста до моста, не посидишь на лугу и не вернешься вплавь против течения, для полной разминки.

Пока мы дошли до Томпсоновой протоки, утро потускнело и пасмурно насупилось: явно собиралась гроза. Вода в протоке клокотала, серое небо чернело и чернело, потянуло жестким холодом, и все стало беспросветно и неприютно.

Джо Беттенкур сказал:

— Я столько прошел не просто так, а поплавать — и дождь не дождь, а плавать буду.

— Ну и я буду, — сказал я.

— Ты-то уж не суйся, — сказал мой двоюродный брат Мурад. — Сначала мы с Джо проверим, можно тебе или нет. Ты плавать-то правда умеешь?

— Иди ты, — сказал я.

Так я всегда говорил, если мне казалось, что меня кто-нибудь ненароком обидел.

— А все-таки, — переспросил Джо, — умеешь?

— Еще бы не уметь! — сказал я.

— Его спроси, — сказал мой братан Мурад, — так он все умеет. Все лучше всех.

И оба они не знали, до чего же я не был уверен,

что умения моего хватит, чтобы нырнуть и переплыть холодный бурливый поток. По правде говоря, при виде этой черной клокочущей воды меня одолевали страх, задор и обида.

— Иди ты, - сказал я воде.

Я вытащил и надкусил бутерброд, а Мурад хлопнул меня по руке, так что я чуть не уронил бутерброд в воду.

— Сплаваем, тогда будем есть, - сказал он. - Ты чего, судороги захотел?

Про это я начисто забыл - так меня одолевали задор и страх.

— Подумаешь, - сказал я, - от одного бутерброда судорог не бывает.

— Сплаваем - вкуснее покажется, - сказал Джо.

Он был очень добрый парень. Он знал, что я трушу, и понимал, что храбрюсь. А я знал, что и он побаивается, но понимал, что соображает он получше моего.

— Ладно, - сказал он. - Переплывем, отдохнем, потом обратно, оденемся, закусим, а там, если гроза не пройдет, то и домой. Пройдет - еще поплаваем.

— Где ж она пройдет? - сказал мой братан Мурад. -Собрались плавать, так и давай: раз-два - и домой.

Тем временем Джо уже раздевался. Мой братан Мурад тоже стал раздеваться, и я за ним. Мы стояли нагишом на берегу и глядели на взбаламученный поток. Лучше бы, конечно, в него не нырять, но другого достойного пути в воду не было. Шагом входить - значит, какой же ты пловец! Прыгать солдатиком хоть и не совсем позорно, а все же не дело. А в воду уж так не тянуло, такая она была недобрая, взбаламученная и угрюмая. Правда, был в ней и какой-то вызов: из-за быстрого течения другой берег казался дальше, чем на самом деле.

Джо нырнул без разговоров. Не стал разговаривать и мой братан Мурад. Два всплеска, секунда-другая - мне они показались долгими днями, пригрезившимися в зимнем сне: мне ведь было не только страшно, а еще и очень холодно. Слов у меня на уме набралось с целую книгу, и со всеми этими словами на уме я нырнул.

Через три секунды, не больше, я услышал, как орет Джо, как мой братан Мурад орет и как я ору Оказывается, мы вляпались в ил по самые локти, еле-еле высвободились и каждый не знал, как там остальные. И все трое стояли, увязнув в грязи по колено, в клокочущей ледяной воде.

Ныряли мы с места; если б с разбега, то мы бы

зарылись в грязь головой вперед аж по щиколотки и проторчали бы там вверх ногами до лета, а то и дольше.

Так что мы немножко испугались, но все-таки были очень довольны, что остались в живых.

А пока мы так стояли, разразилась гроза.

— Уж теперь чего ж, - сказал Джо, - вылезай не вылезай, под дождь все равно попали. Можем побыть здесь еще немного.

Нас била дрожь, но, понятное дело, поплавать все- таки было надо. Глубины там и трех футов[26] не набиралось, но Джо исхитрился выпрыгнуть из грязи, сплавать на другой берег и вернуться тоже вплавь.

Плавали мы Бог знает сколько много времени, но, на верно, не больше десяти минут. Потом мы вылезли из илистой каши, оделись и, стоя под деревом, съели бутерброды.

Дождь не переставал, а, наоборот, зарядил еще сильнее, и мы решили идти прямо домой.

— Может, попутку схватим, - сказал Джо.

Но до самой Малаги на проселочной дороге не было ни души. В Малаге мы зашли в магазин, погрелись у печки, потом скинулись и купили

---

[26] Примечания: 26
Фут - около 30,5 сантиметра

банку бобов и батон. Хозяина магазина звали Даркус, хотя он был не иностранец. Он открыл банку, разложил бобы по трем картонным тарелкам, сунул нам каждому деревянную вилку и нарезал батон. По годам он был, наверно, старик, а с виду нет, и веселый.

— Где были, ребята? - спросил он.

— Плавали, - сказал Джо.

— Плавали? - спросил он.

— Ну да, - сказал Джо, - открывали сезон на реке.

— Да чтоб меня окучили! - сказал бакалейщик. - Ну и как?

— И трех футов не будет, - сказал Джо.

— А вода холодная?

— Ледяная.

— Да чтоб меня удобрили! - сказал бакалейщик. -Повеселились?

— Как? - спросил Джо у моего братана Мурада. Джо сам не брался решать, повеселились мы или как.

— Уж и не знаю, - сказал мой братан Мурад. - Мы, когда нырнули, увязли в грязи по локоть.

— Выбирались-выбирались из грязи, - сказал я.

— Да чтоб меня подстригли! - сказал бакалейщик. Он открыл вторую банку бобов, отправил

себе в рот вилку с верхом, а остальное разложил по трем картонным тарелкам.

— А у нас больше денег нет, - сказал я.

— Вы мне лучше скажите, ребята, - сказал бакалейщик, -зачем вам это понадобилось?

— Ни за чем, - отрезал Джо со всей решительностью, потому что все сходу не перечислишь, а рот его был набит бобами и батоном.

— Да чтоб меня сложили ворохом и запалили! - сказал бакалейщик. - А ну, ребята, давай говори: вы из каких будете? Калифорнийцы или иностранцы?

— Мы тут все калифорнийцы, - сказал Джо. - Я родился во Фресно на Джи-стрит[27]. Вон Мурад, тот родился на Ореховой авеню или там неподалеку, в общем, по ту сторону Южной Тихоокеанской железной

дороги, а его братан тоже где-то такое по соседству.

— Да чтоб меня оросили! - сказал бакалейщик. - Ладно, ребята, а ну, говори, какое у вас образование?

— А мы необразованные, - сказал Джо.

---

[27] Примечания: 27
В США улицы городов иногда называются буквами алфавита

— Да чтоб меня сорвали с дерева и уложили в ящик! -сказал бакалейщик. - Давай тогда говори, ребята, какие знаете иностранные языки.

— Я говорю на португальском, - сказал Джо.

— Ах, вот ты какой необразованный! - сказал бакалейщик. - У меня, милый мой, диплом Йельского университета, и то я не говорю на португальском. А ты, сынок, твои как дела?

— Могу по-армянски, - сказал мой братан Мурад.

— Да чтоб меня срезала с лозы и съела ягодку за ягодкой девушка во цвете юных лет! - сказал бакалейщик. - Я не знаю по-армянски ни слова, а ведь я выпускник 1892 года. Ну, теперь ты, сынок, - сказал он.

— Тебя как зовут?

- Арам Гарогланьян, - сказал я.

— Сейчас попробуем, может, и выйдет, - сказал он. - Гарогланьян. Вышло?

— Вышло, - сказал я.

— Арам, - сказал он.

— Точно, сэр, - сказал я.

- А ты на каком неслыханном иностранном языке можешь разговаривать? - спросил он.

— Я тоже могу по-армянски, - сказал я. - Это мой двоюродный брат - Мурад Гарогланьян.

— Да чтоб меня окучили! - сказал он. - Чтоб меня удобрили, подрезали, собрали ворохом, запалили, сорвали с дерева и что там еще? А, ну да, сложили, кажется, в ящик, а еще чтоб меня срезала с лозы и съела ягодку за ягодкой девушка во цвете юных лет! Рептилии не попадались?

— Кто такие рептилии? - спросил Джо.

— Ну, змеи, - сказал бакалейщик.

— Не видали, - сказал Джо. - Вода была черная.

— Ага, черная, значит, вода, - сказал бакалейщик. -А рыбы?

— Не видали, - сказал. Джо.

У магазина остановился «форд», оттуда вылез старик, взошел на дощатое крылечко и появился перед нами.

— Открой-ка мне бутылку, Эббот, - сказал он.

— Судья Хармон, - сказал бакалейщик, - познакомьтесь, пожалуйста, с тремя доблестными калифорнийцами, гражданами нашего великого штата.

Бакалейщик показал на Джо, и Джо сказал:

— Джозеф Беттенкур - говорю на португальском.

— Стивен Л. Хармон, - сказал судья. - Немного умею по-французски.

— Мурад Гарогланьян.

— А ты по-каковски умеешь?

— По-армянски, - сказал мой братан Мурад.

Бакалейщик подал судье открытую бутылку, тот вскинул ее к губам, сделал три глотка, ударил себя в грудь и сказал:

— Горжусь, горжусь и горжусь, что встретил калифорнийца, который знает по-армянски.

Бакалейщик указал на меня.

— Арам Гарогланьян, - сказал я.

— Братья, что ли? - спросил судья.

— Двоюродные, - сказал я.

— Один черт, - сказал судья. - Ну, Эббот, может, ты расскажешь мне, в честь чего это ты пируешь и отчего у тебя поэтический подъем, чтоб не сказать - восторг?

— Ребята только что открыли сезон на речке, - сказал бакалейщик.

Судья глотнул еще три раза, ударил себя в грудь с расстановкой и спросил:

— Что открыли? Где?

— Искупались и поплавали, - сказал бакалейщик.

— Никого не лихорадит? - спросил судья.

— Лихорадит? - удивился Джо. - Мы не какие-нибудь больные.

Бакалейщик разразился хохотом.

— Больные? - сказал он. - Больные? Судья, эти парни ныряли голышом в черную зимнюю воду и вынырнули словно в теплом сиянии лета.

Мы доели бобы и батон. Нам хотелось пить, но было непонятно, как бы удобнее попросить воды. То есть мне это было непонятно, а Джо, видать, пошел напролом.

— Мистер Эббот, - сказал он, - а можно у вас воды выпить?

— Воды? - изумился бакалейщик. - Воды, друг мой? Воду не пьют, в воде плавают.

Он достал три картонных стаканчика, подошел к бочонку с краном, отвернул его и наполнил стаканы золотистым напитком.

— Вот, ребята, - сказал он, - Пейте. Пейте дивный сок золотого яблока, не оскверненный алкоголем.

Судья налил бакалейщику из своей фляги, поднес ее к губам и сказал:

— Ваше здоровье, джентльмены.

— И ваше, сэр, - сказал Джо.

Мы все выпили.

Судья завинтил флягу, запихнул ее в задний карман, внимательно оглядел каждого из нас, точно запоминая на остаток жизни, и сказал:

- Итак, до свидания, джентльмены. Заседание

суда открывается через полчаса. Нужно рассудить одного голубчика, который говорит, что одолжил, а вовсе не украл лошадь. Он умеет по-мексикански. А другой, который говорит, что лошадь украдена, тот может по-итальянски. Счастливо.

— Счастливо, - сказали мы.

К этому времени мы почти просохли, но дождь не перестал.

— Да, - сказал Джо, - ну что ж, спасибо, мистер Эббот. Нам пора домой.

— Что вы, что вы! - сказал бакалейщик. - Это вам спасибо.

Он как-то странно примолк: ведь минуту-другую назад слова из него так и сыпались.

Мы молчком вышли из магазина и зашагали по шоссе. Дождь накрапывал, но совсем слегка. Мне все было не очень понятно. Заговорил Джо.

— Этот вот мистер Эббот, - сказал он, - он, вообще-то, не какой-нибудь.

— На вывеске написано «Даркус», - сказал я. - Эббот -его так зовут, а не фамилия.

— Зовут, фамилия... Какая разница? - сказал Джо. - Он, в общем, человек что надо.

— Судья тоже человек первый сорт, - сказал мой братан Мурад.

— Образованный, - сказал Джо. - Я бы и сам выучил французский, только с кем разговаривать?

Мы молча шли по шоссе. Потом вдруг темные облака разошлись, проглянуло солнце и на востоке над Сьерра-Невадой раскинулась радуга.

— А что, мы и правда открыли сезон на той реке, - сказал Джо. - Он, может, все-таки тронутый?

— Не знаю, - сказал мой братан Мурад.

До дому мы добирались еще добрый час. И все думали о тех двоих и о том, как бакалейщик - не тронутый ли? Я-то думал, что нет, и все-таки: если не тронутый, то как же его понять?

— Пока, - сказал Джо.

— Пока, - сказали мы.

И он свернул на свою улицу. А ярдов через пятьдесят обернулся и сказал что-то чуть ли не себе под нос.

— Что? - крикнул мой братан Мурад.

— Ну да, - сказал Джо.

— Чего «ну да»? - крикнул я.

— Тронутый! - прокричал Джо.

— Да? - крикнул я в ответ. - Откуда знаешь?

— Как это тебя срежет с лозы и съест ягодку за ягодкой девушка в цвете юных лет? - прокричал Джо.

— Ну и тронутый! - крикнул мой братан Мурад.

- Ну и что?

Джо взялся за подбородок и задумался. Солнце сияло теперь вовсю, и мир был полон света.

— Нет, по-моему, он не тронутый! - крикнул Джо. И пошел по своей улице.

— Да какой же, если не тронутый? - сказал мой братан Мурад.

— Знаешь, - сказал я ему, - может, он это не всегда. Мы решили оставить пока так: вот сходим еще поплаваем, побываем в магазине и поглядим.

Через месяц, наплававшись в протоке, мы все трое пошли в магазин, а там был продавец молодой, не то что Эббот Даркус. Но тоже не иностранец.

— Что прикажете? - спросил он.

— На никель[28] сосисок, - сказал Джо, - и батон.

— А где мистер Даркус? - спросил мой братан Мурад.

— Уехал домой, - сказал парень-продавец.

— Куда это? - спросил я.

— Вроде куда-то в Коннектикут, - сказал парень.

Мы положили сосиски на ломти батона и при-

---

[28] Примечания: 28

' Никель *(разг)* - мелкая монета стоимостью пять центов

нялись есть. Наконец Джо взял и спросил:

— Он был тронутый?

- Ну, в общем, - сказал этот парень, - так прямо не скажешь. Я было сначала думал - тронутый. А потом решил - нет. Как он вел торговлю, так подумаешь, что тронутый. Он раздавал больше, чем продавал. И послушать его разговор - так опять же вроде тронутый. А в остальном ничего.

— Спасибо, - сказал Джо.

В магазине все было на местах, все как следует, скучно смотреть. Мы вышли и отправились домой.

— Этот тронутый, вот кто, - сказал Джо.

— Кто? - сказал я.

— Ну, парень, который сейчас торгует, - сказал Джо.

— Этот, молодой-то? - удивился я.

— Ну да, этот, - сказал Джо. - Который торчит в магазине безо всякого образования.

— Похоже, ты верно говоришь, - сказал мой братан Мурад.

И всю дорогу домой мы припоминали того, образованного бакалейщика.

— Да чтоб меня удобрили, - сказал Джо, расставаясь с нами и сворачивая на свою улицу

— Да чтоб меня сорвали с дерева и уложили в

ящик, -сказал мой братан Мурад.

— Да чтоб меня срезала с лозы и съела ягодку за ягодкой девушка во цвете юных лет, - сказал я.

В общем, он был человек что надо, это точно. А через двадцать лет я решил, что он был поэтом и держал бакалейный магазин в захолустной деревушке не ради грошовой выгоды, а в поисках радостей, какие, может быть, подарит жизнь.

Локомотив 38 из племени оджибуэев
Уильям Сароян

Как-то в наш городок приехал человек верхом на осле и начал околачиваться возле библиотеки, где я тогда пропадал почти безвылазно. Это был высокий молодой индеец из племени оджибуэев. Он сказал мне, что зовут его Локомотив 38. В городе все думали, что он сбежал из приюта для умалишенных.

Через шесть дней осел его угодил на Туларе-стрит под трамвай, а еще днем позже издох, должно быть, от внутренних повреждений, на *углу* Марипоза и Фултон-стрит. Он рухнул на мостовую, придавив ногу индейцу, застонал и издох. Индеец выпростал ногу, встал, прохромал в аптеку на углу и позвонил по междугородной. Звонил он брату в Оклахому. Разговор этот влетел ему в копеечку: он побросал уйму монет в какую нужно прорезь, будто ему было не привыкать звонить.

Я в это время был в аптеке, ел Особый Королевский Банан с ореховой присыпкой.

А он вышел из телефонной будки и увидел, что

я сижу возле стойки с газировкой и ем изысканную снедь.

— Привет, Вилли, - сказал он.

Он знал, что меня зовут не Вилли, просто ему нравилось так меня называть.

Он прохромал к отделу, где продавалась жвачка, купил три пакетика «Смачной Фруктовой», приковылял обратно ко мне и спросил:

— А ты чего это ешь, Вилли? С виду вкусно.

— У них это называется Особый Королевский Банан, -сказал я.

Индеец уселся на соседний табурет.

— Мне то же самое, что ему, - сказал он газировщице.

— Вон какая беда приключилась с вашей животиной, -сказал я.

— Животным в этом мире не место, - сказал он. - Как ты думаешь, какую машину мне покупать?

— А вы собираетесь покупать машину? - удивился я.

— Вот уже минут пять об этом думаю, - сказал он. - А я-го думал, у вас никаких денег нет, - сказал я. - Я думал, вы бедняк.

— Так многим кажется, - сказал он. - И еще кажется, что я полоумный.

— Нет, мне не казалось, что вы полоумный,

- сказал я, -но что вы богатый, этого мне тоже не казалось.

— Вот, а я богатый, - сказал индеец.

— Хотел бы я быть богатым, - сказал я.

— Зачем? - спросил он.

— Ну как, - сказал я, - я, например, уже три года подряд собираюсь съездить на рыбалку в Мендоту, и мне нужна кой-какая снасть и какой-нибудь автомобиль, чтоб дотуда доехать.

— А ты умеешь водить автомобиль? - спросил индеец.

— Я все умею водить, - сказал я.

— А ты когда-нибудь водил автомобиль? - спросил он.

— Пока нет, - сказал я. - Пока что у меня своего автомобиля нет, а угонять чужие мне мама еще в детстве запретила.

— По-твоему, значит, ты как сядешь за руль, так и поедешь? - спросил он.

— Конечно, - сказал я.

— Помнишь, **что** я тебе говорил недавно вечером на крыльце библиотеки?

— Насчет машинного века, что ли? - спросил я.

— Да, - сказал он. — Помню, - сказал я.

— Так вот, - сказал он. - Индейцы отроду умеют ездить верхом, грести, охотиться, рыбачить и

плавать. Американцы же отроду умеют управляться с машинами.

— Я не американец, - сказал я.

— Я знаю, - сказал оджибуэй. - Ты армянин. Я помню. Я тебя спрашивал, ты мне говорил. Ты армянин, а родился в Америке. Тебе четырнадцать лет, а ты уже знаешь, что стоит тебе сесть за руль - и ты поведешь машину. Ты самый настоящий американец, хотя и смуглый, вроде меня.

— Эко дело - машину водить, - сказал я. - Чего тут уметь? На осле и то ездить труднее.

— Хорошо, - сказал индеец. - Пусть будет так. Если я сейчас пойду куплю автомобиль, ты будешь меня в нем возить?

— Само собой, - сказал я.

— Сколько ты рассчитываешь получать? - спросил он. - Вы, что ли, хотите мне деньги платить за езду в машине? - не понял я.

— Само собой, - сказал он.

— Ну, это, конечно, спасибо, - сказал я, - только я с вас денег за езду в машине не возьму

— Могут быть далекие поездки, - сказал он.

— Чем дальше, тем лучше, - сказал я.

— Ты такой непоседа? - спросил он.

— Всю жизнь прожил в этом городишке, - сказал я.

— Он тебе не по душе?

— Мне по душе горы, стремнины и горные озера, - сказал я.

— А ты бывал в горах? - спросил он.

— Пока нет, - сказал я, - но уж как-нибудь доберусь и до гор.

— Понятно, - сказал он. - Как ты думаешь, какую машину мне покупать?

— Ну, может, «форд» с кузовом? - предложил я.

— Это что, самый лучший автомобиль? - спросил он.

— А вы хотите самый лучший?

— Как же иначе? - удивился он.

— Тогда не знаю, - сказал я. - Самый лучший денег стоит.

— А какой самый лучший? - спросил он.

— Ну как, - сказал я, - некоторые считают, что самый лучший - «кадиллак». А другие - что «паккард». В общем, и тот и другой ничего себе. Я даже не знаю, который лучше. «Паккард» на шоссе - это настоящая красота, но и «кадиллак» тоже красивый. Я уж их там навидался, этих классных автомобилей.

— Сколько стоит «паккард»? - спросил он.

— Тысячи три долларов, - сказал я. - С хвостиком.

— Его можно сразу купить? - спросил он.

Я даже с табурета соскочил. Послушать - просто полоумный, но я-то знал, что нет.

— Слушайте, мистер Локомотив, - сказал я, - вы и правда собираетесь вот так сразу купить «паккард»?

— Ты же знаешь, что мой осел только что издох, - сказал он.

— Ну да, видел, - сказал я. - Сейчас вот вас возьмут и арестуют за то, что вы его бросили на дороге.

— Нет, не арестуют, - сказал он.

— Как не арестуют, раз есть закон, что нельзя бросать на улице дохлых ослов? - не поверил я.

— Все равно не арестуют, - сказал он.

— Это почему же? - спросил я.

— Видишь ли, - сказал он, - потому не арестуют, что я им покажу бумажки, которые всегда при мне. Тут у вас люди очень уважают деньги, а у меня как раз уйма денег

«Да нет, он все-таки полоумный», - подумал я.

— Какие-такие у вас деньги? - спросил я его.

— У меня земля в Оклахоме, - сказал он. - Примерно пятьдесят тысяч акров.

— И что, она такая дорогая? - спросил я.

— Да нет, - сказал он. - Совсем ничего не стоит,

кроме двадцати акров. Там, на двадцати акрах, нефтяной источник. Владеем на пару с братом.

— А как это вышло, что вы, оджибуэи, добрались до Оклахомы? - спросил я. - Я всегда думал, что оджибуэи живут на севере, где-то там, за Великими Озерами.

— Правильно думал, - сказал индеец. - Мы так и жили за Великими Озерами, но у меня дедушка стал разведывать новые земли. Все пошли на запад, и он тоже пошел.

— А а... - сказал я. - Ну, тогда, может, к вам и не будут приставать насчет дохлого осла.

— Ко мне вообще не будут приставать, - сказал он. -И даже не потому, что у меня есть деньги. Нет, а потому, что все думают, что я полоумный. Кроме тебя, в городе никто не знает, что у меня есть деньги. А где прямо сейчас купить автомобиль - это ты знаешь?

— «Паккарды» продают у нас на Бродвее, два квартала за библиотекой, - сказал я.

— Хорошо, - сказал он. - Раз ты твердо согласен быть моим шофером, пойдем купим машину. Какую-нибудь поярче, - сказал он. - Если у них есть красные, то красную. Куда ты хочешь съездить для начала?

— Как, если съездим на рыбалку в Мендоту?

- спросил я.

— Ладно, поедем, - сказал он. - Погляжу, как ты рыбачишь. Где нам купить тебе снасть?

— Тут за углом, у Хомэна, - сказал я.

Мы пошли за угол к Хомэну, и оджибуэи накупил для меня рыболовной снасти на двадцать семь долларов. Потом мы отправились на Бродвей покупать «паккард». Красного « паккарда» у них не оказалось, зато был зеленый, очень красивый. Такой бледно-зеленый, как молодая травка. Дело было в 1922 году; чудная, шикарная спортивная модель.

— И по-твоему, ты сможешь править этой здоровенной машиной? - спросил индеец.

— Не по-моему, а точно смогу, - сказал я.

Когда мы выбирали «паккард», явилась полиция и хотела арестовать индейца за то, что посреди улицы валяется дохлый осел. Он показал им бумаги, про которые говорил мне, - полиция извинилась и удалилась. Они сказали, что сами уберут осла и очень извиняются за беспокойство.

— Никакого беспокойства, - сказал он.

И повернулся к заведующему городским агентством Паккарда Джиму Льюису, который на всех выборах понапрасну баллотировался в мэры.

— Я беру эту машину, - сказал он.

— Сейчас выправлю все бумаги, - сказал Джим.

— Какие еще бумаги? - отрезал индеец. - Я плачу всю сумму сполна.

— То есть как - три тысячи двести семнадцать долларов шестьдесят пять центов наличными? - не понял Джим.

— Да, - сказал индеец. - На нем ехать можно или нет?

— Конечно, конечно, - сказал Джим. - Сейчас велю ребятам, они пройдутся ветошкой, оботрут пыль. Мотор тоже проверят и зальют бензин. За десять минут справятся. Пройдите, пожалуйста, в контору, мы тут же все оформим.

И Джим с индейцем прошли в контору.

Минуты через три Джим выкатился сам не свой.

— Арам, - сказал он, - что это за тип? Я было подумал, трёхнутый, и велел Джонни позвонить в справочную Тихоокеанского Юго-Западного банка, а там сказали, что ему делают перечисление из Оклахомы. А на счету у него, сказали, миллион с лишним. Я-то думал, он трёхнутый. Ты его знаешь?

— Он говорит, его зовут Локомотив 38, - сказал я. -Таких имен не бывает.

— Так переводится его индейское имя, - сказал

Джим. -у нас в контракте оно записано полностью. Так ты его знаешь?

— Ну, я с ним каждый день разговаривал с тех пор, как он приехал в город на осле, который сдох нынче утром, -сказал я. - Только я в жизни не подумал бы, что у него есть деньги.

— Он говорит, ты к нему нанялся в шоферы, - сказал Джим. - И что же, сынок, ты и правда думаешь, что тебе под силу водить такую здоровенную машину?

— Одну минуточку, мистер Льюис, - сказал я. - Вы уж мне везение не перебивайте. Я этот большущий «паккард» поведу не хуже любого другого у нас в городе.

— Да ничего я тебе не перебиваю, - сказал Джим. -Просто я не хочу, чтоб ты выехал отсюда и сходу сбил шесть или семь случайных прохожих, а потом угробил бы машину. Садись-ка за руль, я тебе покажу, как что на первый случай. Ты в переключенье-то хоть малость смыслишь?

— Я пока ничего ни в чем не смыслю, - сказал я, - но мигом разберусь.

— Ладно, ладно, - сказал Джим. - Вот давай-ка.

Я залез в машину и сел за руль. Джим сел рядом.

— Слушай меня, сынок, - сказал он, - и смотри

на меня, как на друга, который для тебя на все готов. Надо же тебя отблагодарить, что ты привел мне этого набитого деньгами индейца.

— Он мне сказал, что ему, мол, нужен самый лучший автомобиль, какой есть, - сказал я. - А ты же знаешь, мне всегда жуть как хотелось водить «паккард». Ну и как его водить?

— Это мы сейчас, - сказал Джим. И поглядел на мои ноги.

— Боже ты мой, сынок, - сказал он, - ты же ногами до педалей не достаешь.

— Это черт с ними, - сказал я. - Ты мне давай объясняй про переключение.

Джим объяснил мне все, пока ребята обтирали капот, проверяли мотор и наливали бензин. Когда индеец пришел и уселся в машину, на заднее сиденье, куда я ему велел, мотор тарахтел вовсю.

— Он говорит, что умеет водить машину, - сказал индеец Джиму Льюису. - Отроду, говорит, умеет. Я и не сомневаюсь.

— И не надо, насчет Арама не волнуйтесь, - сказал Джим. - Что другое, а править он умеет. А ну, разойдись, ребята! - крикнул он. - Дайте ему проезд!

Я медленно развернул здоровенный автомобиль, включил скорость и вылетел из ворот на

пятидесяти милях, а Джим Льюис бежал за нами и кричал:

— Легче, легче, сынок! Погоди до шоссе, а то в городе положено двадцать пять миль, не больше!

Индеец и глазом не моргнул, хотя я его протряс дай Боже.

Правда, не нарочно. Просто я еще пока не очень понимал, как вести машину

— Ты шофер хоть куда, Вилли, - сказал он. - Я же тебе говорил. Ты американец, значит, отроду готов управляться со всякой механической дребеденью.

— Через час будем в Мендоте, - сказал я. - Вот где увидите, как по-настоящему рыбу ловят.

— А далеко до Мендоты? - спросил индеец.

— Миль так девяносто, - сказал я.

— Девяносто миль за час - это чересчур, - сказал индеец. - Пусть через два часа. Мы по хорошим местам едем, и я хочу поглядеть по сторонам.

— Ладно, - сказал я, - только мне не терпится скорее туда приехать и ловить рыбу

— Тогда что ж, - сказал индеец. - На этот раз езжай как знаешь, но потом уж как-нибудь поезди медленнее, чтобы мне оглядеться. А то я ничего не вижу. Даже дорожные знаки и те мелькают.

— Да ладно, я и сейчас могу медленнее, если

хотите, -сказал я.

— Нет, нет, - возразил он. - Давай гони. Гони во всю прыть.

Так что мы приехали в Мендоту за час семнадцать минут.

Я бы, может, и быстрее приехал, только был большой прогон по грунтовой дороге.

Я подвел машину к самому берегу реки. Индеец спросил, не трудно ли мне откинуть верх: он, мол, хочет посидеть на открытом воздухе и поглядеть, как я рыбачу. Верх откидывать мне было трудновато, однако я его все же откинул. Минут за двадцать.

Рыбу я ловил три часа. В реку я упал два раза и наконец изловил одну рыбешку.

— Ты совсем не умеешь ловить *рыбу,* - сказал индеец.

— А что я не так делаю? - спросил я.

— Все не так, - сказал он. - Ты когда нибудь прежде рыбу ловил?

— Нет, - сказал я.

— Вот я и смотрю, - сказал он.

— Что я не так делаю? - спросил я.

— Да нет, - сказал он, - ничего особенного, только ты ловишь рыбу примерно на той же скорости, на какой гонишь автомобиль.

— А так не надо? - сказал я.

— Почему? Пожалуйста, - сказал он. - Только ты вряд ли что поймаешь и будешь все время падать в реку.

— Я не падаю, - сказал я. - Это они меня утаскивают. Жутко дергают леску И трава, опять же, ужасно скользкая. И кругом, между прочим, не за что схватиться.

Я кое-как выловил еще одну рыбешку и спросил его:

— Может, поедем домой?

Он сказал: пожалуйста, мое дело. И я уложил снасть и две рыбки, залез в машину и припустил назад.

Все лето, пока этот индеец из племени оджибуэев, Локомотив 38, оставался в нашем городе, я водил его длиннющий «паккард». А он как жил, так и жил в отеле. Я пробовал научить его ездить, но он говорил, что это уж совсем ни к чему. Я изъездил на этом «паккарде» всю Сан-Хоакинскую долину, а он мотался у меня за спиной и сжевывал за одну поездку восемь-девять пачек резинки. Он велел ездить, куда мне угодно, и я ездил то на рыбалку, то на охоту. Он говорил, что я ничего не смыслю ни в охоте, ни в рыбной ловле, но пусть я пробую, а он с удовольствием

посмотрит. Кажется, он ни разу не засмеялся. Нет, один раз было. Это когда я пальнул в зайца двенадцатым номером из дробовика с жуткой отдачей - и застрелил ворону. Он потом все время объяснял, что так мне и положено: метить в зайца, а попадать в ворону.

— Настоящий американец, - говорил он. - Поглядеть только, как вы слюбились с этой длинной машиной

Однажды в ноябре из Оклахомы приехал его брат, и на другой день, когда я пришел за ним в отель, мне сказали, что он вместе с братом уехал в Оклахому.

— А «паккард» где? - спрашиваю.

— На «паккарде» и уехали, - говорит отельный служащий

— А кто, - спрашиваю, - сел за руль?

— Индеец, - говорит служащий.

— Да они, - говорю, - оба индейцы. За руль-то который из них двоих сел?

— Который жил у нас в отеле, - говорит он.

— Уверен? - спрашиваю.

— Да нет, - говорит, - я только и видел, как он сел спереди и они отъехали. Вот и все.

— Это что же, он, выходит, знает переключение? - спрашиваю.

— Вроде бы да, - говорит тот. - С виду как есть шофер.

— Ну, спасибо, - сказал я.

По пути домой я соображал: может, ему хотелось, чтобы я думал, будто он не умеет водить машину, чтобы я, значит, ее водил и радовался?

Просто он был молодой человек, приехал в город на осле и одолевала его смертная скука, а тут подвернулся городской парнишка, которому тоже было скучно до смерти. Только так и можно было его понять - если, конечно, не думать, как все, что он полоумный.

Соль земли Фланнери О'Коннор

Всего у миссис Фримен было три выражения лица: наедине с собой — неопределенное, на людях — сопутствующее либо застопоренное. Обычно глаза ее упорно и неуклонно следовали за оборотом разговора, вдоль его осевой линии, как фары тяжелого грузовика. Застопоренное выражение появлялось редко, разве что ее напрямик заставляли брать слова назад, — и тогда лицо ее застывало, темные глаза едва заметно тускнели и миссис Фримен словно оборачивалась штабелем мешков с зерном: стоять стоит, а все равно что неживая. И ничего ей не втолкуешь, как ни старайся; да миссис Хоупвел и не старалась. Любые слова как об стену горох. Кто-кто, а уж миссис Фримен прямо-таки ни в чем не могла ошибиться. Она стояла на своем, и в самом лучшем случае из нее можно было вытянуть, что «оно, может, и так, если не эдак»; или же она приглядывалась к выставке пыльных бутылей наверху буфета и замечала: «Инжиру-то ишь летом наготовили, а все без толку».

Самые важные дела решались на кухне за завтраком. Поутру миссис Хоупвел вставала в семь и

включала отопление у себя и у Анжелы. Анжелой звали ее дочку, ширококостную блондинку с протезом вместо ноги. Ей было тридцать два года, и она окончила университет, но миссис Хоупвел все считала ее ребенком. Пока мать завтракала, Анжела вставала, ковыляла в ванную и хлопала дверью, а вскоре с черного хода являлась и миссис Фримен. Анжела слышала, как мать приглашает: «Да проходите же»; потом разговор шел вполголоса, из ванной не разобрать. К появлению Анжелы о погоде уже было переговорено, и обсуждались дочери миссис Фримен — Глайниз и Каррамэй. Анжела называла их Глицерина и Карамеля. Рыженькой Глайниз было восемнадцать, и женихи за ней ходили толпами; белобрысая Каррамэй в свои пятнадцать уже была замужем и ждала ребенка. Миссис Фримен каждое утро докладывала, сколько раз ее дочку вытошнило. Что ни съест, все выдает обратно.

Миссис Хоупвел любила всем рассказывать, какие Глайниз и Каррамэй прелестные девушки, а уж миссис Фримен — настоящая дама, и краснеть за нее нигде и ни перед кем не приходится. Потом сообщалось, как она в свое время случайно наняла Фрименов, а они ей ниспосланы свыше — бывают же подарки судьбы! — и живут у нее вот

уже четыре года. Срок нешуточный, а все потому, что не какое-нибудь отребье. Люди надежные. Она позвонила прежнему нанимателю насчет рекомендации: тот сказал, что мистер Фримен работать может, но жена у него — не приведи господь. «Ко всякой бочке затычка, всюду лезет, — сказал он. — Если не поспеет, пока пыль не улеглась, считайте, что ее и в живых нету. Дневать и ночевать будет в ваших делах. Сам-то он ничего, — сказал он, — но супругу его что я, что жена и минутой бы дольше не вытерпели». Так что миссис Хоупвел несколько дней помедлила.

В конце концов она их все-таки наняла, потому что выбора не было, но заранее в точности определила, как с миссис Фримен обходиться. Раз уж ей такая охота всюду лезть, ладно, решила миссис Хоупвел, пусть себе всюду лезет, даже и присмотрим, чтоб она чего не упустила — пусть за все отвечает, пусть будет ко всему приставлена. У самой миссис Хоупвел недостатков не было; зато она умела так распорядиться чужими, что все выходило как нельзя лучше. Словом, Фримены были наняты и работали у нее пятый год.

Одно хорошо, другое плохо. Это было первое излюбленное присловье миссис Хоупвел. Второе гласило: такова жизнь! Было и еще одно,

самое важное: что ж, сколько людей, столько мнений. Эти суждения она обычно высказывала за столом, мягко и убедительно, как бы делясь сокровенными мыслями; и грузная, нескладная Анжела, на лице которой постоянная озлобленность заслоняла все прочие выражения, чуть скашивала льдисто-голубые глаза с таким видом, будто ослепла усилием воли и прозревать не намерена.

Когда миссис Хоупвел говорила миссис Фримен, что такова жизнь, та отвечала: «А я что говорю». Что ни возьми, она все сама знала. Куда было до нее мистеру Фримену. Когда миссис Фримен с мужем только еще обживались на новом месте, миссис Хоупвел раз как-то сказала ей: «Ну, вы у нас все насквозь видите», — и подмигнула. Миссис Фримен отвечала: «А что. Я вообще догадливая. Это кому как дается».

— Каждому свое, — говорила миссис Хоупвел.

— Да почти что так, — говорила миссис Фримен.

— На нас свет клином не сошелся.

— А я что говорю.

Дочь привыкла, что такими разговорами приправляются все завтраки, тем более обеды, а бывало, что и ужины. Без гостей ели в кухне, на

скорую руку. Миссис Фримен всегда ухитрялась застать их с ложкой у рта, и доедать приходилось при ней. Летом она выстаивала в дверях, а зимой облокачивалась на холодильник и смотрела сверху вниз или пристраивалась к газовому радиатору, подобрав сзади юбку. Иной раз она прислонялась к стене и водила головой из стороны в сторону. Уходить она не торопилась. Миссис Хоупвел это порядком раздражало, но терпения ей было не занимать. Она знала, что одно хорошо, другое плохо и что зато ее Фримены — люди надежные, а уж если по нашим временам заполучишь надежных людей, той держись за них.

Со всяким отребьем она вдоволь намучилась. До Фрименов арендаторы у нее больше года не жили. Не таковы у них были жены, чтоб долго терпеть их бок о бок. С мужем миссис Хоупвел давно развелась, а обходить поля надо хотя бы вдвоем; приходилось кое-как уламывать Анжелу, и та отпускала грубости, строила кислые мины, и миссис Хоупвел наконец говорила ей: «Не можешь вести себя по-человечески, так и без тебя обойдусь», — а на это дочка становилась столбом и, угрюмо набычившись, отвечала: «Уж какая есть — не нравится, не надо».

Миссис Хоупвел не винила ее: ногу ведь то-

же не вернешь (а ногу случайно отстрелили на охоте, когда Анжеле было десять лет). Как-то у нее не укладывалось в голове, что девочке ее тридцать два и что она больше двадцати лет так и прожила с одной ногой. Лучше было считать ее ребенком, а то просто сердце разрывалось; ведь это ж подумать, что ей за тридцать, всякую фигуру потеряла, а до сих пор ни разу в жизни не потанцевала и не повеселилась — *нормально,* как положено девушке. Звали ее Анжела, но в двадцать один год она законным порядком переменила имя, благо была в чужих местах. Миссис Хоупвел ничуть не сомневалась, что она долго подыскивала себе самое дурацкое имя на свете. Слова матери не сказала, уехала и переменила; а какое было чудное имя — Анжела. Теперь по документам она была Хулга.

Миссис Хоупвел считала, что «Хулга» — вообще не имя, а какая-то несуразная ерунда: не то холка, не то втулка. Она дочь так не называла. Она по-прежнему говорила «Анжела», и та машинально откликалась.

Хулга притерпелась к миссис Фримен: по крайней мере не нужно теперь разгуливать с матерью. Даже беседы о Глайниз и Каррамэй можно снести, лишь бы ее не трогали. Сперва она думала,

что нипочем не уживется с миссис Фримен, раз ее не возьмешь никакой грубостью. Иногда миссис Фримен мрачнела и несколько дней подряд ходила надутая непонятно из-за чего; но прямые нападки, явная издевка, грубости в лицо — это ей все было как с гуся вода. В один прекрасный день она вдруг стала звать ее Хулгой.

При миссис Хоупвел она ее так не называла — та бы вспылила, — но если ей случалось встретить девушку где-нибудь во дворе, она тут же обращалась к ней, прибавляя: «Хулга», — и грузная, очкастая Анжела-Хулга хмурилась и краснела, словно ей в душу лезут. Кому какое дело до ее заветного имени. Сначала она облюбовала его только за грубость, а потом ее осенило: это же то самое, что ей нужно. Для нее имя звучало гулко, как удар молота в небесной кузне, где трудится потный, грубый Вулкан и куда по первому зову спешит его супруга Венера. Это имя было ее высшим жизненным свершением. Она несказанно торжествовала, что матери не удалось вылепить из нее ангелочка-Анжелу, и торжествовала еще больше, что сумела превратить себя в Хулгу. Однако оттого, что имя пришлось по вкусу и миссис Фримен, она только злилась. Казалось, будто колкие глазки миссис Фримен так и буравили ее,

добираясь до самого сокровенного. Чем-то она привлекала миссис Фримен; и однажды Хулга поняла, что ту притягивает ее искусственная нога. Миссис Фримен особенно интересовали всякие гнусные хвори, скрытые уродства, растление малолетних. Из болезней она предпочитала затяжные и безнадежные. Миссис Хоупвел не раз при Хулге рассказывала в подробностях о той злосчастной охоте — как ногу оторвало напрочь, а девочка даже сознания не потеряла. Миссис Фримен никогда не уставала про это слушать, словно дело было час назад.

Проковыляв утром на кухню (необязательно ведь так ужасно топать, а топала она назло, за это миссис Хоупвел поручилась бы), Хулга молча оглядывала их. Миссис Хоупвел — в красном кимоно, волосы накручены на тряпочки — доедала завтрак, а миссис Фримен, облокотясь на холодильник, нависала над столом. Хулга ставила на огонь кастрюльку с яйцами и стояла у плиты, скрестив руки, и занятая разговором миссис Хоупвел посматривала на нее краем глаза и думала, что девочка просто себя запустила, а так-то она вовсе и недурна собой. Лицо как лицо: к нему еще приятное выражение, так и совсем бы ничего. Миссис Хоупвел любила говорить, что иной, мо-

жет, красотой и не блещет, но если умеет видеть в жизни хорошее, то и сам хорошеет.

Посматривая так на Анжелу, она каждый раз огорчалась, что девочке взбрело на ум стать доктором философии. Проку ей от этого никакого не было, а теперь со степенью в университете уже делать нечего. Миссис Хоупвел считала, что затем девушкам и стоит учиться, чтобы покрутиться среди сверстников, но Анжела «доучилась до точки». А начинать все заново у нее сил бы не хватило. Доктора сказали миссис Хоупвел, что даже при самом заботливом уходе Анжела едва ли доживет до сорока пяти. У нее был органический порок сердца. Анжела говорила прямо, что, будь она поздоровее, она бы недолго любовалась на красноземные пригорки и простых надежных людей. А уехала бы читать лекции в каком-нибудь университете, где бы ее слушали люди с понятием. И миссис Хоупвел прекрасно представляла, как бы она вырядилась огородным пугалом и собрала себе очень подходящих слушателей. Она и тут-то разгуливала в заношенной юбке и желтом свитере с вылинявшим ковбоем. Она думала, что это забавно; а ничего забавного, просто глупо, не вышла из детского возраста — и все тут. Ума хоть отбавляй, а соображения ни на грош.

Миссис Хоупвел казалось, что дочка год от году все больше пыжится, грубит, заносится, ставит себя от всех особняком, того и гляди, вообще вид человеческий потеряет. А что за несусветицу она несла! Ни с того ни с сего вскочила раз посреди еды, красная, с набитым ртом, и огорошила собственную мать: «Ты! Да ты загляни внутрь себя! Загляни внутрь себя и *ничего* не увидишь! Господи! — вскрикнула она, тяжело опустилась на стул и уставилась в тарелку. — Мальбранш как в воду глядел: в нас и есть наш предел! В нас и есть наш предел!» Миссис Хоупвел так и не поняла, чего это она так разошлась. Она только заметила, в надежде хоть как-то повлиять на Анжелу, что иной раз и улыбнуться не мешает.

Философская степень дочери ставила миссис Хоупвел в полный тупик. Можно сказать: «Моя дочь медсестра», или «Моя дочь учительница», или даже: «Моя дочь инженер-химик». Но кому скажешь: «Моя дочь философ». Философией занимались в древности разные там греки-римляне. Анжела с утра усаживалась в глубокое кресло и весь день читала. Иногда она выходила погулять, но не жаловала ни собак, ни кошек, ни птичек, ни цветы, ни природу, ни достойных молодых людей. На достойных молодых людей она глядела

так, словно их глупость била ей в нос.

Однажды миссис Хоупвел подвернулась книга, которую дочка только что отложила; раскрыв наудачу, она прочла: «Наука, с другой стороны, призвана вновь и вновь отстаивать свою исконную трезвость и основательность, утверждай, что имеет дело лишь с данностью. Как же задано Ничто в мире науки? Оно задано как кошмар или фантазм. Всякая точная наука уточняет одно: что Ничто для нее не существует. Именно таково Ничто при строгом научном подходе. И мы верим науке и ничего не желаем знать про Ничто». Эти слова были подчеркнуты синим карандашом, и миссис Хоупвел они показались какими-то зловещими тарабарскими заклинаниями. Она поскорее захлопнула книгу и вышла из комнаты, поеживаясь, будто ее прохватило сквозняком.

В это утро Анжела вошла посреди разговора о Каррамэй.

— После ужина четыре раза вытошнило, — проговорила миссис Фримен, — и под утро два раза вскакивала. А вчера весь день в комоде рылась. Дел других нет. Торчит перед зеркалом и прикидывает, что на нее еще лезет.

— Надо, чтоб она ела, — заметила миссис Хоупвел, потягивая кофе и глядя в спину Анжелы,

стоявшей у плиты. Любопытно, о чем девочка толковала вчера с продавцом Библий; удивительное дело, как это ему удалось разговорить ее.

Накануне к ним забрел долговязый тощий парень, предлагал купить Библию. Он показался в дверях с большим черным чемоданом, тяжело кренившим его набок, и прислонился к косяку. Устал он, видимо, до полусмерти, однако весело воскликнул: «Доброе утро, миссис Кедрач!» — и опустил чемодан на коврик. Симпатичный паренек; костюм, правда, небесного цвета, а желтые носки совсем сползли; вдобавок и без шляпы. На лице его выдавались скулы, темно-русая прядь прилипла ко лбу.

— Моя фамилия Хоупвел, — сказала она.

— Ну! — воскликнул он как бы озадаченно, хотя глаза его поблескивали. — А я гляжу, на почтовом ящике написано «Кедрач», так я и подумал, что вы миссис Кедрач! — Он радостно рассмеялся, с пыхтеньем подхватил ношу и как-то невзначай оказался в передней. Словно чемодан ввалился сам собой и рывком затянул хозяина. — Так вы, значит, миссис Хоупвел! — сказал он, стиснув ей руку. — Очень, как говорится, приятно, вам туда, а мне обратно! — Он снова рассмеялся, но веселость тотчас сбежала с его лица. Он выждал,

пристально посмотрел на нее в упор и сказал: — Сударыня, у меня к вам серьезное дело.

— Что ж, проходите, — пригласила она без особой радости, потому что обед был почти готов.

Он вошел в гостиную, примостился на краешке стула, задвинул чемодан между колен и окинул взглядом комнату, как бы соображая, с кем имеет дело. В двух сервантах мерцало столовое серебро; видно, ему еще не приходилось бывать в такой красивой гостиной.

— Миссис Хоупвел, — сказал он задушевно, как старый знакомый, — вы ведь верите, что жить надо по-христиански.

— М-да, разумеется, — отозвалась она.

— Про вас известно, — сказал он и помедлил, глубокомысленно склонив голову набок, — что вы чудесный человек. Слухом земля полнится.

Миссис Хоупвел терпеть не могла, когда ее принимали за дурочку.

— Вы чем торгуете? — спросила она.

— Библиями, — сказал парень, пробежался взглядом по комнате и прибавил: — Я вижу, у вас в гостиной нет семейной Библии, все у вас есть, а этого, вижу, не хватает!

Миссис Хоупвел не могла сказать: «Моя дочь неверующая и не потерпит Библии в гостиной».

Она сказала, поджав губы:

— Моя Библия у меня на ночном столике.

Это была неправда. Библия затерялась где-то на чердаке.

— Сударыня, — сказал он, — Слову Божьему место в гостиной.

— Ну, это уж как на чей вкус, — начала она. — По-моему…

— Сударыня, — сказал он, — доброму христианину положено иметь Слово Божье в каждой комнате, не говоря уж что в сердце. А вас по лицу сразу видно, что вы добрая христианка.

Она поднялась и сказала:

— Словом, молодой человек, Библия ваша мне не нужна, а вот обед мой, того и гляди, пригорит.

Он не встал. Он принялся обминать сцепленные ладони и, опустив взгляд, тихо сказал:

— Что же, сударыня, по правде-то, мало кому теперь нужна Библия, а я вам не указчик, это понятно. Что говорю, то говорю, а как получше сказать, не знаю. Я простой малый. — Он встретил ее недружелюбный взгляд. — Вам, конечно, с нашим братом не с руки знаться, мы народ простой.

— Да что вы! — воскликнула она. — Ведь простые, надежные люди, это же соль земли!

Каждому свое, свет ни на ком клином не сошелся. Такова жизнь!

— Золотые ваши слова, — сказал он.

— Да как же, по-моему, простых-то, надежных людей на свете и не хватает! — сказала она взволнованно. — Отсюда, по-моему, и все наши беды!

Лицо его просветлело.

— А я и не представился, — сказал он. — Меня Менли Пойнтер зовут, родом из-под Уиллоби, из самой там глуши.

— Подождите минутку, — сказала она. — Я схожу посмотрю, как там с обедом.

Она вышла из комнаты и увидела, что Анжела стоит у двери и подслушивает.

— Сплавь свою соль земли, — сказала она, — есть пора. Миссис Хоупвел укоризненно посмотрела на нее и пошла убавила огонь под овощами.

— Я людям грубить не привыкла, — сказала она себе под нос и вернулась в гостиную.

За это время он успел выложить из чемодана две Библии — по одной на каждое колено.

— Вы уж лучше их спрячьте, — посоветовала она. — Мне они не нужны.

— Я ценю, что вы по-честному, — сказал он. — Нынче ведь честных только и найдешь, что в

деревенской глуши.

— Вот именно, — сказала она, — среди бесхитростного простонародья!

Из-за неплотно прикрытой двери донесся стон.

— К вам небось ребята ходят рассказывают, как им ученье дается, — сказал он, — только от меня вам про это не услышать. Да как-то меня и не тянет в колледж, — сказал он. — Я хочу помогать людям жить по-христиански. Видите, в чем дело, — сказал он, понизив голос, — у меня с сердцем неладно. Я, наверно, недолго и протяну. А коли знаешь, что дела твои плохи и долго не протянешь, сами понимаете, сударыня… — Он осекся на полуслове и поглядел на нее.

Он болен, как Анжела! У нее слезы подступили к глазам, но она быстро взяла себя в руки, проговорила:

— Может, пообедаете с нами? Мы очень были бы рады! — и тут же пожалела об этом.

— Да, мэм, — сказал он конфузливо, — я бы, конечно, с удовольствием!

Анжела мельком глянула на него, когда их знакомили, а потом за весь обед даже не посмотрела в его сторону. Он к ней обращался, а она будто и не слышала. Вечная история: обязательно надо обхамить человека! И миссис Хоупвел по обык-

новению сияла радушием, чтоб невежливость дочери не лезла в глаза. Гость легко разговорился о себе. Он рассказал, что у отца с матерью их было двенадцать, он седьмой; ему восемь лет было, когда отца пришибло деревом. Мало сказать, пришибло, а прямо надвое раскроило, тело и узнать-то было нельзя. Остались они на материной шее, та из кожи вон лезла, и все ходили в воскресную школу и каждый вечер читали Библию. Сейчас ему девятнадцать, а Библии продает вот уж четыре месяца. Семьдесят семь штук он продал и еще на две договорился. Его мечта — стать миссионером и принести побольше пользы людям. «Потерявший душу свою сбережет ее», — простосердечно сказал он, и это прозвучало так искренно, так естественно и откровенно, что миссис Хоупвел ни за что бы не позволила себе улыбнуться. Он придерживал горошек на краю тарелки хлебным ломтиком, а потом тем же ломтиком дочиста подобрал остатки соуса. Заметно было, что Анжела исподтишка следит, как он держит нож и вилку; паренек тоже нет-нет да и окинет ее взглядом, словно хочет на себя внимание обратить.

После обеда Анжела собрала со стола и скрылась, оставив их беседовать вдвоем. Он снова

рассказал ей про свое детство, про несчастье с отцом и вообще про свою жизнь. Чуть не каждые пять минут она подавляла зевок. Он просидел два часа, пока она не сказала, что, к сожалению, ей пора из дому, у нее дела в городе. Он упрятал свои Библии, поблагодарил ее и совсем было распрощался, но замешкался в дверях, сжал ей руку и сказал, что сколько он по людям ходит, но она вот просто замечательная женщина, и спросил, нельзя ли в другой раз еще зайти. Она сказала, что будет всегда рада его видеть.

Анжела стояла на дорожке и высматривала что-то вдали, когда он спустился с крыльца, скособочившись под тяжестью чемодана. Он остановился рядом с ней, лицом к лицу, и заговорил. Миссис Хоупвел не могла его расслышать, но ее бросило в дрожь при мысли о том, что ему скажет Анжела. Потом Анжела, видно, что-то сказала, и парень заговорил снова, взволнованно размахивая свободной рукой. Потом Анжела еще что-то сказала, и парень опять заговорил. Затем миссис Хоупвел с изумлением увидела, что они вместе двинулись к воротам. Анжела прошлась с ним до самых ворот, и миссис Хоупвел представить себе не могла, о чем они разговаривали, а спросить пока не решалась.

Между тем миссис Фримен напомнила о себе. Она переместилась от холодильника к радиатору, и миссис Хоупвел повернулась к ней лицом, чтоб показать, что слушает.

— Ввечеру Глайниз опять ездила гулять с Харви Хиллом, — сказала миссис Фримен. — А у ней, значит, ячмень на глазу.

— Хилл, — рассеянно отозвалась миссис Хоупвел, — это который в гараже работает?

— Нет, это который учится на массажиста, — сказала миссис Фримен. — И, значит, у ней ячмень на глазу. Два дня как раздуло. Вот она говорит, он ее вечером к дому-то подвез и говорит: «Давай я тебе ячмень твой сниму», а она говорит: «Как это?», а он говорит: «Ложись на заднее сиденье, увидишь». Она легла, а он цоп ее за шею и давай месить. И так это ее пальцами чпок-чпок-чпок, потом уж она его отпихнула. А нынче утром, — сказала миссис Фримен, — куда ячмень подевался? Прямо будто и не было никакого ячменя.

— Чудеса, да и только, — сказала миссис Хоупвел.

— Он ей говорит: пойдем к судье, распишемся, — продолжала миссис Фримен, — а она ему, что жениться так жениться, только не в конторе.

— Что говорить, Глайниз славная девочка, — сказала миссис Хоупвел. — Глайниз и Каррамэй обе очень славные девочки.

— Каррамэй говорит, она когда за Лаймана выходила, Лайман сказал: к судье, говорит, это и есть самое святое дело. Она говорит, он сказал: к священнику ни за полтысячи не пойду.

— Полтысячи ему мало, а сколько надо? — спросила Хулга от плиты.

— Он сказал: ни за полтысячи не пойду, — повторила миссис Фримен.

— Ну что ж, пора нам всем и за дела приниматься, — сказала миссис Хоупвел.

— К судье, говорит Лайман, это и есть самое святое дело, — сказала миссис Фримен. — А доктор говорит, что пусть Каррамэй ест чернослив. Это, мол, лучше всякого лекарства. Давит, мол, снизу, вот и спазмы. А сказать, чего у нее на самом деле?

— Еще неделька-другая, и все это пройдет, — сказала миссис Хоупвел.

— Невматочная у нее, — сказала миссис Фримен. — А то бы ее так не выворачивало.

Хулга выпустила вареные яйца на блюдечко и понесла его к столу вместе с полной до краев чашкой кофе. Она осторожно уселась и стала есть.

Если миссис Фримен вдруг надумает уходить, придется задерживать ее расспросами, а то мать — по глазам видно — только и дожидается. Сразу начнет обиняками выспрашивать про разносчика Библий, а это лишнее.

— И как же это он ей шею месил? — спросила она. Миссис Фримен пустилась описывать, как он ей месил шею. Она сказала, что машина у него ничего себе, «меркьюри» пятьдесят пятого года, а Глайниз говорит: пойду за такого, у кого «плимут» тридцать шестого, лишь бы к священнику. Хулга спросила, а как, если б у него был всего-то «плимут» тридцать второго? Миссис Фримен сказала, что Глайниз говорит — пойдет и за такого, у кого «плимут» тридцать шестого.

Миссис Хоупвел сказала, что у Глайниз просто на редкость ясная голова. Она сказала, что восхищается, какая у обеих девочек ясная голова. Она сказала, что, кстати же, у них вчера побывал очень милый молодой человек, предлагал купить Библию.

— Господи, — сказала она, — я с ним чуть не умерла со скуки, но такой он откровенный, такой прямодушный — не обижать же. Из таких, знаете, простых, надежных людей, — сказала она, — настоящая соль земли.

— Я видела, как он пришел, — сказала миссис Фримен, — а потом видела, как ушел.

И Хулга уловила легкий оттенок в ее голосе, легкий намек, что ушел-то вроде не без провожатых. Она и бровью не повела, но шея у нее покраснела, и она как бы сглотнула краску вместе с ложкой желтка. Миссис Фримен смотрела на нее с видом соучастницы.

— Вот и я говорю — на нас свет клином не сошелся, — сказала миссис Хоупвел. — И хорошо, что все такие несхожие.

— Одни несхожие, а другие очень даже схожие, — сказала миссис Фримен.

Хулга встала, проковыляла в свою комнату с грохотом вдвое против обычного и заперла дверь. С разносчиком Библий она условилась на десять утра у ворот. Она полночи размышляла об этом. Сперва она думала, до чего все это забавно, а потом ей вдруг забрезжил глубинный смысл. Она лежала и сочиняла диалоги, будто бы нелепые, а на самом деле полные скрытого значения, до какого ни одному разносчику Библий в жизни не додуматься. Их вчерашний разговор был в том же духе.

Он тогда остановился перед ней и замер. Его худое оживленное лицо было обсыпано капелька-

ми пота; он выставил остренький нос и смотрел вовсе не так, как за обеденным столом. Он разглядывал ее без всякого стеснения, во все глаза и по-детски, как невиданного зверя; а запыхался так, будто долго бежал вдогонку. Во взгляде было что-то знакомое, кто-то на нее уж так смотрел. С минуту он молчал. Потом прошептал, ловя воздух ртом:

— Ты когда-нибудь ела такого цыпленка, чтоб он был вчерашний?

Девушка ответила непроницаемым взглядом. Он как будто выдвинул вопрос на собрании философского общества.

— Ела, — ответила она затем, точно после всестороннего изучения вопроса.

— Невелик же он был, коли накануне вылупился! — возликовал он, затрясся от безудержного хихиканья, густо покраснел и наконец застыл, восхищенно глядя на ее неподвижное лицо. — А тебе сколько лет? — чуть слышно спросил он. Она помедлила с ответом. Потом вяло обронила:

— Семнадцать.

Он заулыбался так, словно всколыхнулось небольшое озерцо.

— Я вижу, у тебя нога деревянная, — сказал он. — Ну, ты же и молодчина. Ну, ты же и пре-

лесть.

Она молчала, стояла и смотрела мимо него.

— Проводи меня до ворот, — сказал он. — Ты молодец девочка, ты прямо прелесть, ты мне сразу понравилась, только в комнату вошла.

Хулга двинулась вперед.

— Тебя как зовут? — спросил он, улыбаясь ей в затылок.

— Хулга, — сказала она.

— Хулга, — тихо повторил он. — Хулга. Хулга. В жизни такого имени не слыхал. А ты застенчивая, да, Хулга?

Она кивнула, не отрывая взгляда от его большой красной руки, сжимавшей ручку огромного чемодана.

— А приятно, когда девушка в очках, — сказал он. — Очень меня разные мысли одолевают. Есть такие люди — все им пустяки, а я нет. Потому что мне жить недолго осталось.

— Мне тоже недолго жить осталось, — вдруг отозвалась она и подняла взгляд. Его малюсенькие карие глазки лихорадочно блестели.

— Слушай, — сказал он, — ты не думаешь, что некоторым прямо суждено встретиться, раз у них все так, в общем, похоже? Раз у обоих, в общем, серьезные мысли в голове? — Он перебросил че-

модан в другую руку, а освободившейся ухватил ее под локоть. — Я по субботам отдыхаю, — сказал он. — Люблю пройтись по лесу посмотреть, как разоделась матерь-природа. Забрести куда-нибудь подальше. Ну там, пик-ник устроить. А что бы нам с тобой завтра устроить пик-ник? Давай, а, Хулга, — сказал он и поглядел обморочным взглядом, словно вот-вот упадет замертво. Его даже качнуло к ней.

Ночью она представляла, как его соблазняет. Она представляла, как они идут вместе, минуют оба дальних луга и выходят к сараю, а там все складывается так, что она его легко соблазняет, и его, конечно, начинает мучить совесть. Но даже и низший ум подвластен духовной ясности. Она представляла, как очищает его совесть от угрызений и таким образом помогает ему глубже осмыслить жизнь. Она помогает ему освободиться от комплекса стыда и обратить стыд себе на пользу.

Она отправилась к воротам ровно в десять, незаметно скрывшись из дому. Никакой еды она с собой не захватила, позабыв, что обычный пик-ник без еды не обходится. Она надела брюки и грязноватую белую рубашку, подумала и смочила воротник лосьоном — за неимением духов. Когда

она подошла к воротам, там никого не было.

Она поглядела в обе стороны шоссе и остервенела от мысли, что ее провели, что он только и хотел, чтоб она ради него попусту прошлась к воротам. Вдруг знакомая долговязая фигура возникла из-за куста напротив. Он улыбнулся и приподнял новехонькую широкополую шляпу. Вчера он был без шляпы: должно быть, купил для такого случая. Шляпа была каштанового цвета, с красно-белой лентой по тулье и слегка ему великовата. Он выступил из-за куста все с тем же черным чемоданом в руке, в том же костюме и желтых носках, сползших в туфли от ходьбы. Он пересек шоссе и сказал:

— Я так и знал, что ты придешь!

Девушка ехидно подумала, что ручаться ему за это не стоило бы. Она показала на чемодан и спросила:

— А Библии зачем прихватил?

Он взял ее под руку, неудержимо и непрестанно улыбаясь.

— Почем знать, Хулга, когда понадобится Слово Божие, — сказал он.

Ей вдруг показалось, что все это не наяву; но они уже были у края насыпи. К лесу они пошли через выгон. Она чувствовала сбоку его легкий,

пружинистый шаг. Видно, и чемодан полегчал: он им даже размахивал. Полпути они прошли без единого слова, потом он приобнял ее пониже пояса и тихо спросил:

— А у тебя деревяшка докуда?

Она густо покраснела и кинула на него такой взгляд, что парень смешался.

— Да я ничего худого, — сказал он. — Я к тому, что ты молодчина и вообще. Тебя, наверно, Бог бережет.

— Нет, — сказала она, ускорив шаг и глядя перед собой, — в Бога я не верю.

Он остановился и присвистнул.

— Ну! — воскликнул он, словно растерял все слова от удивления.

Она шагала как заведенная, и скоро он опять пританцовывал сбоку, обмахиваясь шляпой.

— Удивительная ты девушка, — заметил он, искоса посматривая на нее. У опушки он снова ее обнял, молча притянул и поцеловал взасос.

Поцелуй, скорее упорный, чем пылкий, вызвал у нее тот самый приток адреналина, который иным помогает вытаскивать тяжелые сундуки из горящего дома: у нее же лишь усиленно заработал мозг. Он еще прижимал ее к себе, а она устремила на него, как бы издалека, свой ясный, сторонний,

насмешливый умственный взор; и любопытство мешалось в ней с жалостью. Ее никогда еще не целовали, и она удовлетворенно отметила, что это довольно заурядное ощущение вполне подконтрольно сознанию. Иные и от сточной воды опьянеют, скажи им только, что это водка. Парень мягко отстранил ее и глядел выжидательно и неуверенно, а она повернулась и молча пошла дальше, будто ей такое не в новинку.

Его пыхтение снова послышалось сбоку; завидев корень, он кидался ей помогать, чтоб она не споткнулась. Он отвел и придержал гибкие терновые ветви в длинных шипах. Она вела, а он поспевал сзади, тяжело дыша. Наконец они выбрались на солнечную полянку, мягко круглившуюся на подъеме к другой, поменьше. За холмом видна была проржавевшая крыша старого сенного сарая.

По склону холма розовели кустики полевой гвоздики.

— Ты, значит, не спасешься? — внезапно спросил он, остановившись.

Девушка улыбнулась. До этого она ему не улыбнулась ни разу.

— У меня свое вероучение, — сказала она, — и по моему выходит, что я уже спасена, а ты обре-

чен, но я же сказала тебе, что не верю в Бога.

Восхищению его, казалось, не было предела. Он опять по-детски уставился на нее, словно давешний невиданный зверь протянул лапу из-за прутьев и потрепал его по плечу. Она подумала, что он, того и гляди, опять станет ее целовать, и на всякий случай заспешила дальше.

— А где бы нам тут сесть посидеть? — выговорил он, сбиваясь на шепот.

— Вон в том сарае, — сказала она.

Они заспешили, точно сарай мог отъехать, как поезд. В большом двухъярусном сарае было темно и прохладно. Парень указал на лесенку, приставленную к сеновалу.

— Жаль, нам туда не взобраться.

— Почему не взобраться? — спросила она.

— А нога-то, — почтительно сказал он.

Девушка презрительно усмехнулась в его сторону и, цепко перебирая руками, взобралась по лестнице, а он благоговейно стоял внизу. Она ловко подтянулась в проем, глянула сверху вниз и сказала:

— Очередь за тобой, если не раздумал.

И он полез, кое-как управляясь с чемоданом.

— Библия нам не понадобится, — заметила она.

— Это почем знать, — пропыхтел он.

Забравшись на сеновал, он с минуту переводил дыхание. Она опустилась на ворох соломы. Солнечный свет с плавающими пылинками струился над нею широким косым пологом. Она откинулась в солому, повернула голову и поглядела в раскрытые воротца сеновала. За двумя усеянными гвоздикой склонами темнела гряда леса. В холодном синем небе не было ни облачка. Парень прилег рядом, подсунул под нее руку, другой обнял и стал обцеловывать ей лицо, издавая ртом какие-то рыбьи всплески. Шляпу он не снял, только сбил на затылок, чтоб не мешала. Когда помешали ее очки, он снял их и сунул себе в карман.

Сперва она не отвечала на поцелуи, потом несколько раз чмокнула его в щеку, добралась до губ и так впилась в них, точно хотела высосать весь воздух из его груди. Дыхание его было чистое и свежее, как у ребенка, а поцелуи по-детски липучие. Он ворковал, что любит ее, что влюбился с первого взгляда, но и воркование тоже было вроде сонного лепета ребенка, которого мать укладывает в постель. Все это, однако, не сбивало ее с мысли, и мысли не путались с ощущениями.

— Ты еще не сказала, что любишь меня, — на-

конец прошептал он, высвободившись. — Без этого нельзя.

Она отвернула лицо и посмотрела в пустые небеса, потом на темную гряду, потом ниже, на два склона, превратившиеся в зыблющиеся зеленые озерца. Она не заметила, что он забрал ее очки, а расплывчатый пейзаж ей ни о чем не говорил: ей, как обычно, было не до пейзажей.

— Без этого нельзя, — повторил он. — Скажи, что любишь, без этого никак нельзя.

Она всегда была осторожна по части обязательств.

— В каком-то смысле, — начала она, — оставя точность в стороне, можно и так выразиться. Но я подобных слов не употребляю. У меня иллюзий нет. Я из тех, кто прозревает суть вещей и упирается взглядом в ничто.

Парень насупился.

— Без этого нельзя. Я сказал, а теперь ты обязана. Ее это почти растрогало.

— Ах ты, бедняжка, — пробормотала она. — Может, оно и лучше, что тебе непонятно. — И она притянула к себе его голову. — Все мы обречены, — сказала она, — но некоторые сорвали повязку с глаз и видят, что смотреть не на что. Это и есть своего рода спасение.

Он растерянно моргал, глядя сквозь бахрому ее волос.

— Это ладно, — он чуть не хныкал, — ну ты меня любишь или не любишь?

— Люблю, — сказала она и прибавила: — В некотором смысле. Но я должна тебе кое-что сообщить. Между нами все должно быть начистоту.

Она приподняла его за подбородок и посмотрела ему в глаза.

— Мне тридцать лет, — сказала она. — И я, между прочим, доктор наук.

Парень смотрел сердито, но не отступался.

— Ну и что, — сказал он. — Мало ли чего в жизни бывает. Ты мне лучше скажи, любишь или не любишь? — Он прижал ее к себе и покрыл ее лицо яростными поцелуями; наконец она сказала:

— Люблю, люблю.

— Вот и ладно, — сказал он, отпустив ее. — Тогда докажи. Она улыбнулась, глядя на смутный, переливчатый пейзаж. Вот она его и соблазнила, и все вышло само собой.

— Как? — спросила она. Все-таки не худо бы его немного попридержать.

Он склонился и прильнул губами к ее уху.

— Покажи, докуда у тебя деревяшка, — прошептал он.

Девушка резко вскрикнула, и лицо ее мгновенно посерело. Просьба была бесстыдная, но не это ее смутило. В детстве ей иной раз бывало стыдно, но образование начисто удалило из ее жизни чувство стыда, как хороший хирург удаляет раковую опухоль. Стыдиться чего-нибудь ей так же не пришло бы в голову, как верить в его Библию. Но протез ей был дорог, как павлину хвост. Никто, кроме нее, протеза не касался. Она берегла его, как другой бережет свою душу, таилась с ним от всех и едва ли не от самой себя.

— Нет, — сказала она.

— Конечно, — проворчал он, отсев от нее. — За молокососа меня считаешь.

— Да нет же, нет! — воскликнула она. — Он кончается у колена. У колена, не выше. Зачем тебе это нужно?

Он посмотрел на нее долгим, пронизывающим взглядом.

— А затем, — сказал он, — что этим ты и особенная. Не то что все.

Она сидела, пристально глядя на него. Ни в ее лице, ни в круглых льдисто-голубых глазах не было никакого волнения, но сердце ее словно остановилось, и перекачивать кровь принялся мозг. Она решила, что впервые в жизни оказа-

лась лицом к лицу с настоящей невинностью. Этот мальчик понял ее инстинктом, который превыше всякой мудрости. И когда через минуту она сипло выдохнула: «Хорошо», она как будто отдалась ему. Как будто рассталась с собственной жизнью и чудом обрела ее в нем.

Он осторожненько закатал штанину. На протез были надеты белый носок и бурая туфля; он был обтянут грубой материей вроде брезента и кончался уродливым креплением, подстежкой к культе. Парень добрался до подстежки и трепетно выговорил:

— А теперь покажи, как его снимать и надевать.

Она показала ему, как снимать, и снова надела, а потом он снял его сам, держа бережно, как живую ногу.

— Смотри! — сказал он детским, восторженным голосом. — Теперь я тоже умею!

— Пристегни его, — сказала она. И представила себе, как сбежит с ним и как он каждый вечер будет отстегивать протез, а утром снова пристегивать.

— Зачем же, — пробормотал он и поставил протез подальше от нее. — Пусть пока постоит. Мало тебе меня, что ли.

Она тревожно вскрикнула, но он опрокинул ее на спину и снова принялся целовать. Без ноги она чувствовала себя целиком в его власти. Рассудок ее вдруг отказал и занялся чем-то очень ему не свойственным. Выражение ее лица поминутно менялось. Парень то и дело поглядывал назад, на торчащий из соломы протез, и глаза его были, как стальные шипы. Наконец она оттолкнула его и сказала:

— Ну, пристегни обратно.

— Погоди, — сказал он.

Он перегнулся, подтянул свой чемодан и раскрыл его. Обнаружилась голубая в крапинку подкладка и всего две Библии. Он вынул одну из них и откинул обложку. Под обложкой была полая картонка, а в ней — фляжка виски, колода карт и синенькая коробочка с наклейкой. Он разложил все это перед нею, словно приношения на алтаре. Синюю коробочку он сунул ей в руку. *Использовать только как превентивное средство от заражения,* прочла она и выронила коробочку. Парень отвинчивал крышку фляги. Он с улыбкой кивнул на колоду карт. На рубашке каждой карты была непристойная картинка.

— Хлебни-ка, — сказал он, уступая ей фляжку. Он совал ей фляжку в самый нос, но она не двига-

лась как завороженная.

Наконец она обрела голос и заговорила почти умоляюще.

— Как же ты, — проговорила она, — вы же соль земли, простые, надежные люди?

Парень вскинул голову. Он словно сообразил, что его не иначе как оскорбляют.

— Ну и что из этого? — сказал он, выпятив губу. — Уж не хуже вашего-то, как ни глянь.

— Отдай мою ногу, — сказала она. Он носком отбросил протез подальше.

— Ладно тебе, давай сперва поразвлечемся, — ласкательно сказал он. — Мы еще толком и не познакомились.

— Отдай мою ногу! — взвизгнула она и рванулась было за протезом, но он легко отпихнул ее.

— Чего это ты вдруг вскинулась? — хмуро спросил он, завинтив фляжку и быстро заложив ее обратно в Библию. — Сама же только что говорила, что ни во что не веришь. Я уж думал, ай да девушка!

Лицо ее побагровело.

— Ты-то христианин! — с присвистом зашипела она. — Именно что христианин — слова с делами никак не сходятся. Да, уж ты настоящий христианин, ты…

Парень злобно поджал губы.

— А по-твоему, как выходит, — сказал он с горделивым негодованием, — прямо я верю в такую дребедень! Подумаешь, Библии продаю — на мякине меня не проведешь, не вчера родился, знаю, что почем!

— Отдай мою ногу! — выкрикнула она.

Он вскочил одним движением, мгновенно запрятал в Библию карты и синюю коробочку, а Библию кинул в чемодан. Она увидела, как он схватил ее протез и как тот сиротливо улегся в чемодане между двух Библий. Он захлопнул крышку, с размаху бросил чемодан в проем и сам полез вслед.

Когда над проемом осталась одна голова, он обернулся и оглядел ее уже без всякого восхищения.

— Везет мне на разные штуковины, — сказал он. — У одной дамочки я тем же манером стеклянный глаз раздобыл. И не думай, что ты меня словишь, меня ведь вовсе и не Пойнтер зовут. Зовут меня всюду по-разному, и долго нигде не задерживаюсь. И чего я тебе еще скажу, Хулга, — пренебрежительно протянул он, — ты уж не строй из себя. Заладила: ничто, ничто — да я сроду ни во что не верю! — И каштановая шляпа

нырнула в проем.

Девушка неподвижно сидела на соломе, озаренная пыльным солнечным светом. Потом она обратила перекошенное лицо к воротцам и увидела, как синяя фигурка быстро пробирается через зеленое крапчатое озерцо.

Миссис Хоупвел и миссис Фримен выпалывали дикий лук на дальнем выгоне и видели, как он вынырнул из лесу и пошел к шоссе прямиком через луг.

— Да это не тот ли нудный молодой человек, что упрашивал меня купить Библию, — сказала миссис Хоупвел, при-щурясь. — Должно быть, обходил там негров со своим товаром. Уж такой простак, — сказала она, — но, верно, будь все мы таковы, и на земле жилось бы получше.

Неторопливый взгляд миссис Фримен настиг его перед тем, как он исчез за холмом. Потом она перевела глаза на вонючий луковый росток, который только что выдернула.

— Этакая простота не всем дается, — сказала она. — Мне так нипочем бы не далась.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ, ШОТЛАНДСКОЙ И ИРЛАНДСКОЙ ПРОЗЫ

Шеридан Ле Фаню. Кармилла (повесть, перевод В. Муравьёва), стр. 13-79

Джильберт Кийт Честертон. Молот Господень (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 80-95

Джойс Кэри. Весенняя песня (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 96-99

Джойс Кэри. Вкус мечты (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 99-103

Джон Кольер. Бешеные деньги (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 104-118

Джон Кольер. Перестраховка (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 118-123

Джон Кольер. Другая американская трагедия (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 124-131

Джон Кольер. Зелёные мысли (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 132-149

Джон Кольер. Толкование сновидения (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 149-156

Джон Кольер. Карты правду говорят (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 157-163

Джон Кольер. Ловец человеков (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 163-166

Джон Кольер. Мадемуазель Кики (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 166-176

Джон Кольер. Отпрыск Кики (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 176-183

Ивлин Во. Вылазка в действительность (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 184-197

Ивлин Во. На страже (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 198-209

Мюриэл Спарк. Для зимы печальные подходят сказки (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 210-216

Мюриэл Спарк. Портобелло-роуд (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 216-241

Джон Фаулз. Загадка (повесть, перевод В. Муравьёва), стр. 242-294

ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПРОЗЫ

Вашингтон Ирвинг. Легенда о розе Альгамбры (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 297-310

О. Генри. Гипотетический казус (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 311-324

О. Генри. Последний из трубадуров (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 324-336

Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Алмазная гора (повесть, перевод В. Муравьёва), стр. 337-377

Уильям Фолкнер. Дядя Вилли (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 378-397

Уильям Фолкнер. Вот будет здорово (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 397-417

Уильям Сароян. Три купальщика и йельский выпускник (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 418-428

Уильям Сароян. Локомотив 38 из племени оджибуэев (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 428-437

Фланнери О'Коннор. Соль земли (рассказ, перевод В. Муравьёва), стр. 438-460